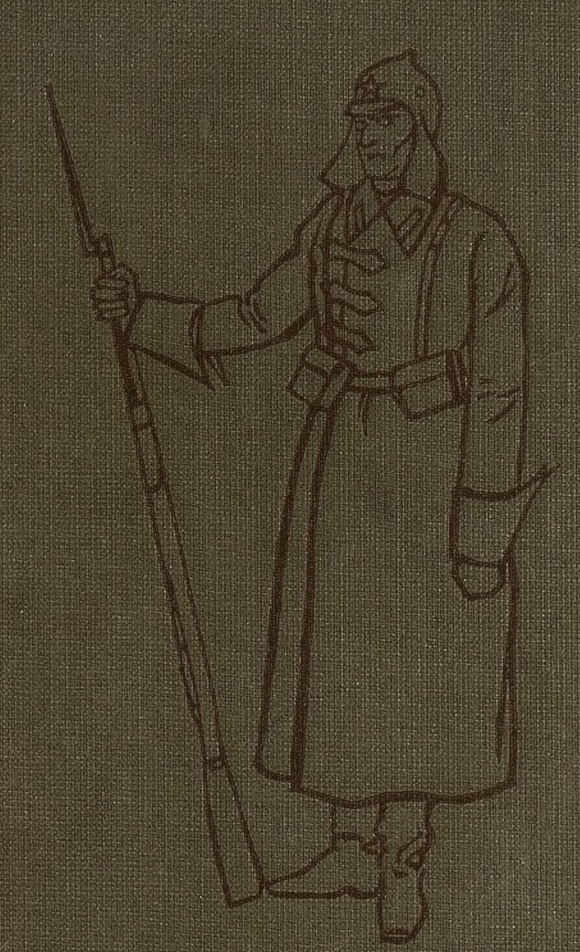
А. СЕРАФИМОВИЧ



# ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ


ИЗДАТЕЛЬСТВО
П

А. СЕРАФИМОВИЧ



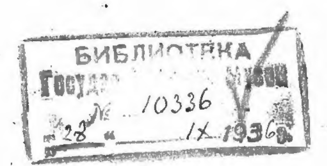
# ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

Редакция, предисловие
и комментарии
Г. НЕРАДОВА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1936

Переплет работы художника
Н. СЕЛИВАНОВА-КАРТЕР

# ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ


БИБЛИОТЕКА
№ 10336
28 IX 1936

## НА ФРОНТАХ

В этом томе собраны военные рассказы и очерки, относящиеся к разным периодам творческой деятельности А. С. Серафимовича: 1) к периоду старой царской армии конца XIX века, 2) к периоду империалистической войны 1914—1918 гг. и 3) к периоду гражданской войны 1918—1920 гг.

Такое тематическое объединение дает нам возможность детально проследить нарастание и преемственность социально-политических событий, приведших к мировой катастрофе и через нее к Октябрьской революции. С другой стороны, тематическое объединение дает также возможность проследить идеологический и художественный рост писателя.

Старая армия в старой литературе изображалась поверхностно, без классового критерия. Цензура была свирепа в отношении писателей, вскрывавших язвы казармы, и так называемое «русское общество» могло узнать о брожениях, происходивших в недрах царской армии, лишь из нелегальной литературы. Восстание броненосца «Потемкин» и участие ряда полков в первой революции 1905 года для мелкобуржуазной интеллигенции явилось фактом неожиданным.

Серафимович не был исключением. Его рассказы «Поход» и «Морской кот» скользят по поверхности военной жизни и дают лишь внешние очертания фактов, без классового углубления, без социальных корней. Есть ли что-либо общее между солдатами и матросами царской армии и революционерами в мундирах, помогавшими свергать царское самодержавие,

а потом и буржуазное правительство Керенского? Нет ничего. Однако уже и в ту раннюю пору своего творчества Серафимович сумел, в цензурных рамках, показать наличие в армии и флоте непроходимой пропасти между офицерскими кадрами и «нижними чинами». Морские офицеры живут шумной жизнью, в кают-компании слышатся смех, шутки, звуки пианино, мягкий баритон, говорят о любви, мечтают. А матросы отгорожены китайской стеной в своем скученном кубрике, как люди низшей расы. Они должны поминутно козырять начальству, «есть» его глазами и могут отвечать только как автоматы: «так точно», «никак нет», «не могу знать», «слушаю», «есть!» Молитва идет по команде «Шапки долой!» Железная дисциплина, каторжный труд «неведомо для кого и зачем» («Морской кот»).

В «Походе» мимоходом, но все же рельефно даны черты тогдашней казацкой малокультурности и замкнутости. Резкое и грозное командование майора «Марш!»; тупая мертвящая команда «право-лево»; убогие горизонты офицеров, забавляющихся флиртом с «жидовкой» в корчме, — все это показывает культурную отсталость, политическую реакционность и тупость. Такая армия и такой флот не могли не потерпеть поражения в войне с японцами в 1904 г. и в мировой войне 1914—1918 гг. Но ведь в армии и флоте тогда были и другие элементы, в них жили и другие запросы, которые явственно обнаружились уже в революцию 1905 г. У Серафимовича нет и слабого намека на них. Он ограничивается фигурой офицера Сербина, с удовольствием заставляющего семилетнего мальчика пить пиво. Весь матросский состав корабля в «Морском коте» всеми помыслами уходит в борьбу за отвоевание похищенного любимого кота, как будто никаких других интересов не существует для этой огромной массы людей, надолго оторванных от полезного труда. Драке матросов на берегу, ликвидируемой пожарными, нужно было и можно было противопоставить иные интересы и идеалы на корабле. Тогда ведь уже можно было нащупать классовое расслоение в армии и флоте.

Позже, уже после Октябрьской революции, писатель восполнил этот пробел рассказом «Долговязый», сочетающим художественность формы с революцион-

ностью содержания. В рассказе «Как он умер», написанном тоже после Октября, дается еще более заостренное классовое отображение царской армии. Но это — беллетристическая агитка, имевшая специальное предназначение. Массовые издания рассказа разошлись в больших тиражах по казармам, избам-читальням и там служили предметом оживленных бесед на тему о старой и новой армии. Тем более жаль, что в рассказе нет четкой образности, а, наоборот, ощущается некоторый схематизм фигур. В других своих произведениях — на рабочие темы, на темы о первой революции — писатель сумел сочетать высокую художественность и глубокую агитационность.

В своих военных рассказах и очерках, относящихся к периоду империалистической войны, Серафимович обнаруживает заметный идеологический и художественный рост. Более осязательно чувствуется связь художника с передовыми идеями своего времени.

Он еще не рядом с теми, кто в Циммервальде и Кинтале требовали войну грабительско-капиталистическую превратить в войну классовую, гражданскую. Он еще оторван от крестьянско-пролетарской массы, превращенной капиталистами в «пушечное мясо», и мало знает о зреющих в ней революционных надеждах и замыслах. Он является лишь преданным попутчиком, разоблачающим тупость и бессмысленность бойни, без вскрытия ее социальных и классовых корней.

Буржуазные «кровавые собаки» разжигали шовинизм, туманили головы ура-патриотизмом и «германскими зверствами», захлебываясь описывали подвиги Козьмы Крючкова и звали «до победного конца». Этого нет и в помине у Серафимовича. Массовое человекоистребление усовершенствованными орудиями смертоносной техники выглядит у него мрачно, зловеще. Он рядом образов показывает бессмысленность бойни. Сама война, самый процесс истребления не только не романтизированы, но — наоборот — внушают отвращение.

Но для пролетарского художника этого мало. Ему нужно было в образах показать, кто заинтересован в войне и во имя чьих и каких интересов она ведет-

ся. Ему нужно было способствовать тому, чтобы оружие, данное в руки трудящейся массе, было ею обращено против капиталистов и помещиков. Такой действенности нет у художника. В нем больше интеллигентской гуманистической скорби, больше «общечеловеческого» отвращения к крови и разрушению культурных ценностей.

Правда, «гуманистическая основа» в то время была необходима как защитный цвет не только для цензуры, но и для редакции газеты и для мелкобуржуазного читателя. Но временами все же у него получается протест против войны вообще, внушение отвращения ко всякому пролитию крови. Ленин же в статье «О лозунге «разоружения» учит нас, что «вовсе не невозможны и демократические войны и восстания, например, угнетенных наций против угнетающих их за освобождение от гнета. Неизбежны гражданские войны пролетариата против буржуазии за социализм. Возможны войны победившего социализма в одной стране против других буржуазных или реакционных стран... Тот не социалист, кто ждет осуществления социализма помимо социальной революции и диктатуры пролетариата. Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на насилие. Насилие в эпоху XX века, — как и вообще в эпоху цивилизации, — это не кулак и не дубина, а войско». Ленин далее прекрасно предвидел, что «данная империалистическая война — своей реакционностью и своей тяжестью — революционизирует массы и ускоряет революцию» («К пересмотру партийной программы»). Именно в этом духе были постановления социалистических конгрессов — штутгартского и базельского — и затем более определенные постановления левых циммервальдцев и кинтальцев.

Главная задача пролетарского художника была тогда — обличать не жестокость, варварство и бессмысленность войны, а лицемерие капитализма, его мошеннический патриотизм и национализм. На этот счет мы имеем ясное завещание Маркса, который писал в «Гражданской войне во Франции»: «Высший героический подъем, на который еще способно было старое общество, есть национальная война, и она оказывается теперь чистейшим мошенничеством правительства: единственной целью этого мошенничест-

ва оказывается — отодвинуть на более позднее время классовую борьбу, и когда классовая борьба вспыхивает пламенем гражданской войны, мошенничество разлетается в прах».

Буржуазные редакторы «Русских ведомостей» тщательно отбирали материал Серафимовича о войне. Некоторые рукописи его навеки погибли в редакционной корзине. И, конечно, в первую очередь шли в мусорный ящик произведения, говорившие о тяжком положении масс, о назревании недовольства, то есть о приближении революции и гражданской войны.

В напечатанных «Русскими ведомостями» произведениях *пролетарская масса представлена слабо*. Только в одном рассказе «Черный треух» отец беспризорного мальчика — из фабричных. Крестьянские герои выступают в «На побывке» и в «Следопытах». В большинстве же случаев художник дает переживания более близкой и знакомой ему трудовой интеллигенции. Последняя же меньше всего стремилась к превращению войны империалистической в войну гражданскую и вместе с кадетами и прочими реакционерами всегда кричала о необходимости избежать «потоков крови». Ленин в свое время разоблачил лицемерие воплей о «потоках крови», испускаемых людьми, партиями и группами, желающими уложить жизнь еще миллионов русских солдат за Константинополь, за Львов, за Варшаву, за «победу над Германией». Он одергивал лицемеров: «Во время войны, господа Милюковы, Потресовы, Плехановы, поосторожнее аргументируйте *против* «потоков крови» в гражданской войне, ибо солдаты знают и видали *моря* крови» («Пугают гражданской войной»).

Серафимович *делал то, что в данных условиях можно было делать на легальной поверхности русской жизни* и что вело к революции, которую он давно мыслил как единственный выход из тупика. Для него было ясно, как для всякого марксиста, что война является не чем иным, как продолжением политики господствующего класса, осуществлением тех же целей другим путем. И понимал он прекрасно, что война ведется капиталистами из-за разбойничьих интересов. Он ни на миг не потворствует вдохновителям войны, а — наоборот — все время чувствуется скрытое обличение. Ни-

какой идеализации целей войны — хмурое о них молчание, хмурое и по существу протестантское. Туча военных живописателей «патриотических подвигов» сознательно извращала цели войны, доказывая на все лады, что союзники сражаются за лучшую долю для человечества, что с окончанием германского господства наступит конец войне. На этот счет мы не найдем у Серафимовича никакой романтизации войны. Немецкие летчики, за которыми, как за зверем, рыщут «следопыты», для него такие же голодные и измученные, с бледными зелеными лицами и провалившимися глазами, как и другие сражающиеся на фронте. У них тоже «сердце сосет», как и у наших. Никакой разницы. Это, конечно, элементарно. Но тогда, среди барабанного боя ура-патриотов, было немалым геройством так изображать врага.

Оппозиция в то время могла легально выражаться максимум в холодном, подчеркнутом равнодушии к целям патриотов. Она выражалась еще у Серафимовича в спокойной реалистической правде, в противовес лживым румянам услужливых лгунов и извращателей. Где теперь патриотические живописания «ратных подвигов», «германских зверств», «последней войны»? А правдивые образы участников мировой войны, данные Серафимовичем, глубоко волнуют и сейчас. Литературные наймиты всех мастей нам уши прожужжали об энтузиазме сражающихся масс. На эту ложь Серафимович спокойно ответил выдержанным рассказом «На побывке». Приехал на побывку «один из многих» сынов русской деревни, — и где же его военный энтузиазм? Ни следа! Зато с каким пылом он набрасывается на тяжелый крестьянский труд, встает ни свет ни заря и без передышки возится с хозяйством, а потом возвращению на фронт предпочитает смерть — вешается на родной березке. А «Встреча», а «Сверху» — это разве не ушаты холодной воды на разгоряченные патриотические головы? Мы не видим во всей легальной русской литературе исторического четырехлетия другого художника, который бы с такой последовательностью и упорством боролся с шовинистическим угаром.

«Святое», «подвижническое» дело буржуазии под пером Серафимовича превращалось в дело черное и злодейское. «Христолюбивое воинство» в Галиции

устраивает еврейские погромы. Наши «следопыты» выслеживают германских летчиков, как дичь, и сами полны звериных чувств и инстинктов, — не больше, не меньше германских «человеколовов». Социал-шовинисты кричали на всех перекрестках, что массы чуть ли не рвутся в бой. «Неправда, — отвечает Серафимович рассказом «На побывке», — крестьянство не хочет воевать, крестьянство всеми силами стремится вернуться к родным полям».

Организаторы войны и их прихвостни в литературе тратили много золота и чернил, чтобы вовлечь в дело человекоистребления чуть ли не школьников, распространяя среди них заразу добровольчества. Серафимович, тщательно скрывая темперамент революционного бойца, чтобы не выдать себя с головой, пишет рассказ «Встреча», в котором выводит добровольца Мишу, ушедшего на фронт из седьмого класса гимназии; Мише надо было потерять правую руку, «чтобы почувствовать зерно истины» и понять, что его добровольчество было бутафорией и ошибкой. Этот рассказ говорил «малым сим», отуманиваемым и неопытным: «Лгут они, не верьте... Смотрите, что они сделали с Мишей и как он себя чувствует, познав всю тщету и гиблость своего ненужного подвига. Не уподобляйтесь этому юному инвалиду!»

Летчик в рассказе «Сверху» был романтик, он идеализировал войну, а теперь, поработав на фронте, он увидел «мертвый механизм неизмеримой силы», и у него «в груди помертвело». Бодрости и пыла такое самочувствие и самосознание летчика внушать никак не могли. И у читателя тоже должно было «в груди помертветь» от такого рассказа.

Наиболее «объективно», с цензурной точки зрения, написаны «Шрапнель» и «Двое». Но под этой цензурной «объективностью» тоже кроется остро оппозиционное содержание. Никакой торжественности на фронте, — наоборот, всюду «будничное, привычное выражение», «на самом дне души острие смутной разочарованности», «истерзанные тела» («Шрапнель»). Кругом «сладкий запах крови, человеческого тела и стоны, незамирающие стоны, то тихие и слабые, по-детски беспомощные, то громко протестующие: «О-ох! По-мо-ги-те!», «Людэ! Людэ!..», «Погиб на-род!..» Такие картины фронта — это тоже по-

хоронные мотивы на ура-барабанном базаре. Могли ли они рождать энтузиазм? Могли ли толкать вперед, создавать героев — выполнять «заказ буржуазии»?

Строго говоря, такая литературная политика могла рождать идеи только вредительские для царизма, идеи пораженческие. Эти идеи, по цензурным причинам, с одной стороны, и, с другой стороны, вследствие их неоформленности в сознании самого Серафимовича, оторванного от революционных очагов, недостаточно четки и выразительны, но они имеются в наличии. Большевики прямо формулировали идеи братания сражающихся на фронте, идеи пораженчества. Они полным ртом говорили, что воюют две группы угнетателей и разбойников, что речь идет о «дележе добычи» и что лозунги «защиты отечества» и «оборонительной войны» есть обман народа. Ленин в статье «О поражении своего правительства в империалистической войне» писал: «...русские социал-демократы должны были первыми выступить с теорией и практикой «лозунга» поражения... Противники лозунга поражения просто боятся самих себя, не желая прямо взглянуть на очевиднейший факт неразрывной связи между революционной агитацией против правительства с содействием его поражению... Отказываться от лозунга поражения значит превращать свою революционность в пустую фразу или одно лицемерие». Ленин непреклонно подчеркивал, что «пролетарий не может ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть (на деле) руку своему брату, пролетарию «чужой», воюющей с «нами» страны, не совершая «государственной измены», не содействуя поражению, не помогая распаду «своей» империалистской «великой» державы». Это писал Ленин еще 26 июля 1915 года (в № 43 «Социал-демократа»).

Видим ли мы в произведениях Серафимовича об империалистической войне огорчение по случаю неудач или затруднений «своего» правительства? Он пишет о Галиции как раз в момент, когда германо-австрийцы начали сильно теснить наши войска и те вынуждены были отступать. Где следы тревоги, скорби, где лирический плач? Их нет. Но «нет» — это еще не активные лозунги превращения войны им-

периалистической в войну гражданскую. Это — элементы негативные. Впрочем, — мы не могли требовать от Серафимовича в ту пору, чтобы он сделал больше того, что мог сделать в данных условиях. Но то, что он не дал себя отуманить Каутским и Плехановым, бесстыдно проповедывавшим идеи «защиты отечества», то есть поддержки своей буржуазии, — это говорит о крепком большевистском инстинкте, поскольку тогда у Серафимовича еще не было твердой большевистской идеологии. Хотя идеи пораженчества являлись у него лишь производными, хотя он не смог в своем художественном творчестве связать воедино войну империалистическую и войну гражданскую, как связали их большевики, как связала их жизнь, — он все-таки всем устремлением своего творчества, почти в полном одиночестве на тогдашней легальной литературной арене, служил большевизму, служил социальной революции.

И когда гражданская война началась, Серафимович встретил ее уже большевиком. Он и теперь счел долгом быть там, где льется кровь. Но какая незаполнимая пропасть лежит между Серафимовичем-корреспондентом войны империалистической — и Серафимовичем-корреспондентом войны классовой! Писатель не имеет времени для больших художественных зарисовок. Задачи революции, которая в опасности и на которую со всех сторон наступают, — превыше всего. Задачи творческие, задачи художественности связываются с практикой класса. Серафимович чувствует себя бойцом; только сражается он не винтовкой, не пулеметами или бомбами, а пером. Надо действовать с максимальной быстротой и выполнять задания конкретно-утилитаристические, ни на миг не отвлекаясь пассивным созерцательством. Минута, секунда дорога, — всякое промедление смерти подобно. Художник-корреспондент отдает фронту свой зоркий глаз: быстро замечает, где чего нехватает. Он внимательно всматривается, изучает, ловит на лету и советует то-то предпринять, то-то устранить, на то-то обратить внимание. Не писатель, а советник, а контролер, а организатор, а бригадир. Дает заключение на основании лично виденного и изучен-

ного на месте. «Не обманывай себя» — врангелевский фронт — «остро опасный фронт». Образовать летучие отряды коммунистов. Заботиться о том, чтобы крестьянство в прифронтовой полосе было на стороне Красной армии. Шлите вот такие-то именно подарки (подробное перечисление). Надо мягко обращаться с военнопленными. Польская армия «в полном смысле регулярная европейская армия», а не банды, — «надо напрячь силы». Несите им художественное творчество (красноармейцам).

Не реализм, а глубочайший практицизм рабкора, стоящего в боевой колонне. Нерушимая спаянность с теми, кто сражается на гражданских фронтах. Критика и самокритика и постоянное неослабное сознание своей собственной ответственности за дело, которое решается на фронтах гражданской войны. Вместе победить или вместе погибнуть — третьего не дано. Отсюда кровная заинтересованность, полное слияние со сражающимися на фронтах.

В империалистическую войну художник понятия не имел о подобных темпах. Он тогда неторопливо записывал в книжечку и потом спокойно обрабатывал материал. Теперь же некогда было записывать и обрабатывать. Важно «что», а не «как». И вообще образы — потом, когда победим (тогда и дан был «Железный поток»). Куда девались прежняя унылость, меланхолический, разочарованный тон корреспонденций в период империалистической войны? Как рукой сняло. Никаких колебаний, никаких двойственных настроений, — безоговорочное, полное подчинение себя революции, судьба которой поставлена на карту. Только пролетарский строй, только пролетарская революция могли создать такую, неведомую буржуазии, беззаветность.

У Серафимовича есть очерк под названием «Политком». В нем он дает колоритную фигуру литвина-комиссара, у которого талант большого художника. Серафимович спрашивал его, с интересом рассматривая альбом его оригинальных рисунков:

> — Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков, человеческих лиц. Ведь все

это можете черпать безгранично рукой художника.

— Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я... — он опустил потемневшие глаза, — я... комиссар.

Все двадцать четыре часа политком принадлежал не себе, а своей части. Всё задавил в себе политком, всё принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

— Нате, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Так и сам Серафимович.

Большевистским сознанием Серафимович понял, что победу на фронтах гражданской войны создают массы. Он поэтому возложил все упования именно на коллектив. У него нет искания героев вне массы. Героизм их — массовый, коллективный.

Художник все свое внимание устремляет на красноармейскую массу. Не только на ее быт, на ее нужды и запросы, но и на ее отношение к происходящему, на ее мысли и упования. Он всеми силами стремится стать рупором масс. Отсюда его двоякая роль: тылу он рассказывает, что думает фронт, а последнему сообщает, что думают, на что надеются в тылу. Корреспондент становится связующим звеном между фронтом и тылом.

В годы гражданской войны важно было показать героев фронта. Они проходят длинной галлереей в очерках и корреспонденциях Серафимовича. Указанный выше литвин-политком, несомненно, герой. Трудармейцы, загоняющие тиф в госпиталь и организующие новые шесть тысяч кроватей, тоже герои. Героическое время создает героические черты. Рождаются гигантские силы. Об этом нужно было рассказать — пусть впопыхах, чтобы заразить примером, чтобы раздуть искру в пожар.

Серафимович думал, посылая в «Правду» свои корреспонденции, что их предназначение практическое, служебное. Он полагал, что они имеют интерес однодневок. В действительности же оказалось, что очерки Серафимовича еще долго будут иметь исторический интерес. Они прежде всего — военная летопись, писавшаяся под грохот орудий. От них пахнет порохом, они показывают, как в месяцы смертельной

опасности революция, истекая кровью, боролась за свое торжество. Тут взят не отдельный уголок фронта, тут дан охват гражданской войны во всей ее шири, от юга до севера и от запада до востока. Его корреспонденции приобретают значение «человеческих документов». Читатель с первой строки видит, что имеет дело не с художественным вымыслом: это — «то, что было».

Старый мастер в минуту опасности засучил рукава и взялся за черновую работу. Нужно прочитать очерки «В теплушке», «Только уснуть», чтобы понять, как работа эта была тяжела и опасна. Буржуазный корреспондент ездил в хорошем купэ, вел беседы с крупным военным начальством. Пролетарский же корреспондент спал на заплеванном вокзальном полу, среди вшей и тифа («Только уснуть»). На позиции он проводил время среди красноармейской массы, рассказывая ей, что знал, и еще более внимательно вслушиваясь в то, что она говорит. Это была работа прежде всего большевика, а уж потом писателя. Это такая черновая работа, на которую, при всем желании, способны не многие.

В этом томе, охватывающем творчество разных периодов, с длинными промежутками, видно разнообразие художественных средств писателя. Рассказы о старой царской армии — это художественная статика, это — добросовестное срисовывание внешних фактов и впечатлений. Тут нет художественной идейной активности. Она начинает выступать более выпукло в рассказах, относящихся к периоду империалистической войны. Углубившееся мировоззрение способствует утончению красок и большей четкости образов. В рассказах «Поход» и «Морской кот» мы видим «нутряное» писание, «под Толстого». Художник дает замкнутый угол жизни, оторванный от окружающего бытия. В этом коренится причина какой-то художественной неполноты, художественной полуверности. В рассказах периода империалистической войны чувствуется уже более крепкая связь с окружающим, на них дыхание эпохи. Творчество художника идет в уровень с задачами своего времени. Это уже не прежнее пассивное отображательство, а борьба образами.

Скрытая (из-за цензуры) темпераментность прорывается взволнованностью отдельных штрихов, — и образ сильнее впечатляет. Он отсвечивает широкой идейностью. Слова приобретают смысл, выходящий за грани обыденного их содержания. Художник владеет искусством оттенков и многоцветности. Он хорошо владеет дозировками при накладывании теней, и большое, огромное выявляется при помощи нескольких мазков.

Фабула почти отсутствует, за исключением «психологического» рассказа «Двое», для которого война есть собственно только фон. Художник строит свои рассказы на вдумчивых описаниях. Однако, это не очерки в общепринятом смысле. Они не сообщают интересных сведений. Для очерков они слишком философичны и синтетичны и апеллируют к разуму и совести. Большое внимание уделяется деталям, и такое же внимание — вещам, с которыми человек приходит в соприкосновение. Старый шкаф в рассказе «Термометр» — почти живое существо: он мыслит, он лукавит, он недоволен. В «Следопытах» чувствуется земля, словно по ней ступаешь, лесок — живой, и стоят перед глазами фуры, груженные хлебом и сухарями. Окружающее человека помогает уяснению его лица. Старый тулупишко, перетянутый кушаком, так хорошо обрисовывает солдата («На побывке»), с остервенением набросившегося на работу и сразу все изменившего в ненашевском дворе.

В очерках из гражданской войны местами проскальзывают умелые краски опытного художника, например, в очерках «На позиции», «Без билета», «Только уснуть», «Три митинга», «Политком». Но эти краски, можно сказать, нечаянно обронены опытной рукой старого мастера. О фабуле тут нет и речи. Писатель избегает и всяких описаний. Его задача — уместиться в двух-трех страничках. Очерки «В Галиции» написаны слишком подробно: там целый калейдоскоп фактов, лиц, положений, и все это перемешано с сообщением разных исторических данных, подчас с чисто публицистическими рассуждениями. В очерках же из гражданской войны всего этого нет. Есть экстракт важнейших животрепещущих фактов, выводы и заключения, часто с прибавлением конкретных предложений. Газетность очерков выражается

прежде всего в их торопливости и лаконичности. Казалось, тут должен был бы стираться образ, должно бы оставаться смутное представление о том вулканическом времени. Наоборот. Маленькая, «сухая» заметка ворошит рой образов, воскрешает сложную обстановку. Летописный стиль имеет свои секреты художественного воплощения. Слова — простые, а ощущения дают сложные. Во всяком случае в одном нельзя сомневаться: историк не пройдет равнодушно мимо этих торопливых лаконических записей, писавшихся в дыму орудий.

Серафимович, хотя родился и вырос в военной казацкой среде, но сам никогда не был военным и непосредственно не участвовал в боях. Однако, он выявил себя как талантливый, вдумчивый баталист.

Г. Нерадов

# ЦАРСКАЯ АРМИЯ

## НЕФЕД И Я

Умер Исаков, наш полковой адъютант. Это было в первый раз, что умер человек близкий, которого я знал, которого видел, который часто бывал у нас. И все произошло как-то необыкновенно. Я сидел в зале на полу и делал из прошлогодних канцелярских «дел», которые мне надавали в канцелярии писаря, петухов, коробочки и кораблики, а из полуоткрытой двери кабинета доносилось шуршание и беглый шелест по бумаге отцовского пера. Отец не любил, когда ему мешали, и я сидел тихонько и мирно занимался своей работой.

— Вашскблагородие, их благородие адвитант помер! — крикнул вдруг денщик, вбегая в комнату с перепуганным лицом.

— Что ты врешь!

— Так точно, вашскблагородие.

— Как умер? Когда умер?.. Ты оттуда, что-ль? — изумленно спросил отец.

— Так точно. Их благородие сичас изволили помереть, — они еще теплые.

Отец схватил фуражку и бросился к двери.

Мне вдруг сделалось страшно оставаться одному в комнате, я пустился в детскую, но ни бонны, никого там не было, и я полетел в кухню.

Тут тоже была тревога. Нянька бежала куда-то, на ходу подбирая свои растрепавшиеся косы. Денщики тоже выбежали. Остался один Нефед.

Красный и потный, он стоял у плиты и торопливо жарил котлеты, быстро и ловко подставляя то один, то другой бок сковороды под лизавшее ее из-за конфорки пламя. Масло шипело и трещало; в кухне стоял чад и дым.

— Нефед, правда, адъютант умер?

Нефед ничего не отвечал, сосредоточенно манипулируя с котлетами.

— Ах, шштоб тебя! — проговорил он, — подхватывая неистово шипевшую сковороду и относя ее в сторону. — Сколько разов докладывал барыне, что нельзя на этой конфорке жарить, переделать надо, — и потом, дав успокоиться маслу, снова поставил на огонь.

— Нефед, правда, адъютант умер? — повторил я свой вопрос.

— Ну да, а то чего же не помереть? Вон денщик прибегал, сказывает, как сидел на диване, так и посейчас сидит, мертвый уж. Как господь пошлет, от смерти не уйдешь, — и он взял широкий кухонный нож и стал им переворачивать поджарившиеся с одного бока котлеты. — Теперича папаша с мамашей там долго пробудут, все перестоится.

Я постоял немного. Пламя, освободившееся из отставленной конфорки, хватало до самого колпака в трубу.

— Нефед, пойдем со мной в детскую, я шапку возьму.

— Фу ты, боже мой, тут некогда, а тут они пристают.

— Да пойдем, Нефед, пойдем, — плаксиво тянул я, дергая его за рукав.

— Ах, штоб тебя дожжом намочило, некогда досмерти... А казак тоже, боится за шапкой сходить в комнату.

— Да не боюсь я, а только пойдем со мной.

Нефед торопливо вытер руки о передник.

— Ну, пойдемте, только скорей.

Я вбежал в детскую, нашел свою шапку и через кухню и черный ход выбежал на улицу.

Квартира адъютанта была через два дома от нас. У дверей собралась кучка народу. По тротуару торопливо шли несколько офицеров с озабоченными лицами, передавая что-то друг другу. Я протолкался к входной двери и поднялся по лестнице.

Первое, что поразило меня, это беспомощные, полные безнадежности и отчаяния рыдания, глухо доносившиеся из-за стены. Кто-то там бился и плакал, и эти странные крики наполняли сердце особенным

ощущением, что теперь уж все кончено и поправить нельзя. Я постоял на площадке и послушал. В углу выступали увязанные ремнями чемоданы, дорожные мешки и саквояжи, точно кто-то собирался в дорогу, и все уже было готово. Эти приготовленные куда-то в дорогу и затянутые ремнями вещи, смерть Исакова и доносившиеся из-за стены рыдания слились в одно представление многозначительного и необыкновенного.

Я потихоньку потянул дверь, приотворил и осторожно просунул туда один глаз. В той части большого, просторного, светлого зала, где, повидимому, был диван, стояли офицеры, полковник, майор и отец вокруг чего-то, чего я не мог разглядеть из-за них, с сосредоточенными и строгими лицами, сдержанно, вполголоса разговаривая между собою о чем-то важном и таинственном. На меня никто не обратил внимания. Я пролез боком и, стараясь не стучать и сдерживая дыхание, подошел к стоявшим офицерам. Из-за их синих мундиров и красных лампас я увидел того, кто разом поселил в этом доме таинственность, строгость и как будто угрозу кому-то. На диване полусидел Исаков, с землистым оттенком лица, с неподвижно остеклевшими глазами и отвисшей челюстью. Все тело опустилось, осунулось. Всегда щеголеватый, как с иголочки, мундир теперь лежал складками, мешковато и безжизненно, и что-то враждебное и угрожающее по отношению ко всем, кто тут стоял, сквозило в его застывших и неподвижных чертах.

— Да, не знаешь, где упадешь, где потеряешь, — заговорил полковник, но совсем не тем голосом, каким он обыкновенно командовал на учениях, ругался на парадах, разносил офицеров или любезничал на балах с полковыми дамами и барышнями, а таким, каким обыкновенно говорят в церкви, когда народ соберется, а служба еще не начиналась. — В моей жизни тоже был случай, — все обратились к полковнику и со вниманием стали слушать, — да вот так же неожиданно, совершенно внезапно. Сидели за картами. Я сдавал. Мой партнер визави взял, раскрыл, «пас» говорит, закурил папиросу, потом опять перебрал карты и уронил одну. Нагнулся достать, мы дожидаемся, а он опустил голову, не поднимается и молчит. Мы к нему: «Иван Иванович, что с вами?», а он уже мертвый.

Офицеры, стоявшие возле полковника, сочувственно покачали головой, один проговорил:

— Да, действительно, ужасная смерть.

Я совершенно незаметно для себя выбрался из-за офицеров и все время, пока рассказывал полковник, со вниманием смотрел ему в рот: зубы у него были желтые, изъеденные, лицо красное и в складках.

В комнату торопливо вошел доктор, повидимому, только что приехавший откуда-то. Все расступились, давая ему дорогу. Мне хотелось посмотреть, что он будет делать, но меня увидел отец, взял за руку, вывел и велел итти домой.

Я вышел опять на площадку. Из-за стены попрежнему доносились безнадежные, полные отчаяния вопли, но теперь они уже не поражали меня: передо мной всё стояли эти остеклевшие глаза, отвалившаяся челюсть и зловещие пепельно-землистые неподвижные черты.

Из зала на минуту выглянул какой-то офицер и крикнул на лестницу: «Позвать полкового фельдшера», — и сейчас же закрыл дверь. Я сбежал вниз.

По площади бежал казак, придерживая шапку, должно быть, за фельдшером. Грязные и оборванные мальчишки возились перед входом и крадучись пытались пробраться на лестницу, пугливо разбегаясь, как только кто-нибудь там показывался.

Я остановился и строго посмотрел на них.

— Вы не смейте туда ходить, вам нельзя туда.

Мальчишки на минуту с удивлением уставились на меня.

— Пфуй, який пан пулковник... бле, бле, бле...

Они стали кривляться, дразнить меня, подбираясь все ближе и ближе. Я попятился, растерянно озираясь.

— Ах, вы!.. У меня папа казначей... не смейте! Сидоров, Сидоров, прогони их!

Сидоров, знакомый казак, сделал вид, что хочет итти к ним, мальчишки дали стречка.

Я пошел домой.

Весь этот день прошел у нас как-то необычно. Вместо двух часов, как это пунктуально соблюдалось каждый день, обедали в половине четвертого, да и то все врозь, кто как попало.

Все куда-то поразошлись, даже бонны не было. Мать на минутку только приходила домой с заплакан-

ными глазами и опять ушла. Она все время проводила около вдовы покойного. Отца не было.

Из отрывочного разговора я узнал, что жена покойного в этот день собиралась ехать за границу. Все уже было приготовлено, увязаны чемоданы, заказаны лошади. Исаков должен был проводить ее до ближайшей железнодорожной станции. Как вдруг Исакова услышала странное хрипение в зале, куда за минуту перед тем вышел муж. Она бросилась туда. Исаков сидел на диване с запрокинутой головой и остановившимися глазами; он был мертв...

Когда свечерело, я пробрался к Нефеду на кухню. Он был один и усердно чистил на полу посреди кухни кастрюли. Я тоже присел на корточки. Отчищенные места меди ярко отсвечивали на лампочке, а от Нефеда ложилась через всю комнату длинная тень, перебегая по стене при каждом его движении. Он сосредоточенно напевал себе под нос: «Гей-ей, да веселитесь хра-бры-е казаки... бье-ом, разим и слушаем приказ»...

— Нефед, отчего это адъютант умер?

Нефед перестал петь, еще несколько раз потер кастрюлю и потом, выпрямившись, откинул назад одним взмахом взмокшие волосы и вытер локтем, чтобы не запачкаться, вспотевшее лицо.

— А хто ж его знает, — проговорил он, принимаясь снова чистить, — ноньче доктор с фершалом его потрошили, стало быть, внутре у него лопнуло. Вот уж сколько дён комендантский кобель, как полуночь, сядет на плацу перед ихним домом и зачнет скулить, — к смерти стало быть.

«Комендантский кобель» был огромный, с короткими ушами и мрачным видом дог. Я вспомнил о нем, и эта собака в моем воображении сразу приобрела какую-то неуловимую связь со всеми подробностями сегодняшнего события, как будто Нефед внезапно ввел меня в новый, таинственный и неведомый дотоле мир. Мы были одни в кухне. Я придвинулся ближе к нему: длинная и уродливая тень позади него все так же лазила по стене.

У меня с Нефедом были свои особенные отношения. Нефед работал и делал свое дело, и в это время обыкновенно мы вели длинные разговоры.

— Нефед, а разве собаки знают, когда кто умрет?

— А то как же, они чуют смерть. Теперича мы с вами ночью выйдем на плац, — темь и ничего не видать, а она видит. Да. Моему родителю, царство ему небесное, как помереть, так наши собаки по ночам зачали выть. Родитель слышит, что скулят. «Подите, говорит, уймите их». Выйдешь на крыльцо, цыкнешь, они хвостом виляют, прогонишь дрючком, — только в избу, а они опять свое, чисто измучились мы тогда. Родитель в то время в преклонных годах были и говорят: «Видно, помирать мне, ребята; позовите, говорит, о. Петра». Сбегал я за батюшкой, исправил он родителя, поисповедывал, пособоровал, все как должно быть. А как нас в то время пять братьев было, и все мы жили при родителе, то они и назначили, что кому, чтоб после их смерти, как станем делиться, не тревожили их, да-а, а на другой день к вечеру преставились.

Нефед дочистил последнюю кастрюлю и стал протирать их суконкой, поблескивая медью.

— Теперича тоже свинья зачнет рыть у порога, али, к примеру, мышь в сапоге гнездо совьет, — быть покойнику.

— Как же она, Нефед, вьет, как птица?

— Зачем! Скажем, шерсти натаскает, логово выстелит.

На дворе была ночь, и в черные окна было жутко смотреть. Все события сегодняшнего дня разом приобрели совершенно другое освещение. То, что было враждебного и угрожающего в позе и выражении застывшего лица Исакова по адресу офицеров, полковника, казаков, обратилось и против меня после того, что я услышал от Нефеда. И не то чтоб мне теперь представилась возможность, что со мной может случиться то же, что с Исаковым, или даже что-нибудь хоть отдаленно подобное, но в душу закрался суеверный страх; ведь может же в одну ночь притти комендантский дог на площадь, и вдруг в темноте завыть перед нашим домом.

И я сидел около Нефеда и боялся смотреть в окна и в темноту полуотворенной в соседнюю комнату двери.

— Constan, que faites vous ici? — раздался надо мной недовольный голос бонны.

Она сердито взяла меня за руку и повела в детскую. Я инстинктивно обрадовался ей.

— Сколько раз вам говорила, чтоб не смели ходить в кухню. Знаете, мама этого не любит. И что вы там интересного находите с этими грубыми, необразованными казаками?

Бонна была сердита и недовольна, опасаясь, чтоб не вышло неприятностей из-за недосмотра за нами...

На третий день хоронили Исакова.

Были выстроены две сотни; музыканты, надуваясь, с красными напряженными лицами играли торжественно и печально, а когда тело опускали в могилу, раздались один за другим ружейные залпы.

Первое время только и было разговору, что о внезапной смерти Исакова, что это очень странно и даже ужасно, что человек жил, жил, да вдруг взял и умер, и что он умер от разрыва сердца. Мать и отец говорили о его вдове, жалели, делали предположения о том, как она теперь устроится, что, против всякого ожидания, средств-то у нее не оказывается никаких,— я слушал, но в их разговорах не было ни ответа, ни объяснений этого грозного и поражающего явления, между тем как Нефед просто и непосредственно связал его со всей внешней обстановкой, со всем, что происходило вокруг.

## ПОХОД

### I

Мне только что приснился какой-то приятный и интересный сон, и мне ужасно хотелось, чтобы он и дальше снился, но наша нянька немилосердно теребит меня, стараясь поднять и посадить на постель.

— Костя, Костичка, вставайте, уже запрягают. О, господи, да вставайте же!

Но как только она меня выпускает, я сейчас же опять падаю на подушку, забиваюсь под одеяло, закрываю глаза и стараюсь привести себя в то состояние, в каком только что перед этим застало меня разбуженное сознание, чтобы «доснился» тот приятный сон, который я видел и подробности которого сейчас же по пробуждении стерлись в памяти. Но потревоженное сознание непослушно начинает работать в другом направлении. Ощущение теплоты нагретой телом постели, уютность гнездышка, в котором я лежу свернувшись калачиком, прерванный сладкий утренний сон и жесткие нянькины руки, что не дают мне покоя, а — главное — сознание, что в конце концов меня все-таки подымут и опять надо будет сидеть в этом гадком экипаже и целый день ехать шагом за полком — все это вместе не дает мне привести себя в то состояние, в котором мне было так приятно.

— Нянечка, милая, ну хоть немножечко, чуть-чуть, одну минуточку, я сейчас встану.

— Да нельзя, вставайте, вставайте, нельзя же, ведь мамаша ждут.

— Ну, я сейчас, ей-ей, сейчас... ну, встану, отойди только к двери.

Нянька с сердцем отходит и начинает одевать маленького брата и сестренку, которые сидят на груде подушек, уложенных вместо кроватки на сдвинутые среди комнаты скамьи, и протирают ручонками заспанные глаза.

Как только нянька отошла, я сейчас же юркнул под одеяло, высоко подбросил его ногами, чтобы оно легло надо мной пузырем, закрылся с головой и стал усиленно дышать, чтобы нагреть воздух в образовавшемся надо мной пустом пространстве. Про свой сон я уже забыл, мне просто хотелось поваляться в постели. Впечатления обычно начинающегося походного утра стали толпиться в голове. Мне представилось, что теперь уже подвинули к крыльцу длинный фургон, в котором мы ехали, и денщики укладывают багаж и сейчас заберут подушки, на которых я лежу, и что Нефед, наверное, подал самовар, и казаки навесили лошадям овес. Потом я вспомнил командира пятой сотни, толстого, низенького офицера с несоразмерно развитым животом и в то же время проворного, юркого и веселого. Он постоянно дразнил меня и шалил со мною. Вспомнил, как раз он посадил меня с собой на лошадь, и я на ходу чувствовал позади себя его большой живот. И как только я вспомнил про это, я в то же мгновение радостно вспомнил, что ведь с сегодняшнего именно дня отец разрешил мне ехать вместе с полком уже не в фургоне с матерью, братом и сестрой, а верхом на Калмычке, небольшой буланой лошади, которую он незадолго перед тем купил. И как только я вспомнил про Калмычка, я в ту же секунду припомнил и тот сон, что снился мне и который я забыл. Мне именно и снилось, будто я еду верхом на Калмычке вместе с казаками.

Я уже сделал движение, чтобы сбросить с себя одеяло, поскорее одеться и побежать посмотреть, не оседлали ли Калмычка, но в это время подошла нянька, и я опять зарылся в подушки, и хоть мне душновато было под одеялом, я не шевелился и притворился спящим. Нянька без церемонии стащила одеяло и, поддерживая меня одной рукой, другой торопливо и сердито старалась надеть на меня штаны. Я же умышленно сгибал ноги, точно сонный, так что она никак не могла справиться.

— Да что же это вы, господи, ведь мамаша веле-

ли... пойду, пойду сейчас, скажу, что не хотите одеваться. Вон Сусанночка и Алеша какие умнички, оделись, а вы что это? Пойду сейчас, скажу.

Брат и сестренка, действительно, были одеты и уже играли. Мне и самому хотелось поскорее встать и выбежать на двор, но какой-то злой бесенок шептал мне, чтобы я не одевался, что нянька теперь злится, что она хочет нажаловаться на меня и что она нарочно похвалила Сусанну и Алешу, чтобы заставить меня скорее одеться, и я опять зарылся в подушки.

Нянька потеряла терпение и с сердцем встряхнула меня. Я вырвался у нее и заплакал, стараясь громче всхлипывать, чтобы услышала мать.

— Уйди, уйди... не буду одеваться, уйди от меня!

— Ну, чего же плачете? — говорила нянька сдержанным, уже заискивающим голосом, подавляя злобу, но я продолжал плакать, пока не вошла мать.

— Что у вас тут! Ты чего плачешь?

Я всхлипывал, ничего не отвечая.

— Ты что плачешь? — переспросила мать, заботливо наклоняясь.

— Да они вот не хотят одеваться, — проговорила нянька, натягивая мне чулки.

Я уже ничего не отвечал и не оправдывался, желая показать, что меня обидели, и только утирал слезы.

— Вечно, Анисья, ты с ребенком что-нибудь сделаешь. Ведь сколько раз я тебе говорила...

— Да ей-богу, барыня, я только разбудила их и говорю: надевайте шаровары, а они стали плакать.

Нянька передавала дело несколько иначе, и мне приятно было, что она боится матери и принуждена лгать. Но мне хотелось, чтобы ей досталось побольше.

— Мама, она меня побила.

— Ну-ну, одевайся, одевайся, — проговорила мать, не совсем доверяя моим словам, чувствуя, что и я, вероятно, не совсем прав, и не желая в то же время бранить при мне прислугу.

Мне сделалось немножко неловко и обидно, что няньку не выбранили хорошенько за меня, и я молча стал надевать свои сапожки.

Как только мать вышла, мне захотелось поскорей забыть всю эту неприятную историю с нянькой. Я снова вспомнил, что я сегодня поеду верхом на Калмычке, и мне опять сделалось весело.

II

Я побежал в другую половину хаты, где мы квартировали, попросил Нефеда, нашего денщика-повара, полить воды, быстро умылся и, освеженный холодной колодезной водой, прибежал к матери.

Она сидела за простым белым крестьянским столом, на котором шумел начищенный походный самовар. Кругом на полу, на лавке, на складном стуле стояли корзины, лежали мешочки и сумочки с дорожными припасами и какие-то свертки из синей сахарной бумаги. Мать разливала чай и то-и-дело доставала из корзин то то, то другое или торопливо рылась в них и потом вдруг вспоминала, что то, что она искала, уже вынуто и лежит на столе. В хату беспрестанно входили и выходили денщики, вынося подушки, сундуки, узлы. Нянька суетилась около детей, которых усадила к столу, нагромоздив на лавках подушки, чтобы было не низко сидеть, и поила их чаем. Маленькая четырехлетняя сестренка что-то рассказывала, размахивала ручонками и все не хотела пить чай, а нянька уговаривала ее и обещала, что они сейчас пойдут «тпруа» и их повезут лошадки.

Я подошел к матери, сказал: «с добрым утром, мама» и поцеловал у нее руку. Радостное и оживленное чувство наполняло меня в виду предстоящей езды верхом на Калмычке, и мне хотелось особенно приласкаться к ней, но заботливое выражение ее лица и торопливость, с какой она старалась поскорее окончить чай, чтобы не опоздать к выступлению, удержали меня.

— Пей, Костя, сейчас и выезжать будем.

— Мама, вы мне дайте булку с маслом, а чаю я не хочу.

— Ну вот, еще что. А потом выедем, голодный будешь! Садись, пей.

Я сел и стал торопливо глотать горячий и сладкий чай, чтобы поскорее отделаться и побежать к Калмычку.

Отца не было. Он служил в полку казначеем и большую часть времени проводил у полковника. Они вместе и уезжали на следующую станцию вперед полка. Мать между тем распоряжалась, спешно отдавая приказания: то надо было взять свежего молока на

дорогу и вымыть хорошенько бутылки, в которых оно бы не прокисло, то воды захватить, то сварить детям яиц всмятку и уложить их в гарнец с овсом, — и постоянно раздражалась, потому что суетившаяся прислуга забывала сделать, что приказывали, или делала не так, как было надо.

Это повторялось каждое утро вот уже две недели с тех пор, как мы присоединились к полку, и я привык ко всему этому, но сегодня вся эта суета показалась мне необыкновенно мелочной и совершенно не нужной. Они все суетились и заботились о каком-то молоке, яйцах и как будто не знали, что я сегодня должен ехать на Калмычке.

Наконец, я, поминутно обжигаясь, кое-как допил свой чай и, насилу отбившись от стакана молока, который мать непременно хотела заставить меня выпить, выбежал из хаты.

## III

Недалеко от дверей действительно стоял наш неуклюжий длинный фургон, обтянутый черной кожей. Денщики выносили из хаты чемоданы, узлы, подушки и подавали в фургон; там их подхватывал Нефед и, стоя на коленях и согнувшись всей своей огромной фигурой, быстро и ловко укладывал и прилаживал по местам.

Я взлез на переднее колесо и заглянул внутрь.

— Нефед! а я сегодня на Калмычке поеду.

Он торопливо всунул между узлами бывший у него в руках мешок и повернул ко мне свое вспотевшее, гладко выбритое лицо с рыжеватыми усами и с синевшим подбородком, по которому упрямо пробивалась из-под кожи жесткими иглами щетина.

— О! Али папаша позволили?

— Позволил. Вчера при мне просил майора, чтобы он велел казаку оседлать. Я с майором и буду ехать.

— Ай да молодцы! теперича настоящими казаками будете. Ну-ка, покажите им всем, как донцы ездят.

Когда Нефед сказал это, мне представилось, что я и на самом деле кому-то покажу что-то, и я торопливо соскочил с колеса, с нетерпением ожидая, когда это все будет готово, но вспомнив, что я его хотел спросить о Калмычке, опять забрался на дышло.

— Нефед, а Калмычок где?
— Поить с упряжными повели.

Я опять спрыгнул на землю и побежал на край деревни, чтобы встретить с водопоя Калмычка. Здесь кучками стояли казачьи лошади и громко жевали свою обычную дачу овса, мотая головами и высоко вскидывая торбы, чтобы захватить со дна последние зерна. Казаки суетились вокруг, разбирали седла, оправляли потники. Когда же лошадь, поев овес, неподвижно стояла, понурив голову, они быстро сдергивали торбу и начинали взнуздывать, задирая ей морду и с силой втискивая между зубов железные удила, которые она потом долго жевала, стараясь выбросить языком. Щеголеватые, выхоленные, успевшие уже за поход раздобреть вахмистры, с заломленной набекрень фуражкой, похаживали между рядами и строго поглядывали кругом с сознанием своей начальнической силы и достоинства, делая то тому, то другому из казаков замечания в весьма сильных выражениях.

— Никак, седлать? — проговорил возле меня маленький шустрый казачок, поднимая седло и расправляя стремена, чтоб вскинуть его на лошадь.

Недалеко на пригорке, действительно, показался трубач. Я побежал к нему. Он несколько раз откашлялся, вытер ладонью усы и, слегка раздвинув их, плотно приложил к устью трубы сжатые и в то же время как-то подобранные губы, как будто он с усилием старался удержать невольную улыбку, и, напряженно надув щеки и слегка покраснев, он заиграл. Он поворачивался то в ту, то в другую сторону, и далеко по полю, и за деревней, и над полком было слышно, как звучала медная труба.

— Вса-а-дники, дру-ги, в поход собирайтесь, с бо-о-дрым ду-хом хра-бро сра-жаться... — играл трубач без слов, но у меня сейчас же вместе с мотивом возникало и содержание.

Далекий отклик резко звучавшей трубы, говор, смешанные восклицания, звук цеплявшихся друг за друга стремян, полк, готовившийся к выступлению, и тихое безоблачное июньское утро — все это слагалось в душе в особенное, непривычное настроение. Мне стало казаться, что я сегодня не просто поеду верхом на Калмычке, но как будто собираюсь со всеми на какое-

то торжественное предприятие, и это имеет особенное значение для всех, и все это чувствуют — и хлопы маленькой польской деревушки, и казаки, проворно седлающие коней, и офицеры, которые теперь повыходили из квартир и отдавали приказания строиться полку.

Трубач доиграл сигнал, перевернул трубу и подержал ее так с секунду, пока из нее тонкой струйкой не выбежала слюна, и потом пошел к своей лошади.

Я тоже сбежал с пригорка, но Калмычка все не было. Я вернулся к фургону. Оказывается, лошадей уже привели с водопоя и уже запрягли. Калмычка взял уже денщик майора и седлал вместе с майорским конем.

Я опрометью пустился туда. Около майорской квартиры собрались офицеры. Недалеко одна за одной строились в колонну сотни, покрытые лесом черных пик.

## IV

— Э, Костя! ты куда? — закричал толстый и низенький командир пятой сотни, схватывая меня подмышки и приподняв немного, так что ноги мои болтались в воздухе.

Мне неприятно было, что он меня схватил и, главное, поднял на воздух; во-первых, это напомнило, что я еще совсем маленький и что со мной обращаются, как с мальчишкой, и, во-вторых, моя беспомощно висевшая в воздухе фигура, наверное, была смешна. Но я все-таки смеялся, брыкаясь и стараясь вырваться.

— Пустите, я сегодня верхом поеду на Калмычке. На моем Калмычке. Папа мне купил, чтобы я на нем верхом ехал вместе с полком.

— Э, вот как! Так ты, значит, служишь. Пойдем, пойдем же!

И он меня потащил к офицерам.

— Господа, вот вам для пополнения комплекта.

— Что такое?

— Да вот — и лошадь есть — казак Потемкинской станицы.

Офицеры окружили меня.

— Ко мне, Костя, в сотню, в урядники живо произведу, а провинишься — на часы к ящику.

— А я не стану, я не стану, — упрямо твердил я, желая попасть в тон шутки и показать, что я понимаю, что это шутка.

— Ну, как же не станешь? — на гауптвахту.

— Да не стану, да не стану.

Мне было в одно и то же время и приятно, что все офицеры так занимаются мною, и досадно, что они подшучивают и подсмеиваются над тем, что я поеду верхом.

Между тем вошел майор. Он поздоровался с теми из офицеров, с которыми еще не виделся, и подошел ко мне. Я часто встречался с ним и привык к нему и все-таки каждый раз, как я взглядывал на него, мне бросалось в глаза его широкое рябое лицо монгольского типа с крошечными глазками, и при этом я вспоминал, что казаки говорят, будто он раскольник.

— Ну, здравствуй, Костенька, — что же не садишься на своего Калмычка? Сейчас и выступать будем.

И опять, когда он говорил, у меня мелькнуло в голове, что он рябой и раскольник.

Денщик подвел майору лошадь, а потом мне Калмычка. В это время меня позвали к матери. Сердце у меня забилось от тревоги и страха, — что как мать раздумала и не позволит мне ехать на Калмычке? Сдерживая дыхание, подбежал я к фургону. Мать, сестренка и нянька уже расположились внутри, посреди подушек, корзин, узелков, а шестилетний Алеша забрался на козлы к Тимофею, флегматично крутившему цыгарку с корешками, и, ухватив обвитую тонким ремнем ручку кнута, размахивал им над лошадьми, беспрестанно задевая кучера по голове, шлепая по кузову фургона и причмокивая губами. Мать позвала меня и стала говорить, чтобы я ехал как можно осторожнее, подальше от шоссейных канав и казачьих лошадей, чтобы отнюдь не отъезжал ни на шаг от майора и, боже сохрани, не бил бы Калмычка, который от этого может поскакать. У меня отлегло на душе, когда я увидел, что непосредственной опасности нет, и с нетерпением ждал, когда мать договорит. И когда она кончила, я торопливо уверил ее, что «я так и буду ехать около майора, так и буду ехать, и уж так осторожно», и когда она отпустила, задыхаясь пустился назад.

Я уже подбежал было к денщику, чтобы он поса-

дил меня в седло, так как сам еще не мог взобраться, да вдруг вспомнил, что по правилу на коня надо садиться непременно с левой стороны, но от радостного волнения в первое мгновение никак не мог вспомнить, где у меня правая и левая сторона, и, сложив незаметно пальцами правой руки крест, наконец, сообразил и подошел с противоположной стороны. Но так как я стоял к лошади лицом, то оказался у нее не с левой, а с правой стороны.

— Отсель заходите, подсажу, — проговорил казак, и я, сконфуженный, обошел лошадь, точно сделал что-то очень неприличное или смешное, и кое-как уселся в седле.

Офицеры тоже сели на лошадей и отъехали к своим частям. Полк далеко вытянулся за деревню узкой сплошной колонной, разрываясь лишь по сотням и чернея пиками. Все было готово к выступлению. Оставалось лишь вынести знамя, находившееся тут же в помещении полковника. Скомандовали: «Смирно!» Потом раздалась общая команда:

— Пики в руки, шашки вон!

И вдруг точно лес колыхнулся, свободно мотавшиеся за локтем черные древки пик встали прямо над полком, сверкнув на солнце остриями, и блеснули выдернутые из ножен шашки, издав характерный металлический звук.

Трубачи заиграли марш.

Вынесли знамя, свернутое и плотно обтянутое черным чехлом.

Снова раздалась команда. Застучали неровно вдвинутые в ножны шашки, и опять, покачнувшись свободно, повисли за спиною на ремнях длинные пики.

Тогда майор подобрал поводья коня и хриплым, точно надорванным, и в то же время необыкновенно резким голосом скомандовал:

— Спра-ва по шести шагом... — он на секунду приостановился, сердито оглянув весь полк, — марррш!! — крикнул он таким голосом, словно у него оборвались голосовые связки. И, нахмурившись и круто повернув коня, он спокойно пустил его по дороге, точно принял какое-то бесповоротное решение и ему теперь уж было все равно, что там ни делалось за спиной.

В ту же секунду лошади переднего ряда, на мгновение замявшись на месте, дружно тронулись вперед,

мерно покачивая всадников, мотая головами и нетерпеливо забирая поводья, и движение, передаваясь по рядам, пробежало по всему полку, захватив последних казаков, стоявших в хвосте уже за деревней.

Я видел, как за полком двинулись фуры, потом обозные повозки, потом офицерские фургоны, а между ними и наш.

Мой Калмычок тоже попросил повода и пошел во главе полка, рядом с лошадью майора, своей ровной, мягкой поступью.

И как только я почувствовал движение своей лошади, радостное и торжественное настроение опять охватило меня. Но первое время к этому настроению примешивалось неясное чувство стеснения; мне все казалось, что теперь все на меня смотрят, что странно видеть среди офицеров и целого полка казаков маленького мальчика на лошади, что я не умею сидеть на коне и не так, как следует, держу поводья, и все это замечают.

Полк между тем, выйдя из деревни, с четверть версты прошел проселочной дорогой, подымая целые облака пыли, потом свернул на шоссе. Люди весело выбирались на широкую торную дорогу, и по убитому щебню звонко застучали сотни кованых копыт.

Офицеры выехали вперед и свободно поехали вместе, разговаривая, перекидываясь шутками и остротами.

Мой приятель, командир пятой сотни, Сербин, попридержал свою лошадь и, опершись рукой о заднюю луку, повернулся в полоборота и крикнул зычным голосом:

— Песенники, вперед!

«Песельники вперед, песельники вперед», — побежало веселым говором по всем рядам.

Человек тридцать или сорок казаков там и сям выбрались из полка и, съехав в сторону от шоссе, рысцой обогнали его и поехали впереди.

— Ну-ка, веселей, — сказал Сербин, махнув рукой.

Молодой приземистый казак на рослой гнедой лошади, сжав ей бока коленами, выдвинулся вперед и, поправив шапку и приподняв руку, на которой свободно висела у кисти плеть, затянул высоким и необыкновенно сильным тенором что-то протяжное и тягучее, глядя прямо перед собою и как-то смешно раздвинув рот в ширину, и потом вдруг повернулся

к казакам и резко и неожиданно оборвал, точно ему перехватили горло. И в ту же секунду подхватили казаки плясовую песню, ударили в бубен и тарелки, и, мелодично вибрируя, зазвенел стальной треугольник.

И далеко через колосившиеся уже поля откликнулось эхо казацкой песни.

Потом казак, управлявший бубном, быстро приложил к нему большой палец и искусно повел по туго натянутой коже, и бубен зажужжал и загудел, словно то ветер заходил, крутя опавшим листом.

Песня на мгновение упадала и сейчас же подхватывалась молодыми, необыкновенно высокими голосами, почти фальцетами, не выговаривавшими даже слов: сквозь переливы где-то на самых верхних нотах слышно только было: э-э... оо-э... А бородатые, оканчивавшие уже срок службы казаки густо, дружно и отчетливо выговаривали слова, точно поддерживали молодых, которые рвались слишком высоко.

При первых звуках грянувшей песни лошади насторожили уши, чутко поводя ими, и шли на туго натянутых поводьях. Люди весело и беззаботно поглядывали вперед, от времени до времени привставая на стременах, чтобы оправиться в седле. Офицеры громко разговаривали, наклоняясь друг к другу и повышая голос, чтобы не дать заглушить себя, и усиленно жестикулировали.

И я, подзадориваемый песней, радостно подталкивал коленами Калмычка, точно спешил и хотел заставить его итти скорее, и в то же время сейчас же натягивал поводья, опасаясь, как бы он и в самом деле не вздумал поскакать.

Казаки, пропев песню, круто и разом обрывали ее и, дав себе несколько времени вздохнуть и хорошенько прокашлявшись, дружно подхватывали новую, и подголоски опять заливались, выделывая самые хитрые колена, бубен жужжал и гудел, как ветер в трубе, а тарелки дребезжа звенели, словно битая посуда.

Мы уже шли несколько часов. Солнце подымалось все выше и выше, и начинало припекать. Лошади нетерпеливо отмахивались от оводов и мух.

Прямо от нас все так же уходило шоссе. На перекрестках от перебегавших его проселочных дорог стояли огромные деревянные кресты и маленькие часовенки, которые можно встретить на каждом шагу

по всей Польше. Справа к самой канаве подходили перелески густо синевшего в полуверсте соснового леса; слева жаркий ветерок легкой зыбью пробегал по клонившейся тяжелевшим колосом пшенице, которую местами на большие пространства сменяла темная зелень картофеля. Там и сям медленно отходили назад разбросанные между возделанными полями убогие деревушки.

Песенники, утомившиеся и осипшие, разъехались по своим сотням. Офицеры разбрелись по шоссе и частью ехали за канавами. Всеми, видимо, овладевало понемногу то обычное настроение долгого пути, когда знаешь, что до места еще далеко, ускорить движение нет возможности, а внешняя обстановка с однообразием и постоянством повторяется изо дня в день.

Я понемногу тоже освоился с новизной своего положения; первое чувство радости и волнения мало-помалу улеглось, и я уже спокойно покачивался в седле и рассеянно смотрел на мелькавший у самой головы Калмычка круп майорской лошади, на широкую, немного сутуловатую спину майора, на шоссе, медленно уходившее назад из-под ног моего Калмычка. Окружающая обстановка и мое особенное сегодняшнее положение уже не поглощали внимания. Стала чувствоваться усталость, и мысли неопределенно бродили, ни на чем не останавливаясь.

Полк шел все дальше и дальше.

— Господа, пристанище! — крикнул вдруг ехавший впереди Сербин, указывая сложенной плетью по направлению шоссе: в стороне от него из-за сосен показалась одинокая корчма. И в ту же секунду, пригнувшись, он пустил коня в карьер. Несколько молодых офицеров марш-маршем понеслись за ним.

Мой Калмычок насторожил уши и поднял голову, внимательно следя за скакавшими лошадьми. Я испугался, как бы он тоже не пустился следом, и потянул поводья — он остановился; я затолкал его коленами, и когда он пошел было рысью, снова потянул, и он опять остановился. Майор посмеивался, прищурив свои маленькие глазки, и я не знал, смеется ли он надо мной или над скакавшей молодежью.

Оставшиеся офицеры с интересом следили за импровизированной скачкой, обрадованные возможностью хоть чем-нибудь развлечься.

— Сладков-то, Сладков забирает; смотрите, смотрите, как насел!

Огромная серая лошадь Сладкова неуклюже и как будто с усилием выбрасывала свои длинные ноги и, действительно, быстро шла к скакавшему впереди Сербину, оставив позади других. Сербин пригнулся всей своей круглой фигурой и, подняв плеть, видимо изо всех сил старался не дать себя обойти.

Офицеры стали слезать возле корчмы.

Остановили и полк. Скомандовали спешиться. Выпростав пики и опираясь ими о землю, лениво слезали с лошадей казаки и потом долго вытягивали и расправляли одеревеневшие в одном положении ноги. Облегченные лошади отряхивались и фыркали. Мне с седла виден был весь спешившийся полк!

— Шаго-ом ма-арш!

И звук шагов многих сотен ног неровным шумом повис над двинувшимся полком.

Офицеры, майор и я рысцой подъехали к корчме. У изгороди стояли привязанные лошади. Следовавший за нами денщик ссадил меня. Я едва не упал, до того одеревенели с непривычки ноги. Я испытывал такое ощущение, как будто ноги у меня стали кривые.

Мы все вошли в корчму. Грязные стены и пол, закопченный потолок, зеленого стекла бутылки и бутылки на полках, боченок с краном в углу и тяжелый воздух, пропитанный спиртным запахом, — все это производило неприятное впечатление. Тут же на полу в углу комнаты сидели две еврейки и, держа между коленами живых гусей, выщипывали из них пух. Каждый раз, как они выдергивали щепотку перьев и пуха, несчастные птицы громко вскрикивали, вытянув шеи и глядя на окружающих своими добрыми круглыми глазками. Они были почти совсем голые, и по вспухшей и покрасневшей коже капельками выступила кровь. Старая, худая и желтая еврейка в лохмотьях, не обращая внимания на вошедших, продолжала свое дело, другая же, молоденькая и хорошенькая, улыбаясь и немножко конфузясь, искоса посматривала на офицеров и торопливо пощипывала своего гуся.

Офицеры потребовали водки и пива и выпили по одной, по две рюмки, заедая селедкой, колбасой и солеными огурцами с возбужденным аппетитом про-

голодавшихся в дороге людей. Корчмарь, еврей-выкресток, с подобострастным и суетливым видом подавал на грязные столы рюмки, бутылки и закуску. Рюмки он предварительно торопливо вытирал за стойкой полой своего засаленного кафтана незаметно для других. Я это видел, но почему-то не решался сказать об этом.

— Ну, а ты что же, Костя? — обратился ко мне Сербин. — Ну-ка, катай!

И он налил мне полстакана пива. Я было стал упираться, но он таки заставил; я сделал над собой усилие и выпил. Когда прошло первое ощущение горечи, я почувствовал, как побежала по всему телу приятная теплота и голова слегка закружилась. Сербин нарезал мне сыру и колбасы, и я, примостившись возле окна, с аппетитом стал завтракать.

По шоссе мимо шли с пиками на плечах казаки, ведя в поводу лошадей, и в окно доносился тяжелый гул шагов.

Офицеры, подзакусившие и подвыпившие, громко и весело разговаривали и курили. Синеватый дым легкими слоями ходил по всей корчме. Говорили о Стопнице, маленьком еврейском местечке, куда назначен был наш полк, о «жидах», о фуражных суммах, о провиантском довольствии, о том, как и где будут сосредоточены казачьи войска в случае войны. Кто-то припомнил и рассказал несколько эпизодов из последнего польского восстания.

Человека три-четыре из молодежи, покуривая папиросы, смеялись, балагурили и шутили с красивой еврейкой.

— И не стыдно это тебе так мучить? — говорил молоденький подхорунжий, улыбаясь и поминутно стряхивая с папиросы пепел.

Еврейка тоже улыбалась и, слегка потупившись, продолжала щипать гуся.

— Як-же-ж, пане, пух продаем и перья.

— А если б тебя так вот взять да выщипывать волосы!

Она засмеялась.

— Ой, так не можно. И перья, и пух сызнова вырастают.

И она поправила свои тяжелые черные косы, выбившиеся из-под платка.

Офицерик затянулся и искусно стал пускать дым колечками.

— Тебя как зовут?

Девушка снова засмеялась и больше наклонилась над своим гусем.

— Ну, как же зовут?

— Дебора.

— Поедем, Дебора, с нами в Стопницу.

Она ничего не отвечала.

— Ну что же? Тебе весело там будет.

— Дебора не поедет, не поедет, — проговорила другая еврейка.

— Тебя не спрашивают, старая ведьма.

Дебора между тем, выщипав последний пух, спустила гуся на пол. Все дружно расхохотались. Бедная птица была совершенно голая и, не зная, что это с ней сделалось, неуклюже и с удивлением топталась на одном месте, подергивая крыльями; потом, закинув назад шею, стала перебирать клювом горевшую кожу.

Офицеры еще покурили, побалагурили и стали расплачиваться и выходить. Я рад был выбежать на свежий воздух из душной, пропитанной табачным дымом корчмы.

Калмычок мой стоял далеко у изгороди и лениво махал хвостом. Я подбежал к нему и погладил и потрепал его по шее. Я попросил денщика посадить меня в седло. Офицеры тоже садились.

— Ну, Костя, смотри теперь, держись, держись, — крикнул мне Сербин.

Я беззаботно и весело кивнул ему головой и, поправившись, сел немного боком в седле, как сам Сербин, но колена у меня слегка дрожали.

Все поехали крупной рысью, чтобы догнать полк, который ушел вперед с версту. Мой Калмычок тоже пошел рысью, прижав уши и потряхивая гривой. Я знал, что на рысях надо привстать на стременах, но первое мгновение не сообразил, и меня до того стало подкидывать, что я едва не свалился.

— На стременах! — крикнул мне Сербин.

Хоть я и испугался и растерялся немного в первое мгновение, все-таки мне было досадно, что не умел сразу поехать рысью, и я кое-как привстал на стременах, держась рукой за седло.

Полк стал приближаться к нам, особенно ехавшие

в хвосте обозные повозки и фургоны. Я крепко держался за седло и чувствовал, как подо мной быстро и легко бежал Калмычок. Я еще издали заметил наш фургон. И когда мы нагнали и поровнялись с ним, нянька, маленький брат, Нефед и Тимофей-кучер смотрели, как я вместе с офицерами быстро ехал мимо них. Матери не было видно, она сидела в глубине фургона. Нефед что-то говорил мне и указывал, но из-за шума колес и топота я не мог разобрать. Мне вспомнилось, как он утром говорил, чтобы я показал, как ездят донцы, и я, подтолкнув коленами Калмычка, молодцевато раза два шлепнул его по шее концами поводьев.

Когда проехали обоз и нагнали полк, ехавший впереди хорунжий Богучаров стал кричать строгим и резким голосом, каким обыкновенно отдают команду: «право-лево, право-лево...» И казаки, теснясь и отводя лошадей, расступились на обе стороны, оставляя проход, и сейчас же опять смыкались. Я чувствовал, что на меня все смотрят.

Все время, пока мы ехали рысью, горячий ветер жег мне колена, но я не обращал внимания; когда же мы были уже в голове полка, случайно наклонившись, я с изумлением и ужасом увидел, что штаны мои от тряски и быстрой езды выдернулись из сапогов и сбились вверх по ноге, а из-за коротеньких рыжих голенищ сиротливо выглядывали покрасневшие голые колена. Я употреблял все усилия спустить штаны, но на ходу ничего не мог сделать. Я теперь только сообразил, что Нефед на это мне и указывал, когда мы ехали мимо фургона. Только когда офицеры, выехав вперед полка, спешились, и меня ссадил с седла денщик, я оправился и заткнул штаны в сапоги.

Эти проклятые штаны испортили все мое расположение духа. Очевидно, я с голыми коленами проехал через весь полк. Кроме того, я таки устал и разбился от быстрой езды и теперь уныло шел, ведя в поводу Калмычка.

Солнце перевалило уже за полдень; было душно и жарко. В горле у меня пересохло, лицо горело, мы все шли и шли. Иногда кто-нибудь из офицеров говорил: — Костя, ты бы сел, — устал ведь? — И я каждый раз быстро и весело отвечал: — Нет, я ничуть не устал, — тащился дальше, и думал с тоской: «Господи, да когда же это сядут!»

Калмычок шел позади, мотая головой и дергая за повод, который я держал в руках.

Наконец, в одну из минут, когда я меньше всего ожидал, чтобы кончились мои страдания, и, ничего не видя, не слыша и ни о чем не думая, совершенно автоматически передвигал ноги, полк остановили и стали садиться.

И опять по каменистому шоссе звонко застучали подковы, и по обеим сторонам медленно отходили назад поля, засеянные картофелем, и перелески кончавшегося леса.

Солнце стало уже жечь косыми лучами, когда вдали показалась деревня, где полк должен был остановиться, и через полчаса мы входили в нее.

Знамя снова внесли в помещение полковника, поставили часовых и разместили по местам сотни.

Меня встретил отец. Я стал торопливо рассказывать ему, как ехал всю дорогу верхом, как мы скакали почти во весь карьер, и что я ничуть не устал.

— Ну, молодец, молодец, — говорил он, трепля меня по щеке, и, взяв за руку, повел в хату, которую нам отвели под квартиру.

Возле стоял наш фургон, денщики выгружали его, а кучер выпрягал лошадей.

Нефед с маленьким хозяйским сыном гонялись по всему двору за хохлатой курицей. Она отчаянно кричала и, распустив крылья, бегала по двору, взлетая на телеги, на навозные кучи, на огорожу.

Мы вошли в хату. Крошечная комнатка с низким потолком и подслеповатыми окнами вся была заставлена и завалена подушками, узлами, чемоданами. Мы кое-как пробрались между ними. Маленькая сестренка отчаянно кричала на руках у матери. Мать качала ее, прижав к груди и наклоняясь взад и вперед:

— Да не плачь же, детка моя, что ты, что ты, моя дорогая. Анисья, давай же сюда скорей!

— Сичас, барыня, — и нянька продолжала торопливо рыться в узлах, доставая пеленки и детское белье.

Сусанна сидела возле нее на чемодане и, копаясь в носу, тоже хныкала с таким выражением, как будто все ее забыли и покинули; а Алеша, взобравшись на сложенные в кучу подушки, съезжал оттуда на спине.

— Что она у тебя кричит? — проговорил отец, подходя к матери.

— Я сама не знаю. Всю дорогу спала, а приехали, как закатилась, да закатилась, ничего не сделаю.

— Может быть, Ивана Ивановича прислать?

— Ах, оставь, пожалуйста, с своим Иваном Ивановичем, — проговорила раздраженно мать, — ничего он не знает, у ребенка просто желудок, — и она вместе с нянькой стала пеленать сестренку, а та на минуту замолкала и потом опять начинала необыкновенно пронзительно кричать, как будто нарочно хотела досадить кому-то.

Сусанна тоже все хныкала, с усилием выдавливая слезы. Отец взял ее на руки и велел позвать Нефеда. Через минуту он стоял, вытянувшись у дверей своей огромной фигурой.

— Чего изволите, вашблагородие?

— Ты что делаешь?

— Обед готовлю, вашблагородие.

— Там успеешь, разбери-ка тут.

— Слушаю, — и он, ловко и быстро вскидывая набитые чемоданы и огромные узлы, стал расставлять их вдоль стены.

Комната приняла несколько более уютный вид.

Я чувствовал себя нехорошо, стучало в висках, и голова слегка кружилась. Мне хотелось сказать об этом матери, но почему-то, подойдя к ней, я вместо этого сказал:

— Мама, я есть хочу.

Сусанна, как только услышала это, сейчас же слезла с колен отца, ковыляя, подошла к матери и стала хныкать, теребя ее за платье:

— И я хоцу.

Мать велела няньке налить нам по стакану молока, но оно, оказалось, прокисло. Сусанна стала плакать и капризничать, я тоже сделал кислую физиономию: «чего же это такое, я есть хочу».

В сущности, я не был голоден, но начинающееся недомогание и болезненное ощущение усталости порождали какую-то неудовлетворенность и неопределенные желания. Я и сам не знал, чего мне нужно.

Нянька побежала доставать молока, а отец взял Сусанну на руки и, уговаривая, стал ходить по комнате, разыскивая затерявшийся свой любимый камышевый мундштук, из которого он постоянно курил. Маленькая сестренка успокоилась, мать кормила ее грудью,

и она громко чмокала губками. Алеша, притаившийся в уголке, подозрительно хрустел чем-то на зубах. Отец подошел к нему.

— Ах, ты, поганец! это ты что наделал?

Оказалось, он подобрал где-то выроненный мундштук и преспокойно разгрыз его. Отец вспылил:

— Ты что это наделал? Как ты смел! — и, наклонившись, он взял его за ухо.

Тот заревел благим матом и, пробравшись на четвереньках под рукой отца, пустился к матери.

— Чорт знает что такое, положить ничего нельзя! А все ты, — разгорячившись, говорил отец, обращаясь к матери, — ну, как ты за ними смотришь, какие они у тебя выйдут?

Алеша, спрятавшись за стулом матери, выглядывал оттуда и продолжал плакать. Сусанна присмирела и испуганно смотрела на Алешу своими большими глазками.

Нянька принесла молока и налила нам по стакану.

— Я не хочу, — проговорил я усталым и упавшим голосом.

Отец опять рассердился.

— Это что? То есть ему давай, то не хочет.

Дорожная сутолока, теснота и капризничавшие дети — все это раздражало его. Большую часть времени он проводил у полковника и с офицерами, и, когда бывал в семье, любил, чтобы все было в порядке, чисто и дети вели себя скромно, и все это знали и старались, чтоб это так было.

— Ну, я к полковнику на минутку, — сказал он, беря фуражку.

— Только, пожалуйста, никого не приводи, — проговорила мать с таким выражением, как будто знала, что он непременно приведет кого-нибудь.

Отец ушел. Лицо у меня горело. Я подошел к матери и положил голову ей на колени.

— Ты что, Костя? Тебе нехорошо? — Она положила руку мне на лоб. — Голова горячая. Анисья, раздень его и уложи на подушки на лавке!

Нянька торопливо раздела меня и уложила. Некоторое время я слышал, как она суетилась, отпирала чемоданы и что-то доставала, возилась в углу с походной люлькой, как потом они с матерью стали говорить шопотом, чтоб не разбудить заснувшую се-

стренку, как Сусанна громко заплакала и сейчас же опять замолчала, когда мать ей дала что-то. Потом мне стали представляться общипанные гуси, но не такие, каких я видел, а какие-то особенные. Понемногу я терял ясность представления того, что совершалось кругом, и наконец совсем забылся.

Когда я проснулся, потухающая заря слабо светилась в окнах. Я долго не мог разобрать, где я и что со мною. Некоторое время даже казалось, что это начинается утро; неужели же я проспал вечер и всю ночь?

В комнате было накурено, и громко разговаривали. Я прислушался и узнал голос Сербина и еще нескольких офицеров. Сербин что-то рассказывал и смеялся, отец тоже смеялся. И мне припомнился весь сегодняшний день, спешившийся полк, офицеры, шоссе, корчма. Мать разливала чай, позванивая ложечками о стаканы, и, заметив, что я проснулся, подошла ко мне.

— Ну, ты что, Костя? Голова не болит?

— Нет, мама, ничуть не болит, — проговорил я, слезая с лавки, и при этом у меня тревожно мелькнуло, что мне могут не позволить ехать больше верхом на Калмычке.

Прерванный разговор между старшими снова возобновился. Мать накормила меня и послала играть на двор. Нянька ходила возле хаты с сестренкой на руках; Сусанна и Алеша тут же играли возле нее. Недалеко под навесом стояли наши казачьи лошади и громко жевали сено.

Я побегал немного с детьми, но скоро мне показалось скучно играть, и я незаметно убежал от них под навес. Тут в углу, возле крытого соломой сарая, прямо на земле, расположились ужинать Нефед, Тимофей и денщик. Они молча и сосредоточенно ели горячую кашу, и каждый осторожно проносил свою огромную деревянную ложку, держа под ней по кусочку хлеба.

Я подошел к ним и постоял немного.

— Костинька, садись с нами вечерять, — проговорил Нефед.

— Да я сейчас пил чай, и мама закусывать давала.

— Это ничего, энто, значит, у мамаши, а это вы нашего попробуйте.

— Да мне чего-то не хочется.

Нефед между тем достал из кармана деревянную ложку, вытер ее большим пальцем и подал мне. Я уселся с ними.

Ужин на открытом воздухе прямо на земле, слегка дымившаяся каша, черный хлеб и здоровый аппетит поработавших в течение дня людей соблазнили меня, и я, в свою очередь, с таким аппетитом стал убирать кашу и ржаной хлеб, с каким никогда не ел у себя за столом.

— Оно, конешно, у вас пишша легкая, белая, — не спеша заговорил Тимофей, кладя свою ложку на край деревянной чашки, — а наша чижолая.

Он взял хлеб, разломил над чашкой и отряхнул крошки в кашу.

— Она хучь чижолая, да здоровая человеку, — заметил денщик. — Посади теперича нашего брата на ихнее пропитание, зараз обессилишь. Нет здоровей хлеба, как аржаной.

— Кому как, — заговорил Нефед, вытирая ладонью на обе стороны усы, — кто к чему привычен. Ихнее вот дело — на нашем хлебе извелись бы.

Некоторое время продолжали есть молча.

— А что, Костинька, о чем я вас попросить хотел, — заговорил опять Нефед.

— Чего?

— Давно вас хочу все попросить. Теперича видите ли какое дело: кабы вы, значит, попросили мамашу, а мамаша пусть папаше скажут, как я состою в денщиках и за повара, то моего коня нельзя ли продать.

— Хорошо, Нефед, я непременно попрошу маму.

— Ну, и парень золотой! Чего ни попросишь — как пойдет, скажет, так и будет, — проговорил он, обращаясь к Тимофею.

Положим, до этого времени Нефед еще ни о чем меня не просил, но теперь я чувствовал, что непременно должен выхлопотать продажу коня. Нефеду же попросту хотелось получать фуражные на лошадь деньги, и он захотел позондировать через меня почву.

Уже смеркалось. Кой-где зажглись звезды. Слышно было, как на другом конце деревни трубач играл зорю.

Кончили ужинать. Нефед тщательно вытер губами ложку, захватывая ее в рот, подобрал в чашку крош-

ки хлеба, потом стал на восток и несколько раз широко перекрестился, торопливо кланяясь.

— Слава те, господи! А вы же, Костинька, не забудьте, чего я вас просил.

— Нет, не забуду.

Тимофей пошел к лошадям, а Нефед понес в хату посуду. Я тоже хотел было итти в комнату и теперь же попросить мать за Нефеда, да потом раздумал: «Наверное меня начнут сейчас же укладывать спать», а мне не хотелось. Ночь была тихая, теплая, и мне захотелось посидеть с казаками где-нибудь на сене и послушать, что они говорят. Я прошел дальше под навес. Лошади попрежнему жевали сено; тут было совсем темно, и мне их не было видно. Они на минутку приостановились, прислушиваясь к моим шагам, и потом опять стали звучно жевать.

— Тимофей, ты тут? — несмело позвал я.

Никто не откликался. Я поскорее выбежал из-под навеса. «Может, в фургоне кто-нибудь есть», — подумал я и побежал к нему. Он виднелся недалеко, выступая в сумраке преувеличенно большими размерами. Возле что-то чернело. Когда я подошел, это оказались хомуты и шлеи, сложенные на земле.

Я пошел в комнату.

— Ты это где пропадал? — недовольно спросила мать. — Садись, ужинай.

— Я, мама, уже поужинал с Нефедом.

— Ну вот, еще наешься чего-нибудь там, а потом живот разболится. Ложись спать.

Я разделся и лег.

Я стал думать про Нефеда, про наш фургон, о том, что там теперь спит кто-нибудь из казаков и что там жутко одному в темноте, и я опять на мгновение испытал мимолетное ощущение невольного страха, который мною овладел, когда я выбежал из-под навеса, не найдя там Тимофея.

Понемногу в комнате угомонились и улеглись.

Когда на другой день нянька разбудила меня, снова началась обычная возня выступления, и через час полк выходил из деревни. Я опять ехал на Калмычке с офицерами. Переход был назначен небольшой, и к обеду вдали забелелись постройки Стопницы.

Когда приободрившийся и подтянувшийся полк входил в местечко, по улицам стояли толпы любо-

пытных. Грязные, оборванные еврейские мальчишки бежали у самых лошадиных ног.

Песенники дружно грянули. Полк прошел по узким, кривым улицам и выстроился на площади перед домом, отведенным под квартиру полковнику, а через час сотни уже были расставлены по квартирам.

## МОРСКОЙ КОТ

Синее небо без конца, синее море без конца.

Давно солнце выплыло из дальних вод и ослепительно играет в изменчивом, ласково-живом зеркале.

Давно улеглось волнение, еле шевелится ленивая синь дремотного моря, а чудовищный, иссера-грязный броненосец огромно, тяжко и угрюмо качается на ходу.

Белая пена, торопливо заворачиваясь, рассыпаясь, шипя, бежит перед обшитым броней носом, моет, отставая, окованные бока, и далеко по смирившемуся морю, далеко тянется бурливый, клокочущий, выворачивающийся след от винтов.

А он качается, огромный, угрюмый, темно-грязный, весь из чудовищных плит, брусьев, балок, железа и стали, качается и режет расступающуюся пену тяжким, неудержимым ходом.

Трудно разыгравшемуся морю раскачать его, трудно даже тогда, когда громадой встанут потемневшие валы, и пена злобы, белея, рушится с их омраченного чела, когда до самого края почернеет море, потемнеет небо, и лишь белый траур чьей-то близкой гибели и смерти несется безумной полосой.

Всю ночь безумствует море, и только, когда обманчиво забрезжит утро, начинает постепенно качаться и серый гигант.

Тяжко, медленно уходят в крутящуюся водяную мглу омываемые бока, и уже обдают брызги смутно покачнувшиеся башни.

И, задержавшись в тяжелом раздумьи, так же мерно, так же тяжело, так же медлительно начинают выбираться из воды отвесные металлически-гладкие стенки бортов его. Уже давно далеко вверх ушла па-

луба, а они всё так же медлительно выбираются из водной пучины; всё так же уходят вверх, кажется, и конца не будет, и далеко внизу бессильно разбиваются шипящие валы.

Уляжется обессиленное, измучившееся море. Шелковистой, чуть приметной прозрачной рябью ляжет оно, голубое, до голубого неба, под горячим солнцем, и с униженной ласковостью подобострастно зеленоватыми языками лижет грязно-серые бока, а он так же угрюмо, хмуро, не умеряя тяжелого хода, качается и клюет необъятной железной тяжестью много часов

И, не обращая внимания на веселую ласковость сияющего дня, грязнит черными клубами густо крутящегося дыма и светлое лицо моря, и светлое небо, густым дымом, который тяжело вываливается из черных труб и, отставая, на много верст ложится на море расплывающейся пеленой, траурно уходя за предел горизонта.

Вероятно, оттого, что весь он из миллиона пудов железа, вся жизнь на этом мрачном колоссе с железной беспощадностью отлилась в раз установленные, нерушимые формы. Люди, — а их девятьсот человек, — сиротливо теряются здесь среди палуб, отделений, люков, пролетов, орудий, среди бесчисленных механизмов, машин.

Солнце, соленый ветер и вода отлили их лица, руки, плечи из темной бронзы, а железо, обнимающее со всех сторон, положило тяжкую печать молчания, и глаза их хмуры и насуплены.

Ловкие, сильные, богатыри, как на подбор, они проворно, быстро и ловко делают свое дело, которое никогда не переделать и которое изо дня в день одно и то же. Мытье палуб, чистка медных вещей, разборка и чистка орудий, учение, примерная наводка, учебная стрельба, обучение сигнализации, вахтенные часы, а там и звезды высыпали, на палубе выстраиваются в две шеренги:

— Шапки долой!

И несколько сот здоровых голосов стройно и сильно поют:

— От-че на-ш, и-же е-си...

Но железо глотает слова, но уже за бортом лишь шипение и плеск разрезаемой волны; и ни одного слова не доходит до холодно мерцающих звезд. Как

видение чудовищной силы, продолжает свой путь в ночном сумраке темный силуэт громады, и затерянные в утробе его люди спят крепким морским сном в узких подвешенных койках.

А наутро опять сначала. Так дни, недели, месяцы, годы, точно по пустынным водам скитается, не находя приюта, неведомо-чудовищный призрак, где все железо, где отношения людские сочетаются железной дисциплиной, где на лицах людей железный налет неотвратимой, неизменяемой жизни, где люди вьются в усилиях, в непокладающем рук труде, неведомо для кого и зачем.

Как броненосец непроницаемыми переборками, так день и ночь жившие вместе на нем люди не знающей пощады дисциплиной, службой и всем укладом жизни делились на три непроницаемые отделения.

В первом был всего один человек — командир броненосца. Тщательно выбритый, с выхоленным сухим телом, умными, надменными глазами, он самим своим положением был осужден на величественное одиночество богдыхана*. Людей, за редкими исключениями, он не видел, все время проводя в роскошно отделанных своих каютах.

Постепенно привык к своему одиночеству. В душе вытравились люди, их лица, их радости, горе, и он только знал, что в придачу к бесчисленному числу механизмов, которыми полон броненосец, принадлежат и девятьсот живых рычагов, нажимая которые, он играет чудовищем, как хочет, и все это на его ответственности.

В другом отделении была небольшая кучка офицеров. Здесь слышались смех и шутка; тут были молодые и пожилые; тут говорили и о любви, мечтали, строили планы; когда собирались в кают-компании, слышался звук пианино, мягкий баритон. Тут, хотя и робко, пробивалась из железных объятий жизнь.

В третьем отделении была свыше восьмисотенная масса матросов. Они были, как один, и когда их выстраивали на палубе длинной шеренгой, нельзя было

* Богдыхан — так раньше называли китайских императоров монгольской династии; здесь — в смысле: недоступный, величественный.

выделить ни одного: все одинаково широкоплечие, грудастые, бравые, с шапками набекрень, все одинаково обвеянные соленым ветром, все одинаково с темнобронзовыми лицами. И у всех одинаково одни и те же слова: «так точно», «не могу знать», «слушаю», «есть!»...

И хотя род службы у каждого специализировался, казалось, делали они одно и то же и одинаковым образом.

Грицко Підтынный был, как и все, — такой же крепкий, ловкий, сильный, бронзовый, такой же язык у него был: «так точно», «никак нет», и когда стоял в длинной шеренге, каждого можно было принять за него.

Но, когда оставался один, видно было, что у него серые глаза, пробивающиеся юношеские усы, и в этих глазах — свои думы, свои радости и горе, свои воспоминания, обвеянные лаской и любовью.

Жил он, как все жили на железной громадине, сдавленный железными объятиями размеренной жизни. На судне был точен и аккуратен; когда съезжал на берег, беспросыпно напивался и ходил с другими к девицам в веселые дома.

Но, когда оставался один, особенно в ночные часы на вахте, начиналось что-то совсем другое, над чем уже не имеют силы ни железный порядок, ни железная дисциплина, ни офицеры, ни сам командир.

Зорко смотрит он, привалившись на баке *, на неуловимо бегущее навстречу из синего сумрака смутно волнующееся море. Сзади темнеет ходовой передний мостик, смутнеет вахтенный начальник и два сигнальщика. С боков отсвет зеленого и красного фонарей, и ровное, мерное, не то печальное, не то жестокое в своем равнодушии дыхание машины.

Рідный край! Но, ведь, когда он был дома, он не чувствовал его, как не чувствовал себя, свое здоровье, пальцы на ноге, пока не разрубил одного топором и долго лечил, а он долго болел.

И не видел он и не знал, и рос, и жил, как трава на поле или верба при воде, — всякий ветер ее колышет и треплет, а она качается и клонит ветки, и ей все равно, растет себе.

---

* Бак — часть верхней палубы судна, от передней мачты до носа.

Синий сумрак ночи точно булавкой прокололи, как капелька крови, тонко загорелся затерянный красный огонек.

И он крикнул, оборотившись к мостику, крикнул голосом, каким говорил «никак нет», «так точно»:

— Красный огонь слева по носу!

Огонек подержался и пропал, затерялся в пустыне ночного сумрака, и все так же равнодушно дышит внизу машина, так же по обеим сторонам уходит назад, все так же движется темная волнующаяся поверхность, все те же звезды над головой, до которых не доходят ни слова молитвы, ни слова команды и приказаний, ни жестокое равнодушное дыхание машины.

... Не знал он солнца, и не было ему дела до него.

Вставало оно красное за левадою дяди Хведора, и сначала тронет верхи верб, а потом покраснеет солома и белая труба на хате бабы Горпины, а потом, геть! * по дальним буграм, по-за Дніпром, по верхушкам темного леса, и вдруг засмеется все село, все хаты, все мазанки, и лес, и Дніпро, и пыль, что поднялась за стадом, да так и забылась, повисла, и скрипучие ворота, и ребятишки, у которых только пятки горят — за телятами, с хворостиной, и всюду протянулись веселые длинные прохладные тени...

А с мостика строгий голос:

— На баке вперед смотреть!

— Есть!

... Не знал он тогда солнца, не знал и не чуял красоты его, ибо рос, как трава на поле, а теперь узнал, вспомнил и почуял, и стало проситься к глазам, как едкий дым от махорки, но он не давал воли...

— Солнце мое радостное!..

Пустынен ночной сумрак, и без конца уходит по сторонам движущееся, темное волнующееся море.

... И не видал он, не знал он старого батька Дніпра.

А он, старый, белел седыми похилившимися от шопоту камышами, разлегся, старый, белыми, сыпучими песками, и не чуял он старого, а теперь почуял и вспомнил его всего, как живого, седого, ласкового, тихого, блескучего, и подступало к глазам горько и темно, но не давал он воли и глядел в бесконечный сумрак на смутно бегущее море...

* Геть — здесь в смысле — далеко.

— О, Дніпрò, мій батько старый!..

И снова в безграничности сумрака вспыхнула кроваво-красная звезда, казалось, на краю мира. Потом кровавый свет погас, и вспыхнул зеленым светом, потом погас, и вспыхнула белая светящаяся точка и погасла. И опять красная и зеленая, и белая.

И он проговорил голосом казенным, как у всех:

— Справа по борту маяк.

...Не видел и не чуял красы жизни своей, а теперь увидел и почуял...

Голодно было? Да, голодно.

Трудно было? Да, трудно.

Но было там солнце, был Дніпрò, были кони, скотина, серый с репьями, с колтуном* в хвосте Серкò, были дівчата, не те, к которым он ездит пьяный на берегу, — и теперь увидел, и теперь почуял, что радостно все было, что живое все было, что к самому сердцу приросло, кровью припеклось...

Пустынна ночь, и уже не видно нигде живого огня. И эта пустынность, и волнующееся в темноте море, и безграничность смутного сумрака говорили, что есть смерть и кончина мира.

А с мостика:

— На баке, вперед смотреть!

— Есть!

Пробили склянки. Поднялся сменяющий с вахты матрос, и Григорий Пыдтынов, казенный человек, с таким же лицом, с такими же движениями, с такими же словами, как у всех, полез на низ спать крепким, морским сном на узкой подвешенной койке.

И было четвертое, последнее отделение, где, как и в первом, было только одно живое существо, у которого жизнь была тоже своя, особенная, не смешивавшаяся с жизнью других.

Это был кот Васька, серый кот с черной продольной по спине полосой, с змеисто-ласковым хвостом, с желтыми, внимательно-холодными глазами, с мягкими, бархатными лапами, в которые он сладострастно-медленно то вбирал, то выпускал острые, кривые, белеющие когти.

---

* Колтун — здесь — сбившиеся и свалявшиеся волосы.

Он не знал, где и когда родился, кто были его отец и мать, не знал, что такое твердая земля, не слышал шороха листьев и ветвей, не цеплялся острыми когтями в древесной коре, никогда не видел зданий, не лазил по крышам и не слышал тонкого, мелодичного голоса кошечки.

Он знал только металлически-гладкую, твердую, всегда безукоризненно чистую поверхность палуб, по которой день и ночь, без перерыва, бежит так нервирующее содрогание, знал, что за краем, сколько глаз хватает, беспредельно волнующаяся вода.

В тихую погоду он лежал в носовом отверстии, откуда выходили якорные цепи, и часами глядел на спокойную, без конца бегущую навстречу воду, в которой стекловидно колышутся голубое небо и белые облака, на мелькающих темно-влажными спинами дельфинов и думал.

Во время бури беспробудно спал целыми сутками, свернувшись где-нибудь в темном укромном уголке. А когда производили учебную артиллерийскую стрельбу и тяжко все сотрясалось, он забирался в самый низ, и в темноте, с беспокойной нервностью, лихорадочно горели два фосфорических глаза.

Весь броненосец Васька знал, как свои пять пальцев. Он везде заглядывал, осторожно, деликатно нюхая, всюду ходил, мягко ступая беззвучными бархатными лапами; умел пользоваться подъемными машинами, часами сидел, дожидаясь, перед люком, где они ходили, прыгал на площадку, степенно, не шевелясь, сидел между матросами и безошибочно выскакивал именно на ту палубу, куда ему было нужно.

Спускался и в машинное отделение, где тоненько что-то шипело и, поблескивая, двигались бесчисленные части, заглядывал и к кочегарам, где было смертельно жарко и где он любил погреться, когда наверху свистел ветер и несло соленые брызги.

Это был кот с огромным чувством собственного достоинства. Слепого, беспомощного, его доставил с берега в пазухе Грицко Підтынный, но это нисколько не обязывало кота, и, когда он вырос, он относился к Грицку, как и ко всем другим, сдержанно, холодно, вежливо.

— Если вы меня ласкаете, балуете, кормите, так это для собственного удовольствия и забавы, а ведь

у меня своя жизнь, и я не хочу быть ничьей игрушкой.

И кончик его хвоста извивался, как тонкая головка ядовитой змеи, которая может, но пока не хочет укусить.

Иногда он терся о колено или руку, но сейчас же отходил и забывал ласкавшего его.

— Братцы, а наш Васька из барского сословия, ей-богу!..

— А то нет, что ль: сколько ни корми, он те завсегда начхает в харю.

— А что ж, бывает так, что какая ни то княжна родит дитё, да в воспитательный от сраму. А потом, гляди, вырастет, не знай, что княжеского роду, ан княжеская кровь и скажется: даром что в сермяге али в зипуне, а руки бе-елые, и все норовит, вместо чтоб пахать, векселя подделывать...

Кругом дружный хохот.

Завтракать Васька спускался к поварам, а обедал с матросами, спокойно сидя среди них и очень разборчиво относясь к предлагаемым кускам.

Ваське весь свет представлялся в величину площади броненосца, а за бортами бескрайно, без границ волнующееся море.

И на этом свете были единственные существа в черных штанах и белых матросках.

Раз его поднесли к зеркалу, и он весь бешено натопорщился, зашипел — такая безобразная, невиданная, мохнатая, оскаленная с злобно-круглыми глазами рожа глянула на него из-за стекла, запустил когти в руку матроса, вырвался и, злобно шипя, поставив распушенный хвост трубой, бросился бежать и исчез.

Так шла его жизнь.

Очень редко, но бывали вечера, особенно, когда по небу плыла большая белая луна, а от броненосца, дрожавшего беспрерывным содроганием, до самого края кипела золотая полоса, Васька долго стоял, внимательно глядя на катившуюся между облаками луну, потом переводил взгляд холодно-желтых глаз на матроса, и вдруг раскрывал, сдвигая усы, розовый рот с острыми, как белые иглы, зубами и неожиданно тонким, долгим, печальным голосом тянул:

— Мя-а-а-а-у!..

О чем?

Не о твердой ли земле, на которую он никогда не ступал? Не о шевелящихся ли листьях, шороха которых он никогда не слыхал? Не о любви ли, которой никогда не испытал?

— Что, Васька, али тоскуешь?

— И чего тебе? Сыт, одет, обут...

— Вот, постой, будем в порту, съедем на берег, развеем тоску.

Кот, пожимая плечами, отворачивался и, мягко ступая, медленно и злорадно извивая длинный змеистый хвост, уходил.

Матросы смеялись.

— Чисто командир.

— Кабы штаны да человеческий голос, совсем человек.

Туманная полоска тонко протянулась на краю моря. Стала расти и расширяться в обе стороны, и уже видно: это — берег.

Ближе, ближе, серый, каменистый, обрывистый.

В одном месте он расщелился, и в глубь его блеснула узкая голубая полоска. А над голубой бухтой белеет город.

Ослепительно сверкают белые дома, возносятся колокольни, блестят кресты. Серыми четырехугольниками длинно спускаются улицы к берегу, около которого бесчисленно толкутся суда, пароходы, лодки. Стоит тысячеголосый говор, шум. Как паутина, рисуются на синем небе такелажи *, и синюю воду режут ялики.

Уже входят в бухту, и по обеим сторонам проплывает серый скалистый берег, на нем укрепления, и в амбразурах темно глядят длинными хоботами орудия, ходят маленькие человечки — часовые.

Укрепления остаются позади, и кругом шумный базар всевозможных судов, пароходов, лодок, яликов.

Как чудовище, среди них медленно проходит броненосец и останавливается в нескольких десятках саженей от берега, рядом с таким же, как он, грязно-

* Такелаж — все веревочное снаряжение корабля, снасти.

серым гигантом. Нестерпимо гремит убегающая в воду якорная цепь.

На берегу шум, оживление. Плывет благовест. Несется треск извозчичьих пролеток.

Кот стоит на самом борту, навострив уши, с изумлением смотрит на здания, на лошадей, на улицы, на деревья, вдыхает неведомые запахи, слышит неслышанные, пестро волнующие звуки.

Он забыл обо всем и, не отрываясь, смотрит на невиданное сказочное царство.

В вельбот * со смехом, говором, шутками спускаются по узловатому шкентелю ** матросы — первая команда, отпущенная на берег. Васька, не отрываясь, провожает их такими же изумленными глазами. Потом ложится на брюхо, ползет за ними и, цепляясь когтями за свисающую узловатую веревку, осторожно спускается и незаметно прыгает в вельбот. Матросы, среди говора и усаживания, не замечают его. Он забирается под лавочку и сидит, чутко прислушиваясь, подымая то одну, то другую замоченную лапку.

Вельбот дернулся, плавно покачивается, скрипят уключины, говорливо бьется в носу вода, и весла мерно взрывают ее, скачками подавая вельбот, и перед Васькой в разных положениях много ног в начищенных сапогах.

Бот толкнулся, и все меньше и меньше остается внутри лодки сапог. Слышен дружный гул затихающих шагов. Смолкли голоса.

Васька осторожно выглядывает, показывая острые уши. Никого. Десятках в двух саженей лежит чудовищем на воде броненосец. Поодаль другой. Никогда кот не видел его со стороны и теперь долго и внимательно рассматривает.

Потом, озираясь, все так же внимательно навостривши уши, делает скачок, приседает, оглядывается, опять скачок, другой... Мимо проезжает, гремя, извозчик, и кот, прижав уши, распустив хвост по ветру, огромными скачками несется к зданиям, и сзади с извозчика доносится голос бородатого купца:

— Ах ты, бестия!.. Кот дорогу перебежал, не к добру...

---

* Вельбот — небольшое одномачтовое судно.

** Шкентель — короткий конец веревки.

А Васька, глубоко запуская когти в кору, несется вверх по дереву, как будто век свой занимался только тем, что лазил по деревьям, потом с ветки гибкими движениями перебрасывает все тело на головокружительной высоте на крышу.

Запахи тысячи кошачьих следов сладостно поражают вздрагивающие, ищущие ноздри. Начинается новая, яркая жизнь...

Давно ночь. Звезды. Смолк город, только голубое зарево электричества молчаливо стоит над ним. В сумраке летней ночи уродливо недвижимой громадой вырисовывается недалеко от берега броненосец; возле другой. Тихо и на них.

С бульвара, мягко исчезая, доносятся тающие в молчании и темноте звуки оркестра, и не разберешь, может быть, веселые, может быть, грустно-печальные.

Иногда из-за бухты с укрепления ослепительно ложится бесконечно-длинной голубоватой полосой луч прожектора.

Он движется, и, попадая в него, ярко выступает на секунду серебряная живая рябь бухты; тяжелые башни, бока и орудия броненосца, песок и камни на берегу, деревья, белые стены домов, крыши... Тухнет, и снова ночь, и звезды, и молчаливая синеватая дымка над городом, и смутно проступающие силуэты темных броненосцев.

Давно воротились на броненосец матросы, веселые и довольные, и на песке остался лишь след от пристававшего вельбота.

Уже когда перевалило за полночь и из-за темных домов поднялись новые звезды, дремотно мерцая, точно слипающиеся глаза, по берегу, припадая, кралась тень.

Она подобралась к тому месту, где приставала шлюпка, с недоумением двигалась по берегу, точно ища чего-то и обнюхивая, и над водой раздалось жалобное, призывающее и беспомощное:

— Мя-а-а-а-у!.. — и потерялось среди ночного молчания.

Никто не откликнулся. Смутно чернели броненосцы. Васька был в отчаянии. Он ходил взад и вперед, не обращая внимания, что промочил лапки, лишь стряхивая с них налипший мокрый песок, и плакал, и

звал то тонким и жалобным голосом, то раздраженным и негодующим ворчанием. Все — ночь, все — молчание.

Он дрожал от ночной свежести и волнения. Ухо было прокушено, спина ободрана, с хвоста свешивались, как на старой шубе, клочки меха. Ах, все бы ничего, только бы попасть домой к милым, ласковым, заботливым людям. И он опять звал, просил, плакал, негодовал, садился и слушал, навострив уши, и опять бегал взад и вперед по берегу, и опять просил, звал и плакал голосом, полным отчаяния и слез. Все — ночь, все — молчание, и неподвижные темные силуэты.

Тогда, дрожа всем телом, он решился. Поставил лапку в воду и долго стоял, трясясь всем телом и глядя на темную громаду броненосца. Сделал еще шаг. Соленая вода больно разъедала раны. Хотел попятиться назад, но сорвался и поплыл.

Это было отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство ужаса. У самых глаз, отступая, маленькая волна, дальше смутно поблескивала тяжелая холодная вода и виднелся темный силуэт.

Васька отчаянно работал лапами, и в голове мутнело от подступающего ощущения усталости. Темная громада все так же далеко подымается из воды. Васька закричал отчаянным раздирающим голосом, то выскакивал из воды, точно собираясь прыгнуть, то погружался по самые уши. Никто не откликнулся.

Брызги, которые он подымал передними болтающимися лапами, слепили глаза. Он переставал видеть громаду темного силуэта, перестал видеть воду и без направления, ничего не разбирая, болтался из последних сил, не в состоянии уже кричать от залившей воды.

Под лапами царапнулась мокрая стенка. Когти срывались, ни за что не мог уцепиться, и, тряся головой, выплевывая воду, срывающимся, не похожим на свой крик воем, стал кричать. В глазах стало темно. Гладкая, влажная стенка скользила под когтями.

Откуда-то сверху раздался человеческий голос:

— Что за оказия, будто кошка.

— Я здесь... погибаю!.. — еще отчаяннее закричал кот.

— И то кошка.

— Давно слышу.

— А ну-ка...

По стенке сверху скользнула полоса и забрезжила в заливаемых глазах Васьки.

— Так и есть. Валяй скорей конец!..

Что-то плюхнулось по голове кота, и он пошел ко дну, глотая соленую воду. Сделал отчаянное усилие и, перестав дышать, вынырнул. Попрежнему слепил сверху свет. Над водой свешивался растрепанный конец нетолстого каната.

Васька, болтаясь, уцепился одним когтем, приподнялся, не в состоянии кричать. Его стали подымать. Коготь разжался, и он снова сорвался, плюхнулся и пошел, как камень, в сомкнувшуюся над головой воду. Вынырнул и с вылезшими от отчаяния глазами запустил бешено когти в канат.

Снова стали подымать. Полоса света слепит. Звенит внизу стекающая вода.

Вот уже край. Яркий свет фонаря. Наклонившиеся лица. Его перебрасывают. Он падает на лапы, озираясь. Все знакомо, — палуба, толстые якорные цепи, и люди в черных штанах и белых рубахах. Только отчего голоса другие, и запах от них другой, незнакомый?

Васька встряхнул мокрую шерсть и мокрый, жалкий, тонкий хвост, сел на задние лапы и чистоплотно стал вылизывать раны и всю шерсть. Потом вдруг поднялся и, глядя недоумевающими глазами на окружавших его, жалобно замяукал и опять стал вылизывать.

— Ок-казия!

Около него стояло несколько человек.

— Приплыл.

— Впервой слышу, чтоб коты плавали.

— Это, братцы, к добру.

— Напьешься, видно, скоро на берегу вдрызг.

— Не то на вахте без очереди стоять будешь.

Над городом потух дымчатый отсвет, а над морем стало светлеть небо.

— Ребята, куда это Васька делся? — говорил Грицко.

— А что?

— Да третий день не вижу.

— Где-нибудь забился, спит. Что ему сделается?

Но прошло еще три дня, кота не было. Стали искать, — нет, как провалился. Грицко обыскал все палубы, заглянул во все укромные уголки, спустился в машинное, к кочегарам, обшарил кладовую, где лежала растрепанная пенька с канатов и где любил спать Васька, — нет. Тогда беспокойство пошло по всему броненосцу.

В ближайшее воскресенье команда, съездившая на берег, принесла известие: Васька нашелся, — он на соседнем броненосце, сами матросы говорили, ночью приплыл к ним.

Когда услышали, что Васька плыл, среди матросов поднялось волнение.

В свободную минуту толпой собрались на носу, Грицко взял в обе руки по флажку и стал сигнализировать на тот броненосец:

— Братцы, отдайте кота, он наш.

Оттуда сигнализировали:

— К нам приплыл, — стало, наш.

А Грицко опять:

— Мы выкормили, к нам привык, наш судовой кот.

А оттуда:

— Поглядите в трубу.

Грицко стал глядеть в бинокль — на том броненосце протянулось штук двадцать заскорузлых, просмоленных, ядреных кукишей, и сигнализировали:

— На-кось, выкуси!..

Потом подняли кота, который, видимо, вырывался, показали и опять спрятали.

Величайшее раздражение поднялось среди матросов. Грозили кулаками, сигнализировали крепкие ругательства:

— Ах, анафемы!

— Братцы, Ваську достанем!

— Это грабеж! Судовое животное... Не имеют права...

— Мы вам покажем!.. Мы вам этого не спустим!..

Разошлись, когда на палубе показался офицер.

Все время собирались кучки. Грицко, бледный, с раздувающимися ноздрями, подходил и говорил:

— Братцы, как же так!.. Скоро в плавание пойдем, а Васьки не будет... Как же так, а?..

Когда он думал, что уйдут в плавание, а Васьки не

будет, его всего переворачивало. Этот серый кот, который иногда снисходительно терся о колени, был точно тоненькая соломинка, протянувшаяся от него, Грицко, и к батьку Днiпрови, и к Горпининой хате, и к пыли, которая лениво виснет за стадом, и ко всей жизни, и ко всему рiдному краю, что далеко и печально ждет его. И если не будет кота, не будет Днiпра, камышей, синего леса за Днiпром, потухнут дивчачьи очи, что ждут его на селе.

— Братцы, так не можно... Добудемте Ваську!

— Возвратим кота...

— Мы им покажем!

И все насупилось на броненосце, как вечерняя туча над полями. Как будто из огромной, но хорошо налаженной на полном ходу машины, где все части были пригнаны и мягко вертелись, вынули маленькое незаметное колесико, и стало слышно, как шатались, скрипели и разбалтывались шатуны и подшипники.

Жизнь кота среди матросов, его привычки, повадки приобрели вдруг для них какое-то особенное большое значение, которое они прежде не умели ценить в полную меру. Пусто стало на точно обезлюдевшем броненосце.

В каждую свободную минуту, если не было офицеров, сигнализировали на другой броненосец самые отборные ругательства и угрозы. Оттуда отвечали тем же.

— Братцы, так нельзя, — говорил Грицко.

Он за эти дни похудел.

В воскресенье свезли на берег команду человек двадцать, отпущенных погулять в город. С того броненосца тоже высадилась команда в отпуск. Некоторое время слышно было, как отбивали шаг и те и другие.

Грицко вдруг остановился, губы у него вздрагивали:

— Братцы, вон они, наши супостаты!

Все остановились, как по команде.

— Неужели так и оставим?

И, не дожидаясь, повернулся и пошел к гулко отбивавшей шаг команде. Товарищи, повернувшись, плотной массой пошли за ним. Обе команды сошлись и тяжело стали друг против друга, бронзовые, сильные, с смелыми открытыми лицами.

— Вот что, братики, скажу вам, все товариство вы дюже обидели.

— Знамо дело, обидели... — густо загудели кругом.
— Неправильно.
— Потому должны понимать, животная свой дом имеет...
— Судовая животная...
— Плыл, стало, к себе домой хотел...
— Прошибся... Разве на воде да ночью разберешь?.. Человек и тот бы прошибся...

Но им так же густо и дружно, давая отпор, ответили:

— К нам приплыл, — стало, наш...
— Не вытащили бы, все одно бы потоп.
— Что он у вас, клейменый?
— Проваливайте...

Тогда Грицко, повернувшись к своим, побагровел, крикнул голосом, как будто его ударили ножом:

— Братцы, не выдавай, постоим за веру и отечество!..

И с размаху ляцкнул кулаком в лицо ближайшего врага. Лицо мгновенно окровавилось...

— А-а-а!.. — грозно пронеслось по берегу и отдалось за бухтой.

Грицко разом потонул среди поднявшихся кулаков.

— За веру!.. За отечество!..

Как хлынувшая с двух сторон вода, смешались обе команды. Окровавленные лица, мелькающие кулаки, хрип и стоны. Упавших топтали тяжелыми сапогами. Весь берег шевелился грудою живых, тяжело ворочавшихся тел, точно кто-то высыпал на большом пространстве червей и они сплелись в живой шевелящийся узел, и стояло густое, колебавшееся: «Га-га-га-га...», в котором ничего не разберешь.

Враги, сцепившись, падали в воду, глотали, захлебывались, выплывали, и мокрые, ободранные, с подбитыми глазами, становились друг против друга, как два петуха:

— Ну, что: хочешь еще?
— Отдавай кота!..

И, сцепившись, били друг друга, как и куда попало.

На броненосце подняли тревогу, зазвонили телефоны. Спустили на шлюпках команды разнимать дерущихся, но матросы кидались в свалку и били врагов.

Офицеры тщетно кричали до потери голоса, стреляли в воздух из револьверов. Над кишевшей, тяже-

ло ворочавшейся по берегу толпой стоял поглощавший все звуки рев. Дали знать в штаб.

Из города к пристаням бежали обыватели: мальчишки, торговцы, дамы. Бульвар почернел от запрудившего народа. На заборах, на деревьях, с лодок любители-фотографы щелкали аппаратами. По бортам броненосцев стояли с револьверами офицеры, не позволяя матросам спускать шлюпки и присоединяться к своим.

Беглым шагом пришла вызванная рота. Отдана была команда сделать залп в воздух. С мгновенными белыми дымками рванули ружья. Тяжело перекатываясь, отозвался противоположный берег, стены зданий, но на берегу все так же ворочался живой клубок более чем двухсот тел, мелькали кулаки, разбитые, изуродованные лица, носились хриплые стоны, выкрики, ругательства.

Прискакала пожарная команда и стала из брандспойтов поливать свалку.

Вытребовали еще батальон. Солдатам приказано составить ружья в козлы и растаскивать дерущихся.

Солдаты по нескольку человек хватали с краю матроса за ноги и тащили прочь, а он, хрипя исступленно, тащил за собою врага, и они, волочась по земле, вцепившись, душили друг друга.

— Отда-ва-ай к...кота!..

— В...врешь! В...ввыкуси!..

Потребовалось несколько часов огромных усилий, чтоб очистить место свалки. На изрытом, истоптанном песке валялись матросские шапки, оторванные рукава, голенища, изорванные штанины, и всюду пятна запекшейся крови.

Двадцать человек увезли в лазарет, а о двух говорили, что не выживут. Остальные с фонарями и распухшими лицами. На броненосцах нависла угрюмая темная туча. Говорили, матросов отдадут под суд.

Старший офицер, ходя перед выстроившейся шеренгой, распекал долго и вразумительно. Матросы стояли, вытянувшись в струнку, не сморгнув глазом. Но когда скомандовали вольно и офицер стал распекать по-отечески, матросы сгрудились около него, и черты упрямства и настойчивости лежали на бронзовых, в синяках, лицах.

— Да вы белены объелись, с ума спятили...

— Никак нет, вашскблагородие, главное за правду стоим, за правильность.

— Чорт знает, из-за кота... золото нашли...

— Дозвольте доложить, вашскблагородие, он, кот, все понимает, и не чтоб зря, а плыл на свой броненосец, а они перехватили. Не резон, и опять же правды нету. А мы свое возьмем, вашскблагородие, хоть перестреляют всех.

Офицер плюнул и ушел.

В тот же вечер в каюте старший офицер докладывал о происшествии воротившемуся из поездки командиру. Тот долго и молча, заложив руки за спину и глядя под ноги, ходил из угла в угол. Потом сердито остановился:

— Но ведь это неслыханная вещь!.. Ведь это же скандал!.. Добро бы из-за дела, а то из-за кота. Курам на смех! За границей от хохоту стон будет стоять, и из карикатурных листков мы не вылезем.

— Должен доложить, настроение среди матросов упрямо выжидательное. Боюсь предсказывать, но возможно столкновение с самыми тяжелыми последствиями.

Командир круто остановился.

— Но позвольте-с! Не под суд же мне отдавать девятьсот человек из-за кота. Это что же такое?.. Я понимаю, бывают всякие столкновения, но из-за кота, — это из рук вон!

Он опять нервно прошелся, и опять остановился перед офицёром.

— А, впрочем, позвольте, какое же они право имеют удерживать этого кота? Ведь необходимо считаться и с психологией матросов. Не из дерева они сделаны, не оловянные солдатики. Кот!.. Что такое кот? И в то же время я понимаю привязанность этих людей. Для них кот, это — дом, это — семейный очаг, это — далекая родина. Вот что, Александр Иванович, распорядитесь, пожалуйста, чтобы составили отношение и отослали на имя командира того броненосца. Пусть немедленно возвратят по принадлежности кота. Не могу же я из-за какого-то кота отдавать людей под суд.

В канцелярии, куда передал распоряжение командира старший офицер, долго ломали голову, как составить необычное отношение. Писарь, вооружившись

длинным, с изгрызанным кончиком пером, несколько раз писал, вымарывал, опять писал.

«Ввиду присвоения командой броненосца «Море» казенного имущества броненосца «Край», именуемого кот...»

— Степан Архипыч, ну, какое имущество кот?.. — взмолился писарь к делопроизводителю, отирая с лысины фуляровым платком проступивший пот. — Разве кот имущество? Заставили писать, а что я буду писать?.. Один срам.

— Ну, ну, пиши, — строго проговорил делопроизводитель.

«Ввиду присвоения казенного имущества, которое есть домашнее животное, или обыкновенный кот, сего кота препроводить и сдать под расписку по принадлежности на броненосец «Край».

Как и все бумаги, «отношение» сначала прошло в штаб, а оттуда уже на броненосец «Море».

Командир броненосца «Море» счел себя оскорбленным.

— Что за вздор в официальной бумаге! Какие-то коты! И в каком это инвентаре коты заносятся как казенное имущество! Этому место в «Стрекозе», а не в официальной бумаге. Просто распустили команду, никакой дисциплины, матросы производят форменные нападения, вот теперь и хотят вывернуться из этой грязной истории. Распорядитесь, чтобы послали отношение, что ни о каких котах я знать не хочу и что вообще странно получать подобного рода бумаги.

«Отношение», как и все казенные бумаги, пошло через штаб.

Командир «Края» почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.

— Извольте видеть, что поют. Нет-с, я с собой шутить и играть не позволю... Раз я пишу — значит это серьезно. Ему хочется, чтобы я отдал свою команду под суд. Извините, у меня есть сердце, и матросы — люди с своей собственной жизнью, с своим собственным горем и радостями. Человека разобьешь — не склеишь, а их — девятьсот душ. Александр Иванович, распорядитесь, чтоб в штаб был послан рапорт с надлежащим освещением дела, а я и сам съезжу и поговорю. Издеваться я над собой не позволю.

Писарь сидел, вытирая фуляровым платком взмокшую лысину, и писал изгрызанной ручкой:

«В подтверждение оного казенного имущества, которое домашнее животное кот, и хотя по реестру не числится, но принадлежит судовой команде...»

— Господи, что я буду писать? Опять этот проклятый кот! Хоть бы баран или хоть курица для офицерского стола, так от ней, по крайней мере, польза — суп. Ну, а кот в каком смысле?

— Ну, ну, пиши! — строго проговорил делопроизводитель.

В штабе, где дал объяснение командир, голоса разделились: одни за то, чтобы воротить кота, другие, чтоб оставить это дело, как есть. Но первое мнение восторжествовало, и на броненосец «Море» была послана бумага с распоряжением немедленно возвратить кота по принадлежности команде броненосца «Край».

На «Краю» было настроение, как под пасху: веселые лица, смех, говор. Синяки и опухоли еще не сошли, но побледнели и как-то тонули в лучах жизнерадостного веселья.

После обеда подошла шлюпка, и в нее подали на броненосец мешок, в котором что-то бунтовало и ворочалось. Принимавший матрос расписался в разносной книге в получении.

Матросы весело сгрудились кругом. Впереди всех был Грицко, у которого под обоими глазами синели громадные фонари, а когда говорил, под губой чернело пустое место выбитого зуба.

Вытряхнули мешок, и оттуда выпрыгнул, как балерина, изогнувши спину, кот. Все ахнули: он был куцый.

— Ах, анафемы! Отрубили...

— Супостаты!..

— Души в них нету, как животное изгадили.

— А хвост где? Эй, ты, хвост почему не доставили?

— На кой тебе хвост, приставить, что ли?

— А то нет? Вот нос даже, ежели сплавишь, пришьют, не токмо хвост.

— А как же, зараз молодую индюшку зарезать, кожу на шее содрать, приставить хвост да теплой кожечкой и обернуть. Через недельку — как есть целый. У нас как-то в деревне мальчонки один другому палец на дровосеке отрубили. Зараз зарезали, приставили, прирос, глядь, ан задом наперед, впопыхах.

Кругом дружный смех.

— Братцы, — заговорил Грицко, — об чем толковать, и что такое без хвоста? Скажем, я теперь без зуба, что же, полинял, али что? А Васька, сказать, за правду пострадал.

— Веррно!..

— Правильно!..

— И кабы медали котам были, так ему бы надо повесить.

Точно чувствуя, что о нем речь идет, кот выгнул спину и особенно грациозно прошелся и потерся о ногу одного, другого, с таким видом и движением, как будто слегка и грациозно извивая хвост.

Грянул дружный хохот.

— Да он без хвоста, братцы, добрее стал.

Броненосец уходил в плавание.

На берегу стояла большая провожавшая толпа.

Угрюмое чудовище уходило все дальше и дальше, темнея башнями, орудиями. В утробе его лежала огромная сила разрушения, которая могла в полчаса превратить веселый городок в развалины. И на темных палубах, в бесчисленных отделениях, среди машин и орудий, среди все обнимавшего железа и стали, текла своя особенная жизнь с железной дисциплиной, с железным порядком и правильностью.

# ДОЛГОВЯЗЫЙ

Хотя он и был долговязый, но худой, бледный, в угрях, и никто ему не давал девятнадцати лет, а считали вытянувшимся подростком с обезьяньими, по колено, руками.

Уж и забыл, чем только не был: у сапожника в выучке — рубец от шпандыря * над бровью; и в столярной; и тряпье и отбросы собирал, и нищенствовал, и отвинчивал медные ручки на парадных, и замертво валялся под мостом от голода.

А когда полиция, забрав и продержав в участке, приводила его к матери, та, утирая концом замасленного фартука нос, вечно в капельках пота, и замученное, потно-бледное лицо от плиты, всхлипывала, начинала утирать сразу вспотевшие глаза:

— Родимый ты мой!..

Давала городовому на мерзавчика **, а сына посадит около себя на кровати, обнимет, положит голову ему на плечо и скупо и торопливо всплакнет:

— Сыночек ты мой, сынок... Одного бог послал, да и тот...

От нее вкусно пахнет жареным маслом, пирогами.

Но как только по коридору из хозяйских комнат послышатся мелкие частые, козьи шажки, она толкнет его:

— Лезь скорей!

Он юркнет под кровать; она приспустит, оправит из разноцветных кусочков одеяло. Он видит: по полу торопливо мелькают маленькие, с бантиками, черные

---

* Шпандырь — ремень кольцом, при помощи которого сапожник, тачая, ступней придерживает у колена работу.

** Мерзавчик — ласкательное название маленькой бутылочки казенной водки в царской России.

туфельки, — так и хочется поймать лапой и придержать. И слышен милый девичий голосок, от которого, должно быть, светлее в кухне делается.

— Матреша, что это у тебя все не готово? Ведь за стол сели...

А около плиты топчутся раскоряками развалившиеся, кособокие башмаки матери.

— Готово, готово! Неси первое. Зараз все готово.

Только горничная из кухни, а под кровать сунет пахнущая жирным борщом худая рука кусочек пирога, котлетку, ложку запеканки, вкусного печенья; он лежит и, счастливый, жует. Под кроватью пахнет пылью, лежалым пропотелым матрацем, кошачьим нужником. А по полу то-и-дело черно мелькают бантики на туфельках или одиноко топчутся у плиты заскорузлые раскоряки.

Когда господа отобедают и отдыхают, в кухне повольней. Вылезает Долговязый, а мать все его кормит и все утирает глаза, и все горько приговаривает:

— Так надо. Стало быть, так и надо. Господь кому как определил. Нам с тобой, сыночек, тяжелый крест... ну, что ж, стало быть, так и надо.

Он ни соглашался, ни не соглашался, а просто жевал пирог или жареный кусок мяса. Но во всем его теле и длинных руках и угристом лице, где-то под ложечкой ныло, не подавая голоса: «Так и надо... Так и надо...»

И улицы с шумом и гамом, и высокие дома с блестящими стеклами, и витрины, за которыми вкусная снедь или красивое платье, и экипажи, и сытые женщины, — все было внутри тонкого сомкнутого круга, непереходимого для него от века. «Так и надо».

Он не сопротивлялся, но когда сапожник рассек шпандырем бровь, — убежал. А когда столяр стал утюжить по голове фуганком и он оглох на некоторое время, — опять убежал. Хотя и убежал, но ему и в голову не приходило куда-нибудь деться от этой жизни. «Так и надо».

Долговязый попал в тюрьму. Всякий народ там был. В первый раз он услыхал — читают книжку. Лежит на пузе малый, рябой, и на маковке волосы закрутились куриным гнездом. Кругом гомон, шарканье котов, вонь от парашки; в углу, на разостланном халате, с воспаленными, жадными лицами дуются

в карты; матерная ругань висит — не продохнешь, а тот лежит и читает вслух для себя.

И читает чудно. Будто солнце — не солнце, а шар, вот как в кузнице, раскаленный, и будто месяц — не месяц, а вроде как земля, по которой ходим, и блестит, как зеркало, от солнца, и будто не солнце всходит и заходит...

А там картежники грянули хором:

Со-о-нце всхо-дит и за-а-хо-о-дит,
А в тюрь-ме мо-ей тем-но-оо...

...А земля, как голова круглая, крутится округ себя...

...мне-е и хо-чет-ся на во-о-лю...

Долговязый тоже лежит на животе, подняв голову; рот раскрыт, тоненькой ниточкой слюна тянется, до нар. Он ничего не слышит, не видит, только видит, как огромная круглая голова вертится вокруг себя...

...це-е-пь пор-вать я не мо-гу...

Вот с этого и началось. Точно эта круглая земная голова, которая вертится вокруг себя, выдернула его, как нитку из иголки, из всей его прежней жизни.

Клокатый рябой оказался матросом. Кто-то доставлял ему с воли книги, и он их запоем читал вслух для себя, а Долговязый его слушал, не закрывая рта. Выучил его матрос и грамоте. Рассказал, как на земле выросли горы, как расплодились животные, как пращуры человека ходили на четвереньках, лазали по деревьям, а сами в шерсти.

— А насчет бога — фффью! — свистнул матрос.

И когда свистнул, у Долговязого больно сжалось сердце: «Эх, матка, худая уж дюже!..» Представилась на секунду кровать, и полутемнота под кроватью, воняет пылью и кошками, и исхудалая рука сунет то пирожок, то котлетку, то сладенькое...

Выпустили их из тюрьмы вместе, и вместе поступили на пассажирско-грузовой пароход «Днепр». Долговязый сразу стал не один. Работал ли в трюме, стоял ли на вахте, мыл ли палубу, или свертывал канат, около него и с ним были такие же товарищи, так же напрягавшиеся в неустанном труде, так же не знавшие ни отдыху, ни сроку. И эта связь тянулась к ма-

тросам на других пароходах, тянулись к заводам на берегу, где бывали тайные собрания с рабочими. Ткалась невидимая, но громадно раскинувшаяся связь со всем трудовым людом, у кого разинулись глаза.

В Батуме брали с заграничных пароходов нелегальную литературу и развозили ее по портам, а оттуда она растекалась по заводам и по фабрикам, растекалась по всей России, заражая сердца, умы. Тучи царских шпионов, провокаторов, полиции, жандармов, прокуроров, как чудовищная сеть, старались захватить эти печатные мысли, но они, как вода, всюду просачивались.

А Долговязый с железной настойчивостью работал в кружках, как только попадал на берег. Высокий, обветренный, загорелый, он говорил коряво-взъерошенно, но, как железной рукой, держал собрание, и его, затаив дыхание, слушали.

— Товарищи, конечно, одно знать, понимать должны, которые рабочие... Тут, братцы, не шутки шутить, не игру заводить, тут, ребята, кто одолеет, на живот и на смерть, — либо мы, либо они. А уж они спуску нашему брату не дадут. Потому, ежели среди своих хоть чуть чего заметите, ежели хоть намек, что предатель, — пришить. А то все сгинет!

«Эх, к матке бы, а то и не знаю, как она. Сколько не видал! Жива ли?..»

Но к матери опять не попадал. С собрания, среди ночных фонарей, бежал на пароход, — сниматься в три ночи. А там опять все то же: море, солнце, звучащие волны, ослепительный блеск и соленый ветер. А там опять порт, затхлый трюм, подача из него грузов наверх, грохот лебедки, и все один и тот же монотонный припев труда: «Майна! Вира!» И на берегу растущие горы тюков, бочек и ящиков. А по набережной гуляет чистая, разодетая публика, в панамах, в белых платьях. Плывут цветные звуки оркестра.

«Эх, матка!..»

Солнце всхо-дит и за-хо-дит...

И опять море, опять порт. Только уснешь, — хриплый голос с палубы: «Наверх, к разгрузке!» Так — без конца и краю.

Стала полиция выдергивать матросов, то одного, то другого, в тюрьму. И как по отметке — лучших товарищей, лучших подпольных работников.

«Гад завелся, — сцепив железные челюсти, думал Долговязый. — Но кто?»

Голова напрягалась, готовая лопнуть. Как его узнаешь? На лбу не написано.

Ночью ли, когда шумело море и в черноте, как земные звезды, приближались рассыпанные огни города, или днем, когда сбоку стеной проходили горы, а верхи щетинились лесами, одно сверлило и жгло железом мозг Долговязого: «Кто?»

...Це-епь пор-вать я не могу...

Цепочкой бежали дни и ночи. Пришла суровая морская осень. Низко тянули на юг птицы, низко неслись клочковатые тучи.

«Нашел!»

Стиснув зубы, глядел серыми неумолимыми глазами Долговязый в волнующуюся даль.

Мрак глухо несся клубами мимо парохода, разворачивающего среди ночи тяжелые, слабо белевшие волны. Долговязый лежал на койке, не смыкая глаз. Исступленно светило электричество. Снаружи в пароход било, как из орудий. Потолок и пол тяжело валились наискось в одну сторону, потом — в другую. Два пьяных матроса играли в карты, переваливаясь от качки и азартно выкрикивая, прибавляя непечатные:

— Твоя!

— Куда попер?..

— Бей!

В камбуз * спустился Рябой и, держась за край, чтобы не свалиться от качки, сказал в самое ухо Долговязому:

— Нашел!

Тот вскочил, вцепившись:

— Кто?

— Кок! **.

Долговязый вскочил, как подкинутый качкой:

---

* Камбуз — кухня на корабле, железная печь с котлами.
** Кок — повар на корабле.

— Почем знаешь?

— В третьем классе едет парень. Знаю его. Наши ему в городе сказали: пусть, мол, кока опасаются, в дела не пускают, — с охранкой связь держит.

— То-то у нас с получкой нелегальщины все провалы... Идем к нему!

— Постой, пускай уснут, — показал тот глазами на игравших матросов.

Долго те качались, подбрасываемые, хлопали картами, выкрикивали. А в Долговязом неотступно, не умолкая, звучало:

..цепь пор-вать я не мо-гу...

Матросы угомонились, улеглись, потухло электричество. Долговязый выбрался из камбуза. Ветер бешено свистал и крутил черноту ночи, палуба медленно валилась то в ту, то в другую сторону. Долговязый и Рябой прошли, раскачивая ноги, и спустились в маленькую каюту кока.

Он спал и, когда они вошли, вскочил, как обожженный.

— А? Вы чево?!

А они навалились, придерживая за глотку, чтоб не кричал.

— Говори!

Он смотрел на них белыми от ужаса глазами.

— Ничего не знаю... За что вы?! Чево вы?!

— Готовь!

Рябой достал веревки и скрутил ему руки, ноги. Он забился, как пойманная рыба.

— Постойте, братцы!.. Все скажу... товарищи...

— Ну?!

— Один... один только раз... Больше не буду... никогда не буду!..

— Довольно!

Ему замотали рот и стали насовывать мешок. Завязали над головой, к ногам — полупудовую свинцовую болванку. Вытащили на все так же валившуюся из стороны в сторону палубу, в кромешный гудящий мрак. В мешке смертельно извивался и дергался.

Они сунули его, когда палуба пошла вниз. Мешок скатился до борта. Перевалили за борт, и был все тот же гудящий мрак, смутная чернота ближних бочек, да содрогания винта бежали безустанно.

Долговязый спустился в камбуз, зажег электричество и стал писать каракулями, привалившись грудью к столу, чтоб парализовать качку. Руки дрожали.

«Дорогая матка, вот никак к тебе не доберусь, все никак не вырвусь, на пароходе работа заела, а в городе дела, никак к тебе не вырвусь. Ну, в этот рейс к тебе обязательно наведаюсь, и деньжат прикопил тебе, принесу. Хочу глянуть, как ты живешь. Ты не ропь, матка, мы буржую шею сломим и не будем его объедки под кроватью кушать».

В порту его арестовали.

Что бы ни делала, — шила ли, готовила ли картофельную себе похлебку, убирала ли убогую комнатку исхудалая женщина, — жила она только одним: напряженно вслушивалась.

Давно ее рассчитали господа. Стала часто кашлять, — побоялись, не чахотка ли, как бы не заразила. Места не нашла. Наняла на краю города крохотную комнату возле кухни и стала с себя продавать, что было, — тем и жила. И все слушала, все прислушивалась.

Днем ли, ночью ли, она угадывала малейший скрип двери: это вошел квартирант, это — хозяйка, это — дворник. Так — день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Не слышалось только шагов того, кого ждало изболевшееся материнское сердце.

Все труднее и труднее подымалась по утрам с постели и кашляла, а сердобольная хозяйка говорила:

— Нету сыночка что-то. Али забыл мамашу?

А та говорила слабым голосом:

— Нет, Антонина Ивановна, он не забыл, он придет... он придет, Антонина Ивановна...

И все вслушивалась.

А раз утром не поднялась с постели и, когда вошла хозяйка, только повернула голову. Та ахнула:

— Господи, да как вы исхудали!

— Ничего, Антонина Ивановна, поправлюсь вот... только дождаться... Сережа придет...

Хозяйка покачала головой.

Шли дни. Осень стала в окнах слезливая, заливая стекла холодным дождем. Деревья облетели.

Слышно было — вошел почтальон. Хозяйка отвори-

ла дверь и подала торопливо письмо, — некогда было:

— Должно, от сыночка.

Больная уже не подымала головы, только скосила счастливые глаза.

Долго возилась в хлопотах хозяйка и только к вечеру заглянула к жиличке. Та неподвижно лежала с безгранично-радостной улыбкой на восковом лице, и похолодевшая белая рука прижимала к неподымающейся груди нераспечатанное письмо.

## У ОБРЫВА

### I

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском у самой воды, горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шопот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы или крик ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум пароходного колеса, — или почудилось — и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

— «Ермак», никак, идет.

— Где ему! Теперича, небось, на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шопоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра; уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе человек и, скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень, скользнув по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво, чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал, — нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего, с широкой бородой старика с спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

— Пришло время. Жисть-то она человеческая, как трава, полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так

было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося немолчного дремотного шопота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

— ...как трава молодая на провесень из черной земли.

— Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабея: ... да-а-а!

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал и старик с бронзово-багровым, шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума, — думала сама синяя ночь.

Тонкий щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся, беспокойно-торопливый шорох-шопот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, — нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

— По реке далече слыхать. Хошь у самого Кривого Колена, и то будет слышно.

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароходных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое; третий недвижимо чернел на песке.

## II

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

— Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: о-о-о-о...

— Скажи парню, нехай садится с нами, — вишь, отощал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

— Эй, паря, хошь, поешь с нами, — длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. а?.. Куда?.. Постой!.. Братцы, держитесь!.. — закричал тот, вскакивая, трясясь.

— Что ты, что ты, парень!.. Говорю, поешь с нами.

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимая с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты, опять попритчилось...

При свете костра поражала исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатывался призрак смерти, вздохнул:

— У-ух-х!.. Маленько отошел...

И опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

— Два дня не ел.

— Да ты откуда?

— Из города, — и снова усталая и теперь доверчивая улыбка. — Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю.

— Да мы это догадались, как ты еще шел по бе-

регу, — усмехнулся длинный, — да не стали расспрашивать. Что человека зря беспокоить.

— Не бойся ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну, схватят, разговор короткий — пуля либо петля. Да мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе — свой народ. К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?

— Наборщиком, — и он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

— Все по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел: закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

— Что было — страшно вспомнить. Крови-то, крови!.. Народу сколько легло!..

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

— Устал я... Устал, замучился, и... и не то что руками или ногами, — душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, точно, заслоняя все, стояли призраки разрушенья, развалины, и некуда было итти.

— Главное что! — вспыхивая, заговорил он. — Трудов, сколько трудов убито! Нашего брата разве легко поднять, да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, — ой-ёй-ёй, сколько времени, сколько трудов стоило! А сколько народу пропало по тюрьмам да в ссылке, да на каторге, да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот — траххх!.. Готово! Все кончено! Шабаш!

И он отвернулся и опять глядел, не замечая, мимо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А-а-а-а...— и он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяния, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

— Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, спокой, все спит, все отдыхает,— и голос старика был глубоко спокоен,— все: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять в рост. Все спокой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки,— должно быть, летели на ночлег кулички.

— Да-а, спокой... Потому намотались за день, намаялись за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы — во-о... И заснула вся земля. А наутресь опять кажный за свое,— птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово, начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

— Дедушка,— болезненно раздался надтреснутый голос,— да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уже не подымутся.

— А ты ешь, парень, ешь,— говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду.— Да-а... мужичок, хрестьянин вышел пахать. Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождичек прошел, и погнало из земли зеленя,— погнало, словно брате выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что! Вспахал, посеял, собрал — и сыт. Да-а... Колоситься зачало. И вот, откуда ни возьмись — туча,

черная-пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сравняла: где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы сердяга... Что же, думашь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят... Пошел на чугунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал... Что же, думашь, тем дело кончилось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятья. Опять пробились зеленя, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика, — и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, — а кажную весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: а-а-а!.. Наборщик молча стал носить из котелка.

— Ишь звезда покатилась, — проговорил длинный и рыгнул.

— Так-тось, братику. Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху... Глядим мы на тебя давеча, — идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел, и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: не трожь его, пущай обойдется. Ан, вот теперь и оказалось... Вона у нас, — старик мотнул головой на баржу, — чего хошь, в кажной деревне выгружаем. Пущай народ любопытствует, пущай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: хо-хо-хо-о!..

### III

— Да вы чего тут стоите, дядя?

— На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазал в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой огляделся кругом. И впервые увидел ти-

хую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шопот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

— Ночка-то!..

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

— Теперь хоть и вздремнуть бы, — две ночи глаз не смыкал.

— Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

— Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошенно ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, переглянулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там, наверху, иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

— Эй! Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый и грубый, и за рекой нехотя и глухо повторили его.

— А тебе что?.. — лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

— Что за люди? Мать... — и грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

— Чего надо?.. Ступай, отчаливай!.. Неположенного ищешь.

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь, и грянул выстрел, и, негодуя, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шопота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

— Казаки! — шептал наборщик, поднявшись. — Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

— Погодь... ничего...

— Не пужай, — не из пужливых. А вот только кого-нибудь зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного, так это верно. Пуля-то куда летит... Сволочи! — длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли не беспокоемые, из степи несся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шопот воды старался попрежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением, молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, пересиливало дремотно-шепчущий покой.

Снова сели.

— Поисть не дадут, стервы!

— Подлый народ! Земли у него сколь хошь, хоть обожрись, ну, и измываются над народом.

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихий покой и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло. Стояла только темнота, с беспокойной чуткостью ждущая чего-то. И как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло. Через минуту — опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в тень вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо-размеренный хруст прибрежного песку. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе... Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные силуэты всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

— Что за люди?

— А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

— Шашки захотели отведать? Так это можно. Две половинки из тебя сделаю!.. Что за люди, спрашиваю?

— Ослеп, что ль? Сторожа при барже.

— Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак с серым лицом и выпятившимися челюстями спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

— Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка.

— А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб не огрызался, погань проклятая!

— Связать недолго, — спокойно заговорил старик, — и угнать можно — самое ваша занятия, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товарами набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ, казачки и

обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...

— Бреши больше, старый чорт! — и в голосе бородатого казака послышалась неуверенность. — Погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай!

— Да ты что, али только родился, мокренький?.. — усмехнулся длинный. — Пачпорта обыкновенно у хозяина. Ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казак в нерешительности натягивал поводья.

— А этот?

— И этот сторож! Водоливом на барже.

— Брешешь, сучий подхвостник! Не видать, что ль, — из городу убег. Ага! Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Погляди нет ли следов от костра в энту сторону...

Молодой сунул в уголья хворостинку, подержал, пока не вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

— Нету. Оттуда следы, как раз из города шел.

— А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люцинеров укрывать? Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между протчим, Рябов, обратай-ка этого.

— Веревки-то нету.

— А ты чумбуром *. Чумбуром округ шеи. Погоним как собаку!

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

— Ну, ты, паскуда, повернись, что ль!

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

— Пошел ты к чорту!

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

— Ежели еще шаг — на месте положу!

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей. Бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

* Чумбур — длинный ремень к уздечке.

— Завязал?.. Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодй, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку* и напружился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету; потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дедову плечу и крикнул прервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

— Никак, потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой точно толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась кругом поясницы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув голову и приседая на задние ноги, пятилась и упиралась задом в обрыв.

— О-го-го!.. Ссво...о...лочь!.. Ря...бов... ссу...ды!..

— Нни...чего, дя...дя!..

— По...го...ди, я тте ша...шшкой!..

— Го...жу... Ва...лись-ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим, обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпалась глина и ссохшиеся комья.

— Ого-го-го!.. Рря...бов!..

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря на отчаянное, нечеловеческое напряжение, бородач тяжело, грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремена на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова.

Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадью ухнула земля от тяжко свалившихся тел.

---

* Лука — часть седла; передний и задний выступы седла.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятья и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конец волочившегося по песку повода и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

— Эй, давай-ка чумбур!.. — хрипел длинный, наступив коленом на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

— Фу-у, дьявол, насилу стащил. Еще бы трошки, — вырвался бы, лошадь увезла бы... Ну, давай же молоко доедать, никак не дают повечерять. Возжайся-ка тут с ними, с иродами.

IV

Они сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

— Ну, этот молодой и крякнуть не поспел, как дедушка его зараз на песок.

— А этот здоровый, откормился, кабан.

— Ишь. А то за шею... ах ты, моченая голова!

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понурив головы.

— В прошлом году стояли тут на перекате, — заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем, — так гроза сделалась, н-но и гроза! Мимо шар си-иний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево, саженях в пятидесяти по берегу, — от дерева лишь пенек остался, ей-богу!

— Прошлое лето грозовое было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего совершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что

мог в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

— Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

— Как не жалко! Жалко, — усмехнулся длинный, — потому и связали вас.

— Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

— Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

— А ты бреши, да не забрехивайся. Слышь, зараз развязывай! Мать вашу...

— За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? — невинно продолжал длинный. — Ты трошки потерпи. Зараз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпим, да и в реку обоих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

— Не пужай, не испужаюсь... Казак — не иголка, все одно дознаются. Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулся ему из-за реки.

— Мели, Емеля, твоя неделя. Об нас не тужи, станишничек. Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности: они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем — только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, кажный с превеликим удовольствием приблудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дарёному коню, зараз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады. И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздались хлюпающие, переливающиеся,

прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

— А-а, жидок на расправу, а людей неповинных, беззащитных убить аль искалечить — это ты можешь... Как с-собаку, за шею привязал. Не то что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

— Не вой, сволочь!

Но волчий вой все носился у него за спиной и над рекой и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, — чтоб никогда не кончилось это молоко, — но глубже и глубже опускались ложки.

— Братцы, — заговорил он глухо, — отпустите...

— Вишь, паренек, — заговорил спокойно старик, — ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь.

И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал:

— Да-а, придет время, так-то и народ нежданно-негаданно подымется, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

— Служба наша такая, разве мы от себе... у меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться...

— Что служба!.. ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

— А как же! потому присяга престол-отечеству... — и ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

— Присяга!.. — голос старика зазвучал желчью, — присяга!.. Вот она присяга, — и старик вдохновенно поднял руку, — перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой,

перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, — потому жисть она человеческая — а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она присяга истинная. Вот кому присягали мученики. Вот кому должон присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы несчастенькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом, — он широко повел рукой, — ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками, да бьете из ружей... Ишь, пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой, говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, — тлько это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

— Охо-хо! — жисть-то она человеческая! — проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, и казак не отрываясь следил за ней, белевшей. — Как оно выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь. С плугом ходишь, землю месишь-месишь... Потом сердце изболится, покеда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

— Звезда покатилась, — проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидел темную реку, без счету полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, — все это в прошлом, а настоящее — это темь, и в темноте у костра медноозаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову с печально

отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимо махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насупленных бровей за реку, где смутно чудился лес.

— Травка растет, ты ее побереги, прут гонит из земли, ты его обойди, не сломи... Человек — ништо, он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тиранить да убивать, да в тюрьму сажать... Присяга!!. Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал, сила — ты, ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

— Братцы! — заговорил он, отдаваясь бессилию. — Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно метались за спиной воющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался — вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло живую степь, и теперь звучало последним прощанием.

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воющие причитания торопливее и тревожнее неслись оттуда — и вдруг смолкли.

У бородача ёкнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, садился в седло; наконец, вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

— Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял, — смеялся длинный. — Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья...

— Прощайте, ребята!

— Прощай, паря!..

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

Попрежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

— Ну, теперя хоша и спать.

— Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

— Одначе они тягу дали...

— Помирать никому не хочется.

— Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

— Тебя как звать-то?

— Алексей.

— А по отцу?

— Николаич.

— Ну, вот что, Миколаич, полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

— Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой, изменчивой линией отделявшейся от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться — и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

— А?..

— Неужто?.. — коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи, оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, несся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога,

как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, попрежнему копался в лодке.

— Эхх!.. — досадливо крякнул длинный, завязывая пояс. — Сказывал, — не выпущать... Теперь расхлебывай... Ишь, карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

— На ту бы сторону, что ли, переехать, — проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

— Ничего, ребята, ничего, — спокойно проговорил старик, продолжая копаться.

Вот уже близко, уже над самым обрывом; потом звуки помягчели и пошли влево — в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песку. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторону.

— Эхх!.. — все досадливо чмокал длинный. — Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгоряченного коня, заговорил:

— Вот что, ребята. Перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес... Энта стерва поехал докладывать командиру сотни. Хотел перестрелять вас оттеда, с обрыва, — насилу уговорил. Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Глядите, к утру взвод пришлют, туго вам придется.

— Ххо-о!.. Часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

— А-а, ну так... То-то я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

— Счастливого, дядя!.. Спасибо тебе.

— Спасибо и вам... — он придержал немного коня. — Тоже и у нас — не пар, ну положение такое... А старик у вас — правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, не затеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

# БЕЛАЯ ГЛИНА

## I

Без устали мелькая, бежала назад зеленым простором степь, уносились белеющие пятна разбросанных хат, колодцы с высокими журавлями на голубом небе, но все на одном месте над лиловатым горизонтом громоздились блестящие груды белых облаков. А по свежей омытой дождями, девственной зелени убегающей степи скользила, поспевая за поездом, сизая тень одиноко бегущего вверху облачка.

Из-за перегородок покачиваются головы в картузах, платках и без картузов с взлохмаченными волосами. В табачном дыму, в духоте вагона, в непрерывно бегающем гуле плавают — плач ребенка, смутный говор, смех, вздохи, кто-то сладко зевает. Когда не смотреть в окно, кажется, вагон без всякой надобности гремит и качается на одном месте, и своя особенная, оторванная от всего, что вне, жизнь заполняет его.

Входит кондуктор. В отворенную на секунду дверь, как ураган, заглушая все, врывается снаружи бушующий железный грохот. Дверь захлопывается, подрезывая мгновенно упавший грохот, и он угрюмо-сдавленно бежит под полом, и человеческие голоса, и вздохи, и брошенная фраза отрывочно всплывают в нем, как в шумно бегущей из-под колес, торопливо волнующейся воде.

— На ярманку?

— На ярманку.

— Торгуете?

— По свиной части.

И снова поглощающий, без устали бегущий гул, бесконечно и мерно разрезываемый стуком колес.

Что-о ж ты, Ва-нька, ром не пьешь,
Аль лю-убить меня не хо-о-о-шь...

вырывается в конце вагона с игривыми, переливчатыми звуками гармоники, с секунду трепещет где-то под потолком, падает и бессильно тонет в не знающем ни радости, ни печали, в не знающем человеческих звуков железном грохоте.

Бабы в ярких кофточках и красных юбках, со сбившимися набок платками и потными лицами, ни на кого не глядя, ничего не слушая, ничем не интересуясь, взапуски щелкают семена, равнодушно выплевывая перед собою, и шелуха толстым слоем белеет на полу.

— А вот-с, скажите, пожалуйста, — говорит молодой человек в высоком, подпирающем уши, запотелом крахмальном воротнике, — станции, и на каждой станции буфет-с, и в буфете-с водочка-с, и при водочке закуска-с. Известное дело, как говорится, рыба плавает. Подойдешь, выпьешь, ну, выпьешь и спросишь: а какая у вас тут, позвольте спросить, местная рыба? Селедка-с. И вот, верите ли, всю Россию проехал, разные климаты, разные местности, реки, а местная рыба все одна: селедочка-с.

Старик-торговец в напяленном картузе, с белеющими из-под него косичками, нахмуренными седыми бровями и острым, старчески худым лицом сердито поворачивается, стараясь пересилить железный говор вагона:

— То-то вот — водочка-с. Водка-то — дело рук человеческих, злак, и с устатку крестьянину разрешается, от трудов это не грех. Сам господь в Кане Галилейской...

— Так то вино...

— Все одно, тогда водки не было, а теперь заместо вина водка, злак все одно, хлеб, и произрастает на корню... А вот табаком ноне задушили, так это что? Молодой человек, и бесперечь дымит, как из трубы, прости, господи.

— Так ведь и табак — злак, на корню.

— Не говори хулы. Хлебом-то хрестьянин кормится, а табак — нечисть. Ишь, вагон некурящий, а наскрозь продымили, не продыхнешь. Порядок это?

Он сердито стал смотреть на мелькающую степь, и вагон продолжал свой говор без помехи.

— Що правда, то правда, — после долгого молчания проговорил украинец с черным, сожженным степным ветром и солнцем лицом, с черными, мозолистыми, полопавшимися от неустанного труда, заскорузлыми руками и чернеющими от набившейся грязи толстыми ногтями, — хлеб — божье произрастанье, а энто — чортов корень.

И он замолчал, спокойный, невозмутимый, легонько покачиваясь от качки, думая свою собственную думу. И все замолчали, как будто не о чем больше было говорить, и только колеса бежали со своим однообразным, но о чем-то новом непонятно рассказывающим говором.

На станциях, когда, скрежеща, вагоны, валяя пассажиров, со звоном сталкивались, и проплывшие мимо станционные двери, окна, столбы останавливались неподвижно, из поезда, как из рассохшейся бочки, выливались толпы пассажиров, заливая платформу.

Бьет звонок. Платформа пустеет. Входят новые лица, останавливая на минуту на себе внимание, тихонько проплывают станционные помещения, фонари, водокачка — и опять качающиеся стенки, перегородки, полки, табачный дым, духота, бегущий гул, и всплывают говор и плач ребенка, и мимо уносится зеленый простор и белеющие пятна хат, и пепельная тень, поспевая за поездом, скользит по зеленому ковру, торопливо изламываясь на неровностях.

## II

Вошли двое. Они внесли с собой впечатление непреклонности, силы и вражды.

Каждый из них оглядел публику, тряхнул волосами и сел, подбирая оружие. Один был в кургузом мундире, обтянутых кавалерийских брюках, и на ногах звенели шпоры. Другой в долгополом, неуклюжем мундире, с волосами в кружок, с беззаботно-самоуверенным лицом и красными широкими лампасами на шароварах. Фуражка без козырька была надета набекрень.

— Фу-у, жарко! — сказал драгун, снял фуражку и отер вымокшее лицо.

— Жарко, — проговорил казак.

И по тому, как они сидели прямо и молодцевато, не сгибаясь и выпятив грудь, и как говорили, ни к кому в особенности не обращаясь, чувствовалось, что эта особенная одежда, эти ремни через плечо, патронные сумки у пояса, позвякивание шпор — все отделяет их от остальных недоступностью и силой, точно замкнутым кругом.

И весь вагон как бы распался на две половины: с одной стороны — табачный дым, духота, плач ребенка, качающиеся пассажиры, непрерывный гул и уносящаяся в окнах зеленая степь, с другой — эти двое, как бы отделенные, странно уверенные в своем особом положении.

Драгун достал табак, скрутил папироску и нагнулся:

— Дозвольте прикурнуть.

Молодой человек, разыскивавший по России местную рыбу, со смешанным выражением скрытого недоверия и вражды протянул папиросу.

— Куда, служивый?

— На побывку, — сильно затягиваясь и под ряд вспыхивая папиросой, бросил тот, не взглянув.

— Наши места зачинаются, — проговорил казак, и белые, как кипень, зубы блеснули на добродушно разъехавшемся загорелом скуластом лице, — степь!

И, помолчав и опять блеснув зубами, проговорил:

— Через две станции Донская область зачнется. У нас тоже все вò.

И все поглядели на бегущее без конца и краю зеленое степное царство.

— Рады, небось, будут?

— И-и... там рады!.. Хозяйство все в препорции, как есть, — говорил казак, захватывая побольше и захлебываясь воздухом.

— Надоела служба?

— Ну-да, а то... Бог с ней совсем, со службой... Скучился... дома жана ждет, ребятёнки, вся домашность...

И, воодушевившись, заговорил:

— Четыре пары быков, два плуга, овец с полсотни — полная чаша... Зараз покос подходит — только берись да работай.

Он защемил двумя пальцами нос, на весь вагон высморкался и, нагнувшись, вытер пальцы о нижнюю сторону сиденья.

— Али тяжела служба?

— Да она чижала не чижала, а дома лучше.

Украинец сидел так же неподвижно-спокойно, сурово-сосредоточенно. Черная борода и спутанные волосы белели проседью, и по черной, как чугун, от загара шее раскинулась перепутанная сеть морщин. Расставил монументальные сапоги, оперся о колени и, свесив голову и шевеля черными, как юфть, пальцами, глядел, потряхиваемый вагоном, в пол. На полу ничего не было, только горы белеющей шелухи.

Драгун, докуривая папиросу и сосредоточенно глядя через нос на подбирающийся к губам огонь, независимо закинул ногу на ногу, звякнул шпорами, потом придавил о каблук окурок и глянул на баб.

— Хоть бы подсолнухами угостили.

Те, блеснув на него глазами, продолжали щелкать.

— А все жалются на казаков, — проговорил молодой человек в пропотелом крахмальном воротнике, — обижают народ.

— Что ж жалются, — сказал казак, и опять добродушно разъехалось загорелое скуластое лицо, блеснув ровным рядом белых, здоровых зубов, — служба...

И, помолчав и ухмыляясь, добавил:

— Опять же — присяга.

Молодой человек посмотрел на зеленое мелькание в окне и раза два высоко поднял и опустил брови. Ему хотелось прямо и открыто сказать то, что думал, и в то же время подыскивал форму, чтоб не обидно было.

— Это, конечно, действительно так, что как крест целовал, стало быть, присяга... ну, только, разумеется, в разных обстоятельствах и разное применение, неодинаково... потому что, собственно...

— А такие обстоятельства, — заговорил внушительно и авторитетно старик по свиной части, с белыми косичками, в картузе, напяленном на самые уши, — такие обстоятельства. Вот к нам прислали сотню, да житья не стало: кур режут, все тянут, девок всех перепортили, бабе показаться на улицу нельзя — зараз, как кобели; мужикам проходу нету — порют, как скотину. Вот они, обстоятельства...

— Я то и говорю, — заторопился, приосаниваясь, молодой человек, — жалится, жалится народ. К примеру, я сам, изъездивши всю Россию, и везде неправильность, везде бедствие от военного мундира.

— Оно, конешно, не без того, — все показывая зубы, проговорил казак, — да ведь што ж... Так уж поведено.

И он вдруг громко засмеялся каким-то своим мыслям и тряхнул головой.

— Командир у нас — веселый человек. Ребята, говорит, тут все бунтовщики, постарайтесь, говорит, штоб умножение произошло верноподданному народонаселению. Ну, мы — рады стараться! Все по деревне.

И он опять засмеялся, показывая здоровые веселые зубы.

Из-за перегородок выглядывали головы, глядели глаза, в проходе столпились, опираясь друг о друга, о спинки сидений, слушая казака. Степь попрежнему уносилась, и навстречу летела Донская область с хозяйством, с семьей, с родными местами, со всем укладом привычной, родной жизни.

— Ишь ты, а это что же, по-божецки, что ли!.. Это бусурмане, и то легче.

— А то зачнут палить, бьют под ряд, кого попало — и мужиков, и баб, детей бьют!.. Сколько положили народу.

— Ироды, прямо ироды!..

— Им что!.. нажрется пьяный, и валяй...

Лица у всех стали пасмурны, как будто в вагоне потемнело. Казак перестал смеяться и, повернув голову, стал глядеть на убегающую степь. Только под полом попрежнему равнодушно и упрямо бежал гул, как бы говоря, что ему нет дела до того, о чем говорят, думают и что волнует в вагоне.

Тоненьким звуком зазвенели шпоры. Драгун повернулся и, сдвинув шапку на затылок, заговорил:

— Да, а ты кто такой будешь?.. Это из таких, которые политические песни поют... Знаем мы... Вот такие самые бунтовщики — самые и вредные. Зараз кликнуть жандарма — и все.

— Да ты что расхорохорился? Ишь ты, нацепил побрякушки, и я — не я.

— А то... стало быть, сам просишься под арест, а то и так что пристукнуть такого, и отвечать не будешь. Бунтовщиков истреблять, вот как, потому приказ... Все вредный народ...

Он повел плечами, выпрямляя грудь.

— Конечно, если бунтовщики, — заговорил молодой

человек с грязным воротником, — а то ведь есть которые невинные.

Драгун живо повернулся к нему, звякнув шпорами.

— Да разве их разберешь!.. Вот он, вишь ты, сидит, — мотнул он головой на невозмутимо сидевшего украинца, — воды не замутит, святой, а там у себя в деревне-то зараз жечь, бить, грабить. Сколько экономиев сожгли!.. Так где же тут разбирать. Скомандуют: «бей!», и стреляешь, а там пуля виноватого найдет. Ну, разумеется, всякого не пожалеет. Ежели в толпу, там и баб, и ребят наколотишь. Как же быть-то — не бунтуй, на то правительство... Не-ет, нонче этих слабостев нету.

— Не-ету, — снова благодушно засмеялся казак.

— Ноне чуть чего — нагайки да пули откушай, ноне разбирать не станут. Его, мужичьё это сиволапое, его одно слово — бей. А то как же?

Все разбрелись. Из-за перегородок попрежнему покачивались головы, мелькала степь, стояла духота, бабы щелкали семечки, и в непрерывно бегущем, заполняющем вагон гуле всплывали — плач ребенка, отрывки доносящегося из разных концов вагона говора.

## III

Украинец попрежнему сидел невозмутимый, спокойный, думая свою собственную думу. Раза два он исподлобья глянул на драгуна, и странный беглый огонек пробежал у него в глазах. Широко зевнул, перекрестил рот и опять посмотрел на драгуна.

— Та ты, мабуть, не из-пiд Харькова?

— С Белой Глины, — небрежно уронил драгун, глядя в окно.

Украинец глядел в пол, пошевеливая пальцами.

— Чи не Карый будешь?

Драгун сдержанно посмотрел на него.

— Нет, Горобцов — а что?

— Да так, думаю, чи Горобец, чи не Горобец, — лениво и нехотя протянул украинец, и тот же огонек бегал у него в глазах.

— А ты сам откуда?

— Та с Белой же Глины, белоглинский, — и опять невозмутимо уставился в качающийся пол.

Драгун повернулся к нему, позванивая шпорами.

— Не признаю.

— Та як же ж... — И помолчав: — Дядя Хведор.

И помолчав:

— Дядя Хведор.

— Дядя Хведор? Не признаю... — недоумело говорил драгун.

С его лица поползло прежнее выражение, и пополз куцый мундир и обтягивавшие штаны, и патронная сумка, и вся выправка и самоуверенность человека казармы, и на дядю Федора глядело наивно-добродушное, немножко глуповатое безусое лицо белоглининского парубка, и шпоры уж не звенели на подобранных под скамью ногах.

— Скажи на милость!

Дядя Федор снова уставился в пол, спокойный, невозмутимый.

— Ну, как наши там?

Дядя Федор лениво помолчал.

— Та ничого, що жь, пашуть, сиють, скотину годують.

— А батько?

— Та и батько... — лениво тянул Федор.

— А жинка?..

И лицо драгуна разом подмывающе засветилось, глазки сделались маленькими, хитро сощурились, и во все стороны от них побежали тоненькие лучинки.

— А жинка... у земли.

Смеющееся лицо драгуна померкло. Он испуганно подался вперед, и глубоко чернел раскрытый рот.

— А? — ненужно и коротко вырвалось, хотя он отлично слышал.

— У земли, кажу, — невозмутимо повторил дядя Федор, пошевеливая пальцами.

Драгун вобрал в себя воздух, удерживая подергивания лица.

— Хворала?

— Ни-и... здоровая...

Среди на секунду наступившего молчания, как повышающийся звук лопнувшей струны, нестерпимо впилась острота ожидания.

— Что же? — с возрастающим страхом спросил драгун.

Федор не спеша почесал за ухом, полез за голени-

ще и поскреб черными, похожими на собачьи когти ногтями.

— Та усмирение було... так пулей... ось в это самое место, — и он, не подымая головы и не торопясь, показал заскорузлым пальцем над глазом.

— А-а!.. — беззвучно пронеслось в вагоне.

Только побелевшие губы судорожно трепетали.

Из-за перегородок глядели внимательные глаза, в проходе опять столпились, опираясь друг о друга и о спинки сидений.

— А диты? — точно подкрадываясь, по-кошачьи, глядя исподлобья, прошептал парень.

— Старший... у земли... — с жестокой, спокойной неумолимостью продолжал дядя Федор, — а маленький у батькови... Ноги переломаны копытами... та ребра... як скакалы, та и топталы...

Драгун поднялся, озираясь. Вагон качался, но молча — не слышно было гула и стука.

— И диты? — как шелест, пронеслось среди страшного молчания.

— Так як же ж, — заговорил, оживляясь, дядя Федор, — толпа!.. разве разберешь, як стрелилы у гущу, та и наваляли, як тараканов... Пуля виноватого найдет... А потом конями топтать зачалы... экономию громилы...

Драгун криво усмехнулся, шагнул, пошатнулся от качки вагона и, странно ловя воздух и цепляясь за перегородки, беззвучно, как мешок, опустился на скамью.

И снова побежал гул, уносилась зеленеющая степь, проносились белые мазанки, и стучали колеса на стыках.

Лающие, собачьи звуки сквозь гул вагона рвались с того места, где на скамье виднелся мундир.

На него поглядывали с строгой укоризной сожаления, потом отворачивались и глядели в окна, мимо которых все летела степь.

Украинец невозмутимо глядел вниз, в пол, опираясь о колени.

На станции драгун, всхлипывая, с красными, заплаканными, по-ребячьи вспухшими глазами, в странном несоответствии с мундиром, ни на кого не глядя и придерживая мешок с вещами, вышел из вагона.

Только казак, уже не ухмыляясь, сделал под козырек и проговорил, конфузясь:

— Счастливо!..

Опять качается вагон, летит степь, и пусто смотрит лавка, на которую никто не садится.

Долго сидел дядя Федор, глядя между сапогами в пол и слегка покачиваясь от хода. И когда о нем забыли, поднял голову, пристально оглядел всех и проговорил с раздувающимися ноздрями:

— Та я ж его в первый раз вижу и семейства его не знаю, и в Белой Глине николи не бувал!..

И в глазах, как искра ночью от потухшего костра, блеснул огонек торжествующей ненависти, которая тлела в сердцах, вскормленная около земли.

## КАК ОН УМЕР

У самого синего моря под зелеными крымскими горами раскинулось громадное имение бывшего царя — Ливадия.

Чего только в этом имении не было: и невиданные деревья, и заморские цветы, и дорогие виноградники, и фонтаны, и диковинные фрукты, только что птичьего молока не было.

А в белых дворцах, полных роскоши, шла пьяная, разгульная жизнь: пьянствовал царь, пьянствовали великие и не великие князья, пьянствовали бароны, графы, иереи, генералы, офицеры, вся свора, которая толпилась около царя и объедала вместе с ним русский народ. А чтоб эту пьяную компанию кто-нибудь не потревожил, все имение было оцеплено колючей проволокой заграждения, а в казармах стояли сводные роты, которые день и ночь охраняли царя с его прожорливой шайкой. Солдаты были подобраны молодец к молодцу. Кормили и содержали их хорошо, но было скучно и тяжело жить. Несли строгие караулы, целыми часами сидели в секрете и смотрели в бинокли и подзорные трубы на шоссе, на горные тропки, на леса, на море — не покажется ли подозрительный человек, не покусится ли кто на пьяную, но «священную» особу царя.

А если по морю пройдет судно или лодка мимо имения ближе чем на версту, стреляли из винтовок и убивали людей.

В город Ялту, лежавший под боком, отпускали редко, да и отпустят не на радость: ходили командами, строго, подтянувшись, и во все глаза надо глядеть — не прозевать офицера. Чуть замешкался отдать честь

или отдал не так уж по-молодецки — карцер, на хлеб и на воду, в штрафные.

В городе хотелось побыть по-человечески, как все, спокойно и свободно, чтоб хоть сколько-нибудь передохнуть, но и этого нельзя было, нельзя было даже поговорить с вольными, — и город, и окрестности, и весь Крым кишмя кишели царскими шпионами.

С офицерами было особенно тяжело. Это все были аристократы, князья, графы, бароны, либо купеческие сынки, большие миллионеры — все народ гладкий, холеный, белотелый, отъевшийся. И когда проходили мимо вытянувшихся в струнку солдат, небрежно взмахивали, не глядя, белой перчаткой.

И не то чтоб они скверно обращались с солдатами, а просто проходили мимо солдата, как проходят мимо тумбы, мимо дерева или камня. Но за малейшую провинность наказывали беспощадно.

А солдаты тосковали, тосковали по семьям, по дому, по работе.

Тосковал и Иван Науменко.

По виду и не признаешь, что у человека день и ночь под сердцем червяк точит. Так же, как всегда, балуются солдаты, играют в чехарду, ездят друг на друге, гогочут, смеются, дуются в три листика. А в остальное время, несмотря на смертельную жару, несут караульную службу в полном снаряжении.

Да и сам Науменко не думал о своей тоске, был всегда веселый, разговорчивый, аккуратный и ловкий по службе, — любили его товарищи. Да и офицеры его отличали, но отличали, как отличают хорошо пригнанное седло от плохо пригнанного.

Не думал о своей тоске Науменко, а думал, что на хорошую службу попал, хорошо ему живется.

Только бывало, когда стоит на часах или в секрете и выплывут звезды, да такие крупные, каких он никогда не видал у себя в Воронежской губернии, защемит сердце.

Сзади стоят горы. И лежит от них огромная черная тень. За садом медленно и тяжко всплывает у берега ночное море, а из сада пахнет неведомыми цветами. И Науменко думает: «Мабуть убралась моя Мотря, коров подоила. Полягалы вси спать... Ээх!»

Курносенькая она у него, круглолицая, чернобровая,

ласковая, а работница-то! Девочка у них, четвертый годок. Аккурат родилась, как ему на службу итти.

А тут лежи с заряженной винтовкой и высматривай, как зверь: не лезет ли кто через проволоку в царскую резиденцию. А если приметит, что лезет, свой ли, чужой ли, велено стрелять без оклику.

Однажды Науменко сидел в свободное время под деревом на траве и раскладывал подарки, которые приготовил своим: три шелковых платочка, коралловое монисто и куклу. Один платочек старой маты, один жинке, один дочке. И монисто дочке, и куклу дочке. А кукла, ежели в груди придавить, она говорила: «Ппа-ппа!» И глаза закатывала. Науменко смеялся, глядя на куклу:

— Жива душа, тай годи!..

Четыре месяца осталось, а там и домой.

Науменко и не заметил, как проходил сзади офицер.

Офицер остановился:

— Эй, ты!

Науменко вскочил, держа куклу в руках.

Офицер нахмурился:

— Н-не видишь?

Науменко все так же стоял растерянно, забыв бросить куклу.

Офицер шагнул к нему и впился серыми глазами, полными неизъяснимого презрения. Потом ловко и сильно, так, что у Науменко мотнулась голова, снизу ударил его в подбородок. Бриллиантовый перстень на офицерском пальце пришелся в челюсть, и у Науменко во рту стало солоно от крови.

Не впервой это было, били и офицеры и унтеры, били и его, и товарищей, и на все покорно, бывало, отмалчивались солдаты, только в казарме, когда останутся одни, отведут душу крепким словом.

А тут Науменко сам не знает, что сделалось: размахнулся и ударил офицера куклой в самые усы.

Офицер побледнел, как полотно, отшатнулся, сунул руку в карман, но револьвера не оказалось.

Тогда он повернулся и пошел прочь, процедив через плечо сквозь зубы:

— Ступай, скажи, что арестован.

Науменко пошел и арестовался.

С этих пор все пошло, как в железном порядке:

допрос, кандалы, суд и... столб, а возле свеже-вырытая яма.

Подошел взвод. Науменко завязали глаза и поставили к столбу возле ямы.

Офицер, командовавший взводом, поднял саблю. Солдаты взяли на прицел, целясь Науменко в грудь.

Вдруг послышался задыхающийся крик:

— Стой... стой!..

Снизу по тропке бежал солдат и кричал, без перерыва махая руками:

— Стой!.. Стой!..

Точно мглу отнесло, и все увидели то, чего до этого момента не видели: необъятно-спокойное море, одиноко белеющий в синеве парус, голубое небо, дрожащие от зноя горы, услышали, как гомозились и щебетали мелькавшие в чаще птицы.

Науменко стоял, как слепой, с завязанным лицом, но и он увидел, — увидел свою далекую Воронежскую губернию, белую хату, Мотрю и... и дочку с монистом, с коралловым монистом на шее.

И где-то в ухе у него, а может не в ухе, а позади уха, в глазу, а может не в глазу, а... в сердце, в сердце, которое, чтоб не спугнуть, еле-еле билось, где-то в сердце почуялось «помилование... помилование...»

Подбежавший солдат вытянулся и, тяжело переводя дыхание, взял под козырек:

— Позвольте, вашскблагородие, доложить.

— Что такое?

— Так что каптенармус просит, которая одёжа на ём, так чтоб выдать, как в цехаузе у него недостача, просто сказать, пропажа, и каптенармусу отвечать, так чтоб...

— Какая одёжа? Что такое? Ничего не понимаю...

— Дозвольте доложить, вашскблагородие, как ему теперича, — он кивнул на Науменко, — одёжа не нужна, все одно пропадать ей, а в цехаузе недостача, каптенармус дюже просил.

— Ну, ладно, — сказал офицер и сердито отвернулся.

Солдат подошел к Науменко.

— Ну, брат, сымай... все одно уж...

Науменко, не видя и неловко тыча руками, стал снимать гимнастерку, потом, повозившись у пояса, штаны, потом один сапог, потом другой, и все смотрели, как глина сыпалась у него из-под ног в яму.

Солдат взял одёжу и сапоги и, повернувшись к офицеру и держа под козырек, сказал:

— Вашскблагородие, дозвольте и белье, каптенармус приказывал.

— Ну, хорошо, только скорей.

— Сымай, видно, Иван...

Науменко опять неловко и не видя стал снимать с себя рубаху, потом портки и бесстыдно стоял, опустив руки и желтея исхудалым телом, только лица не видать было. Дрожал зной, а тело покрылось гусиной кожей. И когда солдат увидел это беспомощное голое тело, у него запрыгала челюсть, он стал скатывать одёжу, белье, сапоги, но все валилось из рук. Наконец, подхватил подмышки и торопливо стал спускаться. Еще не дошел до поворота тропинки — по горам, ломаясь, раскатился залп.

Оглянулся, яму торопливо зарывали, и он побежал вниз, вытирая мокрое от слез лицо.

# ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА

## НА БАТАРЕЕ

Нынешняя война[1] — война заводов, война инженеров, техников, ученых, изобретателей, я уже не говорю, это — война общественных организованностей. Отражением такого характера теперешней войны является современное артиллерийское орудие.

Это — механизм, — механизм сложный, чуткий, изумительный по своей точности, гибкости, послушности.

Оценку свою он получает при спокойной обстановке, когда кругом нет крови, тревоги смерти, ужаса и суеты, нет охрипших человеческих голосов, стонов и предсмертного хрипения. Но окончательная оценка — на поле битвы — в гуле и грохоте ураганного огня, среди чудовищных разрывов, несущих к небу черным расходящимся конусом землю, камни, разорванных лошадей, балки, куски цемента.

Офицеры-артиллеристы, все молодой интеллигентный народ, собрались в экономии.

В окне сквозь шевелящуюся зелень акаций мотали головами оседланные лошади.

Вошел полковник с розовым, чисто выбритым лицом, молодыми, ясными, чуть усмехающимися глазами и седой, коротко остриженной головой.

Все встали.

— Так что же, господа, — готовы?

— Готовы.

— Едемте.

Все оживленной гурьбой вышли за ним.

Подвели тонконогого гнедого коня с темной мордой и темным понимающим глазом. Полковник, сделав усилие, сел легко и свободно. Весело вскочили и офицеры.

---

[1] См. примечания в конце книги, стр. 493

Мне подвели большую рыжую артиллерийскую лошадь с белой отметиной на морде. Ноги у нее были с добрые бревна, да вдобавок лохматые внизу.

Я немного помялся. Дело в том, что конь был оседлан кавалерийским седлом английского типа, а я ездил на казачьих седлах и ездил-то давно. Делать нечего, полез, а конь, не глядя, лишь отвернул ко мне одно ухо, как бы говоря: «Пушку возил, повезу и тебя».

А я подумал: «Если станет брыкаться, чем все это кончится?»

Взобрался. Стало так высоко, что кругом открылся далекий вид. Скрепя сердце, подобрал поводья.

Полковник тронул, и гнедой пошел легко и плавно, почти не качая небольшую стройную фигуру. За ним так же легко, на легких лошадях, — молодой толпой офицеры.

Качнулся и мой рыжий и пошел большими шагами, мотая головой, стараясь оттянуть и выдернуть из рук поводья.

За нами — толпой солдаты верхами, — на каждых двух офицеров по солдату.

Шоссе было обсажено, как аллея, и всюду шевелились солнечные пятна. Аллея была особенно живая и радостная оттого, что деревья не были посажены казенно-одного типа по ранжиру. То раскинется вяз, могучий, ветвистый, то густой непроницаемой шапкой станет темный каштан, то нежно засквозит бледно-кружевной зеленью акация и пошлет тонкий запах, береза свесит плакучие ветви, или остро и стройно к синему небу вознесется пирамидальный тополь.

Полковник тронул, и гнедой пошел плавной мягкой рысью, чуть вскидывая легкую фигуру. Зарысили за ним и офицеры, легко, мерно и в такт бегу лошади подымаясь и падая в седле. Потянул поводья и пошел крупной рысью и мой рыжий, — и тут-то и началось.

От тряски я стучал зубами, осторожно подобрав язык, и начинал валиться на сторону. С каждым скоком я валился больше и больше, вытягивая шею, чтобы сохранить равновесие. В последнее мгновение, когда надо было очутиться на земле, я отчаянным усилием, стиснув зубы, переваливался и начинал от лошадиных потряхиваний медленно и неуклонно сползать на другую сторону.

Пот градом катился из-под козырька по лицу, падал на руки, на лошадиную гриву.

«Господи, хоть бы он тише...»

Но небольшая фигура полковника все так же плавно мелькала в голове отряда, все так же весело и легко, чуть вскидываясь на седлах, бежали за ним офицеры, и, пыля пылью, бежала на лошадях позади толпа солдат, а меня кидало, как мешок.

Офицер в очках, с молодым интеллигентным лицом, пустил лошадь рядом с моим рыжим и сказал, любезно наклоняясь с седла:

— День чудесный.

А я, боясь перекусить язык, не разжимая зубов, сказал в нос:

— Мнда-а!..

Я не видел ни яркого солнечного дня, ни открывающегося зеленого простора, не слышал птичьих голосов, когда проезжали перелеском. Было только одно отчаянное усилие не повалиться со скандалом на землю, и я гулял с одного бока лошади на другой.

Рыжий с удивлением все посматривал на меня одним ухом.

В последнюю, полную безнадежности минуту лошадь полковника пошла шагом, и, натыкаясь друг на друга, пошли шагом офицерские лошади, пошел шагом и мой рыжий, не обращая на меня никакого внимания.

Я облегченно вздохнул, и вдруг почувствовал, что весь в поту, как будто на меня вылили ведра два.

— Ну, как наши казаки? — любезно обернулся полковник.

— Рад стараться!.. — еле ворочая коснеющим языком, ответил я и подумал:

«Если так будет продолжаться, слезу, отдам лошадь солдату и молча уйду назад пешком».

Долго ехали шагом, я отдышался и стал видеть и слышать кругом.

Что за прелестный край! Такой сочной, такой буйно-яркой зелени я не видел. Кто-то чудесной рукой накинул зеленый, тканный цветами ковер по всхолмленной местности. Зеленый простор то сбегал с лощины, — и низом в камышах серебрилась речонка, вопили жабы, — то взбегал на изволок длинными, правильными четырехугольниками могуче зеленеющих хле-

бов. По холмам синеют рощицы или, перегнувшись через гребень, сползает в лощину лесок. И особенным покоем, тихостью, уютом веяло и от полей, и от лесов, и от белого шоссе. Звенели птицы.

Только солдаты попадались; проехал обоз, артиллерийский парк.

Въехали в деревню; забелели солдатские палатки. Солдаты, стоявшие кучками, вытянулись, отдавая честь. Полковник придержал лошадь.

— Здорово, ребята!

— Здра-ви-я же-ла-ем, вашескаа... — гаркнули солдаты таким здоровым голосом, что лошади насторожили уши, — далеко покатилось по удивленному полю.

На краю молча стояла церковь, и в стенах, и в куполе зияли раны от орудийного огня.

Полковник полуобернулся.

— Когда будем подъезжать к батарее, надо спешиться, — австрийцы могут заметить, подумать, что штаб, начнут стрельбу.

— Слушаем, полковник! — приложили офицеры руку к козырькам.

Деревенька осталась сзади, а впереди и по сторонам все та же могучая зелень хлебов, все те же лощины, изволоки, все то же голубое небо без пятнышка. Среди хлебов — одинокое дерево, и уходит назад, как воспоминание.

Проехали верст двенадцать.

Влево, на самом на краю протянулся хмурый спокойный лес, справа синими пятнами засинели рощицы.

— Слеза-ай!

Слезли. Солдаты взяли лошадей, и все растянулись, чтобы не итти кучей по проселочной дороге. Стеной стояла рожь.

У маленького сверкавшего ручейка столпилась купа громадных, терявшихся в небе деревьев. Между стволами притаилась наивно белая халупа. Бабы, подоткнув подол, тяпали на маленьком огороде. Куры, поклевывая, разговаривали, и тут же за плетнем, привязанная за рога, паслась черная, в белых пятнах, корова. Девочка лет семи смотрела на нас, держа на спине маленького, сопливого, охватившего ее шею грязными ручонками.

Вышли два офицера, один черный с нахмуренными

бровями, другой с мирным пополневшим лицом. Поздоровались.

— А где же орудия?

— Пожалуйте, полковник.

Я шел за офицерами в торжественном напряжении: сейчас увижу грозные артиллерийские окопы; но ничего не было, кроме моря ржи. Недалеко, среди ржи, виднелся куст, странно обсохший. Около куста на притоптанном месте стояло вытянувшись человек десять солдат.

На «здорово» полковника солдаты гаркнули во всю мочь. Полковник потрепал рукой в перчатке по щеке солдата:

— Милый, что ты такой худой?

— Никак нет, — серьезно ответил солдат.

Лицо у него лоснилось салом, щеки распирало, грудь, плечи подымало от жира.

Около солдата была расширяющаяся дыра в землю. Сверху покрыта бревнами, землей и соломой, внутри застлана чистой соломой; виднелся телефон.

— Где люди спят?

— Часть в сарае, часть здесь, в землянке.

Я подошел к кусту. Это — просто нарубленные и воткнутые среди ржи ветви. Среди них стоит орудие с высоко поднятым длинным хоботом, — дальнобойная гаубица завода Крезо, бьющая на одиннадцать верст.

Современное орудие, это — сложная машина. Система зрительных трубок, уровней, передаточных винтов дает возможность установить прицел с математической точностью. Артиллерист, это — рабочий около механизма, офицер — инженер.

— Полковник, — сказал старший офицер, делая под козырек, — с позиции просят открывать огонь по окопам.

— Начинайте. А второе орудие?

— В трех верстах отсюда.

Все оживились.

— Шрапнель!

Солдаты быстро, привычно, без суеты зарядили.

Офицер наполовину спустился в землянку, взял телефонную трубку и сказал наблюдателю:

— Сейчас выстрел.

И, полуобернувшись к солдатам, резко оборвал:

— Огонь!

Сажени две впереди от дула рванулась громадная огневая полоса, меня так толкнуло воздушной волной, что я попятился, и все потрясающе ахнуло, — земля, люди, небо, а я оглох. Хобот от отдачи осадило по лафету назад и постепенно выправило на прежнее место особым механизмом, в цилиндрах которого сжимается при отдаче глицерин. Потом над лесом далеко заклокотало, как будто тысячи поездов застучали по стыкам рельс, рассыпаясь бесчисленными откликами. Потом все дальше, все тише, — и над лесом, и над полями стало слышно птиц.

Мы не видели и не слышали разрыва, это — за девять верст от нас.

Снаряд пролетел поле, а за полем — далекий лес, за лесом — Днестр, за Днестром — наши окопы, междуокопное пространство, — и упал к австрийцам.

Не видно было нам ни неприятельских, ни наших окопов, ни реки, — кругом море ржи, и край далекого леса, а возле — белая халупа, корова на веревке, бабы тяпают.

Офицер сидел наполовину в землянке и, держа трубку, говорил:

— Перелет?.. Хорошо. Направление правильно. Хорошо.

И, обернувшись к солдатам:

— Сто семьдесят... Огонь!

Снова толкнуло воздухом, блеснул чудовищный огонь, ахнуло, и понесся, удаляясь, свистящий вой, а потом над лесом заклокотало, застучало по стыкам, все уносясь, все слабея, пока не смолкло. У меня звенело в ушах.

Офицер в трубку:

— Что, недолет? Хорошо...

К солдатам:

— Сто семьдесят пять. Огонь!

И не отнимая телефонной трубки, сказал, повернувшись к полковнику:

— В самый окоп... Австрийцы стали выскакивать из окопа...

Слабо доносились далекие-далекие орудийные выстрелы, — за лесом стояла наша легкая батарея.

У всех повеселели лица. Молоденький офицер, с милым юношеским лицом и задумчивыми глазами в очках, сказал, радостно улыбаясь:

— Ага, побежали подлецы...

— Огонь!..

— Стойте! — резко скомандовал полковник, — прекратить стрельбу!.. — и прислушался.

Все вытянули шеи. С искрящегося золотыми искрами знойного неба падало знакомое жужжание, и разом все налилось жутким ожиданием.

— В хлеб! — скомандовал полковник.

Солдаты быстро закидали орудие ветвями и разбежались по хлебу. Полковник, офицеры и я — прилегли во ржи. Офицеры, лежа на спине, смотрели сквозь колосья в играющее золотом небо в бинокли.

А там, блестя, как огромная игла, реял, описывая круги, вражий аэроплан. Он внимательно, то усиливая жужжание, то ослабляя, всматривался в расстилавшуюся под ним землю, но там необозримо лоснились под пробегающим ветром колосившиеся поля, темнел лес, пятнами синели рощицы, да одиноко среди хлебов сиротел безвредный куст.

Если откроет, бросит к нам бомбу, укажет своим, и нас смешают тут снарядами.

Аэроплан еще раз проплыл над полем, наискось, вернулся, облетел кругом, потянул через лес, и скрылся.

— Что, брат, несолоно похлебал?

Все поднялись.

— Открыть стрельбу!

— Огонь!

— Пойдемте, господа, чай пить.

Около халупы вкусно кипел самовар, виднелось масло, хлеб, молоко. Сели за стол, разговорились.

— Я был на медицинском факультете, — рассказывал офицер, — ну, беспорядки университетские, меня и вышибли. Долго болтался без дела, отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся, — все не пускали в университет. Наконец, поступил на юридический. Кончил. Только записался в сословие, тут — война; теперь стреляю.

У него украинский говор, добродушное полное лицо, добрые глаза.

— А скажите, где Глеб Сергеевич?

— Немцы закололи на батарее, наши видели.

— Жалко, славный офицер, был весельчак такой.

Мы пьем чай. Бабы тяпают на огороде. Тени удли-

нились. С промежутками бухает орудие, и у нас звенят и прыгают стаканы. Девочка спустила маленького и стала играть с ним на песке. Подросток за веревку повел корову к сараю и стал доить ее.

Странно так, — тихо, мирно, спокойно, и где-то за лесом, за рекой выскакивают австрийцы из окопов. Я знаю, что это значит: выскакивают живые, а мертвые лежат изорванные, в уродливых позах. Но мы ничего не видим.

Уже дальний лес и рощицы и лощины посинели, когда мы на лошадях поехали назад.

Опять та же мягкая картина зелени, хлебов, далеких и близких холмов, по которым — то леса, то пашни. То же шоссе, обсаженное могучими деревьями, и та же синеющая, куда ни посмотришь, дымка влажности.

Мир и покой...

## ТЕРМОМЕТР

Кровати мальчиков разделял только коврик.

Первым проснулся Толя. Он торопливо сел и торопливо, как лапками, протер согнутыми ручонками глазки, потом глянул. Его глаза были веселые и плутоватые, они дрожали смехом, искрились таким неисчерпаемым запасом выдумок и шалостей, что в комнате посветлело.

Сквозь подернутое морозом окно пробилось солнце.

Толя оперся о решотку кровати, весь вытянулся и воззрился на брата, как лисица на куропатку. Кожа у него беленькая и прозрачная и вся исчерчена синими жилками, а глазки и ноздри дрожат неудержимым смехом.

Шепчет:

— Игрушка!

Но Игорь солидно спит. Оттопырил круглые, полные щеки, и на переносице морщинка от чуть сдвинутых бровей. Он и во сне серьезный, положительный и не улыбается.

Толя торопливо перекидывает ногу через решотку, слезает на коврик и бежит в одной рубашонке босиком к старому буфету в углу, схватывается за полуотворенную дверцу, и начинается борьба.

Трудно. Острые ребра дверец упираются в колено, шкаф шатается, наклоняясь, того и гляди, рухнет и тогда задавит — давно надо бы вынести из детской, да все не соберутся.

Старый шкаф, огромный, потемнелый, много видавший на своем веку, с потрескавшейся фанерой, качается, тяжело и испуганно кряхтя, отваливается к стене и говорит хрипло:

— Дурачок, куда лезешь?.. Мне трудно. Я, брат,

стар... деда твоего, деда знал... Ежели навалюсь, запищать не успеешь... — и старается ребром дверцы придавить колено, чтоб заставить слезть плута.

Но маленький, напрягая все силенки и показывая из-под рубашонки белое тельце, весь изогнулся, впился в старика и, тоже кряхтя и отдуваясь и цапаясь, ползет все выше, выше.

— Ой, накрою... Ой, упаду... — качается старик, то приподымаясь, то становясь ножкой на пол, и посуда внутри жалобно позванивает.

Но мальчик стал на выступ, грудкой и раскрасневшейся щекой прилип к верхней дверце и, не глядя, нашаривал ручонкой вверху карниз. Нашарил, уцепился и опять полез кряхтя. Старик опять зашатался и закряхтел, подымая и опуская на пол ножку.

Мальчик влез наверх, свернулся в пыли и паутине белым комочком, и из-за карниза выглядывал лишь веселый заячий глазок.

В комнате все успокоилось. Старик перестал качаться, кряхтеть и позванивать посудой. Только спящий Игрушка с серьезным личиком, высоко и неподвижно поднятыми черными тонкими азиатскими бровями, оттопырив губки, тихонко посвистывал носом.

По комнате пронесся не то птичий, не то мышиный писк, и опять смолкло, опять тишина, опять тихонько посвистывает носиком Игрушка.

Игрушка открыл черные без зрачков глаза и, как лежал на спине, не шевелясь, стал смотреть в белый потолок.

За дверью зашлепали мягкие старушечьи шаги.

— Господи Исусе...

Нянька с обвисшим от старого жира телом и постоянной заботой на лице, как будто думала всегда о чем-то беспокойном, испытующе оглядела комнату и, глянув на пустую кроватку, ахнула:

— А где Толя?

Игрушка, не шевелясь и лежа на спинке, невозмутимо смотрел на потолок.

Нянька, с усилием нагибаясь, заглянула под кроватки, под стол.

— Да где же Толя? Ай ты мне не скажешь?..

Игорь, все такой же серьезный, скупясь на лишнее движение, скосил большие влажные с синими белками глаза и сказал медлительно и серьезно:

— На аэлоплане улетел.

Кто-то фыркнул под потолком и стал давиться тоненьким смехом, должно быть, рот затыкал кулаком.

Нянька стала на цыпочки и подняла белобрысые брови:

— Ах ты, разбойник!.. Ах ты, фортунат ты этакий! Зараз слезай, а то маме расскажу все без всякой жалости.

Из-за карниза, блестя лисьим блеском, выглядывали два шельмоватые глаза.

Нянька поставила стул, с усилиями взобралась дрожащими ногами и стала стаскивать разбойника с закачавшегося шкафа.

— Господи, да что это за наказание! Шкаф повалится, сплющит, мокро только будет. Чистое наказание! А выпатрался-то! Весь в пыли да в паутине, хочь в корыто его сейчас сажай. Снимай рубашонку, бесстыдник! Вчерась только рубашонку надела, на̀ как заделал.

Нянька с трудом оттащила разбойника к кровати, он юркнул и стал взбивать над собой ножонками одеяло.

— Ну, вот постой, мать придет, она тебе заглянет хворостинкой под рубашонку.

— Откуда ноги ластут, — сказал важно, все так же лежа на спине, Игрушка таким басом, что странно было, как помещается он в таком маленьком горлышке.

Нянька угрожающе ушла, а разбойник вскочил, огляделся, хотел было бежать к шкафу, да раздумал.

— Игрушка, — заговорил он, блестя глазами, такими живыми, что нельзя было разобрать, какие они: не то синие, не то зеленые, не то серые, — давай термометр поставим.

— Давай телмометл поставим.

Оба вытянулись под одеялом и, глядя в потолок, упорно, в унисон, стали кричать сколько хватило легких:

— Ма-ма, ня-а-ня... Ма-а-ма, ня-а-ня. Ма-ама, ня-аня!.. ня-аня!..

Толя то верещал козленком, то кричал бабьим, нянькиным голосом, то на особый манер трещал, как трещотка, точно горошинка у него заскакивала в горле. Игорь кричал ровно, упорно, одинаково, неизменным басом, лежа на спине и глядя в потолок.

Прибежала нянька, красная от раздражения.

— Ну, чего разорались?! Зараз одеваться... У других дети, как дети, а с этими ни сладу, ни ладу.

— Нянька, термометр!

— Нянька, телмометл!

— Еще чего?

— У меня голова болит и живот.

Толя скорчился, скривил рот к самому уху, протянул колени к подбородку и стал, извиваясь от боли, тереть руками живот.

Игорь с таким же неподвижным лицом и поднятыми тонкими бровями, лежа на спине, — лень переваливаться набок, — серьезно, без улыбки слегка потер себе под одеялом живот.

— Замучили вы нас... Не любите вы мать свою, — с отчаянием сказала нянька и, махнув рукой, ушла.

Они не любят маму... Странно! Но как же ее любить? Странный вопрос. Это все равно:

— Любишь ты свой пальчик, или глазик, или носик?

Их нельзя ни любить, ни не любить, — это просто пальчик, нос, глазик. И маму нельзя ни любить, ни не любить, она — пальчик, глазик, носик. Мама — просто мама, и все. Мама — всегда.

Вот папа — другое дело. Когда просыпаешься, никогда папы нет, и когда засыпаешь, папы нет. Только по воскресеньям и по праздникам бывал папа. Да еще когда у кого-нибудь из них жар и мама ставит термометр, папа тоже приходит, и тогда начинается самое интересное: папа садится на стул возле больного и начинает рассказывать. Он рассказывает, пока тот держит термометр. А как вынет термометр, папа перестает рассказывать.

Обыкновенно из-за термометра целое сражение, — мальчики не хотят держать его, так скучно, да еще целых двенадцать минут. А когда папа рассказывает, так готовы держать и по два часа.

Так как папины рассказы — награда за держание термометра, то и здоровый требует, чтобы ему поставили. Оттого завели два термометра и ставят сразу обоим, хотя болен один.

Но тут опять затруднение. Толя требует, чтобы папа на него смотрел и ему рассказывал за термометр, а Игорь требует, чтобы папа на него смотрел и ему

рассказывал за термометр. Никто не уступал, а если папа поступал к одному из них несправедливо, поднимался ожесточенный рев.

Папа хитрый и ловкий. Он приказывал принести кровать, ставил ее между кроватками мальчиков, ложился на спину лицом кверху и одним глазом смотрел на Толю, другим глазом на Игоря, а губами рассказывал «пополам». Иногда Толька глянет на папины глаза, как они врозь смотрят, и покатится от хохоту:

— Папа, у тебя глаза раскорячились.

А иногда Игорь строго скажет:

— Не мешай слушать!

У папы обыкновенная голова, как у всех людей, а сколько там сидит историй! О чем только ни рассказывал: как через Африку на воздушном шаре путешествовали, как под водой в морях путешествовали, как нарвалы * рвут китов, как в шахтах добывают уголь, как из глубины океана достают круглых, как большой мяч, рыб, которые на поверхности выворачиваются через рот наизнанку, как образуются горы на земле.

Неудивительно, что, когда приходил папа, оба мальчика шлепали в ладоши и кричали радостно:

— Папа!.. Папа!.. Папа!..

А теперь вошла мама и сказала:

— Что такое?

— Да вот, требуют термометров, — сказала нянька, поджав губы.

— Тлебуем телмометлов, — строго сказал Игорь.

Мама подержалась за железный прут кровати, чтобы охладить руку, потом приложила на минуту ладонь ко лбу одного и другого.

— Лоб холодный у обоих.

— Тлебуем телмометлов.

Мама постояла, глядя перед собой и забыв детей. Толя вдруг отчаянно забрыкался:

— Ой-ой... живот... живот...

— Дайте, няня, термометры, пусть поставят.

Нянька принесла термометры и сердито сунула каждому подмышку.

— А ты рассказывай, а то держать не будем. Как папа рассказывал.

---

[1] Нарвал — морская рыба из семейства дельфинов.

Мама растерянно и умоляюще посмотрела на детей и сказала упавшим голосом:

— Что же я вам расскажу?

— Что хочешь... Папа никогда не спрашивал, а сразу рассказывал... Ну, расскажи, как горы образуются.

— Как голы облазуются...

— Папа рассказывал, вот как нянька хочет чихнуть, вся-а сморщится, как печеное яблоко... так и земля...

— Как печеная нянька смолщится, — угрюмо говорит Игорь.

У него всегда свои собственные мысли, — трудно представить человека более самостоятельного, и Толины мысли случайно, думает он, совпадают с его.

— Папа успел бы и про горы рассказать и еще бы про что-нибудь... Мама, ты плачешь...

Толя тревожно вскочил на колени, выронив термометр.

— Нет, деточка... — улыбается, а у самой капают на платье слезы.

Толя бросается к ней, губки у него трепещут, охватывает ее шею, душит:

— Мамуля, мамуля... мамочка... Я твой сын... я... я... а то я... зареву...

Игорь молча становится на четвереньки, потом — на колени, тянется к матери, обвивает ее шею ручонками и некоторое время прижимается к ней щекой. Потом, полагая, что для матери этого довольно, снова молча забирается под одеяло, кверху ногами ставит выпавший термометр и спокойно лежит, глядя в потолок.

— Ну?

— Ну, мама, — говорит сразу повеселевший Толя.

Мама вытерла глаза и силится улыбнуться.

— Горы... горы образуются, когда... кора земная... по ней мы ходим...

— А папа не так...

Толя торопливо подымается на локоток:

— Ты говорила, папа приедет с войны через две недели, а вот уже два месяца...

Кто-то сморкается в комнате и всхлипывает: это нянька вытирает набрякшие глаза. А мама, сдерживаясь, уронила голову на кроватку, и плечи ее вздрагивают, — она знает, что папы уже нет на свете.

## ШРАПНЕЛЬ

I

С того момента, как вопрос об отправлении Обруева на фронт был решен, все былые отношения, дела, заботы, все отодвинулось, как будто не было ни настоящего, ни прошлого, а вся жизнь, весь ее смысл были отнесены к тому, что ждало, что было серьезно, строго, без улыбки.

На вокзале провожали товарищи, родные и Лина. Как всегда, она выделялась среди окружающих. Чем? Никогда не скажешь. Одета со вкусом, но просто, красивый, строгий, зовущий профиль, большие черные глаза под длинными выгнувшимися ресницами.

Она смотрела задумчиво вдоль платформы, по которой стояли и ходили отъезжающие и провожающие. Всюду мелькали офицерские и солдатские шинели. Видны были нежные и печальные, заплаканные и изредка улыбающиеся женские лица.

Стояли у вагонов, отражаясь в стеклах окон, по-дорожному одетые. Слышалось: «пиши же...», «не забудь передать Алексей Ивановичу...», «буду ждать телеграмму!..» — все одно и то же, что говорится на проводах, и всегда новое, ибо за каждым словом целая жизнь.

Обруев в серой шинели с красным крестом на рукаве стоял около вагона и говорил:

— В последний раз, когда мы были у Варгуниных, маленький Коля принес и стал мне показывать швейную машину своего изобретения: сделал деревянный ящичек, вырезал из катушек шестеренки и состряпал машину.

Он умышленно говорил о том, что не имело ника-

кого отношения к его отъезду, как бы подчеркивая всю несравнимую огромность того, что ожидало.

— Милый мальчик!

— Эти вундеркинды редко оправдывают надежды,— сказала Лина, думая о своем.

Ударил третий. Торопливее забегали носильщики. У вагонов стали обниматься. Потом Обруев видел сквозь стекло вагона, как поплыла назад платформа и все, что на ней было, до красной шапки дежурного включительно. Некоторое время Лина шла рядом с вагоном, глядя в окно. Румянец на ее щеках вдруг побледнел, и у Обруева больно сжалось сердце, — рванулся обнять еще раз, но ее белый порхающий платок мелькнул и скрылся за краем окна.

И вместе со стуком колес, с мельканием полей, перелесков и деревень снова им овладело прежнее сосредоточенное настроение оторванности от всего прошлого и огромности надвигающегося. Эту, все заслонявшую значительность предстоящего подтверждало все — и толпы баб и подростков на станционных платформах, и отсутствие мужчин на проносившихся полях, где работали только бабы, и длинные санитарные поезда, откуда выглядывали бледные лица раненых. Был смысл и все имело значение только там, куда он ехал.

На третьи сутки умножились признаки того громадного, что совершалось впереди: вдоль железнодорожного пути высились колоссальные бунты хлеба, сена, сухарей; на запасных путях стояли нескончаемые красные вереницы груженых вагонов; на платформах из-под брезента глядели орудия, зарядные ящики, двуколки, и всюду — солдаты. Наконец железнодорожные бригады заменились солдатами, и из вагонов исчезли штатские, — только военные.

Откуда-то из-за деревьев, из-за красной водокачки и станционных зданий стало доноситься орудийное буханье. Обруев почувствовал, что входит в торжественный храм, где совершаются кровавые жертвы.

## II

Работа началась со следующего дня. Но странно, — и у раненых, и у персонала отряда, и у солдат было что-то будничное, привычное выражение, что все кру-

гом совершается в каком-то определенном привычном порядке и иначе быть не может.

И это настроение деловой кропотливости Обруев всюду встречал и испытывал — и в линии огня и в тылу. То, что издали казалось колоссальным событием, тут раздроблялось на бесчисленное множество неотложных, требующих немедленного исполнения дел. Даже страх, иногда невыносимый страх смерти, и тот в конце концов притупился, оставляя лишь внутри никогда не падающее напряжение, как туго свернутую спираль.

И где-то, на самом дне души, острие смутной разочарованности, — встретил не то, чего ждал, что представлял себе издали. Так уходили дни, недели, месяцы.

Прискакал казак и подал уполномоченному пакет. Запрягли лошадей в фургоны, в двуколки: летучка продвинулась верст за десять и расположилась на опушке.

Садились сумерки, и в сумерках моросило. Монотонно и важно шептались листья, а те, что мертво лежали по земле, пластами липли к ногам. Мокро темнела протянувшаяся палатка, сестры и санитары готовили бинты, марлю.

За лесом били полевые орудия, и промежутками, потрясая до самой глубины земли, отдаваясь в груди и в мозгу, бухала тяжелая артиллерия.

Подъехал казачий офицер, постоял, как бы раздумывая, потом слез с лошади, отдал поводья ехавшему с ним и соскочившему казаку. Присел на смолистый корень огромной сосны, которую не пробивал дождь.

Обруев протянул папиросы:

— Не хотите ли?

Тонкий пахучий дымок терялся в сумерках. Лошади понуро стояли, темнея мокрой шерстью.

— Газет нет ли? — сказал офицер, и вдруг слегка отвалился к дереву, голова свесилась, повисла рука с красневшим огоньком.

Обруев сидел, не шевелясь, прислушиваясь к сонному дыханию... У офицера выпала из руки папироса, и он разом встрепенулся, быстро огляделся:

— Сергеев, где сотня?

— У Кирсановского болота, вашскблагородие, — проговорил казак, привычно делая под козырек.

— Спасибо, — пожал руку Обруеву офицер и вско-

чил, попрыгав на одной ноге, на лошадь. — Сегодня ночью раненых вдоволь у вас будет.

И, уже отъезжая и полуобернувшись, сказал:

— Третьи сутки не сплю.

Лошадиный топот мягко замер среди деревьев. За лесом все отдавались орудийные удары.

Когда сгустилась темнота, дождь перестал, стали подвозить раненых. Красноватое пламя свечей шевелило в палатке длинные тени. Пряно пахло потом, кровью, иодом. Врачи в запятнанных халатах, наклонившись, копались в зияющих ранах.

III

Обруев принимал раненых, заботливо клал на солому, кормил, поил. Но и эти истерзанные тела, молчаливо копающиеся над ними врачи, сестры, черные шевелящиеся тени, сырая туманная ночь и проезжий казачий офицер, — все проходило кусочками, будто все тянулись по дороге, и не было ей конца и краю, и потерялось ее начало.

Внесли раненого в живот. Из-под спущенных век глядели узенькие белки.

Когда его перевязали и бережно положили на солому среди других, он сказал, широко открывая глаза:

— Пи-ить...

Обруев наклонился.

— Голубчик, потерпи, поголодай немножко. При ранении в живот чем меньше есть и пить, тем скорее поправишься...

Раненый закрыл глаза и неподвижно лежал на спине. Орудийные удары утомленно замолкали.

— Ваше благородие, дозвольте...

Обруев быстро подошел к нему и опять наклонился:

— Голубчик, потерпи...

Раненый смотрел прямо и твердо:

— Вашескблагородие, дозвольте меня отослать в наш город... Дюже больница хорошая, выпользуют...

— Хорошо, хорошо, меньше говори, дружок... Там будешь проситься, на распределительном, а теперь тебе только подправиться к дороге.

Раненый смотрел все так же прямо и твердо сказал:

— Жена у меня... Бил ее... Темно жили, не дай бог!.. Работница, не то что... похвалюсь... Курьё, гуси, две

коровы, обшить, одеть ребятишек, — все она, всякие бабьи причендалы, все у ей...

Он помолчал, стараясь отдышаться.

— Бил...

— Ты успокойся, брат, мало ли чего не было... Нельзя говорить много...

Солдат продолжал строго глядеть.

— Не мешай, вашескблагородие... Наших двое, суседи мне, на проволоке как повисли, так и остались, а меня бог вынес... Стало быть, знамение дал: иди, божье помни, не как животное... Темно жили, без понятия... уткнулись мордой в землю... Теперя ворочусь, выпользует больница... Супругу-то мою богоданную... девять годов прожили, как не видал... Упал возле проволоки, так — как разинулись глаза: стоит, глядит на меня, заплаканная... А я ее бил, сердешную...

Раненых перестали подвозить: неприятель освещал прожекторами поле и обстреливал, не давая подбирать. Нары пустели — раненых вывозили, оставались лишь тяжелые до утра. Красное пламя догоравших огарков колебало черные погустевшие тени.

Врачи и сестры спали сидя, где и как попало, и свесив на грудь измученные зеленые лица, по которым тоже бродили траурные тени.

А Обруев сидел, близко наклонившись к раненому, не спуская с него глаз, как заговорщик. В ночном мраке, шевелящемся от теней, Обруев услышал то, чего никогда не слышал в толчее днем, — стоны. Они неслись с нар, то детски-беспомощные, то озлобленные, то смутные и неясные, как сквозь сон.

Раненый глядел блестевшими глазами, пробегая языком по сухо пузырившимся губам; с одной стороны, лежал солдат с ампутированной ногой, а с другой — с раздробленной челюстью и вырванным языком.

— Теперича выпользуют меня в городе, если такая жизнь будет... Как свиньи жили... Вашескблагородие, похлопочите, чтобы в нашую больницу отослали, там выпользуют... Дюже доктор хороший, Федюшко... Сколько народу спас!.. Гляжу я на жисть свою — глаза разулись...

Обруев огляделся: и почудилась та торжественность, та громадность, которую он ждал и которую не замечал в не дававшей передохнуть всегдашней суете тысячи дел.

IV

Снаружи набежал глухой лошадиный топот по мокрой земле. Обруев вышел. Сквозь белый пар тонко блестели звезды.

Подъехал офицер. Обруев вгляделся — это был давешний, казачий; рука на перевязи. Казак соскочил, помог сойти офицеру.

— Ну, вот опять к вам, покурить, — сказал офицер, насильно стягивая губы в улыбку.

Перевязали.

Офицер сел на нары.

Обруев подал папиросы.

— Никогда не курил с таким удовольствием. Сейчас изрубили заставу. К утру опять будут напирать. Поверите ли, никогда не думал о военщине, о лошадях, о винтовке, о походах. У нас, у казаков, все обязаны служить, но я в свое время был освобожден: руку когда-то в ребячестве сломал. А теперь пошел, охотой пошел. И уж не уйду, если останусь жив, до конца... Я — адвокат. Семья. Бывало, набьются клиенты; все зипунный народ, а мне скучно, думаешь, чорт знает, как жизнь проходит. И не разгонишь, просто потому, что заработок нужен. А теперь вспомнишь — боже ты мой! — сколько человеческой жизни они несли, и душевного золота, и гнили, и отчаяния, и редкой радости! И я ничего этого не видел... Не то что не видел, а не ценил, смотрел куда-то мимо. А вот теперь отсюда видишь, отсюда ценишь.

Он помолчал, жадно докуривая папиросу.

— Ну, прощайте! У меня предчувствие — еще свидимся. Верю в предчувствия. Здесь стал верить. Сергеев!

— Здесь, вашскблагородие.

— Да куда вы, что вы, рана откроется, этим не шутят!

Офицер пошел к выходу и, пошатнувшись, толкнулся о притолку в одну сторону, в другую. Улыбнулся, давясь, с усилием стянув пересохшие губы.

— Крови много потерял. Всего доброго!

За палаткой слышался, замирая, удаляющийся мягкий топот по влажной земле.

## V

Среди мигающих темных теней стояло клокотание. Раненый с перебитой челюстью поманил Обруева и показал на соседа с ранением в живот. Обруев подошел: тот смотрел широко открытыми глазами в сходившиеся вверху полотнища, а в горле клокотало и переливалось.

Обруев позвал доктора.

— Накройте шинелью, — сурово сказал тот.

Накрыли шинелью. Клокотание постепенно стихло, глаза остеклели, но были все такие же широкие, разинутые.

Когда предрассветно обозначились деревья и тяжелая от капель погнувшаяся трава, прискакал казак, и стали быстро свертываться.

Туман плыл клочьями, цепляясь за кусты. Матовая роса темнила до колен лошадиные ноги. Орудия гремели где-то близко справа. Двуколки с качающимися койками, в которых молча переваливались головы раненых, потянулись по лесной дороге и шоссе.

Снова прискакал казак и еще на скаку издали кричал:

— Вашскблагородие, на шоссе чисто засыпает... Лесом сворачивайте, по просеке, лесом!..

Свернули и потянулись целиной по лесу. Санитары с топорами и вагами* в руках расчищали впереди. Обруев поддерживал идущих раненых, местами переносил на руках через колдобины и лесные канавы или шел рядом с двуколкой, поддерживая тяжелых, чтоб не так встряхивало.

И казалось ему, что от всего, что они делали и делают, откинулись к той, прежней их жизни тени и в ней теряются корнями. И что над той жизнью стоит торжественность и огромность, которую он искал здесь. Стоит торжественность и огромность, только не видел он ее, не видел, смотрел мимо.

«Лина, родная! — думал он, с хрустом наступая на сухие ветви, на валежник, — если только вернусь, какая прекрасная жизнь у нас будет! Ну, любим друг друга, но почему, но что отравляет любовь нашу, от-

---

* Вага — тонкое бревно, служащее рычагом для поднятия тяжестей или для проталкивания их вперед.

равляет жизнь нашу? Не то подойти друг к другу не умеем, не то ненужные требования предъявляем. Ах, Лина, пойми, ведь жизнь наша чудесна! Только мы мимо смотрели, только мы жили с закрытыми глазами, в мешке. Я всё напишу ей, все. Господи, и как она будет рада!..»

Он шагал через мокрые папоротники и спрашивал себя:

«Отчего, когда думаешь, так ярко, понятно и убедительно, а когда напишешь, это сухо, порой смешно и сентиментально?»

Никто не ответил. Разрывы в лесу становились реже и глуше: бой стихал.

## ДВОЕ

В темноте влажный ветер стряхивал с деревьев крупные капли, а на мокрых тротуарах и мостовой всюду трепетали отблески. Ночное небо было смутно озарено, и гул дальних улиц постепенно замирал.

Никифор Васильевич Малоруков, с падающими из-под фуражки министерства юстиции белокурыми волнистыми волосами, торопливо шел мимо освещенных окон домов, мимо ярко горевших фонарей. Пальто у него расстегнуто, голова поднята, и весенний ветер забирается за туго-крахмальный воротничок свежей сорочки и ласково холодит и щекочет кожу.

Все дома были одинаковы, и все освещенные окна смотрели одинаково, но, когда он переходил угол, один дом выделялся изо всех, потому что был единственный, и пять его освещенных окон смотрели горящими глазами. Нежно сквозили тюлевые занавеси.

Малоруков остановился, глядя на окна, вынул в десятый раз часы — без четверти девять.

— Нет, еще погожу, сказала — к девяти, ну, в девять и надо.

И он опять торопливо идет мимо одинаковых домов и наступает на влажно-играющие отблески на мокрых тротуарах.

Надо чем-нибудь заполнить нетерпеливое время, и он думает об ее отце, высоком согнутом полковнике в отставке, который раз в месяц бреется, всегда сам ходит на базар и водит у себя во дворе кур. Думает об ее маленьких братишках и сестренке, курносой и вихрастой. Думает о гирлянде цветов, спускающихся с потолка, о пышной араукарии в углу, обо всем думает, не думает только о ней, не думает потому, что перед глазами всегда, ни на минуту не померкая, стоит

милое, обрамленное кудрями личико, смотрят чуть-чуть наивные глазки, и ротик полуоткрыт.

И что бы он ни делал, куда бы ни шел, с кем бы ни встречался, что бы ни говорил, перед глазами — это никогда не меркнущее личико.

А он внутренно смотрит на него и беспричинно радостно смеется, хотя для прохожих лицо его серьезно и строго.

И эта радость, этот внутренний непрерывный беззвучный смех счастья временами становится таким невыносимо-острым, не помещающимся в груди, что подымается протест:

«Но ведь кудри-то она делает щипцами»...

«Да».

«Зубы она старательно каждое утро чистит щеткой, и оттого они такие беленькие, прелестные, а если бы не чистила, были бы желтые, и нехорошо бы пахло изо рта».

«Да».

«И выражение лица часто наивное, с этими открытыми глазами и полуоткрытым ротиком».

«Да».

«Ну?»

Но тут, опрокидывая логику и доводы, несокрушимые для всего остального, глядит личико не то чуть печальное, не то смеющееся. И опять тот же безудержный нестерпимый острый смех внутри, наполняющий все сердце, всю грудь.

Девять!

Он уже у подъезда. Справа светят окна, сквозят занавеси, цветы.

Мальчишка, сын кухарки, с бельмом на глазу, отворяет и, подшмурыгнув носом, говорит детским басом:

— Пожалуйте.

Все ласково, все уютно, все родное, и встречает, как родного, и небольшая лестница с потертой дорожкой, и старая знакомая вешалка, на которую он вешает волглое пальто, и старенькое в пятнах трюмо в передней, которое говорит ему: «У тебя хорошее молодое лицо, и идут к нему светлые, как лен, небрежные волосы».

Потом он идет в небольшую гостиную: араукария и гирлянда цветов с потолка над столом, пианино, старинная мебель и серый с черной полосой по спине

кот, — все уютно, тихо, радостно встречает. Кот трется об его ногу.

Оборачивается, в дверях, как в раме, — она, и милое, чуть бледное личико в раме кудрей.

Потом она протягивает ему маленькую ручку, смеется и говорит:

— Здравствуйте, — как будто они в первый раз видятся.

Они в первый раз видятся. Это ничего не значит, что он каждый вечер бывает; ее движения, улыбка, выражение глаз — все каждый раз ново, все каждый раз впервые.

Она берет его за руку, опускает на низенькое кресло, а сама, подняв маленькие руки, поправляет прическу.

— Дождь?

— Нет... да... дождь... то есть, нет дождя, влажно...

Она смеется, и он смеется. Надо произносить обыкновенные слова обыкновенным голосом, на самом деле ведется свой разговор, весь пронизанный радостным неслышным смехом, который бьется где-то в груди.

— Чет или нечет?

— Чет.

— У-у, какой! Никогда не скажет, как надо, а я загадала...

И вдруг, он не успел моргнуть, взъерошила ему дыбом волосы.

— Как кудель!.. Ну, идемте же, идемте... — и тянет за пуговицу, отступая перед ним, в столовую.

В столовой уже бунтует на своем месте самовар, белая скатерть, блестят стаканы, и полковник на своем месте — у самовара.

Он — высокий, плечистый, слегка ссутулившийся, горбоносый, — должно быть, красивый был, а теперь шестьдесят два года. Несвежую рубашку накрест прижимают старые подтяжки. Жена умерла, и он эти четыре года сам хозяйничает.

— А-а, милости просим, просим милости, садитесь, садитесь... чайку, чайку... — торопливо пожимает руку и хватается за чайник.

— Папочка, опять ты... ну, надень же тужурку, сколько раз я говорила... хоть бы при людях наконец!..

— Свои люди, свои люди, сочтемся... чайку, чайку шалабанчик...

Из чайника густой струей льется черный, как деготь, чай.

— Опять?!. Дай сюда, дай!

Она у него вырывает чайник, он не дает и начинает лить, расплескивая, себе в стакан, чтобы не пропадало, и стакан делается черным, как чернила.

— Экая ты, Милка, егоза! Ну, представьте себе, Никифор Васильевич, экономия, это — в каждом хозяйстве необходимая вещь. Не велит соды класть, а от соды настой и вреда никакого. Чаю пол-ложки насыпешь да соды, можно целый полк напоить, а так и ложки мало. Вот у меня куры во дворе. Пошел да высыпал им дохлых мух, это от листов, отнесешь которые, чтоб не пропадали мухи-то даром, в хозяйстве везде должна быть экономия, а куры наклевались и тоже подохли, — оказывается, вредно. Мне уже потом объяснил знакомый аптекарь, в листах-то мышьяк, от этого и мухи дохнут. Вот видите, как в хозяйстве. А она говорит, не надо соды, сколько же чаю понапрасну пойдет.

Миля, молча и сдвинув тоненькие брови, от чего у нее стало новое на лице, вытряхнула в полоскательницу чайник и заварила свежего чаю, а у Малорукова сжалось сердце — хотелось что-нибудь придумать ласковое для нее, чтоб повеселела.

Пришел кадет третьего класса — почти с отца ростом, грудь колесом, неуклюжий мундир с длинными рукавами — поздоровался по-военному, сел к отцу на колени, одной рукой обнял его за шею, другой достал яблоко и стал есть, показывая белые крепкие зубы, и рассказывать:

— Сегодня мы перед законом все парты выволокли на перемене и свалили в гардеробную. Выходит батюшка, ничего не заметил, — «садитесь, дети!» Мы все по команде сели на пол. Батюшка вскочил с кафедры, глаза у него вылезли.

Кадет заразительно хохочет, показывая откушенное яблоко во рту. Ноги у него с отцовских колен протянулись на полу.

Полковник неодобрительно качает головой, а лицо у него блаженное.

За дверями драка и детский визг. Полковник делает попытку подняться, но не может — кадет его придавливает, обняв одной рукой за шею.

— Куня... Лизочка... чего вы!.. Разве можно... идите сюда... чайку, чайку скорее...

Миля вытаскивает детей в столовую, — их никак не расцепить: пятилетний Куня впился зубами в платьице сестры, а семилетняя Лизочка вцепилась ему в ворот и душит, и оба отчаянно ревут.

Миля их расцепливает, вытирает глаза, оправляет платье, волосы.

— Как не стыдно... Садитесь чай пить.

Лиза идет к отцу и лезет к нему на колени.

— Лиза, куда ты! — испуганно говорит полковник.

— А-а Воо... во-оля си-си-дит, и я хо-хо-чу сидеть... — заикаясь, говорит Лиза.

Полковник, кряхтя, отставляет другое колено. Лиза забирается, обнимает отца за шею, и с минуту стоят пререкания с кадетом.

— Пусти руку!..

— Пусти сама...

— Пусти, а то укушу.

— Я первый влез.

Маленький, кругленький, толстощекий Куня пыхтя старается молча взгромоздиться к отцу на колени.

— Да куда ты! — взмолился полковник.

Куня, серьезно отдув щеки втискивается между братом и сестрой и, работая локтями, усаживается.

Лысая голова и горбоносое лицо полковника едва видны из-за детей, которых он с трудом держит обеими руками.

У Мили все нахмуренные тоненькие брови, она молча разливает чай, и Никифору Васильевичу опять хочется сделать что-нибудь ласковое, и он говорит, обращаясь к детям:

— Ну, слушайте сказочку.

Подымает глаза к потолку и некоторое время что-то ищет там.

— Ну, так вот. Жил-был один дом, а в этом доме жили-были папаша, мамаша, дедушка, бабушка, детки и кот, большой серый кот. Ну, хорошо. Вот раз сели обедать за длинным столом, все сели: и дедушка, и бабушка, и папаша, и мамаша, и детки, и кот сел...

— И кот сел!.. — сказал Куня, радостно блестя глазками.

— Да, сел торжественно на стул и хвост спустил со стула. Ну, хорошо. Все едят, а кот смотрит, повили-

вает хвостом и думает: все едят, а я не ем. Вот он и говорит: мяу! я тоже хочу кушать! А ему говорят: после обеда Маланья тебе даст покушать.

— Наса Маланья! — радостно говорит Куня.

— Да, да, ваша Маланья. А кот подумал: отчего же они кушают, а мне ждать Маланьи? Протянул лапку, зацепил когтями котлетку и поднес ко рту.

Куня захлопал в ладоши.

— Тут все закричали, заохали, вскочили и бросились к коту. Кот видит — дело дрянь, спрыгнул со стула и пустился на улицу удирать. Оглянулся, а за ним бежит дедушка, а за дедушкой бабушка, а за бабушкой папа, а за папой мама, а за мамой...

— А у меня нет мамы... — сказал Куня, глядя на него большими спрашивающими глазами.

Никифор Васильевич поперхнулся:

— Да, да... а за ними детки, а за ними Маланья с метлой, а за нею Полкан...

Лиза и Куня захлопали в ладоши:

— Наш Полкан...

— ...кричат: держи его, держи! И полицейский стал давать свисток и побежал за ними. Видит кот, плохо дело, вскочил в магазин, схватил пару ботинок, натянул на одну лапу, на другую, встал на задние ноги и важно пошел по улице, — не узнают, мол.

Малоруков замолчал и потер лоб. Дети готовились проглотить его глазами. Миля, опустив кудрявую головку, тихо мешала чай. Полковника едва видно было из-за ребят.

— Ну?

— ...тут все закричали: смотрите, смотрите — в сапогах, а сам — кот, и погнались за ним, — впереди дедушка, а за ним бабушка, а за бабушкой папа, а за папой мм... а за детками Малаша, а за Малашей полицейский, а за ним приказчик.

— Нет, а за ним Полкан.

— ...а за полицейским Полкан, а за Полканом приказчик. Видит кот, плохо дело, и пустился во все четыре ноги. Видит магазин платья, вскочил, схватил с прилавка брюки, пиджак напялил, схватил котелок на голову, стал на задние ноги и пошел по улице, важно оглядываясь и помахивая тросточкой, которую тоже утащил. Все закричали: смотрите, какой идет важный господин, а где же кот? и стали оглядываться,

но кота нигде нет. И все кланялись важному господину. В это время маленькая девочка закричала тоненьким, как соломинка, голоском:

— Да это не господин, а кот: сзади у него хвост висит.

Тут все закричали:

— Лови его, держи его!

— Видит кот, дело плохо, стал на все четыре ноги и пустился, что есть духу, удирать, а дедушка, бабушка, папа, детишки, полицейский, два приказчика, Полкан и маленькая девочка изо всех сил побежали за ним. Кот по дороге все растерял: ботинки, брюки, пиджак, шляпу и прибежал домой голый, каким прежде был. Прибежал домой, забрался за печку, свернулся клубком и, как ни в чем не бывало, стал засыпать, мурлыкая. Прибежали все запыхавшиеся, разыскали кота, вытащили, Маланья принесла тоненькую хворостинку, и его немножко посекли.

— Ну, это так не бывает, — сказал кадет и стал есть второе яблоко.

— Нет, бывает, — оживленно сказал Куня, делая большие глаза, — я сам видел, как Маланья длала нашего кота, что он плохо себя ведет.

— И я читала, — «Кот в сапогах», — подтвердила Лиза.

Малоруков украдкой поднял глаза: у Мили разгладились морщинки между бровей, и на лице бродила милая улыбка. Малоруков готов был придумывать и рассказывать сто сказок.

Полковник тихонько подсвистывал носом, задремал, привалившись к детям головой.

— Спать, спать, дети!.. — сказала Миля, хлопнув в ладоши. — Пейте чай — и спать.

Кадет долговязо встал с колен отца, вытянулся, выпятил грудь, сделал под козырек и сказал казарменным голосом:

— Здравия желаю! Кадет второй сотни первого отделения. По отделению все обстоит благополучно. Больных двое, в карцере один. Рад стараться...

Щелкнул каблуками, засмеялся и запустил в яблоко зубы.

— Пойдемте в гостиную. Малаша, убирайте со стола.

Полковник потащил детей в спальню.

А в гостиной началось то, что бывало каждый вечер

вот уже четвертый месяц. Миля звонко смеялась, шалила, надевала на него венок из нарезанных бумажек или садилась к пианино и играла. Он не знал, очень ли хорошо она играет или так себе, только бежало из-под ее маленьких живых рук грустное, и он готов был слушать, не отрываясь.

Или вдруг встанет она, подумает, принесет альбом, и они, усевшись близко, наклонившись и слыша сдержанное дыхание друг друга, рассматривают новые снимки картин заграничных выставок.

— Отчего вы не поступили после гимназии на курсы?

— Много будете знать, скоро состаритесь...

И, немного помолчав, спросила:

— Я для вас — невежественная провинциальная барышня? кисейная... да? да?.. — заглядывала она ему в глаза, и искорки смеха дрожали в ее глазах. — Подвивает себе волосы, бренчит на пианино, ничего не делает...

— Ну, вот еще...

— Ага, покраснел, покраснел!!. ура!.. покраснел...

— Да нет же, чего мне краснеть.

А она закружилась посреди гостиной и сделала ему реверанс.

Небо очистилось, когда он шел домой, и над крышами высыпали звезды. У фонарей озаренные дремали извозчики. Улицы были пусты. Только с бульваров, где темнели купами деревья, со скамей слышался смех, сдержанный говорок. С окраин доносились томные собачьи голоса, и те устало замирали.

Малоруков пошел мимо дома, глянув на него, как на чужой. Долго ходил по улицам, пока собор, дома, деревья не стали выступать в зачинающемся утре.

А когда засыпал, думал: «Так вот оно счастье какое! Как оно пришло? почему? Почему именно мне такое огромное, а сколько с разбитым, больным сердцем?..» Да не додумал, уснул.

Раз зашел за ней, пошли гулять в сад городской. Она взяла его под руку, доверчиво взглядывая в глаза.

— Мама умерла четыре года назад. Я кончала гимназию. Очень хотелось на медицинские, только не могла папу бросить. Надо ему растить детей, так трудно с ребятишками мужчине.

У него стеснило дыхание. Так захотелось сделать ей что-нибудь ласковое, проявить как-нибудь нежность и... и может быть приоткрыть уголок своего счастья перед другим. И сказал:

— У вас никто не бывает? Вам, наверное, скучно. Позвольте привести моего товарища, — славный малый, веселый, остроумный. А то, я думаю, я вам надоел.

— Не ломайтесь, пожалуйста. Знаете, мне никого не надо. Впрочем, приведите. Я приглашу подруг, будем петь, устроим литературный вечер.

В следующую субботу он привел товарища.

— Ферзенко, — отрекомендовал его.

Собралась молодежь. Было весело, пели, читали, декламировали. У Ферзенко оказался славный баритон, которым он умело владел. Ферзенко действительно оказался остроумным, находчивым, с заразительной молодой беспечностью.

С Мили, оживленной и раскрасневшейся, Малоруков не сводил восхищенных глаз.

Провожая его, она пожала крепко руку, блеснув благодарно глазами:

— Спасибо, спасибо вам, милый! Как сегодня удачно и оживленно прошел вечер!

Малоруков был на седьмом небе, а через месяц, осунувшийся и с горькой чертой у губ, стоял у круглого столика, положив руку на альбом, стоял высокий, строгий и сухой, только волнистые светлые волосы придавали ему юношеский вид.

Она беспокойно молчала, пощипывая мизинец. Молчание томительно тянулось.

— Ну, хорошо... Я знаю, я виновата... Я гадкая... я вам столько... столько...

У нее задрожали губы и блеснули слезы в глазах. И вдруг блеснул гнев в них:

— За что вы меня мучаете?!

И убежала.

Малоруков постоял.

«Вот и все».

И как не было логики в его любви, а на все молча и неопровержимо отвечала только своим видом прелестная головка в рамке кудрей, так не было логики ни в ее словах, ни в слезах, ни в гневе, но и за слезами и за гневом блестело неподавимое счастье, которое дал ей другой.

Малоруков вышел и пошел по улице, опустив голову, а когда поднял ее, удивился: над головой стояло солнце, шептались деревья в садах и белели маленькие домики окраины, а с обрыва виднелся луг и на нем петлями блестела речка.

Тогда он повернулся и пошел назад домой, все время не в силах поднять голову, и думал. Мучительность была в том, что, о чем бы он ни думал, всегда, как по кругу, приходил к одному и тому же: прелестное личико в рамке кудрей, удивленно раскрытые милые глазки, полуоткрытый маленький рот, и все это без слов, без усилия убедить его в чем-либо. И тогда, закрывая на минуту глаза и натыкаясь на прохожих, он шел и шел, а когда поднял голову, стояли над головой звезды, справа темнела роща, уходя за увал, слева белела стена кладбища; слабо млел церковный крест.

Малоруков присел у стены. Город внизу смутно блестел точно рассыпанными огнями. Неясный, смягченный, замирающий гул чудился оттуда. Малоруков почувствовал такую усталость, едва голова держалась — два раза прошел насквозь город. Но когда посидел и усталость стала проходить, снова из мглы, заслоняя и темную рощу и неясно белевшую стену, проступало в рамке кудрей чуть бледное лицо.

Защищаясь, он с усмешкой смотрел и сказал:

— Таких, как она, тысячи.

А она молча смотрела на него:

— ...От курсов отказалась... чтоб детишек вырастить... папе трудно...

Тогда он вскочил и зашагал к городу, а кто-то над ухом: «одна... единственная...» Утром, когда он пришел в суд с портфелем и во фраке, его не узнали: острое, обтянутое лицо, ушедшие в глубину глаза.

— Что вы, батенька!.. Что вы это вздумали на арестантское положение? — смеясь, спрашивали товарищи, глядя на его угловатую, под нолевой номер остриженную голову.

— Что-с?

Он останавливал неподвижные глаза на спрашивавшем и смотрел, не моргая, пока тот не отходил в смущении.

И по городу разнеслось: Малоруков сошел с ума — тихое помешательство. А он продолжал работать спокойно, методически, молчаливо. Бесконечно-медленно

тянулись часы и дни, а когда оглядывался, время уносилось, как мимо вагонного окна. Прошло лето, прошла зима, и снова по-весеннему лепетали распустившиеся, еще клейкие листья, влажно блестели после теплого дождя тротуары и крыши.

Малоруков, съедаемый только работой, глянул и как будто в первый раз увидел и перспективу улицы, по-весеннему синевато задымленную, и лепечущие клейкие листья, и дома, весело блестевшие стеклами. И вдруг встала нестерпимо острая, ни на минуту не потухающая мысль: все, что было — сон, а настоящее вот-вот начнется, радостное, яркое, полное жизни.

Он прислушивался ко всякому звонку, присматривался к лицам людей и с замиранием ждал каждый день почты. Все с изумлением встречали его — он был всегда лихорадочно оживлен. Почта не обманула. Как-то подали письмо, знакомый квадратный конверт, руки у него дрожали. Распечатал.

«Никифор Васильевич, пишу вам в первый раз за это время и последний. У меня все кончено. Бедный папочка! Ах, если б вы знали... Я все думаю, я проснусь, а этого ничего не было, все по-старому. Только не проснешься. Если бы вы сидели около меня и рассказывали бы сказочку, помните, как рассказывали детям тогда. Уезжаю. Не ищите меня, все равно уже никогда не увидимся. Навещайте папочку. Бедный! Прощайте!

Людмила Б.»

А внизу, косо с угла, неровным мелким почерком, как будто нацарапано:

«... а как бы я вас любила, как бы крепко обняла... не смею... прощайте!..»

Малоруков вскочил, трясясь, как в лихорадке.

«Милая! бедная! бедная! милая!..»

Он никак не мог попасть в рукава пальто, схватил шляпу дожидавшегося в приемной клиента, сунул задом наперед на голову и бросился на улицу.

«Родная моя, крохотная девочка, я найду тебя... я буду сторожить твое дыхание... если сможешь меня любить, это будет незаслуженное, нечеловеческое счастье... если нет, ну, что ж, родная, буду твоей няней, буду сторожить твой сон, залечу твою боль... усни, милая, успокойся на моих руках...»

Из улицы в улицу видели, как бежал человек с развевающимися полами приличного пальто, с шляпой на затылке задом наперед, размахивал руками, глядел перед собою, ничего не видя, и по лицу его текли слезы.

Все оборачивались, долго провожали его глазами, а потом шли опять по своим делам.

— Видно, выпил бедный человек...

Малоруков прибежал к знакомому дому, долго не попадал в пуговку, наконец позвонил. Мальчик с бельмом отворил. Все было то же: и потертая дорожка, и круглый стол в гостиной, и спускающаяся гирлянда цветов, и араукария в углу.

Вошел полковник, и тут Малоруков увидел, жизнь надломилась: старик согнулся, виски ввалились. Полковник долго ловил воздух неслушающимися губами. Потом взял его руку обеими руками и сказал:

— Рад, рад... чайку, чайку... шалабанчик с нами...

Да вдруг привалился старой головой к его груди и засопел, с трудом выговаривая:

— У... мер... ла!..

— Умерла? — шопотом спросил Малоруков, боясь разбудить кого-то.

— ... Провожал, поплакала только. Ну, что ж, думаю, едет... в первый раз из дому-то уезжает, — дорожка без слез не дорожка. А потом сквозь слезы смеется. Экая я, говорит. Ну, прощай, папочка, говорит. Да все оборачивалась, платком махала, — прощай, мол. А потом извещают: умерла... Не болела, не горела.

Комната, стены, свесившаяся гирлянда, араукария — все наполнилось особенным содержанием, как будто здесь кругом таилось давнишнее сдержанное ожидание того, что случилось.

Вышел от полковника Малоруков спокойный, сосредоточенный, и пошел спокойной и деловитой походкой, поглядывая на прохожих, здороваясь со знакомыми.

Зашел к нотариусу и составил духовное завещание: «Я, нижеподписавшийся, в здравом уме и твердой памяти...»

Потом пошел домой, велел всем отказывать и заперся в кабинете. Отпер ящики стола, выбрал бумаги,

письма, и тут же рассматривал — одни сжег, другие разложил по пакетам и надписал.

В открытое окно заглядывала весенняя ласковая влажная ночь, озаренные деревья, а дома на противоположной стороне были темные, спящие — пробило два.

Малоруков постоял у окна, прислушался, потом закрыл и достал из ящика браунинг, плоский, темновороненый.

Внимательно осмотрел, зарядил. Посмотрел на часы, подумал:

— До завтра...

И пошел спать.

Спал без сновидений, темным сном, как будто только что закрыл глаза, сразу погрузившись в темноту, а кто-то уже сказал:

— Пора!

И он сразу открыл веки.

Поднялся, умылся и оделся, как всегда это делал, собираясь в суд. Выпил кофе, отдал распоряжения прислуге и вышел.

И, как вчера весенняя ночь, так сегодня весеннее свежее омытое утро встретило его. На листьях радужно переливались капли ночного дождя. Пичуги шныряли в ветвях, безудержно на все лады высвистывали и стрекотали. Весело катились извозчичьи пролетки. Из-за заборов доносился запах зацветающей сирени.

Малоруков остановился у подъезда двухэтажного дома; почудилось, что остановился у тюремного замка, всюду железные решотки, только невидимые, запоры, только невидимые. Загремели тяжелые, как окованные, двери, и хорошенькая горничная с черными крылышками на голове и в белом переднике (а на самом деле надзирательница) спросила:

— Кого угодно?

— Господин Ферзенко дома?

— Дома-с. Пожалуйте.

Его провели в кабинет, веселый, солнечный, весь из светлого дуба.

Ферзенко в крахмальной рубашке и жилете завязывал галстук перед зеркалом:

— Ба-а! Никиша. Сколько лет, сколько зим! Ну, садись, садись, рассказывай, — говорил он, одной рукой придерживая галстук, другую протягивая товарищу.

Малоруков хмуро смотрел в угол за библиотечный шкап, не подавая руки. Потом показал на кресло и сказал:

— Садитесь!

И сам опустился в кресло. Ферзенко пожал плечом и, продолжая завязывать галстук, сел.

— Чего ты так окорнал голову-то?

Малоруков глухо сказал:

— Я вас убью.

Вынул браунинг и положил возле себя на стол.

Ферзенко на секунду перестал завязывать, остро вглядываясь в Малорукова. Потом, все придерживая развязавшуюся петлю галстука, одну руку сунул в ящик стола, достал револьвер, положил перед собою на стол и, ловко опять прихватив концы, завязал галстук.

— Стрелять и я, брат, умею.

— Я вас убью! — спокойно сказал Малоруков, не спуская с него отяжелевших от полуспущенных век глаз.

— Ну, вот что, ты или стреляй или уходи к чортовой матери.

И Ферзенко спрятал в стол свой револьвер и стал ходить из угла в угол по кабинету, все больше раздражаясь.

— Я понимаю, тебя это смерть Мили так взбудоражила. Да. Но я прямо и честно говорю: я не виноват перед тобой, я не виноват тогда был перед тобой, она сделала свободный выбор. Неужели тебе бы хотелось насильно сделать ее своею женою? Подумай, — против ее воли!

Он постоял, посмотрел в окно и опять стал ходить.

— Я не виноват и в ее смерти. Разве она могла при ее гордости жить с кем-нибудь, быть чьей-нибудь женой, когда у обоих наступило охлаждение? Ну, подумай, что бы мог ты сделать на моем месте? Я предложил жениться на ней, она мне плюнула в лицо. Что же я мог другое предложить? Ведь сердцу не прикажешь.

— Я ва-с уб-бью! — все так же глядя из-под полуспущенных век, спокойно и ясно отчеканил Малоруков.

— Тебя в сумасшедший дом нужно отправить, в отделение для буйных; и башку обрил, приготовился.

Малоруков поднялся, не спуская тяжелого взгляда и держа в опущенной руке револьвер.

— Я ва-с у-бью! но... не сейчас. Вы поживете. Когда? не знаю, — может быть, через час, может быть, вечером, может быть, завтра...

И, опустив голову и подумав, сказал медленно:

— Что толку, для вас мгновение и все, а мне носить муку всегда, всю жизнь.

Ферзенко внимательно смотрел на него и вдруг побледнел, — да, этот человек, упорно и ни перед чем не отступая, носит его смерть.

— Послушайте, Никифор Васильевич, я... я не смею с вами на «ты»... Поверьте, я бы полжизни отдал, чтобы не случилось того... Я не подлец, как вам представляется. Вы можете меня убить, конечно, но во имя нашей прежней дружбы, во имя памяти умершей, которая вам так же дорога, как и мне, прошу вас, очень прошу вас: сходите к врачу прежде чем убивать меня, сходите к врачу.

— Я вас убью! — сказал Малоруков и так же медленно, так же спокойно вышел.

С этих пор для Ферзенко начался ад: где бы он ни был, куда бы ни шел, он постоянно либо встречал, либо ждал встречи с Малоруковым.

В театре он чувствовал, что Малоруков где-то сзади, и, когда оборачивался, действительно встречал его тяжелый медленный взгляд из-под полуопущенных век. И тогда на сцене для него все пропадало, он все время ждал: раздастся выстрел, и в спину вопьется горячая пуля.

Когда утром шел на службу, из-за угла навстречу выходил Малоруков и медленно, не спуская глаз, проходил.

Если уезжал, чтобы забыться, куда-нибудь за город на пикник и располагался с веселой компанией на поляне в лесу, следом появлялся на лихаче Малоруков и спокойно гулял поодаль. Ни одной минуты, ни одного часа не был уверен, что не раздастся выстрел неожиданно, без всяких приготовлений и предупреждений, и он будет убит бессмысленно и нелепо.

Уверенность Ферзенко, что он будет убит, тем более возрастала, чем более он убеждался, что имеет дело с маньяком. Наконец он не выдержал и сделал заявление прокуратуре.

У следователя Малоруков так же спокойно, не спеша сказал:

— Ведь я же не делал попыток убить. А убью — арестуете.

В городе все стали бояться Ферзенко, боялись ходить и встречаться с ним на улице, боялись сидеть рядом в театре, избегали сталкиваться на гуляньях, в саду, в клубе, в общественных местах.

Где бы он ни присоединялся к компании, понемногу, незаметно и под разными предлогами все расходились, Ферзенко оставался один, а поодаль где-нибудь бродил Малоруков.

Ферзенко похудел, осунулся. Куда девался его жизнерадостный, беспечный вид... Около него раздвинулся круг пустоты и одиночества.

Тогда он решился: скрывая от всех, подал рапорт о переводе и, когда перевод получился, тайно уехал и наконец свободно вздохнул в другом городе. Снова зажил беспечной, веселой, молодой жизнью, наверстывая потерянное в прежней кошмарной жизни. Снова завелся круг знакомых, снова стал кружить головы барышням, молодым женщинам.

Через три месяца он встретил выходящего из-за угла Малорукова. Малоруков так же спокойно, медленно и молча проводил его тяжелыми глазами, и Ферзенко показалось, точно над ним захлопнулась крышка.

В первую минуту Ферзенко пришел в неописуемую ярость. Сейчас воротился домой, достал, зарядил и положил в карман револьвер. При малейшем движении Малорукова твердо решил тут же положить его наповал. Но дни шли за днями, и раздраженное возбуждение стало спадать. Убить Малорукова недолго, но убивать больного — это невыносимо.

Ведь возможно, что Малоруков не сделает попытки стрелять в него, как он не сделал ее до сих пор. Тогда какое же основание убить Малорукова?

Правда, он отлично знает, глубоко чувствует, что в конце концов Малоруков убьет, убьет внезапно, неожиданно, слишком глубокая, незаживающая рана нанесена ему, но когда убьет, стрелять в него будет поздно, а теперь стрелять не имеет права.

И потянулась постылая, унизительная жизнь.

А Малоруков, который перевелся сюда в окружный

суд, так же пунктуально работал, был аккуратен, молчалив, угрюм и ни с кем не сходился и, казалось, ни на минуту не спускал глаз с Ферзенко, даже когда его не видел.

Когда Ферзенко призвали, он с восторгом поехал прапорщиком в действующую армию. Здесь, в дыму, среди разрывающихся снарядов, в окопной жизни, среди лишений и ласковой сердечности товарищеских отношений, с него, точно скорлупа, свалилось все прежнее. Теперь ему не страшно было ожидание выстрела Малорукова, потому что смерть непрерывно подкарауливала кругом, и к ней так привыкли, что о ней не думали.

Ферзенко любили товарищи и солдаты, — товарищи за веселый, беспечный, общительный нрав, солдаты — за бесстрашие и за заботливость о них. Он всегда шел с охотниками на самые рискованные предприятия. И когда товарищи удерживали, говоря, что надо же по очереди, он говорил:

— Если надо кому-нибудь итти, то почему же не мне?

Подошла глухая, непогожая осень. Шли холодные дожди, мешаясь с мокрым снегом, то подмораживало, и белели длинные лужи, садилась изморозь или сыпалась колючая крупа.

Томительные, бесконечные дни, полные усталого напряжения, потянулись, не разрешаясь грозовыми боями.

В осенней мути, за мертвым полем, слабо вырисовывались, как паутина, вражеские заграждения, за которыми тянулись в обе стороны окопы. Боев не было, но перестрелка почти не прекращалась, — с обеих сторон постоянно подкарауливали друг друга.

В затишье офицеры забирались в землянку к ротному, вырытую в окопе. Солдатики ухитрялись согреть чайник, и офицеры отводили душу за чаем.

— Вашскблагородие,— проговорил денщик ротного, с лицом в саже, вытягиваясь, — так что их благородие земский прапорщик просются до вас войти.

— Какой земский прапорщик?

— Которые земского креста.

— Ну, пусть входит, милости просим.

Шевельнулась рогожа, закрывавшая входную дыру, и в землянку влез высокий человек, с бритой головой и красным крестом на рукаве. Он обежал всех глазами и уставился на Ферзенко. Ферзенко побледнел и нахмурился. Он отрекомендовал Малорукова. Потеснились.

— Чайку, пожалуйста, с нами. Собачья погода. Случайно изволили сюда попасть?

Раздался сухой кашель Малорукова; все невольно на него обернулись и только сейчас заметили страшную худобу этого человека и блеск ввалившихся глаз.

— Я в летучке. Она в лесу. Просил разрешения у дивизионного итти в передовую линию. Предстоит ночной бой. У меня шесть санитаров.

— Да, у него пошевеливаться стали.

В землянке было тесно, мокро, но тепло. Офицеры сидели в рубахах, и шевелившиеся от огарков тени то покрывали, то открывали обветренные, худые, но крепкие лица, с серьезными глазами.

А под утро Ферзенко, сменившись с дежурства, привалился на соломе, набитой в углу у бруствера, засунул захолодалые руки в рукава и рассказывал товарищу:

— Да, это тяжелая история. Я если и виноват, так без вины. Сердцу не прикажешь. Самое тяжкое — это жизнь друг с другом, когда нет любви, — ну, нет ее, не родишь же ее. А этот — однолюб. Он любит тяжело, неизменно, навсегда. Она перед смертью прислала ему какое-то письмо, и он на стену полез. Там, дома, так и ходил за мною с револьвером, и я каждую минуту ждал — выстрелит. Он мне сказал: «Убью!» И я знаю — убьет, рано или поздно, но убьет. Что это?

Где-то справа бухнуло орудие, другое и смолкло. В окопах было тихо и мертво. Смутно белея в темноте, садилась изморозь.

— Что убьет, я в этом твердо убежден, у него это — мания. Пока не убивает, просто насладиться хочет этим особенным томительным ожиданием, которое я ношу с собой постоянно. Ты же меня знаешь, я умею смотреть смерти в лицо, но когда увидел Малорукова — задрожал. Свернуться под пулеметом с перебегающей цепью, исчезнуть в воронке взорвавшегося чемодана — это одно, а получить пулю, здорово живешь, от спятившего дурака, — нелепее этого трудно себе что-нибудь представить. Смысла никакого, уж

очень бессмысленно. А что убьет, убьет внезапно, под впечатлением вспыхнувших болезненных воспоминаний, убежден. Вот и поди. Эх-ма!

А ночь все тянулась, и чуть начинавшее брезжить утро все не могло разогнать тьму. Стукнул вязкий в сырой мгле винтовочный выстрел, и по всей линии стали вспыхивать длинные острые язычки выстрелов, потом все смолкло, опять чуть брезжит над краем земли светлая полоска, и все никак не может родиться утро.

Малоруков работал в тылу уже месяца два. Работал, не покладая рук, но угрюмо, одиноко, сторонясь от всех, и если слышали от него слово, так это когда расспрашивал о местопребывании Ферзенко.

Он среди ночи просыпался в холодном поту при мысли, что Ферзенко могут убить прежде, чем он найдет его.

А когда нашел здоровым и крепким, буйная радость охватила его, как будто встретил дорогое, близкое существо после того, как потерял надежду увидеть его. С этих пор он не спускал с него глаз. И что бы ни делал, как бы ни проводил время, он все время как бы прислушивался, что делается *там*, в окопе, в той землянке, в которой он в первый раз встретил Ферзенко.

Бой разыгрался.

Раз в потеплевшую, темную, обложенную тучами ночь бухнуло глухо, но потрясающе, орудие; потом, то вздваиваясь, то сливаясь, забухали ближние и дальние орудия, а в промежутках трещали без передышки ружейные выстрелы и пулеметы, одни где-то дальше и слабее, другие недалеко впереди и влево отчетливо и ясно — в наших окопах. И разрывы снарядов тоже сотрясающе наполняли темноту за опушкой леса. А между ветвями, на секунду озаряя голые стволы и ветви, вспыхивали отсветы далеких огней.

В этой черноте, на мгновение раздираемой светом, шел неслыханный, потрясающий бой звуков и огневых вспышек. Казалось, люди, не принимая участия, забились где-то в щелях, и грохот гулял.

Но скоро оказалось, что и люди принимают участие в этой потрясающей игре: на поляну, где были раски-

нуты длинные, смутно выступавшие при вспыхивавших отсветах палатки, приносили носилки с неподвижными фигурами.

В одной из этих палаток принимал Малоруков. Он подходил к носилкам и с замиранием сердца, при тусклом свете фонаря, заглядывал: «нет, не он!» Потом бережно, осторожно и умело начинал хлопотать около раненого. Сестры, в белых, запятнанных кровью халатах бесшумно, торопливо и быстро снимали первую повязку, промывали рану; доктор, в таком же белом, кровавом халате, наклонялся, осматривал, если нужно, перехватывал бившие кровью артерии, вынимал осколки; сестры быстро бинтовали, и Малоруков с другими санитарами относил и клал длинные ряды на соломе. Потом поил горячим чаем, кормил, давал лекарства.

Палатки все больше и больше наполнялись, негде было ступать; в шевелящейся, от меркнувших свечей, темноте стоял сладкий запах крови, человеческого тела и стоны, незамирающие стоны, то тихие и слабые, подетски беспомощные, то громко протестующие:

— О-ох!..

— По-мо-ги-те!..

— Людэ! Людэ!..

— По-гиб на-род!..

Стали класть уже смутно белеющими рядами за палатками.

А ночь медленно текла, все раздираемая грохотом. Догорели свечи, зажгли вторые, все не было рассвета.

От усталости Малоруков стал шататься; звенело в ушах, в глазах выступали радужные пятна. Он вышел, прислонился к дереву, на минуту завел глаза и услышал то, что в напряжении работы и в усталости не слышал, — стоны, эти детски-беспомощные стоны бородатых людей.

К горлу подкатился ком, а в глазах выплыло бледное, обрамленное кудрями личико с чертой детской беспомощности около крохотного рта. Он застонал, широко открыл глаза, как будто впервые увидел, то, что было кругом, и шатаясь принялся снова за работу.

Пришел бледный, серый день, орудия смолкли. Раненых перестали подвозить, но не потому, что их не было.

— Не дают подбирать, анафемы! — говорил, размахивая руками, санитар с перевязанной окровавленной тряпкой щекой — пулей выбило зуб. — Только выйдешь, а они залп. Стервецы!.. Так и лежат наши.

Малоруков судорожно схватил его за руку:

— Прапорщик третьей роты Ферзенко цел?

— Их не то убили, не то лежат раненые, аж под самыми *ихними* заграждениями.

Малоруков побелел. Потом, не говоря ни слова, пошел в окопы.

— Прапорщик Ферзенко цел?

— Не то убили, не то поранен, остался под проволокой *у них*.

— Я иду за ним.

Как офицеры и солдаты ни отговаривали, он молча, не отвечая на уговоры, выбрался из окопа и побежал через черное поле, изрытое ямками, с разбросанными всюду в неестественных позах серыми фигурами; некоторые шевелились, доносился стон.

Целый рой пуль засвистел около Малорукова. Одна зацепила фуражку, другая обожгла левую руку — пробило мякоть. От боли потерял сознание и упал. Когда очнулся, вынул пакет, зубами разорвал рукав и перетянул рану. Поднялся и побежал. Снова, певуче свистя, понеслись пули, взрывая перед ним черную землю, задевая лежащие трупы. Малоруков опять упал, долго лежал неподвижно, потом осторожно стал передвигаться. Было сыро и холодно; кругом стонали и мучились раненые, и все так же неподвижно лежали убитые, то раскинувшиеся, то с подвернутыми головами. Если делал заметное движение, пули снова начинали петь над ним.

Проходили часы, а он передвигался по вершкам. Ныла рука, и от сырости душил кашель.

Когда стало смеркаться, он и половину поля не одолел. Ночь пришла холодная, туманная, и в двух шагах ничего не было видно. То-и-дело бродили полосы ярко-фосфорического дымного света, и тогда выступали в уродливо-скорченных позах убитые. Малоруков лежал неподвижно, а когда голубовато-дымчатая полоса скользила дальше по полю или, перекидываясь на другой конец, взметывалась к небу, он опять, что есть силы, бежал.

Вот и заграждения. Он их узнал по темневшим пят-

нам убитых, которые обвисли на проволоке. Было тихо, и никто не стонал. Невыносимо ломило руку, которая висела, как плеть.

Малоруков ползал вдоль заграждений, прислушиваясь к дыханию, но никто не дышал, не было признака жизни. Ночь, все такая же холодная, туманная, протекла, и ее черноту от времени до времени бороздили дымные голубовато-фосфорические полосы света от прожекторов, и опять тьма.

Как едва заметный шелест сухих листьев, донеслось:

— Пи-иить...

Малоруков замер и, затаив дыхание, слушал. Нет, это у него в мозгу — ему мучительно пить хотелось. Он перестал вслушиваться, и опять едва уловимый шелест:

— ...Пи-ить...

Тогда он пополз наверняка и нащупал лежащего человека. Он хрипло и слабо дышал и временами шелестел:

— Пи-ить...

И Малоруков, трясясь всем телом, знал, что это Ферзенко. Торопливо пробежал по нем пальцами: ноги лежали, странно изогнувшись, — обе перебиты, и слабо теплела сочащаяся кровь.

Малоруков достал бинт зубами и правой рукой перетянул ему ноги повыше колена. Попробовал одной рукой поднять, не мог. Тогда взял раненого здоровой рукой за шиворот, как берет сука щенка, и поволок по земле, упираясь коленями. А тот, хрипло дыша, стоная, шелестел:

— Пи-ить...

Так он тащил его шаг за шагом, перетаскивая через мертвецов.

А когда на них легла полоса света, Малоруков, затаившись, увидел у своего лица оскаленные зубы и два огромные, полные ужаса глаза.

— Ты... кто ты?!. Ты — убийца...

Подобрали их под утро возле окопов санитары, подбиравшие уцелевших раненых. Ехали они в одном санитарном поезде, лежали в одном и том же госпитале, и одни и те же врачи отрезали одному ноги повыше колена, другому руку выше локтя.

Потом их эвакуировали к теплому морю — у обоих начался легочный процесс.

Они оба лежали на одной веранде рядом. Ферзенко говорит:

— Ну да, я знаю, ты ждешь только минуты... выпьешь из меня все, потом убьешь.

А Малоруков строго говорит:

— Молчи. Слышал, что доктор сказал? Два часа не разговаривать после еды.

Ферзенко покорно молчит, потом говорит:

— Не могу, я думаю о ней.

— Молчи.

А когда Малоруков спустится в парк пройтись, Ферзенко беспокойно начинает ворочаться в своей коляске и спрашивает сестру:

— Где же Никиша?

## СЛЕДОПЫТЫ

Шоссе бесконечно теряется позади, напоминая о пройденном. Кругом волнуются выколосившиеся хлеба, темнеют рощицы. Вдоль речушек, которые поблескивают по лощинам, белеют хаты. К этапу по шоссе длинной теряющейся серо-синей колонной тянутся пленные.

Австрийцы в башмаках идут равнодушно и устало с черными от загара и пыли лицами. Два австрийских офицера-летчика, один — молоденький, безусый, другой — с рогатыми рыжими усами, качаются на повозке. По бокам шагают наши солдатики в мешковатых гимнастерках, с винтовками на плечах. Человек пять казаков лениво покачиваются на седлах.

Жара, мухи, пыль.

— Подтяни-ись! — зычно кричит унтер, но колонна так же медленно, лениво и устало тянется, окутанная пылью, и последние ряды теряются за увалом.

До этапа верст десять. Солнце клонится к дальнему лесу, но еще печет. В низине важно шагает, подымая лапу, аист и хватает лягушек. По обочинам краснеют яркие маки.

Два ополченца с запыленными бородами идут, покачивая винтовками на плечах.

— Микит, а Микит, как их добыли? — говорит один из ополченцев, мотнув головой на летчиков.

— Вишь, над позициями они летали, а после залетели в тыл. Да, видно, бензин-то весь вышел, стали спущаться. Увидали казаки, марш-маршем за ними, думали, у леска спустятся, лесок впереди был. Ан лесок-то они перелетели. Ну, казаки поскакали лесом, нагнали их, бегут по хлебу, что есть духу. Взяли обоих, они и не оборонялись. Стали казаки искать аэро-

план, всю округу изъездили — нет, хоть што хошь, скрозь землю провалился, упрятали, и скажи на милость, как упрятали!..

— Сказано, немец, и есть.

— Найдут, — уверенно говорит другой.

— Цельная сотня искала, не нашла.

— Найду-ут!..

Уже померкли позолотившиеся было зубцы дальнего леса. Стали густеть сумерки. Хлеба кругом посерели и казались гуще. Ни головы, ни хвоста колонны не было видно, они тонули в пыли и в сумерках. Тишина наполнилась ровным топотом множества ног, да поскрипывали повозки.

Немец с рогатыми усами, сидевший на повозке и делавший вид, что дремлет, сказал негромко:

— Rechts... links *.

В ту же секунду оба сорвались и метнулись на обочины шоссе.

Ополченец разинул рот:

— А!..

Потом вскинул винтовку, грянул выстрел, осветив колеса повозки, стоптанные башмаки, загорелые лица, синие штаны и куртки. Вдоль шоссе загремели выстрелы по хлебу с обеих сторон. Шарахнулись лошади. Казаки вытянули их плетьми; они перелетели канаву, и слышно было, как из хлеба несся мягкий заглушенный лошадиный скок. Несколько солдат со штыками наперевес тоже кинулись за канаву. Потом все смолкло.

— Сто-ой... Сто-ой!.. — раздалась команда.

Подходившие пленные остановились, сгрудившись около повозки.

— Ежель кто вздумает, уложу на месте!.. — кричал охрипшим голосом унтер. — Стрелять при малейшем движении!

Колонна замерла.

— Эти не побегут, энто офицеры, а эти рады, что в плену.

Конвойные стояли настороже с винтовками наизготовку. Звук шагов и крики скакавших казаков смолкли, и стало слышно, какая ненарушимая тишина стоит над сумеречными хлебами.

---

* Rechts... links — направо, налево.

Долго стояли, пока черной стеной не опустилась кругом ночь.

Двинулись опять, и темнота заполнилась шорохом множества шагов, поскрипыванием телег да окриками совсем охрипшего унтера. Сбоку в невидимом болоте кричали жабы. Высыпали звезды.

Этап огромно раскинулся в имении графа Потоцкого. Громадный, как широкое поле, двор, в одном конце застроенный длинными узкими строениями, — графские скаковые конюшни. Имение специально назначалось для скаковых лошадей, которыми граф щеголял на скачках в Вене. За двором тянулся сад с озерами, с прудами, а в них лебеди, — впрочем, лебедей поели.

Ни лошадей, ни многочисленных служащих теперь здесь, конечно, не было, а белели разбитые всюду палатки, стояли винтовки в козлах, у коновязей мотали головами казачьи лошади.

В другом конце стояли груженные хлебом, сухарями, консервами фуры: высилось прессованное кубами сено. Солдатики сидели кучками, кто переобувался, кто зашивал рубаху, желтея голой спиной. Синевато дымились костры, и поплескивали чайники.

Этапный комендант с невыспавшимся лицом охрипшим голосом кричал на обозного, что загородил подъезд к конюшням. Потом пошел распорядиться насчет больных, арестованных, по канцелярии. С шести утра до двенадцати, до часу ночи комендант не знает покоя: надо принять и отправить маршевые команды, выздоровевших раненых, возвращающихся в строй, пленных, проезжающих офицеров, и всех накормить, дать ночлег.

Когда длинные конюшни и старый сад потонули в густой черной ночи, всюду багрово засветились красные костры, бросая длинные шевелящиеся тени. Во двор карьером влетел казак и осадил перед комендантским крыльцом тяжело поводившую боками лошадь.

— Что такое? — сказал комендант, выходя.

— Так что, вашскблагородие, двое пленных убегли, ахвицера.

Комендант сердито надвинул фуражку на самые уши.

— Бабы, расстегнули рот... — и прибавил крепкое

слово. — Иван, сказать Алексею Алексеевичу, чтобы весь казачий разъезд отправил на поиски.

Было за полночь, когда дотянулась колонна до этапа. Темный двор наполнился говором, сморканьем, шарканьем ног, а костры заслонились множеством темных фигур.

Пошла перекличка, потом, где кто стоял, повалились спать, так все были утомлены. Казачий разъезд выезжал рысью, звонко отбивая подковами, из широких ворот на шоссе.

К коменданту подошли два бородатых ополченца, держа под козырек.

— Что надо?

— Так что, вашскблагородие, дозвольте на поиск иттить.

— Упустил, а потом на поиск. Вам бабьим делом заниматься, а не в солдатах быть. Где же вы их по ночам будете искать? Куда же вам за конными поспеть?

— Вашскблагородие, у нас по лесам зверя следить чижалей. Он — зверь — путает, путает след, покеда призначишь, одначе добиваемся. Сохатый ли, песец ли, уж не сам будешь, коли не добудешь.

— Эх, ты, кувалда сибирская! Что же ты по немцу, как по зверю собираешься?

— Он теперь, немец, как отбился от своих, так будет накидывать петлю, как заяц. Ему тут, вашскблагородие, податься некуда, а по деревням, которые русины их не принимают, дюже не любят... Дозвольте, вашскблагородие, беспременно приведем.

Комендант подумал:

— Ладно, только без немцев не являйтесь.

— Слушаем, вашскблагородие.

Ополченцы прошли по темному двору, черневшему спавшими, к себе под навес. Слабо краснели потухающие костры.

Лошади мирно жевали. Никита достал вещевой мешок и стал класть туда хлебы.

— Слышь, Серега, никак сало у тебя осталось?

— Есть.

Положили в мешок сало, закатав в траву, налили в манерки * воды, покрестились и, взяв винтовки, по-

* Манерка — солдатская жестяная баклажка, походная фляга для воды.

шли с мутного спящего двора. У ворот окликнул часовой.

Над шоссе мерцали звезды, и оно выделялось неясной белесой полосой. Пахло наливавшими колос хлебами, необозримо раскинувшимися в темноте. Шли молча.

Когда подошли к месту побега, остановились и долго стояли, как легавые, принюхивающиеся к следу.

— Пойдем, — сказал Серега, мотнув в темноту головой.

— Не, туда не побегли, там — лес, знают, что казаки перво-наперво кинутся в лес обыскивать. Они хлебами побегли.

Оба перешли канаву и, шурша ложившимся хлебом, пошли от шоссе, поглядывая на звезды. Долго шли.

Стало светать, зазвенели жаворонки. Стало далеко видно. И куда ни глянешь, желтеют хлеба, либо зеленеет клевер.

— Ну, земли тут — прямо масло. Сторонушка тароватая.

Они долго шли. Уже солнце поднялось, стало припекать.

— Надоть перекусить.

Залегли в хлеб, поели, отдохнули и опять пошли. Шли, и сами не могли сказать, почему держатся направления, которое взяли. Вел привычный лесной полузвериный инстинкт.

В балке заблестела в осоке речка. Спустились, умылись, и опять пошли. К вечеру, усталые, разморенные, пришли к деревне.

Она тянулась по речушке. Между вербами белели хаты.

Никита сказал:

— Беспременно, округ этой деревни бродят, больше им некуда. Впереди и назади — наши. В энтих лесах, что за шашой, знают — ищут их. А тут небось высматривают своего, может, из немцев который, чтоб одел вольное, провианту дал. Давай тут засядем.

Серега почесал за ухом:

— Чего же мы тут будем делать? Ежели не приведем да проболтаемся тут, взбанит нас комендант.

Никита крякнул.

— Не родить же нам их, как их нету! Вишь, ночь находит.

Внимательно осмотрели, чтобы не спугнуть, деревню, — народу почти не было, изредка пройдет баба, либо мужик в белой свитке.

Опять пришла ночь, сверху зажглись звезды, кругом стала темь. Никита с Сергеем положили возле себя винтовки и прилегли. Сначала сквозь кустарник мелькали огоньки деревни, потом потухли. Стояла ненарушимая тишина, такая спокойная, мирная, будто кругом родные поля, родная темная ночка.

И Никита, лежа на спине, заложив руки под голову, медленно рассказывал, глядя на звезды:

— Ну, хорошо, я и говорю: «Марья, побойся бога, али ты белены объелась?» А она хвать горшок, али кочергу, али ведро, да в меня! Дым коромыслом!

— Ну! Я такую-то вожжами.

— Учил, слов нет, как чугун, бывало, ходит, а сама опять за свое. Склока была непроходимая.

— Я вожжами.

— А как объявили войну, что сделалось с ней: пала в ноги, слезами сапоги мыла, вот, братец. Я будто впервой ее увидал.

Никита долго и мерно рассказывает, а Серега слушает, тоже лежа на спине и глядя в звездное небо.

Когда рассвело, оба приятеля решили осмотреть все места вокруг деревни.

— Надо поесть, — сказал Никита, доставая провиант из мешка.

Деревня легонько задымилась по-утреннему.

— Сало доброе, — сказал Серега, уминая хлеб с салом, — дух от него добрый.

Хрустнули веточки. Солдаты замерли: сквозь кустарник на них смотрели четыре горячечно блестевших глаза. Серега схватился за винтовку.

— Не трожь, — сказал Никита, — ну, вылазьте.

Из-за кустов, шатаясь, поднялись двое: один безусый, а другой с рыжими обвисшими усами. У обоих были бледнозеленые лица и провалившиеся глаза, которые они не спускали с хлеба.

Никита спокойно отломил по большому куску, положил сало и подал немцам. Те жадно, давясь, стали рвать зубами.

Когда съели, Никита вскинул винтовку и сказал, махнув рукой:

— Ну, айда!

Немцы понуро поплелись вперед, а солдаты пошли сзади, тихо разговаривая про домашность.

На этапе ахнули, когда увидели, что ведут беглецов.

Комендант позвал, расспросил, сказал: «Молодцы» и подарил по целковому.

— Рады стараться, ваше благородие!

Казаки ругались:

— Лошадей замылили ни к чему, полтора суток скакали по лесам да по балкам, а они, дьяволы, завалились где-нибудь спать, а потом привели. Выпадет же счастье дуракам!

— Дураки по лесам скакали. А мы их, немцев, на приманку на сало вызволили: как почуяли сальный дух, так и выползли на карячках и за куском шли до самого до этапа.

А этап жил своей обычной жизнью, — подходила новая партия.

## НА ПОБЫВКЕ

Деревня протянулась одной улицей. Концом уперлась в неподвижно синевшую навороченными льдинами реку, другим вышла в поле, а за полем темнел занесенный снегом лес.

С тех пор как проводили солдата, у Ненашевых точно мгла насела на двор.

Изба стояла против училища, белевшего через улицу новым срубом, с большими окнами и с большим крыльцом, с которого каждый день в первом часу вываливалась шумливая, гомонившая толпа ребятишек. Позади избы — сараи, хлев, сбоку — маленький садик с вечно объеденными летом червивыми яблонями.

День начинается и наполняется всегдашним деревенским: обряжают скотину, возят дрова, рубят лес.

Вечером при коптящей лампочке ребятишки нудятся за столом уроками; маленькие спят, посвистывая носом, вповалку поперек огромной кровати; старик, нагнувшись и показывая залохмаченную кругом седеющими косицами лысину, починяет отдающий крепким лошадиным потом и дегтем хомут. Старая, с иконописным, потемневшим строгим лицом, приглядываясь в железных очках, шьет.

Шьет возле и невестка, молодая, вся круглая, нагнувшись низко, точно давит ее к шитву, всегда напоминая, неугасающее больное воспоминание. Зять, рыжий растрепанный мужик с бельмом на глазу, тачает передки к сапогам, разводя руками и протаскивая свистящие, липкие от вару дратвы. На лавке, у печки, под тулупом, должно быть в горячке, лежит баба с кумачным лицом и выбившимися из-под повязки косами. Она молча протягивает из-под тулупа исху-

давшую, дрожащую руку, берет с остывшей уже печки кружку и, не попадая, жадно ловя иссохшими, потрескавшимися губами, постукивая о липкие зубы, пьет, на секунду задерживая свистящее, обжигающее дыхание.

И снова в избе стоит дремотный шорох, — не то тараканы шепчутся, не то от шороха шитва; с легоньким свистом протаскивают дратвы, да ребятишки нудятся, да по темным стенам бродят тени.

Собаки давно отлаялись, и за промерзшими окнами — ничем не нарушаемая ночная деревенская тишина.

Еще больше наклоняется молодайка, и слезинки часто кап, кап... догоняя друг дружку, на белую в горошинках рубашонку, которую шьет, а игла во взмахивающей руке попрежнему посверкивает на лампочке.

Старуха говорит строго:

— Ну, уж... чего там...

А сама стаскивает железные очки и протирает уголками платка затуманившиеся глаза.

Так день за днем, ночь за ночью.

Раз, еще ребятишки не успели полечь, забрехали в темноте собаки, сквозь замороженные окна послышались смутные голоса, заскрипели сани, и лошадь с морозу, слышно, фыркает.

— Никак к нам? — сказала старуха, поднимая голову.

— Не, мимо, — отозвался рыжий, — лавочник, должно, с чугунки, у город ездил, ждали ноньче.

— К нам... — сказала молодуха и подняла начавшее смертельно бледнеть лицо; одни глаза на нем, остановившиеся, блестевшие неизъяснимым страхом.

Все прислушались.

— К нам и есть.

А уж на крылечке скрипят снегом, обивают валенки, слышны голоса, и собаки не брешут. Застучали кольцом.

Старуха перекрестилась.

— Спаси, господи, и помилуй!

Молодайка откинулась и все так же глядела блестящими приостановившимися глазами.

В сенцах, куда вышел, отложив натянутые на колодку сапоги, рыжий, заговорили странно и беспокойно, потом в клубившемся из отворенной двери морозном тумане проступили заиндевелая солдатская шинель, стоймя обернутый вокруг низко стриженной головы,

тоже побелевший башлык и запушенные смерзшиеся глаза.

А старуха уже повисла, обнимая холодный башлык, и заголосила неожиданно высоким покрывающим голосом:

— Да родимый ты мой! Да соколик ты мой ясный, Сенюшка!.. Ай ты?!. Ай не ты?.. И откеда ты к нам прилетел...

— Постой, матка, поперед попа в алтарь не ходят. Держи равнение направо...

Он размотал башлык, расстегнул шинель, широко, наотмашь перекрестился на образа, так же широко, наотмашь поклонился в ноги отцу, матери, со всеми перецеловался, и молодайка, стоявшая в стороне, как оглушенная, вдруг кинулась и, охватив шею, заголосила. Заголосила старуха; заплакали дети; только больная торопливо, со свистом дышала и равнодушно глядела кумачным лицом в темный низкий потолок.

— Эх, ну, бабы!.. До чего слабое войско. Кричи, не кричи, а как полагается, так и будет... Митрич, ты чего же? Распрег мерина-то? Сенца там в сарае кинь ему. Сундучок тут... Ну, ну, садись, садись, погрейся. Это каким оборотом. Выхожу со станции, метет, стыть. Эх, думаю, мать честна! Сотни верст проехал, а тут каких-нибудь десять шагов надо; да сундучок, — главное, неловко взяться за него. Делать нечего, солдатское такое положение: ни от чего не отказывайся, — ни от штыка, ни от пули, ни от каравая, ни от теплого угла. Вскинул сундучок и замаршировал, а сам насвистываю марш наш полковой, — трубачи наши до чего чисто его выделывают. Капельмейстер у нас в полку — чех, злой как на цепе, а насобачил их здорово. Ну, шагаю, глядь — Митрич. «Ты чего?» — Пассажира привез. — «Тебя-то мне и надо». Зараз сундучок к ему, сам — в сани, таким оборотом и доставился. А где сестрица наша богоданная? Чего-то я их не вижу.

— Занедужила, вишь, вся сгорела. Кабы не померла.

— Вы что же это, сестрица, по неуказуемому? Али жить надоело?

Та равнодушно, не поворачивая головы, смотрела темнокрасным лицом в потолок. И потом сказала, передыхая на каждом слове:

— Со... млела... банила... на ре-ечке... в гру-дях... тес-нит... не взды-шишь...

— Эх, нехорошо, сестрица, не по уставу...

А в избе шел большой переполох, — на загнетке весело трещал огонек, ребятишки вздували самовар, старуха чистила дрожащими руками картошку, а молодая металась, накрывала на стол, все делала одной рукой, — другой поддерживала перегнувшегося спинкой, жмурившегося на огонь и плакавшего ребенка. Подняли его сонного, тепленького из люльки показать отцу. Солдат взял с неуклюжей лаской, а тот все отворачивался, тянулся к матери и ревел.

Старик, давно сунувший свой хомут в угол, за столом, который обсела вся семья, все спрашивал, стараясь откусить старыми зубами огрызок сахара:

— Объясни ты нам, сынок, объясни всю тахтику. Бывалыча, молодой я был, служил, так у нас больше все правым плечом заходили.

— Э, папаша, об этом позабыли и думать. Теперь главное — артиллерия, опять же пулеметы, окопы; также сапа тихая...

— Змея, что ли? — сказала старуха, любовно глядя на сына.

— Какая змея! Просто сказать, мину друг под дружку подкладают.

— А у нас сапов развелось по мокрым местам страсть! Ты ушел, двух коров покусали в лесу.

— Да ты надолго ль к нам, касатик? Хочь бы наглядеться на тебя.

Солдат весело втянул воздух, — он немного заикался:

— До самого до понедельника, аккурат неделя.

Старуха всхлипнула, и у молодайки закапали слезы.

— Ну, чего! Вот уж сказано — бабы, бабы и есть. Тужи, не тужи, слезами крышу не выстроишь.

Он говорил весело, весело блестя глазами на продолговато-круглом, немного одутловатом лице.

— И каким манером все вышло. «Вашскблагородие, — ротному нашему говорю, — дозвольте их взять, немцев». Так что из окопов их выбили, они к лесу подались, а трое остались. Бризантным снарядом вырыло яму, ни мало, ни много, на сажень места. Трое-то туда и забрались, не схотели бежать. И стреляют. А потом подняли руки, — дескать, сдаемся. «Ну-к, что ж, — ротный-то говорит, — поди возьми». Я зараз винтовку наперевес, выскочил и побежал к ним.

Нашему брату, военному, лестно взять, — к отличию представят. А они сразу — чик меня! Как подкосили, упал и пополз назад. Влез в окоп, наши стянули сапог, разорвали штанину, аккурат повыше колена, навылет. Перетянули бинтом, повели на перевязку.

Бабы опять заплакали. А он почти уже злобно:

— Тю!.. Ну, чего завыли?! Главное — не бояться, а оно уж само, — чему быть, то и будет. И что не боишься — то и лучше, целей выйдешь. Я-то вот ушел раненый, а которые меня разували, целые... аккурат, где я сидел, прилетел снаряд, всех до одного побило.

— Вот так в японскую кампанию глаз мне выхлестнуло, — говорит рыжий, держа у заросшего рта дымящееся чаем блюдце, — в обозе был; сижу на фуре, а так он сидит, и хлестнул по коню и по глазу меня, чик! И зараз бельмо.

И он принимается пить до поту обжигающий кипяток.

— А у нас в лесу барсук, — мы боимся ходить: во-о когти, — говорит мальчик — сын рыжего, испуганно глядя на солдата.

Солдату бесконечно подают яичницу, курицу, которую уже успели сварить, молоко горячее и бесчисленно наливают чаю, как будто он должен пить и есть за десятерых.

— Уж и не чаяли, — писал ты: не пущают.

— Каким оборотом вышло. Рана зажила, в легких нашли хрипы, стали мышьяку под кожу заваливать, — вот ел, страсть! И поправляешься, как мерин на овсе.

Старуха опять всхлипнула:

— Хочь толстый, а квелый ты, сынок, нет в тебе крепости настоящей, не жилец ты...

Солдат злобно покрутил головой, но удержался.

— Ну, слоняешься цельный день. Эх, побывать бы дома, сколько бы делов переделал. Подъехал я к ротному, ну, на недельку отпустили.

Все переменилось в ненашевском дворе, не угадать, закипела работа. Только и слышно: стучит топором солдат. И солдатского уж в нем ничего нет, — надел старый тулупишко, перетянулся кушаком, и нет щелки хозяйской, куда бы не заглянул. Вырубил пару отличных оглобель; поправил санки городские, чтобы ры-

жий, коли случится, мог повезти на станцию пассажира. Ездил делить общественный лес на рубку. Понедельник отодвинулся куда-то в неопределенную даль — не было окопов, ни артиллерии, ни ждущего смертного часа.

Вспомнили было бабы обо всем, попробовали завыть, да солдат так прицыкнул, языки прикусили.

— Эх, бабы, одно слово — бабы. И где ни возьми, как баба была, так баба и есть. Был я в одном лазарете. Попечительша в нем. В карете приезжает, в ушах бриллиантовые сережки тысячи по полторы, аж больно смотреть, все шелк да бархат, и по сие место голая, а как баба, баба и есть. Дает мне билет к воинскому, десять выздоровевших на осмотр весть, так чтоб на трамвае с нас не брали. И ничего не объяснила, — баба! Хотела даже заклеить в конверт, да раздумала. Ну конечно — садимся в трамвай, на площадку, разумеется; кондуктор: пожалуйте. Даю ему билет. «Это вы чего же, говорит, порядку не знаете, а солдат. С этим билетом на станцию, там вам и выдадут проездные», и попер нас. Ну, пошли на станцию, а холод, продрогли, часа три потеряли. Вот оно, баба.

Он втянул воздух и, слегка заикаясь, продолжал:

— Вот вы воете, а посмотрели бы, как т а м! У вас все, чего душа просит, все есть. И одежа есть, и хлеб есть, и сено, и скотинка, и пища, и в избе тепло, а глянули бы там: от избов трубы одни, ни хлеба, ни помету, ни птичьего пера, только на себе худая одежонка, — хоть свисти. Вот он — страх где.

И бабы сразу присмирели, а понедельник отодвинулся еще дальше.

Солдат рвался, как привязанный, вставал ни свет ни заря, жадно выискивал нужное и ненужное дело и кидался на всякую работу, как оглашенный.

Теплая была изба, крепко рубленая, а солдат навозил соломы и стал укутывать. Укутал: стоит она, как в шубе, и окна маленькие смотрят сквозь лохмы.

— Все дров меньше пойдет.

Старуха смотрит, смотрит на сына — да и заголосит:

— Родной ты мой, и чего ты бьешся, натружаешься, глаза у те провалились, ровно почернел весь. Тебе гулять да радоваться, без тебе сделают.

Он только отмахивается, да желваки на скулах заиграют; возьмет топор и, уж слышно, тюкает на дворе.

Зайдут соседи, посидят, покалякают:

— Ишь, ты! Это он рад — домой попал.

— Глаза ровно мутные.

— Либо к смерти.

Ездили за реку к родне, целую ночь прогуляли. Когда солдат, сидевший под образами, молодецки откинувшись, положив кулаки на стол, запел высоким голосом: «По-осле-ед-ний но-не-е-шний де-е-не-чек гу-ля-ю с ва-ми я, дру-у-зья», поднялся такой бабий вой, что пришлось перестать петь.

Пришел понедельник, и все ахнули, — уже?! Казалось, конца-краю не будет этой жадной лихорадочной работе.

Опять закурило, и смутно проступали избы в белом мелькании. У ворот — Митричев мерин и розвальни, белые от снега... Провожали только до околицы, — померла сестра солдатова, надо было обряжать, — и долго стояли и глядели опухшими глазами в мелькающую муть, где никого не было видно.

Митрич ехал, подергивая вожжами, а солдат неподвижно привалился к задку саней, и снег набивался за башлык и вокруг ног.

За версту до станции, когда проезжали смутно черневший лесок, он поднялся, стряхивая снег.

— Стой, Митрич, равнение направо!

Лошадь стала. Ненашев вылез из саней.

— Ты куда же? Али смерз? Белый весь.

Солдат обернулся назад и долго стоял и жадно смотрел на сизо-подернувшийся лесок, за которым потерялась деревня. Потом зашагал к леску, проваливаясь в сугробах, и потерялся за деревьями.

Долго ждал Митрич, подставив ветру спину и нахлобучив овчинный воротник.

Наконец не вытерпел, вылез из саней и, проваливаясь, пошел по следу.

— И куды он провалился?!

Долго шел и ахнул: на согнувшейся молодой березе висел солдат.

# ВСТРЕЧА

Весь день, сколько я ни ехал, весь день погромыхивали орудия. Кучевые облака лежали на краю взбаламученной грядой, и, казалось, оттуда, из-за них доносились напоминания смерти, похожие на весенний далекий гром.

Стоял последний летний зной над давно скошенными полями, по которым разгуливали грачи.

Наша гнедая пара бежала споро, подгоняемая тучей мух, и медленно тянулось наискось из-под колес белесое облако пыли. Проехали мимо сожженной деревни. У дальнего синевшего леса показались казаки, постояли с минуту и пропали в лесу.

Мой возница, бородатый солдат, равнодушно подгонял лошадей, точно эти далекие погромыхивания и разгуливавшие грачи и торчавшие из развалин почерневшие трубы его не касались. Он так же деловито-спокойно отсиживался в окопах, ходил, когда приказывали, в атаку, как деловито-спокойно копался у себя в Новгородской губернии на земле или правил лошадьми теперь в тылу, где его оставили после раны.

— А что, не попить ли нам чайку? И лошадям пора передохнуть.

— Что ж, можно, — согласился солдатик, как соглашался он на все, что бы ему ни предложили.

Привернули с шоссе к группе деревьев над колодцем. Распрягли лошадей, навесили на закурившийся костерчик чайник.

По шоссе бурей, оставившей облако пыли, пронесся серо-зеленый автомобиль, и опять тишь, грачи по жнивью, синеющий лес, гряды изрытых облаков, а за ними погромыхивания, похожие на весенний гром.

Далеко с шоссе доносилось характерное татакание

мотоциклета. В самом конце шоссе, тонко вонзившегося белой полоской в синюю даль, катился к нам клубочек пыли, и оттуда несся знакомый звук торопливой работы поршней.

Облачко докатилось до нас, мелькнула согнувшаяся, запыленная фигура мотоциклиста, потом и облачко и мотоциклист стали меньше, и все дальше и слабее слышался частый звук машины.

Я отвел глаза, — в ту же секунду стук оборвался. Глянул, — возле развалин деревни, которую мы недавно проехали, лежал на боку мотоциклет, и глухо работала неостановленная машина. Саженях в двух впереди лежал неподвижно, странно подогнув под себя голову, мотоциклист; шапка отлетела к канаве.

Меня тревожно кольнула мысль: не австрийцы ли в засаде из развалин сняли его пулей, но выстрела ведь я не слыхал.

Мы побежали с солдатом.

Мотоциклист лежал на боку, машина остановилась, только из бака лился густо в пыль бензин. Солдат по-хозяйски, чтобы не дать вылиться всему бензину, стал ставить скособочившуюся на поломанной вилке машину, а я приподнял упавшему голову. Загорелое до черноты лицо и волосы с одной стороны были густо забиты пылью.

Он открыл непонимающие глаза, встал, поднял и надел шапку, пристально вгляделся в меня, радостно улыбнулся, показывая на черном лице белые, как кипень, молодые зубы, и сказал:

— Здравствуйте!

С трудом ловя в памяти знакомые черты, я вдруг узнал:

— Миша, вы! Какими судьбами?..

— Да вот, — сделал он широкий жест, как будто эти сжатые поля, синеющие на краю леса, давали объяснение, — это от усталости дух вышибло. Возил в штаб пакет, да вот лопнула проклятая вилка. Машину-то у товарища взял, а по нему как-то стреляли; видно задели вилку, — теперь и сказалось. У вас повозка; вы довезете меня до деревни, я машину оставлю, а оттуда верхом. Вот хорошо, — на вас наткнулся. Я слышал, что вы тут.

Через пять минут мы сидели, поджав по-турецки ноги, на траве и пили чай.

Мишу я давно знал. Он учился в гимназии большого провинциального города и из седьмого класса пошел добровольцем. Поступил в автомобильную роту, ездил шофером, теперь доставлял донесения на мотоциклете.

В гимназии постоянно чем-нибудь увлекался: столярным ремеслом, фотографией, футболом, мотоциклетным спортом; сделался иогом, одно время пил. Но все это как-то не держалось долго, и одно шло на смену другого. Временами много и разнообразно читал. Мне приходилось наезжать в город, где учился Миша, и мы виделись.

— Миша, что вас потянуло сюда?

— Как вам сказать. Я и сам себя спрашивал. Сложная это штука, — сразу и не разберешься.

Он улыбнулся, и в его улыбке, в очень похудевшем крепком загорелом лице не грусть сквозила, даже не усталость, а что-то, чего я прежде не замечал.

— Знаете ли, если бы сейчас мне сказали: свободен, поезжай домой, — я бы не уехал и не уеду до конца, если останусь жив. Сюда попал, отсюда не уйдешь, — нельзя уйти, — и это не я один. Но если бы я сейчас был в гимназии и мне бы сказали: поезжай на фронт, — не поехал. Если бы знали, как хочется учиться.

Он посмотрел на меня голубыми глазами не то грустно, не то застенчиво.

— Когда ехал сюда, все представлялось иным, — совсем иначе, чем на самом деле. Ну, вот, знаете, гимназисты в Америку прежде бегали. Выйдет за город и уж думает, тут и Америка, саванны, мустанги, индейцы. Ну, оказывается, не индейцы, не мустанги, а просто мужички везут сено на базар, либо бабы тяпают на огородах. Так и я.

Он помолчал, прихлебывая из стакана чуть дымившийся чай.

— И все-таки ребятишки, которые бегут в Америку, драгоценные вещи для себя узнают. Вы знаете, я както произвел анкету в третьем классе: из тридцати четырех учеников только пятеро в своей жизни видели восход солнца. Поверите!.. Я тут узнал, чего бы не узнать ни в какой гимназии: узнал, как люди смотрят в лицо смерти, узнал страдание людское, узнал товарищескую жизнь, настоящую.

— Ну, а учителя как относились к вашему добровольчеству?

— Да никак. Им что! У них — свое; их дело — сторона.

— Ну, о войне, о событиях какие-нибудь разговоры были?

— Никаких. Говорю, у них свое: служит, жалованье получает, семья. Да и как им иначе? Тоже и их положение. Я вот теперь от гимназии оторвался; со стороны как-то смотрю, — странная жизнь там идет. Пока там был, не замечал, а теперь странно. Состав у нас ничего преподавательский, есть положительно славные, а непрерывно воюем с ними, не можем не воевать, и они не могут нас не жать, не давить двойками и всякими штрафами. Не сладко и им и нам. У нас тут, кроме меня, еще три ученика из нашей гимназии: двое — в автомобильной роте, один — в разведчиках. Вот интересный парень: в нашу гимназию попал в четвертую — отовсюду гнали. И ведь славное сердце, способный, но упрямый, гордый — там, где нашему брату надо перемолчать перед педагогом, похлопать глазами, — знаете, какие они себялюбивые, — он вспылит, режет правду-матку, ну, и гонят. Воспитывает брат, сам чахоточный, зарабатывает гроши — ну, от этого еще тяжелее. Как только начались военные действия, сейчас же ушел добровольцем. И что он там выделывает! Два раза из плена бежал, убил часового, раненый три версты полз. Как-то пять дней жил у немцев в сене, — поджег и бежал. Сведения, которые доставляет, — драгоценны. На руках его носят. И куда делись строптивость, неуступчивость! Чудесный товарищ, спокойный, хладнокровный и где-то глубоко чуть-чуть печальный. Конечно, не вернется живьем. Так о нем и говорят: «Три серебряных креста заслужил, четвертый деревянный получит».

Вспомнили знакомых в городе, где он учился, попили чайку; я подвез его в деревню, и мы расстались.

Это было летом.

Недавно я попал в провинциальный театр. В фойе гуляли барышни, осторожно нося на голове замысловатые прически. Кавалеры шли рядом, натянуто и значительно улыбаясь. Все проходили по одному и тому же кругу, вполглаза оглядывая друг друга.

Кто-то окликнул меня в пестро движущейся мимо

толпе. Я обернулся. Высокий, худощавый гимназист в серой блузе протягивал руку; другой рукав пусто свешивался с плеча.

— Миша!

Я покосился на рукав.

— Да, оставил там, — проговорил он, чуть печально улыбаясь, — ну, да это — пустяки... Пойдемте, сядем, не стоит в зал итти. Я очень рад вас видеть. Помните, как мы встретились летом? Руку-то мне недели через три разрывной пулей хватило; всю у локтя разворотило. Доктора живо оттяпали. Ну, безрукий, кому я там нужен? Вот приехал сюда.

Он как-то печально улыбнулся.

— Вы не можете представить, как хочется учиться. Прежде и не думал. Ведь ненавидел гимназию, ну, как все, — знаете.

Мы сидели в фойе одни. И в коридорах никого не было. Стояла та театральная тишина, когда за закрытыми дверями разворачивается драма или смешит фарс.

— Как же вы теперь?

— Выучился левой, все, — и пишу и делаю. Никогда не думал, что так можно заменить. Многое, впрочем, иначе представлял себе. Ведь вот верно, гимназия калечит, уродует нас, — и неврастеники, слюнтяи, близорукие, узкогрудые, — верно, но ведь все-таки есть же люди, выходят же. Ведь как-никак Россия живет. Если бы одни слюнтяи, как же бы она жила? Вот тут как будто глаза раскрылись за этот год, как будто со стороны поглядел. Верно, и формалисты среди педагогов есть, и жестокие, и мелочные, мстительные, но за всем тем в эту подлую гимназию ползут же и мысли, и знания, и жажда борьбы, жажда разрушить все, что калечит страну.

Он говорил с блеском глаз, и на худых щеках выступил румянец.

— Помните библейское: господи, а если найдется хотя один праведник, ужели не пощадишь города ради него? Так и тут. И может быть, — он искоса глянул на пустой рукав, — может, надо потерять правую руку, чтобы узнать, чтобы почувствовать зерно истины.

Мы тепло простились. Я шел среди спящих улиц, и в мутном мелком дожде холодно и одиноко горели

огни фонарей. Тускло блестели мокрые тротуары, пронизывала сырость, и стало то молчание, за которым чувствуется, что совершается драма.

И не прав ли он, безрукий мальчик? Как ни калечит, как ни убивает, как ни терзает нас русская страшная действительность, как ни мучаются искалеченные — а есть жизнь, бьются сердца, и кто знает, как потрясающе будет нарушено тягостное молчание, с каким страшным грохотом рухнет строй?

## СВЕРХУ

Когда я его провожал, он был мускулист, крепок, с копной рыжих волос на голове. А теперь под одеялом протянуто бессильное тело, через лоб обвивалась повязка, делая его похожим на черногорца в шапочке, а выглядывающая макушка — голая, рыжие копны сбриты.

В окно глядят позолотившиеся деревья, сереющий сквозь них забор, из-за дальних крыш — голубое небо с перистыми, тонкими, как снежок, облачками.

У столика со склянками стоит сестра, сложив маленькие руки, с красным крестом на белом рукаве. У нее молодое строгое лицо, строгостью как бы отделяющее себя ото всех, — и свою молодость, и свою красоту.

Входя сюда, я спросил доктора:

— Опасно?

Доктор посмотрел в угол, потом на вентилятор, бесшумно гнавший воздух, и сказал, как будто говорил не со мной:

— Думаю, выживет. А если подымется, сейчас опять уедет туда. Только... только...

Доктор кабалистически повертел пальцем в воздухе:

— Не нравится он мне, нет, не нравится. Там что-то такое, батенька... Нет, не нравится...

— Ну, спасибо, что зашел, — сказал раненый, обращая ко мне необрадованные, неожиданно спокойные глаза, которыми он смотрел куда-то вглубь себя.

Я сел возле.

— Если не трудно, расскажи.

Он так же серьезно, так же видя меня точно внешне и как будто продолжая свои собственные мысли, заговорил:

— Помнишь, в первый раз инструктор дал мне руль высоты, я повернул, аппарат сразу взнесся на триста метров. Инструктор выругался крупно. Ведь если бы вниз, мы бы всмятку.

Улыбка тронула его лицо, стирая жестокость.

— Славное было время. Эти первые полеты, — первая нетронутая любовь, та же жуткость, та же новизна впечатлений, неизведанность, острота. Я часто живу прошлым, воспоминаниями, милые они. Бывало, оторвешься, и земля быстро падает в неведомую бездну, до того быстро, все сразу крохотное: люди — муравьи, лошади — козявки, дома — коробочки, фабричный гудок — как еле уловимый детский свисток, а выстрел, как далекий слабый удар хлыста. Потом ты — один. Далеко внизу плавает в тумане голубоватая земля, ни звука, ветер безумно хлещет в лицо, нет ощущения движения, только качает, и гудение пропеллера тонет в безграничном молчании. Ты да облака! И охватывало неизъяснимое волнение, единственное, больше не испытанное. Что ж, ведь больше ничего и нет.

Он помолчал и опять, глядя на меня и не видя, заговорил:

— Когда ехал на место, думал, если в мирной обстановке полеты дают такое наслаждение, так в обстановке битвы, когда кругом реет почти верная смерть, эти полеты должны дать ни с чем не сравнимое впечатление. Оно так и есть: впечатление ни с чем не сравнимое.

Я видел то, что люди, быть может, уже никогда не увидят. Я видел даже больше того, что человеку следует видеть. И знаешь ли: ведь скоро все приобрело будничный, повседневный, затрепанный характер.

Как приехал, сразу окунулся в напряжение работы, а сзади как черту провел, все было кончено, я себя почувствовал поконченным человеком. Не страх смерти, ты ведь знаешь меня, а обреченность, холодная, спокойная обреченность, которая на всех нас лежит печатью. Все, что сзади, отошло, и впереди одно. Товарищи ворочаются в крыльях, в станине пулевые дырки, говоришь с ними, смеешься, шутишь. Проходит два, три дня, смотришь, какой-нибудь уже не вернулся. Подождут, подождут, нет, — кончено. Да. Говоришь, и на земле то же. То-то, что не то. На земле — кругом

товарищи, идешь плечо в плечо, тут особое заражение общим подъемом, а там, когда подымаешься, ведь один, абсолютно одинок, как только может человек быть одиноким. Облака, хлещущий ветер в лицо да смутная, уходящая земля внизу. Сидит с тобой офицер-разведчик; ну, что же, он так же одинок и отрезан, как и ты. Там внизу, в дыму, в движении среди свиста пуль, грохота орудий, треска лопающихся шрапнелей, там некогда думать, там надо стрелять, ложиться, вскакивать, бросаться в штыки или покорно умирать — все это делают кругом тебя, с тобою. На их лицах боль, отчаяние, смелость, беззаветное увлечение, радость победы, наконец спокойствие смерти, и все это, как на клавишах, играет в твоем сердце сложнейшую мелодию человеческой души, — думать некогда.

А тут, когда взмоет аппарат, — одиночество и простор мыслям и отрезанность, точно за тобой провели черту. Главное — простор мыслям. От них никуда не спрячешься, и все сделалось холодным, мертвенно спокойным.

Когда я в первый раз поднялся, развернулась поразительная картина. Земля ушла вниз, подробности стерлись, звуки потонули, охватило царство вечного молчания. А далеко внизу длинные, поблескивающие серебряными, вспыхивающими под солнцем искрами, четырехугольники надвигаются к далекому краю, завешенному голубоватой дымкой не то недавнего дождя, не то смутного, не успевшего еще рассеяться дыма. Сколько глаз хватает, длинные четырехугольники тоненько серебрятся искорками, это невидимые на таком расстоянии штыки. А на краю, голубовато и таинственно задымленном, вдруг вспыхивает длинно и узко багровая полоса. Снова и снова вспыхивает и меркнет, и по четырехугольникам бесчисленно заклубились быстро тухнущие дымки. Мне не слышно орудийных залпов неприятельских батарей, не видно самих батарей, не слышно разрывающейся шрапнели; я вижу только, как багрово вспыхивает поминутно на горизонте длинная теряющаяся полоса, как посверкивают на солнце, как вода, длинные колонны. Мне не видно убитых и раненых, которые остаются за нашими колоннами, а только, как пузыри, вспыхивающие и сейчас же пропадающие разрывы шрапнелей. Им друг

друга не видно... так как местность пересеченная и между ними приподнятая. Молчаливая, беззвучная мелодия из красок и движения развертывается далеко внизу. Ни звука, только ветер хлещет в лицо да пропеллер гудит. Впрочем, я не слышу пропеллера, так ухо привыкает к его однообразному жужжанию. А багровая полоса молча вспыхивает и меркнет, и удлиненные четырехугольники молча посверкивают, как вода на солнце.

Вдруг колонны потухли, посерели, залегли. Опять поднялись, снова подвигаются, играя штыками на солнце, и багровая полоса безустанно вспыхивает и меркнет на краю, и вспыхивают дымки неслышно рвущихся шрапнелей.

Мне становится страшно. Страшно не вида все заливающей крови, не изорванного человеческого мяса, не груды трупов — с моей высоты ничего не видно. Я вдруг почувствовал какой-то мертвый механизм неизмеримой силы, который проникает эту колоссальную разворачивающуюся немую картину, который над нашим мозгом, над нашим чувством. И у меня в груди помертвело. Снова посерели колонны, залегли и опять поднялись, сверкают, и багровая полоса все безустанно вспыхивает и меркнет, пока не зальют ее своей жаркой кровью надвигающиеся колонны, то сверкающие, то вдруг серые. Я пунктуально, с математической точностью исполняю возложенное на меня поручение, возвращаюсь, снова подымаюсь, доставляю важные сведения, крылья и станина моего аппарата пробиты, и сердце мое мертво — я ведь только крохотный винтик колоссального неохватываемого механизма, который немо и страшно работает.

Он порывисто приподымается на локоть, и на мертвенно-бледном лице в темных провалах вспыхивают лихорадочные глаза:

— Если б только...

Сестра подходит и говорит строго и скупо:

— Нельзя волноваться.

И в мою сторону:

— Свидание прерывается...

Я подымаюсь и ухожу.

## В ГАЛИЦИИ

### I

К Подволочиску поезд подошел ранним свежим утром. Перебрались в австрийские вагоны. Начиналось чужое.

Жандармы, хмурые, строгие и недоступные, стали проверять пропуска. Для врачебно-питательного отряда Пироговского общества в Подволочиске не было получено телеграммы, разрешающей поименный пропуск членов отряда, — запоздала по обыкновению.

— Не могу пропустить.

Стали резониться: предъявили документы, выданные обществом, — «не могу», и баста.

— Да кто такие в этом обществе? — спросил жандарм. — Профессора, что ли?

Уполномоченный нахмурился, помолчал и сказал веско:

— Не просто профессора, а профессора-генералы.

Тот торопливо звякнул шпорами.

— Так сделайте одолжение, пожалуйста, конечно...

Все облегченно вздохнули, а солдатик с желтым лицом сказал равнодушно:

— Все одно, Расея матушка...

За перегородкой ехало несколько евреев. Они выгрузили целую груду документов. Жандарм сказал:

— Это не годится... и это не годится... нет, не пропущу.

Поднялся шум.

— Говорю, не пропущу.

Достали еще бумажку.

— Ну, это другое дело, давно бы, — сказал жандарм, искоса глянул одним глазом в бумагу и пошел.

И опять повеселело и стало уютно в вагоне, а солдатик так же равнодушно сказал:

— Она теперича тут бесперечь везде Расея, своя сторона.

Убегали станции, проносились зеленеющие просторы, речушки, дивчата цветные, — та же Украина. И все было обыкновенно, просто, — окопы заровняли, и они поросли свежей зеленью, белели мазанки, бегали ребятишки, проносилась черная пахота.

Кто-то из пассажиров — сплошь военных — сказал:

— Видал, по линии одни бабы работают, мужиков и не видать *.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вся Галиция [2] пестра в этом отношении, — есть места почти сплошь засеянные, есть поля, брошенные на произвол судьбы. Продолжающаяся по Галиции засуха, отсутствие семян и рабочих рук грозят убить урожай.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поезд остановился у длинной платформы. Красивое здание вокзала — Тарнополь.

Двери вагона запираются, входит жандарм прямо к евреям:

— Ваши документы.

— Да ведь нас же проверяли на границе, в Подволочиске проверяли. И поезд до Тарнополя нигде не останавливался.

— Потрудитесь предъявить пропуск, или я вас отправлю назад.

Документы, вываленные из карманов, не годились. Наконец жандарм сказал:

— Ну да, по этому документу можете.

А когда жандарм ушел, еврей сказал обрадованно:

— Хорошо, что до Львова мало остановок, ай-ай, как хорошо.

Опять летят зеленые, рыжие поля, мертвые поля; местность всхолмилась, по холмам ощетинился лес; уже зеленеет.

---

* Пропуск — выброшенное царской цензурой. Восстановить редакцию, вследствие отсутствия оригиналов, не удалось.

В лощинах краснеют крыши экономий. Экономии — солидные постройки, прочные, обширные, — маленькие королевства.

— Видите паровой плуг? Вон, вон.

— Паны сбегли, а по экономиям завели наших ингушей, самый подходящий народ для экономии.

— Понятное дело, народ тут необразованный, почерному топят.

— По-черному топят, — в казну на каждую трубу подать; без трубы дешевле.

В Галиции существует налог на дымовые трубы.

Поезд с тонким свистом, среди бесчисленно разбегающихся путей, влетает под огромный стеклянный купол — Львов.

Львов — веселый, изящный, зеленый город: всюду сады, скверы, деревья на улицах и за решотками дворов — цветы.

Дома — стильны. Костелы при всей монументальности удивительно легко возносятся стрельчатыми линиями с выступов, на которых построены. Архитектура общественных зданий полна вкуса, гармонии и меры.

На улицах польская речь, польские магазины, польские вывески и, пожалуй, польская утонченность, — все вежливы, предупредительны, сдержанны, с холодком, но глаза у всех опущены, — жизнь куда-то вобралась внутрь, много нужно передумать, пережить.

На перекрестке бравые, с выправкой русские городовые, в ресторанах некоторых — русские половые в белых рубахах и штанах, — почти Москва.

Солдатики на свой лад переделывают польщину. Спрашиваю одного:

— Как пройти туда-то?

— А это чешите прямо, — обрадованно говорит солдатик, слыша русскую речь, — зараз будет улица Каленая Сапега, так за ей...

Обращаюсь к прохожему:

— Пане, где тут Каленая Сапега?

Тот делает огромные глаза.

— Не вем, пане.

Наконец один соображает.

— Такой нима, пане... То Леона Сапеги улица.

Улица Небеляки переделана в Кобеляки, — и так весь Львов.

— Пидемо на вулицю Третьего мая, — сказал мне

мой знакомый украинец, — побачите, як россиян устричали.

Мы пошли. В красивых домах то-и-дело краснеют флаги лазаретов, в трамваях обрисовываются носилки с ранеными, и среди черной двигающейся толпы, отделяясь, мелькают фуражки защитного цвета. У канцелярий полевых учреждений стоят часовые. С треском, буйно то-и-дело проносятся автомобили защитного цвета; там же военные фуражки; развеваются белые платочки сестер. Скачут казаки-ординарцы, либо дробно, тяжело, глухо, наполняя звуком всю улицу, проходят войсковые части, и с тротуаров долго их провожают спокойные замкнутые глаза. По улицам много дам в трауре с бледными печальными лицами.

— Ось подывитесь на карточки.

На улице Третьего мая в витрине выставлены фотографические карточки: стоят казаки.

Мы долго молчали. И все те же кругом — холодно-спокойные, внимательные, лойяльные глаза.

Трамваи здесь обозначаются не номерами, а буквами, и держатся не правой, а левой стороны улицы.

Трамваи ходят быстро, ловко маневрируя и в узких улицах. То-и-дело входят офицеры, солдаты, иногда и раненые с костылями, в повязках; входят паны, вежливо поднимая шляпы, давая друг другу место.

Кругом все те же опущенные спокойные глаза, замкнутые глаза.

— Мы, — промолвил мой спутник, — тильки три хотилы: шоб вира нам була, та язык, та шоб за чоловика нэ бояться.

Понурился, потом оживился и весело поднял голову:

— Ну, слава богу, наши галичане хорошо у вас живуть, — письма от своих получил вчера и из Саратова, и из Уфы, и из Томска...

И опять понурился.

## II

Мимо садов и маленьких пашен, мимо халуп, огородов, мимо нахохлившейся мельницы, шумящей мокрыми колесами, под которые пенисто бежит узенькая речонка, мы идем в центральную часть местечка.

Неуклюжие каменные дома тесно стоят друг возле друга. Воздух тяжелый, дворы нечистые. Заколочен-

ная аптека. Парикмахерские вывески над наглухо заколоченными дверями.

Костел красивой готики внутри спокоен, холоден, убран цветами, блестит позолотой. Униатская церковь тоже красивая, стройная.

Синагога — с выломанными окнами, внутри мусор, камни, разорванные книги.

На площади, загруженной навозом и грязными тряпками, — лавки, а в лавках на пустых полках — то железное кольцо, то жестяная кружка или выглаженные старые штаны, — нет подвоза, нет товаров, высланы торговцы.

Возле тротуара на мостовой, на обрубке, сидит молодая еврейка с фаталистически-покорным лицом, а перед ней магазин: стоит деревянный стул с поломанной спинкой, а на стуле старая, видно бывшая в употреблении коробочка папирос, две коробочки спичек, две иголки и булавка, воткнутые в бумажку и выставленные в витрине магазина: на спинке стула.

Мимо идут взад и вперед солдаты, офицеры, санитары, казаки, русинки, а еврейка сидит все с тем же фаталистически-покорным лицом и больными глазами и перед ней — магазин, а в магазине — всего две коробки спичек и коробка папирос, на витрине две иголки с булавкой. Так с утра до вечера, когда улицы приказано очищать и ходят только патрули.

— Никак наш? Али ихний?..

Все поднимают головы. С голубого неба, белеющего блестящими наслоившимися барашками, падает характерное грубое жужжание. Останавливаются солдаты, казаки, русинки и следят за небом; только еврейка сидит неподвижно.

Из-за края крыши на ослепительно-белом облаке выдвигается черная, с неподвижными крыльями, птица.

А что если не наш и сбросит?..

Птица, посылая нам жужжание, проплывает над улицей и скрывается за край противоположной крыши. Пропадает и жужжание. Все идут, кому куда надо, только еврейка сидит.

Заходим в гмину. Гмина немного смахивает на наше волостное правление: так же грязно, неуютно, так же толкаются и сидят, ничего не дожидаясь, никому не нужные люди. Или, быть может, этот отпечаток накладывает исключительное время?

Выходит бурмистр в длиннополом пиджаке и весь седеющий, в щетине, как дикобраз.

У него — не то ласковое, не то хитрое лицо, с откинутым назад широким лбом. Русин, но говорит по-польски, как подобает представителю власти.

Он низко нам кланяется, сгибаясь в пояснице вдвое, ласково улыбается и делает глазки. Слегка трет себя по одной колкой щеке, по другой и говорит, заискивающе извиняясь:

— Пшепрошем, же не естем обголены, але нема фризмера.

Мы великодушно извиняем. Дело в том, что из военной зоны высланы в более северные городки все мужчины-евреи от 8 до 80 лет. Главную же массу ремесленников, парикмахеров, извозчиков, аптекарей составляли евреи. Неудивительно, что тисменичане, к великому своему прискорбию, густо поросли щетиной и ходят как дикобразы, поминутно извиняясь. Пьют из плохо луженой посуды, некому заказать сшить костюм.

Нам надо было проверить списки и попросить некоторые объяснения.

— Вот у вас в списке тридцать пять еврейских семей. Разве больше не нуждаются? Ведь все кормильцы выселены.

Бурмистр высоко поднял одно плечо, другое опустил, один глаз закрыл, другой с полным к нам расположением прищурил, голову склонил набок, растопырил пальцы и, сладко улыбаясь, нам сказал:

— Не так, пане. Евреи умирают с голоду, и русин умирает с голоду, так русин себе-таки умрет, а еврей покопается и таки найдет трошки грошей, — трошки грошей, а найдет.

Вошел полициант. Я заговорил со своим спутником, а бурмистр повернулся к вошедшему. И как только повернулся, так сейчас же с насильственно ласковых небритых складок сбежала улыбка, плечи выровнялись, лицо спокойное, холодное, чуть жестокое, и неулыбающиеся глаза.

— А больные есть?

Снова лицо все в складках улыбки, плечо поднято, пальцы растопырены, прищурен глаз не то хитро, не то для большей почтительности.

— Есть в Америце. Так называется окраина за речкой.

— Горячка, — сказал один из ненужных людей.

А у бурмистра, говорившего с полициантом, опять спокойное, расправившееся лицо и плечи...

При всей борьбе, часто взаимном озлоблении, национальности, тесно соприкасаясь, кладут друг на друга неизгладимые черты взаимного влияния. И это — во всем: в обиходе, в языке, в манерах, даже в мимике и жестикуляциях.

От поляков русины берут мягкую, вкрадчивую ласковость, от евреев — их выразительную мимику, нервную, живую жестикуляцию. Немецкий язык вторгается к евреям, переделываясь в жаргон, а от евреев немецкое «man muss» переделывается в русинское «мусить», — быть вынужденным. Немецкие, еврейские, польские, русинские слова взаимно переплетаются, сливаясь с родным языком, приобретая его формы, изменения окончаний в спряжениях и склонениях. И так же идет обмен предрассудками и верованиями.

И это рядом с изумительной устойчивостью национальных черт и форм жизни...

Вышли из гмины, свернули в закоулок, где текла вонючая жижа, валялись тряпки, солома, дохлые кошки.

Прошли в полуподвал грязного облупившегося дома. В узком проходе с низким потолком, что-то вроде подземного коридора, с трудом можно было видеть очертания вещей. Ноги скользили по затхлой соломе, а на платье садился отовсюду пух. Валялись ножки от стульев.

Коридор расширялся в придавленную бархатным от зелени потолком комнату. Горела лампочка, струя тонкую, извилистую копоть. В тусклое оконце слабо пробивался дневной свет.

Когда глаз привык, кругом оказалась масса ребячьих голов, рук, спин. Они копошились на полу, на широкой кровати, в тряпье, во всех углах. Надо было осторожно итти, чтобы не наступить на кого-нибудь.

Но странное, неестественное впечатление производило то, что эта мелюзга копошилась совершенно молча. Стояло странное, томящее молчание. А если где-нибудь послышится слабый писк, взрослые замахают руками.

Я наклонился над ребенком: на меня равнодушно глянули старческие глаза, вокруг морщины, лицо зеленое.

— Сколько вас тут семейств?
— Семь.
— Чем муж занимался?
— У меня извозчик.
— ... слесарь.
— ... парикмахер.
— ... портной.

Все жили зажиточно. Теперь остались только лохмотья на плечах. Старые женщины, испитые, согнувшиеся, с провалившимися глазами, вздыхают с тихим стоном, который сами не слышат. Не плачут: сухие глаза.

Равнодушно смотрят мимо нас. Зачем пришли? Что нужно этим чужим людям в чуждой форме? Что еще?

А мы расспрашиваем, выясняем степень нужды.

— Чем же живете?

И так же равнодушно, устало и нехотя:

— Как можем.
— Но чем?
— Как можем.

Впрочем, что ж расспрашивать: вот дети-старички в морщинах.

Когда стали вносить в списки и сказали, чтобы приходили получать пайки, подвал вдруг наполнился гамом, криком, шумом, просили лишний паек, кланялись, перекорялись друг с другом, плакали, точно прорвало молчаливую преграду безнадежного отчаяния.

Пошли в следующий подвал, — все то же. Поражает количество детей, — одни дети, и среди них теряются женщины.

— Чем живете?
— Как можем.

Я вспомнил магазин, помещавшийся на стуле с витриной на спинке, и около с утра до вечера равнодушно сидящую еврейку.

В одном месте нам сказали:

— Он умер.
— Кто?
— Старик.

А другая добавила:

— Ему восемьдесят пять годов.

Стоял приторно-сладковатый запах трупа. Мужчину должны хоронить мужчины; женщины не могут, иначе

это отступничество, все равно, что отречься от религии.

Наш список угрожающе растет.

А нам еще говорят:

— Пойдите в богадельню, там совсем голод.

Идем. Богадельня — низкое каменное здание. Гмина призревает: дает угол, маленькое пособие и документ на право... нищенствовать.

В гмине иссякли средства, а нищим никто не подает, — сами нищие.

У стены богадельни, прямая и плоская, как доска, с неподвижно-мертвенным лицом мумии, желтым, как воск, сидела старуха, — видно, все потеряли счет ее годам. Она молчит. Кругом ходят, разговаривают, светит солнце, а она молчит и смотрит перед собой; прямая, как палка, вместо глаз — бледные, бескровные впадины, слепая. Ни родных, ни близких, всех пережила. Оттого так неподвижна и молчит. Записываем и ее.

Возле неподвижно сидят и лежат на траве призреваемые; когда выясняем цель нашего посещения, они начинают просить слабыми гнусавыми голосами и лезут целовать руки.

Потом двое из них уходят в богадельню и сейчас же выводят человека, похожего на двенадцатилетнего мальчика, но у него — огромный стариковский живот, обвислые, старые, как сырая говядина, щеки, запухшие, гноящиеся веки, нос — как кулак, навис, лоб надвинулся на глаза, и на этом неразличимом лице — клочок бороды.

Он идет к нам и хочет поцеловать. Мы опрометью бросаемся бежать, выскакиваем на улицу и, прихлопнув калитку, сквозь щель начинаем вести переговоры.

От рождения такой. Похоже на проказу.

Снова ходим из дома в дом, битком набитые детьми, которые всюду кишат со слабым писком. Снова недоумение, испуг, — зачем мы сюда пришли? — и потом гвалт и крики, просьбы, слезы.

Уже зной разлился, когда мы из душной каменной коробки местечка пошли через деревню домой. По бокам знакомые хаты с головастыми вербами, с иконами в дверях и окнах и иногда халупы с зияющими окнами и мусором внутри.

По шоссе, пригнувшись, проскакал казак в папахе,

и лошадь рвалась карьером, вытянув шею, злобно прижав уши. Солдатики идут, небрежно покусывая неизбежные семечки, и всё торопливо дают им дорогу.

По обочине в канаве играют ребятишки, махая перед глазами друг друга длинными палками, — война.

Курица снесла яйцо и всем громко рассказывает.

Что поражает в галицийской деревне, это — отсутствие собак. Вы долго идете, не слыша лая, не встречая собачонки. Это не то, что на святой Руси, где в деревнях и хуторах из каждого двора с ревом вылетает свора диких зверей с черными пастями, и в них блестят алчные зубы, и начинают рвать прохожего не на живот, а на смерть, — не таскайся зря.

Как буря, проносится автомобиль защитного цвета; в нем фуражки такие же; за ним второй, и на нем отчаянно треплется и полощет белый платок сестры. Все кидаются в разные стороны; а они уже сверлят, чуть дымя уносимой пылью, где-то в конце вытянувшегося, как струна, шоссе и пропадают. Здесь они носятся с огромной быстротой, — время дорого.

Вот и станция. Похаживают солдатики. Синевато дымится наша кухня. Впереди изумрудный луг, за речкой щетинятся лесами холмы. В знойном мареве неуловимо тают смутные, как сон, очертания Карпат.

## III

Жаркий день. И на полях и на деревьях зелень особенно яркая. Бело-розовыми остроконечными свечами одеты цветущие каштаны. Пахнет сиренью. Перед станцией — толпа женщин с заморенными лицами, с ребятами и без ребят. Нажимая друг на друга в тесноте, вытягивая шеи со стекающим по лицу потом, толпятся они возле станции.

Стоит невообразимый крик, пререкания, просьбы, слезы, укоры. Лезут все: и те, кто с голоду умирает, и те, кто еще может перебиться, и такие, у кого есть по две коровы.

Одним раздают по миске дымящиеся обеды, другим, живущим далеко, пайки на неделю, третьих опрашивают:

— Корова е?

— Нима.

— Е, е... — озлобленным хором подхватывают окружающие. — Две мае.

— Що ж таке, що две, та не доются.

— Бреше, доются.

Как только было объявлено об открытии столовой, вдруг во всей Т., как по уговору, перестали доиться коровы. Бабы врут наивно и азартно. Галичане не привыкли к общественной, к мирской помощи. Здесь каждый за себя, а бог за всех. И это рядом с политической и общественной деятельностью, рядом с потребительными, кредитными и иными кооперативами и артелями. Просто они никак в толк не возьмут, что ни с того, ни с сего им несут даровую помощь.

Правда, после мобилизации австрийское правительство стало выдавать вспомоществование семьям запасных, а в начале войны гмина выдала некоторое количество муки, но в первом случае — «держава», государство, которое брало высочайшие налоги, во втором случае гмина тоже облагала все неукоснительно и тоже обязана была притти на помощь.

Теперь в гмине иссякли всякие средства и доходы, даже должностным лицам понизили жалованье на две трети.

Бабы неукротимо шумели перед нашей кухней, вступая между собою по поводу курки или теля в словесное, подчас близкое к физическому, единоборство. Пришлось попросить солдата помочь, и бородач добродушно уговаривал:

— Не бунтуй, бабы, ишь без мужьев распустились. Вот вернутся, вас подтянут. Сами бабы. Бабье царство и есть.

— Чи вернутся, чи ни... — всхлипнула молодайка и стала похлопывать, укачивая проснувшегося ребенка.

Так как нахлынуло слишком много народу, поднялись взаимные уличения, гминный список несомненно грешил в некоторых случаях пристрастием, принимая ближе к сердцу интересы родственников и близких; мы решили обойти халупы и еврейские дома.

Гмина дала нам полицианта, и мы пошли, руководясь списком.

Нескончаемо тянется шоссе, и, то теряясь в зелени деревьев, то одиноко белея у канавы, среди маленького поля, стоят хаты, и синеватый дым сочится во всех местах через соломенную крышу.

Я подумал: пожар. Оказалось, халупы были просто без труб. Из печи труба выходит на чердак и тут обрывается. Весь чердак полон дыма, и в комнате, куда мы вошли, ест глаза. Впрочем, не нам только, — хозяева тоже утирают слезы.

— Зачем так строите, без труб?

— Деды так строили... Крыша прочнее будет, — прокоптит, — говорит старуха.

Хата внутри — как наша украинская хата: те же высокие сундуки-укладки на ножках, лавки, деревянные диваны, широчайшие кровати, на них огромные подушки, перекладины над кроватями, с перевесившимся платьем. Только иконы, как их пишут католики, развешаны по стенам; тут же хорошие лубки, рекламные картины.

Возле люльки молодая женщина, как большинство, — с измученным, исстрадавшимся лицом. В люльке прозрачный ребенок, и его мертвая головенка безжизненно переваливается из стороны в сторону; чтобы не кричал, мать закачала до потери сознания. Молока у нее нет, кормит и маленького черным, как деготь, хлебом, смоченным слюнями.

Старуха вышла. Молодая женщина стояла равнодушно, не глядя, не замечая нас, — ей было все равно: так измучена. За подол держалась хорошенькая девочка, лет трех, в струпьях — масса детей страдает паршами.

Мы стали опрашивать.

— Хата есть?

Та слабо покачала головой.

— Корова?

— Ни.

— Грунт?

— Нима.

— Чем же живете?

Она горько усмехнулась бледносиними губами, да вдруг глянула на нас злыми вспыхнувшими глазами, как будто увидела в первый раз, и дико закричала:

— Берите их!.. Берите их!.. От чем кормлю!..

Она схватила со стола тяжелый, как глина, мокрый, черный, как побуревший уголь, хлеб и сунула.

— От чем детей кормлю.

— Где же муж?..

Слезы неудержимо закапали. И, не утирая их и по

инерции качая ребенка, она заговорила упавшим голосом:

— Другой год, как в Америке. Як присылал гроши, можно было жить. А теперь ни письма, ни грошей. Што я с ними буду робить?..

В 1902 году галицийское крестьянство, задавленное крупным землевладением, начало с ним борьбу, устроив грандиозную стачку: крестьянство выиграло. Заработная плата сельских рабочих поднялась.

Чтобы не позволить снова уронить ее, галицийцы стихийную до этого эмиграцию в известной степени сделали организованной и планомерной; они стали направлять поток эмигрантов в наивыгоднейших направлениях. Для этой цели организовано было эмигрантское бюро.

Австрийское правительство закрыло его под давлением помещиков. Тогда бюро перенесли через черту границы, и оно с неизменным успехом работало в Пруссии.

Оно сортировало эмигрантов. Одних, в зависимости от их хозяйственных и индивидуальных особенностей, направляло в кратковременную эмиграцию, — в Венгрию, в Моравию, в Пруссию, куда дорога обходилась всего в десять, пятнадцать рублей, лишь на летний рабочий сезон. Других в Америку. Дорога туда стоила до 300 рублей, и ехать имело смысл только на два, на три года, на пять лет. Ехали туда с одной неотвязной мыслью — вернуться, купить землю. Иные ворочались, иные оставались навсегда.

Во всяком случае эмиграция — та и другая — играла огромную роль в бюджете безземельного и малоземельного крестьянства и вливала в страну крупные суммы.

Муж женщины, стоявшей перед нами, уехал в Америку и аккуратно присылал деньги семье. Началась война, и все оборвалось.

Мы записали женщину, успокоили, — будет получать обед или паек, по желанию. Она так же равнодушно выслушала, забыв вытереть слезы на мокром лице.

В следующей хате — молодая, красивая, крепкая женщина, небольшого роста; на руках ребенок, а в глазах острый огонек злого возбуждения, и красиво вырезанные ноздри раздуваются. Одета, как все тут, цветисто: белая рубаха, монисто.

— Хата есть?

— Е...
— Грунт есть?
— Е...
— Муж есть?
— Е...
— Так чего же тебе нужно?

Злые глаза заискрились, точно кусаться хотела броситься. И такой же злой, красивый голос зазвенел:

— Та велите моему чоловику кормить меня и дытину. Що ж нам — околевать, як собакам?

Она посыпала злым горохом.

В хату набились бабы, дивчата, дети, и все почему-то ухмылялись, подавая реплики.

— Та вона его поймала за чуприну, та так таскала, так таскала, шо вин ледве утик. Та кричить ему: геть з моей хаты.

— Почему же он не оборонялся?

— Та вин слабый, а вона така крипка баба. А теперь кличе его, а вин не иде, то вона и бесится.

— Ну, мы тут ничем помочь не можем, сами улаживайте свои раздоры.

— Тилько с вас и прибытку. Тьфу! — повернулась к нам спиной.

— Яд-баба, — сказал полициант, выходя за нами и опасливо оглядываясь, — красивая, а ядовитая, як гадюка.

В одной хате встретила высокая, покорная женщина, с темным лицом. Возле стоял слепой муж.

Далеко в поле бились русские и австрийцы. Женщина с мужем была в хате. Тут же их девятнадцатилетний сын с ребенком на руках, портной, содержал стариков.

Что-то чвакнуло в стене; женщина вскрикнула. Слепая, далекая пуля пробила стену, пронизала руку матери и попала в самое сердце сыну. Тот выронил ребенка в люльку и молча повалился на пол.

И теперь молча и покорно они стоят перед нами.

И опять шоссе, опять халупы, и из соломы крыш синевато просачиваются струйки дыма; между халупами крохотные пашни, местами свежие и зеленеющие, местами под сорной травой; у халуп и при дороге вербы такие же, как у нас, — толстые, головастые, а из голов, как пальцы, во все стороны растут тонкие ветви.

А входишь в халупу, бросаются целовать руки. Отдернешь, еще хуже, — значит, настолько презираешь, что и руки не даешь; корежишься, а они целуют.

И все женщины — усталые, испитые, и дети. И все одно и то же:

— Чоловик в Америце.

— Чоловик на войни,

или

— ... в плену,

или

— ... вмер.

Все один и тот же рассказ, уже потемневший от слез.

## IV

На базаре, на больших дорогах, в деревнях встречаешь галицийского крестьянина: это — тот же наш украинец, неповоротливый, так же одетый, упрямый, с тем же украинским юмором.

В праздники около церкви или на деревенской улице — это та же цветная украинская толпа дивчат и парубков, еще более цветная и яркая, почти цыганская. Те же песни, те же южные ласковые голоса, та же певучесть. И во внутренней, духовной жизни та же стихийность, которая через века среди обломков истории пронесла лицо народное, сердце, язык.

Здесь царствует та же власть земли. Нет программ, нет политических партий, есть только вопрос о земле.

Но не надо это понимать как исключительную узость — галицийский крестьянин настолько вырос, что видит связь вопроса о земле со всей сложностью политического устроения; только и программы и платформы он так или иначе относит к одной исходной точке, — к вопросу о земле.

Как же практически, в жизни, он подходит к этому вопросу?

Галицийский крестьянин малоземелен: он дает десять и больше процентов сельского пролетариата, абсолютно безземельного. Эта часть крестьянства решает земельный вопрос временной эмиграцией, — уезжает в Венгрию, в Пруссию, в Северную или Южную Америку и через год, два, три, пять возвращается с заработанными деньгами и покупает несколько моргенов.

Несколько моргенов — это «господарь», хозяин, идеал для галицийского мужика.

В борьбе за землю и за все, что так или иначе с ней связано, галицийское крестьянство создало интеллигенцию, — свою собственную интеллигенцию, народную, которая непрерывно связана со всей народной жизнью.

В России интеллигенция ходила в народ, в Галиции интеллигенция живет внутри народа. Русский интеллигент шел к мужику, отдавая себя, свои средства, силы; галицийский народный интеллигент, если можно так выразиться, порожденный самим народом, кормится своей работой на народ, заинтересован наилучшей оплатой своего труда, но тем прочнее он слит с народом.

Я отнюдь не хочу сказать, что галицийский интеллигент корыстен и безыдеен, — нет, он всей душой отдается работе на ниве народной, но не со стороны, как наши семидесятники, а внутри своих собственных интересов, которые сливаются с народными, и тем прочнее связь интеллигенции и народа в противоположность прежней галицийской интеллигенции, которая отрывалась и уходила от народа.

Организует интеллигент потребительский кооператив, или кредитный, или производительный, — он прежде всего сам получает средства, как «урядник», то есть организатор «господарской» (хозяйственной) артели.

И крестьянин, крайне тугой на всякую копейку, несет последний грош, чтобы дать возможность своим мужицким сыновьям выбиться в средней школе.

Трогательно видеть, как приносит загорелый, заветренный хлебороб полкроны, крону, двадцать, сорок копеек и, перекрестившись, отдает ответственному товариществу на основание еще одной новой бурсы, то есть пансиона при одном из среднеучебных заведений. В бурсах крестьянские дети содержались бесплатно, кончали гимназию и шли в жизнь или во Львовский университет.

Эта народная интеллигенция старалась сдвинуть народ с мертвой точки во всех областях народной жизни.

Но особенно она потрудилась в области народного образования.

В Галиции 3 800 украинских школ (не считая польских и немецких) на три с небольшим миллиона украинского населения. Детишки с ясными, открытыми, незапуганными глазами отвечают толково, ясно, с пониманием, не дичатся.

Среди старого поколения — большой, почти подавляющий процент грамотных, среди молодежи — почти поголовная грамотность, — обучение обязательно.

Средних школ на крохотную страну — 45, с преподаванием на украинском языке, не считая польских и немецких гимназий.

Неудивительно, что газета стала неотъемлемым достоянием народа, — вы встретите ее всюду по деревням.

Разбирается ли галицийский крестьянин в политических вопросах?

Крестьянин — не политик, но чутьем разбирается, кто его друг, кто недруг.

От резкого деления интеллигенции на австрофилов и украинцев галицийский крестьянин стоит в стороне, — он не теоретик, он живет непосредственными интересами земли.

Власть земли, внутренняя невозможность думать, жить, работать без родного языка, привязанность к привычному строю целиком определяют все отношения галицийского крестьянина. Определяют они и национальные отношения. Поляки и евреи обладают огромными земельными участками среди малоземельного и безземельного населения, и тем самым создается почва для национального антагонизма.

Национальная борьба обострена, ибо целиком совпадает с экономической борьбой.

Последние годы галицийское украинское крестьянство, поднятое школой, во всех направлениях пронизанное артельно-кооперативными организациями, повело в широких размерах операции по покупке земли.

Когда крестьянство окрепло и стало подниматься, началась парцелляция помещичьих латифундий.

Мелкие кредитные организации и их союзы стали по кусочкам отрывать от экономий обремененную долгами землю и передавать в руки крестьянства.

Но рядом с ними принял участие в этом процессе и торговый капитал, представленный по преимуществу

евреями. Отсюда обострение национальной розни в этом направлении.

К чести галицийского населения, национальная борьба и рознь никогда не переходили в насилие.

Галицийские украинцы очень религиозны. Здесь, быть может, сказывается подчиняющее влияние католицизма.

Встречаясь, русины приветствуют друг друга:

— Слава Иисусу Христу.

— Слава во викы, — отвечают.

По всей стране — часовенки, кресты, как в Польше.

Униатские священники, чтоб держать свою паству в руках, не ослабить своего влияния, и чтобы отстоять интересы национальной буржуазии, принимали живейшее участие в национально-экономической борьбе, являясь организаторами кооперативов, товариществ.

Впрочем, это нисколько не мешало населению сразу стать во враждебные к священнику отношения, раз только его деятельность шла вразрез с народными интересами, ибо в критические моменты священники всегда предавали и продавали свою паству.

Как всегда, народ носит в себе странные, порой взаимно исключающие противоречия. Чувство достоинства в галицийском крестьянстве развито и воспитано всей обстановкой, политической и экономической борьбой и высоко развитым чувством законности. И рядом живет глубоко вкоренившийся рабий обычай — целования рук. Дашь детям хлеба, конфет, и детишки бросаются, хватают и целуют руку, а отец и мать понукают: «Цилуй, цилуй, ручку»... Ненавидят панов и целуют им руки.

Как предрассудки, как темные поверья, глубоко вросшие в народную душу, этот унизительный обычай понемногу выводится, и подрастающая молодежь не только внутренне чувствует себя независимо, но и внешне держит себя с достоинством.

Трудно себе представить ту жажду знаний, которую проявляют украинцы. Навстречу этой жажде идут книги, брошюры, газеты, лекции, народные университеты.

И опять-таки в кругу народных противоречий вы встретите и темноту, и невежество, и суеверие. Только школа могуче очищает ум и сердце народное.

V

Тисменицы, где остановился наш отряд, — местечко в юго-восточном углу Галиции. Здесь недавно еще кипели бои. Потом орудийная стрельба издали погромыхивала, как весенний гром, да вспыхивали далекие зарницы. Теперь и этого нет — тихо, зелено; на краю стоят Карпаты и блестят полосами еще не стаявших снегов. Кричат лягушки, да рассыпаются соловьи. И если иногда хмуро и слабо докатится далекий рокот, так это скорее — редкое напоминание, чтоб не забывали люди о великой драме.

На полях видны цветные пятна баб и дивчат, — сажают картофель. Изредка увидишь плуг с заморенными лошадьми, — под кукурузу поднимают.

Иногда в плуг впрягаются по десяти, по двенадцати баб и тянут — лошадей нет. И все-таки среди зеленеющей, уже выколашивающейся ржи, ячменя сиротливо тянутся мертвые полосы, забитые сорной травой, — без лошадей, без рук нечем было поднять землю.

Тисменицы — типичное галицийское местечко: в центре густо, тесно и грязно стоят большие и малые каменные дома, униатская церковь, костел, синагога, школы; грязная базарная площадь, лавки и бесчисленное количество крохотных еврейских лавчонок, где обычно кипит своеобразная жизнь.

Здесь живет почти целиком еврейское население (две тысячи). Они торгуют, шьют, извозничают, слесарят. Поляков — полторы тысячи.

От центра как попало, вкось и вкривь, тянутся шоссированные улицы. По бокам шоссе стоят халупы украинцев ($7^1/_2$ тысяч), водяные мельницы, между халупами — засеянные поля, огороды, сады, болота.

Эти длинные деревенские щупальцы растянулись от центра на много верст. Здесь пашут, сеют, здесь земля смочена трудовым потом; здесь наивны деревенской непосредственностью.

У въезда в местечко чернеют огромные развалины водочного завода. Среди груды задымленных кирпичей, среди обрушенных стен дико возвышается гигантская труба, чудом уцелевшая.

Изредка попадаются халупы с простреленными стенами. Нередко встретишь пустые дома с взломан-

ными окнами и дверями, а внутри лежат развалины печей. В жилых уцелевших домах, в окнах и дверях выставлены иконы.

Наш отряд занимает большое станционное здание на самом краю местечка. Перед нами, налево — лесистые предгорья Карпат, прямо — зеленеющие поля, окопы да болотца, где, надсаживаясь, кричат лягушки, дергачи; а направо, как стрела, впивается в далекие синеющие перелески тонкая нить убегающего шоссе. По нем, курясь дымками, проносятся издали, как игрушечные, военные автомобили, или тяжело и подолгу громыхают обозы, артиллерийские парки. Горизонт замыкается дымными очертаниями Карпат.

На станции — большие, звонкие пустые комнаты. На стенах по черному полю надписи мелом на трех языках о прибытии и отходе изменивших расписание поездов, — последние надписи торопливо ушедших бывших хозяев.

На фронтоне станции надписи также на трех языках: немецком, польском и украинском. Эти надписи скромно и безмолвно чернеют четким шрифтом на стене, а между тем это — молчаливо запечатленная история непотухавшей национальной борьбы.

Железнодорожные надписи, начиная с билетов, делались на немецком и польском языках двух господствовавших наций. Когда украинцы почуяли право на свою собственную национальную жизнь, они потребовали своего уравнения во всем, даже в мелочах, даже в надписях на билетах.

Конечно, поляки и слышать не хотели о прибавлении украинских надписей. Началась своеобразная борьба.

По воскресеньям украинские парни, одетые по-праздничному, являлись к приходу поезда на станцию и просили билетов до ближайшей станции. Кассир подавал обычные билеты. Парни хором требовали билетов, где бы была надпись и по-украински, ибо они по-немецки и по-польски не понимают. Разумеется, кассир не мог дать того, чего у него не было. Тогда ребята гурьбой вваливались в вагон. Начиналась кутерьма. В поезд бросались жандармы и начинали выволакивать безбилетных. Но не так-то легко вытащить тридцать-сорок здоровенных парней.

Они не оказывали сопротивления, предлагали за

проезд деньги, но неизменно требовали билетов с надписями по-украински. Пока их вытаскивали, поезд опаздывал. Привлекали к суду; ребята отделывались пустячными наказаниями. А в следующее воскресенье — опять та же история.

Так это проделывалось почти на каждой станции, и по воскресеньям и праздничным дням наступало расстройство железнодорожного движения. Власти сдались, появились билеты с надписями на трех языках, и со станций, где снова собрались ребята, дружно понеслась победная украинская песня, а хлопцы взяли билеты и чинно проехали в вагонах перегон и обратно.

Станция наша обслуживается исключительно солдатами: начальник станции — солдат.

— Ну, что, скучно тут?

— Какая скука, — дело. Как австрийцы были близко, — шрапнели все рвались перед полотном. Никто не знал, что будет. У нас винтовки наготове. Как, думали, придут, — будем биться до последнего патрона, а там, кто жив останется, на дрезину и к городу под уклон, ежели не отрежут дорогу. Ну, теперь отодвинули их.

— Теперь безопасно?

— Знамо, безопасно. Разве что ненароком — мадьяры разъездом заберутся, — энти всех перережут.

Мы заводим наше хозяйство, вмазываем под навесом большой котел, выгружаем вагоны, заготавливаем дрова.

В одном из пунктов под Тисменицей надо было организовать выпечку хлеба для раненых. Пошли в деревню.

Она раскинулась по веселым, залитым солнцем холмам и по тенистым лощинам, поросшим вербой, каштанами, великолепным вязом и кружевной акацией.

Не так, как у нас, — деревня вытянется, как по веревочке, изба к избе, курица еле пролезет между ними; здесь хата далеко белеет от хаты; одна к одной, то передом, то задом, а между хатами — четырехугольники пашен, либо уже зеленые, яркие, либо рыжие, забитые сорной травой, не тронутые еще с прошлого года.

Как ни привык глаз к хаотической разбросанности галицийских деревень, все же эта деревня особенно выделялась тем, что хаты стояли как попало, где кому пришелся кусочек земли, — ни улицы, ни переулков, а от хат к хате протоптаны тропочки, да между пашнями узенькие дороги, — только что проехать. Далеко на краю виднелись солидные постройки под серой черепицей, — экономия, что ли.

В лощине табунок лошадей щипал траву.

Зашли в одну хату, — пусто, только курица копается возле в навозе. Зашли в другую, — слепая старуха. Сколько ее ни спрашивали —

— Не знаю, ничего не знаю, — один ответ.

За лощиной, на холме, — костел, и кругом него — гигантские деревья.

— Пойдемте к священнику, он нам укажет. Так ничего не добьемся, а он знает всех своих прихожан.

Долго шли, и солнце палило, обливая потом. А когда поднялись на холм, сразу потонули в приятной, ласковой прохладе, и в густой листве на все голоса разорялись птицы. Но как ни громадны деревья, костел их превозмог, — он выносил свои остроконечные верхи на простор слепящего зноя, и белые облачка бежали по синеве.

Приземистый домик священника, такой маленький перед громадой деревьев и возносящегося костела, прилип к самой земле между вековыми стволами.

Возле паперти — трое украинцев в белых рубахах, белых штанах, с длинным красным галстуком у ворота, в широкополых шляпах, формы панамы, что придавало им что-то городское, но это были настоящие крестьяне, очень далекие от города. Они разгребали по земле солому, откидывая гнилую. Трудились для «храма божьего», то есть, в сущности, для попа.

— Слава Христу.

— Во вики виков...

— Где ваш батюшка?

— Як?

— Священник.

— Пип. Оце его дом.

Женщина-врач, фельдшерица и я пошли к приземистому дому. Постучали, — молчание. Еще — то же.

Тихонько отворили дверь в переднюю, пахнуло распаренным жарким воздухом только что вымытых, не-

проветренных полов. Зашлепали чьи-то торопливые шаги за дверью, потом тяжелые, и все стихло. Странно.

Снова постучали. Нет ответа.

Пошли опять к крестьянам.

— Где же священник?

— Та дома же, дома, бо зараз був тут.

— Нет его, никто не отзывается.

Один злорадно усмехнулся: «Сховався» и, повернувшись, продолжал работать граблями.

Снова пошли в церковный дом, опять постучали несколько раз. Дверь как-то незаметно отворилась, вышла босоногая, не совсем чистая, крепкая баба и стала глядеть в угол.

— Где батюшка?

— Нима... кто его знае... нима.

Делать нечего, стали гулять около батюшкина дома. Из-за угла его крупными деловыми шагами вышел коренастый, в черном кафтане, черной шляпе, с подстриженной «под польку» головой и сверкающими черными глазами священник, — видно, не пересидел нас. Приподнял шляпу и строго спросил:

— Що требуется?

Объяснили, что нужны бабы, которые бы взялись за вознаграждение печь хлебы, и крестьяне, которые бы на лошади отвозили до этой бабы муку и хлеб, и чтобы указал, где купить дров.

Он помолчал, глядя на землю, потом блеснул на нас из-под спущенных бровей черными глазами:

— Идите до Степана Вертихвиста. Нехай запряже коняку, тай привезе муки; його баба и спече. А дрова в моим лиси.

И, опять блеснув на нас, сказал, повышая крепкий, остающийся в памяти голос:

— Воруют лис. Я четыре месяца просидел у австрияков. Забралы, — ты с русскими знаешься.

Что-то странное было в этом священнике, который прятался, и в прихожанах с их хитрой, злорадной усмешкой.

— Набрали с парцелляционного банку земли, тай байдуже. Вон она — экономия, до тла разорилась... Що сказав господь: в поте твоем... Так... Не покладаючи рук... Ступай до пана, олби... а-а-а... — загремел он, и галки испуганно поднялись с дальнего вя-

за, — а-а-а... помищиком захотев сделаться мужик, — помищиком.

Казалось, поп поднял оглоблю, потрясает ею и идет на прихожан:

— О-го-го-го...

Огненный поп!

Он уставился на врача и фельдшерицу тяжелым гипнотизирующим взглядом:

— Сестры?

Те с удивлением покачали головой.

— Прекрасный возраст.

И, обращаясь к молоденькой фельдшерице-курсистке, загремел:

— Прекрасная женщина!

Те засмеялись. Он сурово прервал, насупив брови:

— Придут австрийские войска, меня на гак, — и сделал, блеснув глазами, короткий резкий жест рукою вокруг горла и вверх, — вот они, австрияки, прихожане мои слухают... А я хочу, чтоб тут похоронили меня возле церкви, где жена спит.

И подозрительно исподлобья оглянул деревья, кусты, дальние холмы. Потом стал торговаться за дрова, настойчиво и упорно, ломя несообразную цену.

Отправились к Стефану Вертихвостову. Бабы поцеловали руки и с радостью взялись печь хлебы. Полились жалобы на бедность, отсутствие рук; хлеба нет, семян, мобилизация всех забрала.

Крестьяне, подстриженные в скобку, в белых рубахах и портках и в галстуках, сочувственно вздыхали, но как только мы сказали, что нужны лошади вывезти дрова из лесу, привезти муку, поделали каменные лица и подняли одно плечо:

— Не знаем... ничего не знаем.

Видно было, как подростки бежали к табуну лошадей и погнали их, торопливо оглядываясь, в лесок.

— Нима коней.

— Не может же быть, хоть одна лошадь найдется же в деревне.

— Нима коней, все реквизувалы австрияки.

— Да ведь нас батюшка сюда послал, ваш же священник.

Они злорадно засмеялись.

— А своих коней не дал, у него же е.

— Да ведь мы же деньги заплатим, ваши лошади целы будут. Бедных ваших будем даром хлебом кормить.

— Нима коней, — упрямо, каменно, как глухие, твердили одно.

Это — то же упрямое недоверие, в которое замыкается и наш крестьянин. Его можно скорее убить, чем убедить.

— Який вин пип, вин ворон. От у нас був пип, — дитей вывчив спиваты, благостно спивалы, а цей що.

— Дуже хорошо спивалы диты.

Они, как и наш крестьянин, упрямо ходили вокруг да около, не называя прямо вещи, но было ясно, не за спиванье ненавидели его.

Сколько ни ходили по дворам, везде то же: почтительность... и... «нима коней».

Усталые, измученные, мы ворочáлись на станцию, ничего не добившись, и бабы и некоторые мужики на прощанье поцеловали нам руки. Так мука и лежала в вагоне, — негде печь.

Шли на станцию, и во все стороны открывалась прекрасная Галиция — ее холмы, сочная зелень, синеющие перелески и далекие, как ниточка, шоссе. Внизу направо, налево — насыпь железнодорожная, желтеет станция, тянутся бараки.

Вот экономия. Видно — доживает свой век. Крестьяне через банк раздергали ее по кусочкам, и каждый сел хатой на своем клочке, стиснув зубы, готовый загрызть всякого, кто покусится на его землю. Нет, не за плохое спиванье не любят они своего попа.

Небо было ясное, сбежали последние белые облачка. А гром весенний все погромыхивал, зловеще-сдержанно, с промежутками.

Когда спустились к станции, в бараки стали подвозить раненых.

Привезли украинцы старуху: в халупу влетела шрапнель...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Крестьяне постояли, вздохнули и молча вышли один за другим, осторожно ступая неуклюжими сапогами. Старуха осталась лежать на нарах, неподвижно глядя на нас изумленными выцветшими глазами.

Началась работа.

Помощник уполномоченного отряда, Власов, я и

двое сотрудников взобрались в четырехместный автомобиль.

Шофер отряда — студент петроградского института, спавший по часу, по два, по три в сутки, не слезающий с автомобиля, с судорожно приросшими к рулю руками, которые он разучился разгибать. Власов, садясь, сказал: «Только легче, не сломя голову». Несмотря на то, что ни на минуту не падающее нервное напряжение высасывало, щеки у шофера были, как подушки; зеленая куртка, вся в масле, лезла по швам: распирали плечи и бока; лицо, черное от загара, в автомобильной саже, и на козырьке огромные, как лошадиные глаза, очки, а голос с молодой хрипотой от постоянного возбуждения, ветра, пыли и окрикивания встречных, бросающихся под автомобиль.

Он повернул свое полное молодое лицо.

— Готово?

— Готово.

Автомобиль неуклюже попятился назад, потом пошел вперед, зачворкал, сбился было с ритма, да исправился, и торопливо, мерно, в соответствии бегу чворкая, понесся.

И понеслись назад улицы, площади, опустелый университет, молчащие школы, забитые магазины, солдаты, проходящие в строю, сады и скверы с гуляющей публикой.

Потом вынеслись из города в направлении на М. Автомобиль захлебнулся на секунду от радости предстоящего бега, нагнул голову, и кругом все загудело: тополя, березы, лагери, палатки, коновязи, дымки костров, белые пятна халуп — все, не улавливаемое глазом, мгновенно валилось позади со свистом в чудовищно-ненасытную пропасть.

Падали сумерки, и в них шоссе, все так же далеко и наивно белея, впивалось в синеющий горизонт, как натянутая нить.

А поля, дальние леса, перелески, отдельные деревья — проносясь, тонули в голубовато-влажной мгле. Вся Галиция к вечеру дышит дымчатой сыростью. Лощины, овраги, низины — до краев полны синевой, в которой деревья — как видения.

Как видения, как мимолетные воспоминания, вспыхивают по бокам смутные силуэты деревьев, может быть, дом, какие-то пятна, и мгновенно гаснут, про-

падая позади. А в ушах все тот же бушующий свист и гул.

Мой спутник с азартом рассказывает что-то, толкаясь от качки о мое ухо.

Я киваю головой:

— Да, да, да...

Схватываю только хвосты его слов, которые бешено рвет и уносит бушующий встречный ветер, и с усилием, делая напряжение, догадываюсь о содержании.

— ... не выдумка интеллигенции... это народ... ввв... вжи...

— Да, да, да...

А мимо мелькают проносящимися точками огоньки домов, которые уже не разберешь; мелькают дымчатые пятна костров, около которых тоже ничего не разберешь.

А над ухом гомонит разорванными уносящимися клочками:

— ...шестьсот попов, слышите ли... шестьсот попов...

— Да, да, да... Вжжи... вжи... вжи...

— Это не кот начихал, шестьсот попов... вжи... вжи... вжи... австрийцы арестовали... в одних Карпатах... и увели к себе, рассадили по тюрьмам...

А автомобиль весь втянулся в плечи и, кося вниз, как планирующий круто аэроплан, так что мы откинулись назад, чтобы не насунуться на переднее сиденье, ринулся в глубокую, полную синевой впадину, на дне которой смутно маячил мост, с такой быстротой, что потерял свой членораздельный звук работы, и стояло только быстро летящее, задыхающееся шипение.

Ветер, сделавшийся страшно холодным, ворвался в рот, перехватил дыхание. И тонким, нечеловеческим воем завыла, нестерпимо повышая тон, сирена; у меня, как иглы, разбежались мурашки; подкатилось, замирая, сердце, как при огромном размахе на качелях.

Я не успел разглядеть ни моста, ни перил, только что-то «вжихнуло» мимо, автомобиль опустил зад, поднял перед, вынесся на гору, перестал выть, и сразу потеплело, а где-то в утробе машины быстро и раздельно выговаривало: чик-чик-чик-чик...

По смутно мелькавшим у канавы пятнам деревьев чувствовалось, что мы несемся по ровному. Студент обернулся, и я увидел: блеснули зубы в улыбке.

— Это у нас называется «американские горы». Верст сто тридцать в час, если не больше, скорость. Сейчас опять будет поглубже.

И опять отвернулся, владея несущейся машиной.

А над ухом у меня треплется сносимое ветром:

— ... шестьсот попов... шестьсот восемьдесят попов — это что-нибудь да значит... Этого из пальца не высосешь... вжжи... вжи... вжи...

«Ах, боже мой, ну что ему попы, Карпаты, когда каждую секунду, каждое мгновение мы можем разбиться вдребезги!..»

— ...Тут, изволите ли видеть... исторические причины... венгры мадьяризировали, напирали на русин карпатских... а им на кого же надеяться? Не на поляков же и немцев... Вот они на Россию... Где-то далекая, смутная огромная Россия — она выручит.

Опять автомобиль нагнул голову, завыл и ринулся почти вертикально, а ветер, мгновенно похолодевший, ворвался мне в рот, я захлебнулся, зажал зубы и, не раскрывая рта, сказал:

— Угу...

Мы вынеслись, и по сторонам проносились видения, светящиеся пятна костров, темные силуэты, пропадая, только проступившие звезды поспевали за нами.

Остановились. Поразила страшная тишина среди сырой неподвижной мглы. По краям шоссе темно проступали деревья, смутные, неясные, неподвижные. Ни малейшего дуновения ветра. Кричали лягушки по-особенному, не так, как у нас в России. В темноте стояла сырость, тут всюду натыкаешься на болота, на мокрые места.

Студент стал продувать трубки ацетиленовых фонарей, но они не хотели загораться. Пришлось зажечь подслеповатые керосиновые.

Из-под горы на нас летели гуськом светящиеся жуки, и слышалось:

«Чик-чик-чик-чик...»

— Что это такое?

— Мотоциклисты с донесениями.

А жуки уже погасли, и снова тишина, покой, неподвижность, и лягушки кричат.

Сели; машина заговорила своим торопливым, сдерживаемым глушителем голосом, замелькала темнота и то, что в ней не угадаешь; заскользили слабые красно-

ватые светы по несущемуся шоссе, и опять поднялся бушующий холодный ветер и бил в лицо, а над ухом бубнило:

— Слов нет, к украинцам принадлежит главная, подавляющая масса народа, но и доля русофилов вовсе не ничтожна, это величина, которой нельзя пренебрегать во всяком случае. Я говорю: причины этого сложны, но это в свою очередь не причина, чтобы пройти мимо явления, не разобравшись. И еще: причины тут не внешние, а какие-то органические...

А мимо ушей все тот же свист движения, все так же рвется в рот, в нос, в уши холодный злой ветер, которого нет в этой ночи, все так же смутно покачивается спина Власова и студента впереди, и ничего не слышно, кроме сдержанного, заглушенного говора машины.

Вдруг все осветилось ослепительно: и далекое шоссе, которое неслось навстречу, и наши лица, руки и деревья, проносившиеся, как серебряные, а наш автомобиль, не ослабляя бега, несся у самой канавы. Через секунду, обдав хлынувшим воздухом, пронесся мимо, ослепив фонарем, огромный автомобиль, полный офицерами.

И снова темь, еще больше спустившаяся, два слабых красноватых отсвета, скользящих по несущемуся шоссе, темно-проносящиеся пятна деревьев и темные спины сидящих впереди.

Мой собеседник замолчал и задумался, толкая меня на ухабах. Задумался и я. Иногда проносились и пропадали светящиеся жуки, да тяжело пронесется, блеснув, военный автомобиль, или тяжко прогромыхает грузовик, и на нем смутные фигуры солдат. Проскакал конный.

Свернули на проселок, стало нас подкидывать и качать из стороны в сторону, а студент обернулся к нам в темноте и сказал, извиняясь:

— Простите, дорога тут уж очень скверная, — как будто он сам строил дорогу.

Всюду по сторонам туманно светились костры, слышался говор, лошадиное фырканье; должно быть, много было народа, но все таила тьма.

Автомобиль снова выбрался на шоссе, пронесся по смутно темнеющей аллее и, круто повернув, остановился перед огромным, терявшимся направо и налево

зданием, — здесь помещался... врачебно-питательный отряд.

Мы вошли в здание. Огромные залы и комнаты, бесконечно теряющиеся коридоры, своды, массивные, старинной постройки стены, как будто монастырь.

Но не монастырь — это приют для больных и сирот, учреждение исключительно польское — тут только дети поляков. В начале войны приют (пожертвованное имение) подвергся артиллерийскому обстрелу в разыгравшейся кругом битве. Дети переведены во Львов. Часть здания занял отряд, часть — штаб N-ской дивизии.

Пошли ужинать в огромную столовую, и понемногу стали собираться члены отряда.

Кого тут только не было! Адвокаты, инженеры, талантливые композиторы, студенты всяких факультетов, писатели, студентки, издательницы, но большинство молодежь.

Слышится смех, сыплются шутки, остроты. Вспоминаются случаи. У Казювки разорвавшимся снарядом контузило одного. Лежал несколько часов без сознания, кругом никого, наконец, очнулся, дополз до пункта; пролежал больше двух недель, да и теперь худо себя чувствует. А одна, когда кругом рвались снаряды, все бегала навещать украинских ребятишек, которые очень к ней привязались. Женщин отряда просто караулить приходилось, чтобы не лезли зря в опасность.

Была торжественно прочитана целая поэма в стихах «собственного» поэта, где фигурировали метко и остро характеризуемые члены кружка. И хотя все знали наизусть, смеялись и весело блестели глазами.

В опорном пункте отряд обслуживает тысячи раненых, да кроме того высылает летучки, которые работают в самом огне.

И теперь, припоминая нашу дьявольскую езду на автомобиле, я вижу кусочек одного и того же стройного целого, — это было не ненужное удальство, не молодечество, нет, — это просто была привычка дорожить постоянно временем, дорожить не для себя, а для отряда, для дела.

А когда наш шофер слез у подъезда с автомобиля, у этого крепкого, толстого здоровяка дрожали руки.

— Знаете ли, — сказал он, скромно улыбаясь, — при

такой скорости достаточно малейшей слабости в руке, едва заметного движения, как автомобиль швырнет далеко в сторону.

А я подумал: «Укатают сивку крутые горки...»

Есть в отряде шофер — талантливый композитор. Тот тонкими пальцами, знавшими раньше только рояль, перо да нотную бумагу, теперь твердо держит руль и носится, как ветер, по галицийским дорогам. Мы ужинали, а шофер-студент возился с машиной, — сам за ней смотрит, ночью опять куда-нибудь поедет, ведь для него нет ни дня, ни ночи, ни погоды, ни определенного отдыха.

На другой день стали осматривать приют. Это — огромное, на сотни сажен в длину трехэтажное здание покоем, прорезанное вверху и внизу из конца в конец бесконечными коридорами.

Курс учения шестилетний. Преподаются ремесла. Книгами, учебными пособиями, инструментами учреждение обставлено превосходно.

Ученики работают в парке, в саду, в оранжереях, на поле, в физическом и зоологическом кабинетах, — в последнем прекрасные образцы чучел зверей, птиц, пресмыкающихся Галиции и Карпат. Минералы, даже блестки золота в породе. Разборные модели растений, которые нельзя иметь под руками, превосходно сделанные и тонко в натуральные цвета окрашенные. Ученики имеют возможность изучать растение как бы в натуре, а не по мертвой книжке, как у нас.

Обходя светлые, высокие, просторные классные комнаты, мастерские, кабинеты учебных пособий, дортуары, — всюду видишь внимательную, умелую, строго рассчитывающую руку педагога. Сделано все необыкновенно умело, чтобы дать возможность ученику с наименьшей затратой механических усилий наилучше усвоить предмет. В этом сказывается старая, опытная культура.

Но тут же на каждом шагу натыкаешься на другое. Всюду, и в классных, и в мастерских, и в кабинетах разбросаны католические молитвенники, все одинаковые, одинаково переплетенные, довольно замызганные, видно — в постоянном употреблении.

Ученик шагу ступить не мог без молитвенника. А кругом — то распятия, то изображения богоматери.

Повторяю — это светское учреждение. В конце зда-

ния великолепно разукрашенный, богатый, с массой живых цветов домашний костел. Под сводами звучит чудесный орган, нежный, стройный хор, — монахини.

Они ходят в черном, с головами, покрытыми белым, как кармелитки. Бледные, тихие, с опущенными глазами, мягкой неслышной поступью. Это — воспитательницы мальчиков. Шаг за шагом, минута за минутой, капля за каплей они просачивают в душу ребенка гипноз клерикализма.

Основателю приюта, давно почившему заядлому феодалу, нужны были не только хорошие с общим образованием столяры, слесаря, скорняки, но и покорные, навсегда усмиренные, угасшие души.

Он знал, что делал; знают, что делают, его продолжатели.

В этом отношении украинский народ избежал рабства и подчинения, несмотря на все попытки.

Я поднялся на верх левого крыла. Вся крыша здесь снесена орудийным огнем. Всюду — следы разрывов. Пули исчертили стены, пробив в окнах звездообразные отверстия.

Наверху, среди одиноко и голо подымающихся труб, лежали свернувшиеся от жары железные листы разрушенной крыши, полуобгорелые балки, обожженные кирпичи.

Открывался огромный простор: поля, перелески, синеющие рощицы, лощины, бесконечно уходящие шоссе, — мирная, тихая страна. А от М. из-за лесов докатывались орудийные удары — там шло сражение.

## СЕРДЦЕ СОСЕТ

По сторонам — чахлые перелески, белеют снега, а по ним заячьи следы.

Седая старая лошаденка с отвислой прыгающей губой и большим животом бежит в оглоблях боком и тянет старые розвальни по глубоко опустившейся в снегах, не утолоченной мягкой дороге.

Константин, лет сорока пяти, в обвисшем поверх рваного тулупа халате стоит в сене на коленях и стегает жидкой березовой хворостиной трюхающий зад лошаденки.

— А что я тебе скажу, — вдруг оборачивает он ко мне красное, стянутое морозом, в складках лицо, — что скажу: сердце сосет, и тревога, ей-богу...

Он хлестнул лошадь и задергал веревочными вожжами, опять глянул на меня красными складками лица и опять стал стегать лошадиный зад, да вдруг повернулся к лошади спиной, привалился к передку саней и заговорил, показывая из-под намерзших усов длинные желтые зубы:

— Волки ноне бегают.

— Откуда они?

— Хто ж их знает. Сказывают, на стражение бегут со всего свету: и с Китаю, и от французов, и с Туретчины, и из теплых стран, со всех краев бегут, со всех царств. У зятя сын пишет со стражения, — в санитарах, — так вот, как бились в лесах, одолевали волки. Ну, да со всего свету набегли. Китайский волк, он маленький, желтый, просто смотреть не на што. Покликаешь, он руку лижет, только завернулся, а он за глотку — цоп. Опять же воронье летит. К вечеру выйдешь, летит и летит и все молчком летит, — на красной-то заре видать, — черным-черно летят. И все

в один угол, аккурат промеж Топилинского лесу и Сивого бугра. Так и летят. Мы-то тут округ земли да скотины хозяйствуем, то дровец нарубишь, то сенца привезешь, а они летят.

— У тебя там кто-нибудь из семьи?

— Никого, как есть никого. Сын позапрошлый год померши, аккурат бы пошел ноне, помер: волдырь у горла вскочил, так и помер, задушило, а энти другие два сына не вышли, так что никого, а между прочим тревога, ну, веришь ли, тревога сосет сердце, и шабаш.

Он вспомнил про лошадь, вскочил на колени и начал стегать хворостиной седой мелькающий лошадиный зад. Настегавшись, опять привалился спиной, а лошадь попрежнему трюхала в оглоблях по-собачьи, боком.

— Ты на нее не гляди, — старая. Старая, старая, а пашню во как взбодрила, любо-дорого, молодая треснет. Картошкой нонече кормлю, ей-богу, што смеесся? Сена-то нонешний год ни клока, поди, кусается, девять гривен, а то и рупь. Статочное ли дело? А картошка — благое дело, — насыпал, и помилуй мя, боже. Грызут, как мыши, корова только рогами мотает. Корове-то на пользу, а лошади, — кто знает, мараться жидко стала. Сказать тебе по правде, я лошадь двадцать годов дожидал. Розвальни есть, отцовские еще, хомут есть, а лошади нету. Старуха сколько разов хотела потихоньку разобрать их, истопить, — дровец негде достать. Я тебе, говорю, голову оторву, ежели тронешь. Вот дождались, аккурат кобыла пришлась по хомуту, по розвальням. Да што, во, — видал?

Он поднял ногу в огромном сапожище, от которого даже сквозь мороз несло деготьком.

— Отродясь в сапогах не хаживал, все в лаптях. Обулись, оделись, сыты. Без лошади что сделаешь? Все по работникам, бывало, ну, разумеется, в лаптях. А это, как казенки затворили, шабаш. В сапоги полез, обулись, оделись, я сам-шест, в хомут лошадь просунулась. Да што и говорить, можно сказать, все в казенке оставлял, одна худая душенька оставалась. Свету божьего увидали.

Он опять начал стегать кобылу и опять глянул на меня красным, как вареное мясо, лицом.

— Што я тебе скажу — надысь слушок пошел: перед праздниками на Бугаях казенка день торговать будет. Веришь ли, забил кобылу, десять верст вскачь, — во, как борзая летела. Прискакал — никого, казенка [illegible]ами забита. Ах-х, тетку вашу под ногу! Лошадь только загнал. Веришь ли, цельный день по площади мыкался. Куды голову приклонить?.. Ну, вот тревога да тревога, ссёть да ссёть. Гляжу, на угле народ. Навалился, ухи наставил, по газете читают. Слухал, слухал, аж ноги от морозу сомлели. Потом, слышь, старичок стал рассказывать, — он таинственно зашептал, — карапь с полушубками да с валенками наши солдаты перехватили, — к немцам шел. А хто посылал? Вот и понимай. Ну, да после войны все разберется, дела будут.

Он помолчал, хмуро завалившись, с побелевшей инеем бородой и усами.

— Бывалыча, как приехали с пашни, руки трясутся, на ногах не стоишь, цельный день не жрамши в работниках-то, выпил шалыганчик, и опять паши... Слышь, по вся Расеи тревога пошла, по всей земле, как есть. Слов нет, подвернется, и нонче выпить можно, натуральный пьем. Ну, все не то, головы приклонить негде. Разуваться, раздеваться не хотится, к кобыле привык, дети сыти, а головы приклонить некуда. Вон надысь двое у нас от натурального сдохли, лежат, как несвежеваные бараны.

Из-за одиноких березок надвинулся лес, весь седой, с потяжелевшими снежными ветвями.

«...после войны разберется... дела будут...»

## ЧЕРНЫЙ ТРЕУХ

Я вышел, держа в руках небольшой саквояж, на платформу, и сутолока, обычная, торопливая, такая же, как год, как десять лет назад, охватила. Недремлющая, ни на минуту не останавливающаяся жизнь делала свое.

Я попал в поток пассажиров дачного поезда, спешивших по скрипучему снегу к трамваю.

Гимназистики из пригородных зимних дач, придерживая красными, как гусиные лапки, руками книги, резво бежали, бесцеремонно расталкивая и обгоняя. Чиновники уныло шагали на опостылевшую службу. Торопились молочницы с цинковыми кувшинами, продавщицы, кассирши с молчащими лицами, на которых не вытравима негаснущая надежда, что еще как-то устроится жизнь, улыбнется счастье.

— Господин, дозвольте поднесу, — не гармонируя с окружающим, доносится тоненький голосок.

Опускаю глаза; мальчуган в закрывающем уши треухе смотрит снизу чудесными детскими глазками, и нежное личико порозовело от холода.

— Нет, голубчик, не надо.

И я слышу вызывающий, совсем другой голос:

— Вам трех копеек жалко, а мне на хлеб заработать!

Я останавливаюсь, и на меня сверкают глаза ощетинившегося волчонка.

— Ну, ладно, ладно, неси. Да справишься ли?

Мне кажется, ему лет восемь.

— Сколько тебе лет-то?

Он, напрягаясь, но смело и ловко вскидывает саквояж на плечо, ставит руку фертом, упершись в бок, и рысцой пускается между пассажирами, так что я прибавляю шагу.

Около трамвайных путей густо темнеет публика, и в каждый вагон рвутся приступом.

Мой носильщик останавливается и говорит:

— Вам тут долго ждать. Идите за мной, — и, не дожидаясь ответа, торопливо заскрипел снегом вдоль пути.

— Постой, ты куда же?

Он, не останавливаясь, продолжает итти. Делать нечего, — я за ним.

— Покуда они тут будут драться, я вас на следующей остановке посажу, — кинул он, не поворачивая головы и все так же поддерживая саквояж, упершись рукой в бок. — Тут часами стоят, дожидаются, а того, дураки, не поймут, — пройди от вокзала назад пятьдесят сажен и садись в пустой вагон.

Я замедляю шаг, — вдруг хочется побыть подольше на этой широкой улице, наполненной живым, колеблющимся дыханием людей и лошадей. Кругом — красные лица, запушенные бороды, усы, а вдали, в морозной синеве, теряются заиндевевшие деревья, побелевшие дома.

— Эй, поберегись!..

Мимо проносится, кидая под голубой сеткой снежные комья, сытый, в попоне, рысак, задастый, сытый кучер и в огромной енотовой шубе совсем утонувший седок.

— Так сколько ж тебе лет?

— Одиннадцатый.

— Кто родители?

— Родителей нет: у меня мачеха. Не кормит, не одевает, как хочешь. А ночевать пустит, ежели хлеба детям принесешь.

— Где же ночуешь?

— Кое на вокзале, кое всю ночь по улице пробегаешь, чтобы не замерзнуть. А больше на вокзале. Только я их меняю, а то сторожа запримечают, гонят: одну ночь — на дном, другую — на другом, так чередую. Да и работенка все больше на вокзалах попадается: кому вещи поднесешь, кому за извозчиком сбегаешь. Носильщики дюже не любят, зараз поймают за ухо и оттаскают, аж в голове перевернется, — хлеб у них отбиваю. Ну, да я насобачился, ловко, из-под самого носа господ с вещами обираю. А мне что? Заработал шесть копеек, — в харчевню. На три копейки

супу, на две копейки хлеба, на копейку чаю. Суп уж очень вкусно с морозу. Не ем сразу, а распояшешься, поешь-поешь, положишь ложку и посидишь. У самого брюхо выворачивает, — нет, шалишь, пососи зубы-то. А то что за радость: слопал, моргнуть не успел, — и нет ничего. Потом докушаешь суп, хлебушка поешь, когда и ситничка, — я хлеб-то врозь от супу ем. Потом чайку. Даже хозяин серчает, гонит: куда ты, несытая утроба, льешь в себя, по пяти часов тут сидишь, пошел! А я вправду: носят и носят мне чайник, — кипятку в тую копейку сколько хочешь дают.

Он заразительно засмеялся, подняв на меня чудесные детские глаза. Между розовых щек и красного от мороза носика глянуло испитое побелевшее личико.

Улица помертвела и стала пустынной. Возле остановки тоже стояла, дожидаясь, публика, потопывая озябшими ногами; трамвая не было.

— Нате, подержите, зараз узнаю.

Я взял саквояж, и мальчуган пустился наискось через площадь, и затылок, обтянутый треухом, чернел уже возле городового. Видно, как, размахивая руками, заставил себя слушать, а через минуту весело, по-детски дыша от торопливого бега, докладывал:

— Красный крест задержал, выгружают раненых. Дозвольте чемоданчик.

И опять поставил на плечо и, поддерживая, подбоченился.

— А отец у тебя где же?

— На войну угнали. При отце-то что! При отце я в школу ходил. Мачеха у нас ничего, — тихая и работница. Отец — на фабрику, она шитво брала. А как угнали отца, стала костлявая да злая. Двое у ней от отца-то да нас трое; я — старший; вот и говорит: уходи, куда хочешь, не дает есть. Ну, да сегодня зайду, посмотрю, как и что, хлебушка понесу. Ей с четверыми не управиться. Привяжет маленького за ножку к кровати да уйдет на работу. Костлявая дюже стала, — поди, помрет. Матка тоже худа-ая была да ночью, все спали, как крикнет; прибежали мы, а у ней рот отвалился, — уж холодная. Давно, я еще маленький был. Завтра к Хамовникам пойду. Живет там один, отцов друг, брата у него угнали, — так списки ходит просматривает. Отца убьют, либо уж убили.

— Ну, почему же уж так?

— Нет, убьют, непременно, — по-детски спокойно сказал он, глядя в даль улицы. — Я иной подберу газету, — господа бросают, — и читаю списки убитых, — ну, пока нету.

— Да ведь в газетах печатают только списки выбывших офицеров.

— Так что ж. Может, его произвели в офицеры и убили; теперь много производят. Он — смелый, отец-то. Прямо кинется в лоб. Никак ваш идет? Ваш и есть! Ничего-ничего, вы влазьте, чемоданчик я подам.

Он довольно тряхнул на ладони серебряные монеты и, не глянув на меня, повернулся и побежал к вокзалу: ладно, мол, не милостыня, заработал.

Вагон дернуло, улица побежала. Я долго смотрел, — кто-то оттаял дыханием круглую дыру в мороженом окне, — на мелькающий черный треух, туго обтягивавший маленький затылок.

# КРАСНАЯ АРМИЯ

## РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, АГИТКИ

1918—1920 гг.

## ТОЛЬКО УСНУТЬ

Три ночи и три дня я сидел, зажатый в углу вагона. Невозможно было спать, и теперь голова плохо держится на шее. Так бы и заснул сладко, ни о чем не думая, но надо добраться до гостиницы... Постель, чистое белье, — никогда не думал, что это такое блаженство.

Поток людей подхватывает меня и выносит из вокзала. Все в голубоватом весеннем тумане: и уходящие улицы, и лошадиные морды, и торговки вдоль влажного тротуара.

Подхожу к извозчику.

— Знаешь, где Совет рабочих депутатов?

— Знаю.

— Сколько?

Он глядит в уходящую, по-весеннему задымленную улицу.

— Пятнадцать карбованцев...

Я плохо знаю харьковские[3] улицы, — сажусь.

На первое время весенний голубоватый воздух, хлынувшее солнце, по-весеннему звучащие голоса, стук подков, гудки паровозов отогнали сон.

Совет — в громадном здании судебных установлений. Вхожу в дежурную. Эх, жалко — на старое похоже: накурено до одури, наплевано, окурки, шелуха от семечек. Сидят с винтовками. Какие-то люди дожидаются. Звонят по телефону.

— Что? Говорите яснее... Стреляют?.. Троих пошлю...

Трое с винтовками подымаются и уходят, и один, улыбаясь, говорит:

— Ноне шапку на мне прострелили.

Я смотрю им вслед:

«Вздор какой, тут не до чистоты, — каждую секунду под смертью ходят. Придет время, будет чисто, уютно, культурно, и не надо будет бежать каждую минуту и стрелять в кого-то... и в тебя не будут стрелять...»

Обращаюсь к дежурному:

— Товарищ, мне нужно устроиться в гостинице на несколько дней. Не поможете ли мне? Гостиницы переполнены. У вас, вероятно, помещения на учете. Страшно устал.

— Пожалуйста.

Дежурный берет листок и пишет: «Отпустить номер», прикладывает советскую печать и подает.

— Вот, пожалуйста. В любой гостинице. Они у нас шелковые теперь, эти господа.

Я беру ордер. Наконец-то! Покосился на скамейку: разве присесть на минуточку и чуточку закрыть глаза? Подавляя искушение, беру саквояж и выхожу.

— Извозчик, до ближайшей гостиницы...

— Десять карбованцев.

— Много, голубчик. Говорят, тут близко.

— А овес почем?

Сажусь, заворачиваем за угол, останавливаемся.

— Эх, товарищ, как ты с меня взял!

— А овес почем?

Вхожу в гостиницу, протягиваю ордер:

— Пожалуйста, номер мне.

— Ага, от Совета, — ну, это мы обязаны. Сейчас. Пожалуйте.

Я иду по длинному коридору, несколько раз сворачиваем. Натертые полы блестят.

Заведующий останавливается перед закрытой дверью.

— Вот этот номер вам можно. Тут старик, больной ногами, мы его сейчас выдворим... Антон, — обратился заведующий к проходившему официанту, — кликни извозчика да вынеси вещи из этого номера, положишь на извозчика, — номерок вот для господина нужен.

— Что вы делаете? Кто вас просит выбрасывать больного старика?.. Я вас прошу дать мне свободный номер.

Заведующий прижимает обе ладони к груди, подымает бороду, сладко закатывает глаза и с наслаждением, приятнейше улыбаясь, говорит:

— Нет ни одного свободного.

— Слушайте, может быть, какой-нибудь, хотя маленький, хоть темный, я страшно устал.

Заведующий засуетился.

— Ах, боже мой, да как же так... Да мы его сейчас... Послушайте, господин, отпирайте двери! — он стал стучать в двери. — Нужно номерок освободить. Антон, зови же извозчика!..

— Да что вы с ума сходите? Я за этим, что ль, пришел, — стариков больных выкидывать!..

Он всплескивает руками.

— Да ведь от Совета...

— Что же, от Совета. Совет разве требует, чтоб выкидывали жильцов?

Я поворачиваюсь и ухожу и в последний момент вижу радостно торжествующую, злорадную усмешку.

— Извозчик, до ближайшей гостиницы.

— Семь карбованцев...

— Да ведь тут близко где-нибудь.

— А овес почем?

Мы переезжаем площадь и останавливаемся. Я вхожу и предъявляю ордер.

— Номер, пожалуйста.

Заведующий, с отвислыми собачьими баками, искоса одним глазом взглядывает в ордер и говорит мрачно:

— Пожалуйте.

Я иду за ним. У одной из дверей мы останавливаемся. Оттуда слышен детский плач. Заведующий стучит.

— Сударыня, позвольте взойти.

— Что такое? — раздается болезненный, надтреснутый голос.

— Вам нужно очистить этот номер.

Я отступаю.

— Что вы говорите! С больными детьми выбрасываете!..

— Давно живет. Ничего — устроится.

— Вы мне дайте хоть какой-нибудь номеришко, только свободный.

Тот мрачно встряхивает обвислыми баками.

— Свободного ни одного...

Я выхожу, и бесконечно начинается все то же: «шесть карбованцев», «а овес почем», «сейчас выселим» — раненого или вдову, или ребятишек с больной

матерью, или кого-нибудь, но непременно больного, искалеченного, раненого, беспомощного.

Я говорю:

— Дайте мне какое-нибудь помещение, хоть чулан, хоть без окон, хоть под лестницей, — мне бы только уснуть.

Передо мной рассыпаются, до тошноты любезны, срываются повыгонять всех жильцов, но номера свободного ни у кого нет.

Похоже на саботаж.

Извозчик говорит:

— Вы, — говорит, — ордера им не показывайте, а дайте швейцару в зубы десять рублей, — и номер будет.

Но я объездил уже все гостиницы, не хочется снова итти в Совет, — люди разрываются от работы, посетители — толпа непротолченная, неловко отрывать. Я беру свой сак и иду по улице, без толку, без цели... Меня толкают во все стороны... Или я качаюсь...

Отчего так черно? Разве ночь?.. Кричали и прыгали воробьи, блестело солнце, а теперь это все провалилось.

Я подымаю веки... Стоят освещенные дома, в стекла блестит солнце, а я иду куда-то наискось, через сухую теплую улицу. Мимо катятся пролетки извозчиков, прогремел трамвай.

Куда же я?

Впрочем, все равно. Стук кованых копыт, звук шагов на панели, голоса, смех, освещенные дома, все равно тонет молча в наплывающей черноте, за которой тревога — что-то надо перестать... Не надо... постой...

Я делаю усилие. На секунду, как в далекой панораме, светлеют дома, выступают крыши, засинеет конец улицы, всплывает говор, смех, стук копыт... И снова все равно тонет в черный провал, а за ним тревога...

— Стой!!.. Куда?..

Мне в ухо дышит горячим дыханием лошадиная морда. Оглобля в плечо.

И разом накатился грохот, звонки, стук... А сверху голубое темнеющее небо. Карнизы и верхушки труб позолотились.

Где я?..

Площадь... Какое-то большое здание раскинулось направо, налево; огромный подъезд. А знакомо: не то на картине видал, не то рассказывал кто-то о нем.

Я стою. Загудел паровозный гудок и грубо дернул тонкую вуаль неведомого и таинственного, — просто вокзал.

Ну, что же? Вхожу. Он громаден, но еще громаднее громада людей, его наполняющая. На полу, на скамьях, на стульях, на столах, в проходах, на подоконниках, привалившись к дверям — всюду люди, и всё серые шинели. Есть и вольные. У киоска плачут дети; баба сморкается в уголок красного платка.

— Какие газеты продают? Только социалистические.

Невыносимым пронзительным сиянием вспыхнули электрические лампочки.

Разве вечер?

Иду к коменданту. Он — безусый, в шинели, револьвер. В маленькой комнате много людей. Поминутно звонит телефон.

— Я бы просил разрешить мне переночевать в одном из отапливаемых вагонов.

Объясняю ему, в чем дело. Он слушает внимательно и сочувственно. Подаю ему свои бумаги.

Он, нахмурившись, начинает писать. «Ничего не могу сделать для вас».

На платформе в полупотемках такая же людская каша.

Влажный, холодный асфальт. Темнеют пятна лежащих вповалку. Ночь сырая. Скупы и редки тусклые лампочки. Уехать куда-нибудь. Ехать и спать, спать.

Поезд стоит. Я иду к нему, — все равно. Перед каждой площадкой толпа, на спинах мешки, корзинки, сундуки, давят друг друга, хватаются за ступени, за ручки, за двери. За вагонами сырая черная ночь.

Нет, тут безнадежно: весь поезд набит. На подножках, на буферах гроздья.

Я ухожу в вокзал. И в третьем классе, и во втором, и в первом — людей груды. Пол заплеванный, усеянный белеющей шелухой от семечек, окурками, весь завален неподвижными в разнообразных позах людьми.

О поле, поле, кто тебя усеял...

Осторожно шагаю через головы, руки, ноги. «Если б кусочек свободного места!..»

Иной раз неловко: наступишь на руку, на ногу или заденешь голову. Замычит, поворочается...

«Если б кусочек свободного, загаженного, заплеванного пола...»

Стоит на все лады храп, свист носом, тяжелое прерывчатое дыхание и клокочет в горле, в груди. Безумно напряженно сияют электрические лампочки.

Торопливо, испуганно подымается солдат с не проснувшимся еще, словно незрячим лицом, на котором клейкий, остывший пот. Отчаянно стал чухаться и чесаться и пошел целиком, шагая по ком попало, бормоча: «Заели, проклятые!..»

Я торопливо опускаюсь на освободившийся кусочек еще теплого пола, кладу саквояж под голову, и все мгновенно и сладко проваливается в мертвую черноту.

Это продолжается всего лишь одну секунду. Потом неуловимо тонкий повышающийся звук впивается, становясь нестерпимее.

«Постой... не нужно... не хочу... мучительно...» Я бы отвернул голову, но нет сил. Впивается, все утончаясь. Я приподнимаю веко — это не звук, и не в ухо впивается, — тонкое сияние лампочки мучает глаза.

Я переворачиваюсь на другой бок, стараясь избавиться. Перед лицом неподвижная серая спина. Я не знаю, какой он, какое у него лицо, только, должно быть, намучился, — такое оно усталое. По необъяснимому побуждению мне хочется заглянуть в лицо, — не могу.

Все неподвижно.

А вместо спины, не спуская с меня горячечных глаз, смотрит воспаленное молодое, с только что пробивающимися усиками лицо. Полопавшиеся губы полуоткрыты, и зубы обсохли клейкой слюной.

Я не могу освободиться от этого не отрывающегося, налитого жаром взгляда. И уж ничего нет — ни наваленных всюду солдат, ни остро сияющих лампочек, ни тяжкого, с синевой, туманного воздуха, который всех придавил, — одни только воспаленные глаза.

Мне хочется сказать:

— Послушайте, перестаньте... я три ночи... не спал...

Он говорит:

— У меня жар... сыпной тиф... мутно в голове... вши кругом, — они сыпной тиф, переносят... накусают больного, потом на здорового переползут... и...

У меня все леденеет внутри.

«Как мне избавиться от него?..»

Но он так же упорно не спускает с меня блестящих глаз, и горячечное лицо пылает.

— Помните, как солдат поднялся и шагал по ком попало... вам место оставил?..

Я стискиваю зубы. Если это сон, отчего же я так отчетливо вижу и слышу его? И отчего такая мертвая тишина?

— Я офицер, — говорит он. — А теперь во вшах, в грязи, среди плевков, окурков, пакости, заразы... Да ведь я же привык к чистому белью, постели, чтоб воздух был не этот отравленный... А-а, и вам не сладко! Что рот-то разинули, как рыба на берегу... или у вас две мерки: одна для себя, другая для офицера? Как же вы хотите, чтоб мы жили в этих страшных условиях? Вы теперь лежите во вшах, слышите, как они жгут вас... Не хочется... оледенело все... Нет, покушайте, а тогда уж нас запихивайте в эту страшную дыру. Поймите, ведь мы же живые люди. Ведь не проклятые же мы от века.

Из его потрескавшегося рта вырывается обжигающее дыхание, жжет мне лицо. Глаза заволакиваются горячечным зноем. Минутами сознание изменяет — он делает усилие, ловит слова.

— У художника Штука есть картина: лошадь шагает, шагает, тяжелая, как битюг, с отвислой губой, по мертвым, завалившим поле сражения... Да... так это... я хотел... вы плохо меня понимаете... Я сейчас справлюсь... вот... Разве это преступно, — хотелось жить культурной жизнью, в чистоте, с книгой, в театр пойти, быть одетым по-человечески, разве желать этого преступно?.. Так зачем же разогнали офицеров из чистых комнат, пихают их в мусорную яму, во вши... Ну, вот вам, — давитесь...

Он ловит синеватый приторный воздух и быстро облизывает белым языком истрескавшиеся губы...

— Мутно кругом... я не разберу, — говорит он, со страхом озираясь.

И я не разберу: во сне или на самом деле. Но ведь я же вижу его горячечные глаза, пылающее лицо.

Вот он, и обжигающее дыхание касается моего лица. Наяву.

Всматриваюсь, да это не он. Это совсем другое лицо, тоже измученное, с злыми огоньками в усталых глазах. Должно быть, перевернулся тот, который лежал ко мне спиной.

— А наш брат во вшах, — это так и следует... Ага... ваша благородия, так ему чистоту подать, кусок повкусней, да чтоб чистая комната, а мы на собачьем положении, не люди... В зубы, в морду!.. Разве мы люди были? Мы животные были... Нет, буде, прошло их царство... Пущай нашего попробуют. Пущай наши вши их поедят... Пущай вместе с нами в пакости поваляются... А-га-а, не сладко!..

Я взглянул в его лицо, — ни глаз, ни лба, ни подбородка, — неподвижная спина в серой шинели, должно быть, голова завалилась, и тяжело спит.

Я хочу сказать тому — другому хочу сказать, что... А он уже близко, близко придвинул горячечные глаза и шепчет, обжигая ухо горячим дыханием:

— Понимаю, понимаю вас: систему надо было разбить, ту систему, которая из армии, из офицерского корпуса делала угнетателей трудящихся и прислужников имущих. А когда разбивали систему, — удары падали на каждого отдельного представителя офицерства, может быть, и невиноватого. Ну, хорошо. Это неизбежно... Постойте, что я хотел сказать... Отчего так мучительно светят лампочки?..

Он на секунду завел воспаленные веки, потом опять поднял и заговорил, все так же обжигая:

— Самое страшное — разделение. Офицер был в чистоте, солдат — во вшах. Офицер вкусно и чисто ел, солдат — с червями. Для офицера — книга, клуб, театр, для солдата — постоянная казарма. Офицер оберегал свое достоинство, если не по отношению к своему начальству, так по отношению к штатским, для солдата — унижения, подлые, собачьи, для офицера — безнаказанность, для солдата — бесчеловечные наказания.

Он близко, зрачок в зрачок, придвинул свои горячечные глаза:

— Так это же вы хотите — офицера во вши, в черви, в грязь, в казармах?.. Это же невозможно. Но и солдата оставить во вшах невозможно; мы-то, преж-

ние офицеры, теперь это понимаем, по крайней мере, многие из нас. Один выход: выровнять положение, чтобы никто во вшах не был, чтобы казармы не было. Чтоб всем одинаково была доступна книга, музыка, благородные развлечения. Чтобы человеческое достоинство каждый мог блюсти, как зеницу ока... Чтобы... чтобы... лошадь Штука через руки, ноги... мучительной каторги... когда сам себе не рад...

Он стал бледнеть, таять, стерлись щеки, нос, подбородок, наконец, растаяли долго дергавшиеся, глядевшие на меня глаза.

Я приподнялся на локте, возле — серая спина. А по всему полу, как взбаламученное море, неподвижные серые фигуры с отогнутыми головами, руками. Стоит тяжелый храп. Окна черны.

Исступленно сияют лампочки.

Я ежусь, — покусывают. Кто-то давит коленом в плечо. Нет сил отодвинуться, да и некуда.

«Сыпной», — вонзается тонким холодком. «Все равно», — закрываю веки, и все проваливается — я один.

Нет, не один: он опять смотрит воспаленными глазами и... смеется...

— А-а, невкусно... По книжкам, по газетам знали только солдатское житье... Жалели... Нет, на своей коже испытайте, а то языком да пером легко было жалеть... Покусывают... Вон их сколько лежит... Грудой завалили вокзал... Ну, в прошлое уходит... Это от прошлого кусок остался — от подлого, проклятого прошлого. Знаете, вокзалы ведь придется переделывать, чтоб только первый класс... в чистоте, чтобы все, понимаете, все вокзалы, по крайней мере, втрое надо расширить.

И вдруг черты его исказились:

— А он будет семечки лускать, плевать, харкать повсюду. Значит... На стол влезет, растянется. В чистую скатерть начнет сморкаться. Все в конюшню. Ну, то-то и есть... Ну, знаю, знаю, что скажете: дескать, его тоже надо обчистить, привести в культурный вид... Чтобы не только для него обстановка не отличалась, но чтобы и сам он внутренне и внешне не отличался. Да. Трудно. Вой-то какой стоит. На него только цыкают. А ведь если бы все поголовно принялись за работу, — благопочатый край... Смотрите, лошадь Штука уходит... Она шатается и давит не

только мертвых, но и живых адвокатов, которые оторвались, остались на улице без куска, — судей, писателей, которые оторвались от прежнего и не умеют еще втянуться в новое. Педагоги, перед которыми колоссальная ломка школы, и они боятся ее. Врачи, профессора, инженеры, у которых крайняя озлобленность и ожесточение переходит в растерянность. Всех их давит тяжелой поступью гигантский, невиданный переворот. И медленно, и тяжко, и трудно, но всё попрежнему становится на свое надлежащее место. Трещины в старом так глубоко проникли, что возврата нет. И это начинают понимать, и лошадь Штука уходит все дальше и дальше, и к строительству жизни, озираясь, подавляя остатки ожесточений в сердце, подходят все новые... Видите...

Покачнулся и стал таять и растаял...

Меня толкнули. Поднялся, озираясь. Окна были не черные, а серые — утро. В вокзале смутно, тяжко дышать. Среди моря серых фигур некоторые сидели и чухались, с помятыми измученными лицами.

Все тело у меня ныло и жгло. Голова тяжелая, как пивной котел, лицо пылает, глаза заволакивает зноем.

«А что, если сыпной?..»

И, делая чрезвычайное усилие, я подымаюсь.

## В ТЕПЛУШКЕ

Надо уезжать, и — странно — не хочется. Что-то завязалось с этими людьми, такими различными по развитию, по характеру, по внутренней значительности — и такими одинаковыми перед этим холодным пустынным гребнем, а за ним — враг, перед пулей и шрапнелью, перед молчаливой могилой, которая, быть может, ждет.

Мне ласково улыбаются, жмут руку — и все потому, что я для них просто свежий человек. Свежий, еще не примелькавшийся человек взял да к ним приехал. Рассказал, что делается на белом свете, побыл с ними, и они рады.

— Ну, что передать от вас красной Москве?

— Скажите там, что дело мы свое крепко делаем, кладем головы. Скажите, что шлем мы им, всем нашим братьям, сердечное, горячее братское спасибо, что помнят об нас, не забывают нас. Если можно, скажите там, кому надо, чтоб прислали нам рассказов почитать, — очень хочется душу отвести, только листовками, такими тоненькими книжечками, а то с большими книгами куда тут, на походе. Да скажите, что партийная работа ладится у нас, ничего идет дело. Работы — необъятная громада, — ну, ничего... Не сидим сложа руки.

Пара добрых деревенских маштаков, заиндевевших с той стороны, откуда упорный снежный ветер, уносит меня и старика, который правит и рассказывает свою жизнь.

У него дочь, красивая, ладная. Мужа убили на войне. Ребенок. Жила в своей избе. Корова была. Изба сгорела. Пришла с коровой и ребенком к нему жить. Ну-к что ж, пускай живет.

Красная армия определила корову на реквизицию, на зарез себе. Вымолили, — али сиротам помирать?

У него еще две девчонки, пятнадцати-шестнадцати лет. Все трое пашут. Сдюжают. Только старик налаживает; сам-то пахать немощный, а они не могут наладить — умом легкое сословие, а пахать — пашут не хуже мужиков, ядреные девки.

Много рассказывает старик, — вся жизнь старикова встает. А я весь оброс сосульками; ёжусь от нижущего меня уфимского ветра, который, сколько глаз охватит, бело дымится позёмкой. Много народу от нее пропадает.

Суровый край. Пустынно. И леса стоят черные, сквозные, стоят по обрывам гор с круглыми головами.

В Бугульме — на поезд. Отходит в два часа дня. А мы в нетопленом, задымленном махоркой, переполненном красноармейцами и крестьянами вокзале уныло стукаем, голодные, — ничего негде купить, — закалелыми ногами и час, и два, и три.

Бьет пять, семь, девять. В десять нам отводят в длинно чернеющем холодном поезде теплушку, — класных вагонов на дороге нет, угнали белогвардейцы, а доставить из-за Волги нельзя было вследствие взрыва симбирского моста.

Теплушка вся побелела от морозов, и пол неровный от смерзшегося навоза.

Приносят и ставят посредине железную печь. Мы покупаем дров, задвигаем двери и, столпившись в темноте вокруг печки и постукивая и попрыгивая по замерзшему навозу, разжигаем дрова. Красное пятно тускло шевелится по нашим ногам. Бьет одиннадцать, а мы все постукиваем да попрыгиваем вокруг печки, — дрова сырые, не разгораются.

Бьет двенадцать. Поезд со скрипом, скрежетом и стоном, точно его разнимают по косточкам, потянулся и стал греметь и неимоверно трясти нас в темноте.

А мы все постукиваем да попрыгиваем, жадно приглядываясь к все холодно-тусклому, вздрагивающему отсвету печки.

И слышно, как по другим вагонам постукивают и попрыгивают, вероятно, так же жадно присматриваясь в темноте к мертвому, к неразгорающемуся отсвету холодных печек.

Зубы стучат от неодолимой внутренней дрожи. Мутно белеет по углам прокаленное морозом железо.

«Ведь не животные же».

Вон помощник командира бригады, молоденький, и перескакивает с ноги на ногу, в такт качая головой.

Вон начальник телефонной связи. Красноармейцы, кто в командировку по санитарному делу, кто по хозяйственной части, кто по приемке снарядов.

Заранее поставили бы печи, прогрели бы, да не сырыми дровами, вычистили бы отмякший навоз и пустили бы нас в теплый сухой вагон.

Да разве саботажников убедишь!

В прыгающей от грохота и тряски темноте с мертвеющими по углам пятнами прокаленного мороза — голос:

— Да ну их к чорту! Бери, товарищи, руби!..

Засветили спичку и при неверном, мигающем свете выдернули из нар доску и шашкой стали рубить ее на куски.

Слышен был сквозь гул стук шашек и в других вагонах. В сущности, рубили вагоны и принадлежности к ним, достояние Российской социалистической республики. Но вина падала не на красноармейцев, издрогших, измученных невыносимым холодом и неуютом, а на тех подлых саботажников, которые загоняли людей в скотские вагоны, не обогрев их предварительно, не вычистив.

О чем думал начальник станции Бугульмы?

комендант?

начальник передвижения войск?

Меньше всего — о своей обязанности дать людям минимум удобства.

Сухие доски разом и ярко разгорелись. В вагоне потеплело. Навоз под ногами размяк, и стало пахнуть конюшней.

С оттаивающего потолка часто капало на голову, на лицо, на руки.

Лица, на секунду выхватываемые из темноты красным колеблющимся отблеском, потеплели и оживились.

В непрерывный гул качающегося вагона влился оживленный говор. И в этом говоре отвратительно и подло метались грязные и мерзкие ругательства. Люди дышали ими, не думая о них. Просто это был способ образно выражать свои мысли.

И отвратительно и жалко.

Кто ж виноват?

Когда вспыхивающее пламя бросало красный отсвет, я всматривался: какие все милые, молодые лица. Ведь не хулиганы же. Ведь не циники же изъеденные, для которых весь свет залит навозной жижей.

Виноваты, кто не заполнил пустоту этих людей, кладущих свою жизнь.

Виноваты, кто не принес им творений искусства. Кто не дает им во-время и в должном количестве газет.

Кто не дает им художественной литературы, когда так мучительно хочется отвести душу.

Кто не приносит им музыки, пения, кто не дает им возможности письмом отвести душу.

Виноваты все, кто не хочет или не умеет сделать жизнь их разумной, наполненной красотой и творчеством.

Я примостился на нарах, на которых вповалку лежали красноармейцы, сунув под голову вещевые мешки.

Спереди, от раскалившейся докрасна печки нестерпимо несло жаром; сзади, из сквозивших щелей вагона нестерпимо несло морозным холодом. Я всячески изворачивался, стараясь найти среднее положение, чтобы не так жгло и морозило.

Внизу, вокруг печки распаренные лица, скинутые шинели. Воспоминания о недавних боях мешаются со скабрезными, самыми мерзкими анекдотами, точно сукровица течет изо рта. Городские рабочие меньше всего страдают этой гадкой болезнью. Крестьянство гниет в ругне, а матросы щеголяют этим подлым словесным сифилисом. Семнадцатилетний мальчик в шинели и папахе, с остро-наглым лицом, пересыпая руганью, рассказывает:

— Надоело служить, вот и уехал. Жалко, леворверт комендант отобрал, а то бы здорово продал на толкучке... А у нас что было в Ярославле, это как белогвардейцев побили! Стали мы лазить по магазинам. Кто чего успел — в карманы. Ей-богу! На лошадях мы. Двенадцать человек нас. Хотели в банке поживиться, только с лошадей слезли, а нас, голубчиков, и накрыли. Восьмерых тут же расстреляли, а меня да

троих комендант взял. Ну, отпорол нагайкой, пустил, щенком обозвал. А я думал — расстреляют...

Он рассказывал о своих приключениях весело и задорно, на каждом шагу пересыпая мерзкой руганью. Ждал одобрительного хохота от сидевшей вокруг раскрасневшейся печки компании.

Красноармейцы, тоже пересыпая руганью, к его удивлению, заговорили:

— Да ты в каком полку служил?

— В Казанском.

— Служил?! Мародерничал!

— Такие Красную армию пакостят!

— Один заведется, а всех конфузит.

— Ему на Горячее поле в Питере или на Хитров рынок в Москве.

— К стенке его! Не гадь!..

— Кидайте его, ребята, из вагона на рельсы!

Мальчишка стушевался...

Гремит вагон, качается. Печка темнеет, и тогда во мраке наливается холод, белеющий по углам.

Дежурные начинают кидать дрова.

Печка больше и больше краснеет. Рождаются тени и снуют и судорожно двигаются по стенам, по лицам.

Но иногда тени лежат неподвижно долго-долго, и не слышно гула и качающегося скрипа и грохота, — это мы стоим на станции. Стоим час, стоим два, три, четыре...

Кто-нибудь отодвинет дверь. В пролет глянет синяя морозная ночь. Искрится снег, звездное небо.

Сердитый голос:

— Затворяй, слышь... Холод!

Дверь, скрежеща, задвинется, поглотив прекрасную синюю ночь, и опять неподвижно изломанные по стенам тени, храп и густой, тяжелый махорочный дым.

— Ну, какого чорта мы стоим?!

Морозно проскрипят снаружи шаги — и опять молчание. Тоска.

От Бугульмы до Симбирска триста двадцать пять верст. Поезд в пути между станциями делает верст двадцать пять. Значит, сплошного пробега — тринадцать часов. Кладя на остановки даже по полчаса, что слишком много, получим пять часов на простой. Итого — восемнадцать часов. А мы вот уж вторые сутки едем, и конца-края не видно нашей езды.

На станции стоим шесть часов.

Зачем?

А ни за чем. Так!

— Да что за дьявол! Что мы стоим?..

Молчаливому долготерпению вдруг приходит конец. С руганью подымаются красноармейцы, со скрипом отодвигают дверь, и вываливаются в морозную ночь человек десять, пристегивая на ходу револьверы.

Гурьбой идут к машинисту и приступают.

— Ты чего же, кобелевый сын, так везешь? Этак будешь везть, все стариками сделаемся, покеда доедем. Что вы шутки, что ли, шутить с нами? Каждый за делом, каждый в командировку едет...

— Я — за снарядами.

— Я — в санитарный отдел.

— Я — в отдел снабжения.

— Ну, вот! И каждому срок дан — кому три дня, кому четыре, много-много неделя, а вы, ишаки, трое суток нас везть будете триста верст! Товарищи, кидай его, азията, в топку! Становись сами, которые могут, на паровоз! Сами поведем поезд!

— Есть! Я ездил помощником.

— Да вы чего, товарищи, на меня-то наседаете? Мне дадут путевую — еду, а не дадут приказу — хоть год буду стоять, не поеду. Не от меня зависит. Артельщик тут везет деньги, раздает по станциям, он и задерживает.

Бурным потоком кинулись красноармейцы разыскивать артельщика. В вагонах со скрипом отворялись двери, и выскакивали на мороз красноармейцы. Собралась их внушительная толпа.

Разыскали артельщика. У него в хвосте поезда был прицеплен свой вагон.

Артельщик устроил ужин и чаепитие и изволил кушать с железнодорожниками.

Он нагло заявил:

— Не ваше дело вмешиваться в железнодорожные порядки.

— Ах, ты, материн сын! Ребята, выворачивай его наизнанку!

Артельщик стал сдавать и сказал:

— Товарищи, я не при чем, — разгрузка держала.

— Брешешь! Мы все время смотрели, не было раз-

грузки. Да ежели бы и была, двадцать минут на нее, от силы полчаса, а мы шесть стоим.

— Паровоз воду брал...

— Это на каждой станции брал воду? Обопьешься.

— Опять же дрова паровоз брал...

— Бреши — да умеючи. Это как на каждой станции по три, по шесть часов будет брать дрова, весь состав загрузишь... Да что с ним разговаривать, так и вон как! Ломается, как коза на веревке... Кидай его на рельсы! Отцепляй его вагон, без него поедем!

Толпа стиснула. Артельщик струсил.

— Товарищи, ведь я по долгу службы... По линии три месяца не получали жалованья, вот и развожу.

— А-а, собака! Забрехала... Почему срочные дела Красной армии должны из-за вас задерживаться? Ведь вот я задержусь на два, на три лишних дня, не привезу пулеметных лент, а там тысячи наших могут погибнуть из-за этой задержки. А ты бы взял паровоз да отдельный вагон и развез, армию не подводил бы. А то ужинать сел, а мы и стоим по шесть часов.

— И какая стерва его родила?!

— Волоки его, ребята!..

Кругом озлобленные красные лица, сверкают глаза.

— Товарищи, не буду задерживать, не буду больше выдавать... Ей-богу, сейчас поедем.

Поезд тронулся и несколько станций действительно шел без задержек. В вагонах, озаренных раскрасневшимися печками, полных всюду сновавших теней, было шумно и весело.

— Ловко!

— Выздоровел!

В Мелекесе часов в десять остановились. Осталось до Симбирска восемьдесят шесть верст. Часов за пять доедем.

— Тут пойдет хорошо, тут нормально ходит, — говорили.

Стоим час, два, три, четыре, пять... Черный неподвижный поезд снова наливается тоской. Все тянется бесконечно застывшая ночь над примолкшей станцией. В вагонах тяжело и безнадежно стоят или понуро сидят вокруг печки.

К коменданту станции идет один из едущих в поезде.

— Товарищ комендант, почему нас здесь так дол-

го держат? Ведь все сплошь едут командированные, которым дорога каждая минута.

«Товарищ» комендант грубо поворачивается спиной, он даже разговаривать не желает.

Тогда обратившийся к нему вынимает и подает мандат от Революционного военного совета армии с очень широкими полномочиями.

Комендант сразу становится бархатным.

— Видите ли, задержка из-за разгрузки.

— Таковой не было, мы видели, и во всяком случае не на шесть часов.

— Э-э-э... Видите ли, паровоз брал дрова.

— Шесть часов?

— Э-э-э...мм-м... Кроме того паровоз воду брал.

— Шесть часов?

— Мм-м... э-э-э... мм... То есть, видите ли, водопроводная башня испортилась...

Ясно: человек изолгался. И так как лгать больше нечего, он пускает нас дальше.

Поезд, хрустя прокаленными морозом рельсами, трогается. И опять облегченно вздыхает вагон. Мреет красная от жара печь, качаются и снуют тени, поминутно меняя лица сидящих.

Ух, ты! С души свалилось. Восемьдесят верст. Как-нибудь доберемся.

Четыре часа утра, а в вагоне все та же темень, наполненная махорочным дымом.

Где-то за качающимися стенками винтовочный выстрел, глухой и неблизкий.

Еще выстрел... третий, четвертый... Пачками.

Подымаются головы, и печка озаряет их.

Что это? Чехи? В тыл зашли?

В вагоне, полном мерцающих теней, поползла тревога.

Гудки торопливые, придушенные.

Да что же это, наконец?!

Гудки не нашего паровоза, а где-то впереди.

Разом, с треском наваливаясь друг на друга, остановились вагоны, и водворилось молчание.

С грохотом откатывают примерзшие двери. В пролет глянула все та же синяя безначальная ночь.

Соскакиваем на хрустящий снег.

Впереди бегают с огнями. Наш поезд стоит мрачный, черный, без паровозных фонарей.

Оказывается:

Со станции Мелекес был пущен наш поезд, а со станции Бряндино по тому же пути, нам навстречу, был пущен боевой бронированный поезд.

И среди синей морозной ночи, среди застывших белых лесов неслись навстречу два поезда. Один — черный, без огней, из бесконечного числа товарных вагонов, набитых людьми, лошадьми. Другой — низкий, огромной тяжестью брони вдавил рельсы, и длинные хоботы тяжелых орудий уносились на платформах, прожорливо глядя в мелькающую морозную пыль застывшей ночи.

Так неслись они с грохотом.

А внутри изгибавшегося, как черная змея, на поворотах поезда сидели красно-озаренные люди, грелись около раскаленных печек или тяжело спали на качающихся скрипучих нарах.

Машинист бронированного поезда вдруг заметил черно несущийся на него громадный поезд и стал давать тревожные гудки, напряженно тормозя. Но черный поезд все несся на него в грохоте. Солдаты стали стрелять в воздух пачками.

Уже совсем почти накатившись, наш поезд остановился.

Мы все высыпали на скрипучее белевшее полотно. Два черных чудовища стояли друг против друга. Еще бы несколько секунд — и тяжко придавивший рельсы броневик разбил бы наш поезд, а к синему, морозно-звездному небу поднялась бы целая гора вагонной щепы. И от раскаленных печей запылала бы эта гора с мертвыми, искалеченными и живыми.

С нами возвращали почему-то вагон снарядов. В пожаре он покрыл бы все страшным взрывом.

На волоске были.

Но — странно. Близость этой смертельной опасности подействовала на красноармейцев совсем иначе, чем бесконечные стояния на станциях. Посыпались шуточки, остроты.

— Эх, Тишка, а важное бы из тебя жаркое вышло! Одного сала натекло бы с пуд.

— А я, братцы, под Ивана подкатился. Ежели бы вагон раздавило, Иван бы целый лежал, — сам раздавит кого хошь.

И это понятно: такие катастрофы редки, кричащи,

ответственность за них громадная, и известный процент их неизбежен.

А вот страшно, когда из дня в день подтачивают железнодорожное движение, когда, как черная гангрена, расползаются по железнодорожному организму саботаж, злонамеренный и ненамеренный, медлительность, халатность, постоянное изо дня в день «наплевать на все», — вот преступление, которому нет имени.

На железной дороге Симбирск — Бугульма было мало вагонов и мало паровозов. И все железнодорожники, коменданты с злорадством ссылались на это, как на причину медленности движения.

Да разве это не должно было служить, наоборот, побудительной причиной всячески усиливать движение, делать его интенсивным, не давать ни одному вагону ни одной минуты лишнего простоя? С этим же самым количеством вагонов и паровозов можно было бы, если добросовестно и напряженно относиться к делу, вдвое больше и вдвое скорее провезти грузы.

Но когда кругом все лгут, поезда, разумеется, стоят на станциях часами без всякой надобности, вагоны используются неинтенсивно. И страдает Красная армия, и страдает население.

Необходимо с корнем, беспощадно вырвать из тела народного эту железнодорожную гангрену.

То, что проделывается на маленьком клочке Бугульминской железной дороги, широко практикуется во многих местах российской железнодорожной сети.

Борьба должна быть без пощады и милости. Но надо помнить, — нет змеи изворотливее железнодорожного саботажника. Как только его прищемят на месте преступления, он сейчас же уползет в тысячи технических оговорок, и никакими зубами его оттуда не вытащить.

Единственное средство — от времени до времени пускать по участку контролера, но так, чтобы никто его не знал, начиная от комендантов и начальников станций и кончая низшим железнодорожным персоналом.

Этот контролер должен на месте устанавливать причины простоя поездов, степень добросовестности работы железнодорожников, и уж тут не только ма-

лейший саботаж — малейшая халатность должна караться без пощады, вплоть до расстрела.

Иначе железнодорожники искровянят русскую революцию.

Теперь, когда вагон уносит меня к красной Москве, армия снова двинулась в наступление, снова труды и опасности, снова жестокая борьба, и сулит новый день неведомую долю каждому бойцу.

И мне хочется, оглянувшись, сказать: счастливых и радостных вам успехов, товарищи, и ярких побед над темным врагом, — побед, которые вольют новые силы и во всемирную революцию!

## НА ПОЗИЦИИ

В Москве все иначе кажется, чем на самом деле.

Вот я подъезжаю к передовым позициям. Глаз ищет окопов, ищет какой-то черты, которая отделяет нас от врага. Ухо напряженно старается поймать короткие и тупые в морозе выстрелы винтовок.

Но стоит зимняя тишина, и белый снег не зачернен ни одним пятнышком.

Деревня. Ребятишки катаются на салазках. Медлительно идет с водопоя корова, и у губ ее намерзли сосульки. Предвечерний дым медленно тянется из деревенских труб над соломенными крышами.

Это — передовые позиции.

Странно.

Над деревней вправо и влево тянутся горы. Высотой, — если раза три поставить Воробьевы горы на Воробьевы горы.

Они молча голо белеют снегами. Только влево по разлитым бокам чернеет мертвый зимний лес.

И мне чуется таящаяся угроза в их тяжелом белом перевале, — там начинается враждебная охрана.

Штаб бригады приютился около церкви в поповском доме. Попу отвели комнату, а сами заняли две.

Вхожу. Прихожая вся набита красноармейцами: ждут поручений.

Крохотная комнатка почти вся занята поставленным посредине кухонным просаленным столом. На нем самовар, валяются яичная скорлупа, куски хлеба, сахара, зачитанная книжка. На маленьком столе, в углу телефонные аппараты.

В другой комнате, чуть побольше, на столе — карты, бумаги, пакеты, а на полу юзжит щенок, оставляя после себя следы.

И странно все это освещая и придавая грубый вид, мерцают приклеенные восковые свечи.

Нет керосина, у попа набрали церковных свечей.

Присматриваюсь: на кровати — командир бригады сидит верхом на политическом комиссаре.

У политического комиссара умное, серьезное молодое исхудалое рабочее лицо. Он в первых рядах, с винтовкой в руках дрался во всех боях. Судьба и карьера бригадного в его руках, и комиссар своим спокойным лицом как бы говорит: «Ну, побалуйся, побалуйся, молод еще».

Бригадный еще совсем мальчуган с детскими глазами; чуть закудрявилась черная бородка. Это он, когда в страшной панике бежала соседняя дивизия, со своей бригадой все время давал отпор изо всех сил наседающему врагу, вывел из-под удара обозы, артиллерию.

Он — из аристократической семьи, бывший офицер.

Садимся вокруг стола за самовар.

Меня забрасывают вопросами:

— Ну, что, как в Москве? Каково настроение? Как идет работа? Чего ждут?

Я рассказываю, и меня жадно, не сморгнув, слушают. Все сердца, все помыслы тянутся к красной Москве, к красному Петрограду.

Им, отрезанным, кажется, все вопросы, все недоразумения, вся политическая сложность разрешается там, в этих красных столицах рабочей республики.

Кто-то тянет тоненьким цыплячьим голосом: «Пи-и-и... пи-пи-пи... пи-и-и...»

Начальник связи подымается, берет трубку, — это телефон пищит. У полевых телефонов нет звонков, а пищики, чтоб не слышно было в поле, например.

— Штаб бригады. Хорошо, пришлем.

И опять садится к нам.

Мы настойчиво опустошаем самовар.

У зазевавшихся из-под носу утаскивают чашки, кружки: нехватает посуды.

Сыплются шутки, остроты, взрывами смех.

И поминутно входят красноармейцы, с красными морозными лицами, не снимая занесенной снегом папахи, подают пакеты ординарцы.

Тогда кто-нибудь встает из-за стола, берет пакет.

Лицо делается крепким, замкнутым. Читает. Подает другой пакет или отдает словесное распоряжение.

Входит красноармеец с милым юношеским лицом, а глаза с промерзшими ресницами отяжелели и померкли — печать усталости.

Ординарец.

Он говорил, по-детски улыбаясь:

— Устал, очень устал, и лошадь заморилась, — целый день не слезаю. Ежели пакет не срочный, нельзя ли до завтра, утром отвезу?

Бригадный держит пакет:

— Не срочный.

Потом опускает глаза и секунду взвешивает. И, подняв, твердо говорит:

— Нет, надо доставить сейчас. Чорт его знает, что за ночь произойдет, — к утру, может, и не доберешься к деревне. — И добавляет ласково: — Завтра отоспишься.

Юноша сразу меняется, лицо становится крепким, берет пакет, и за черным окном я слышу морозноскрипучий, удаляющийся лошадиный скок.

А у меня легко, радостно на сердце. Встает далекая Галиция. Приходилось бывать в штабах. Да ведь там — боги. Смел ли подумать ординарец войти к бригадному и сказать: «Я устал».

А этот сказал. Но когда ответили: «надо доставить», он доставит, хоть мертвый.

А меня попрежнему все тормошат насчет Москвы, но я даром не даюсь и сам стараюсь выудить из них всё об их жизни.

— Да что, у нас дело ладится, хоть сейчас в наступление. Потрепали наш левый фланг, но теперь эта дивизия окрепла, опять будет драться, как и прежде. Вот горе только, обижают нас газетами. Редко получаем, и разрозненные номера. Почему не наладят, не знаем. Художественной литературы нету совсем; не томами, это некогда читать, а маленькими книжками, — огромная нужда, все красноармейцы спрашивают: нет, не присылают, забыли нас. А еще вот у нас самое главное: нету почти табаку. За щепотку махорки жизнь готовы отдать. А вот полевой почты нет, это очень тяжело и развращающе действует на красноармейцев.

— Как так?

— А так. Красноармейцы говорят: жалованье получаем, тратить некуда, накопишь, вот бы послал домой, знаешь, нужда там, а без почты как пошлешь? Ну, носишь, носишь с собой. Иные просто говорят, невмоготу делается, не могут с собой постоянно деньги носить, свербит у них, ну, и начнут в карты, все и продуют, азарт идет. За самогонкой начинают охотиться. Хоть и расстрелы тут, да не удержишь. А будь почта бы, и хорошо. Наконец тоскуют без писем, ведь тоже люди: у кого жена, у кого невеста, сестра, мать, брат, отец, — не звери. Ни они об нас ничего не знают, ни мы о них ничего не знаем. Красноармейцы говорят: убавьте у нас половину хлеба, совсем не давайте мяса, только дайте полевую почту да табак. Знаете, тут такое огромное душевное напряжение, так все натянуто внутри, что покурить — единственное средство хоть немножко ослабить эту напряженность, хоть немного отвлечься.

Я достаю случайно захваченные два последние номера журнала «Творчество». Как же все накинулись! С какой ласковой нежностью стали рассматривать рисунки, заглавия статей!

Комнатушка набилась полным-полна красноармейцами, которые немилосердно жали друг друга, вытягивая шеи. Штаб вытеснили в соседнюю комнату.

Я прочел из журнала стихотворение:

Не верь тишине, второй роты дозор,
Здесь все на-чеку: пуля, ухо и взор.

Все были в восторге. Вся комнатка наполнилась гомоном:

— Это про нас.

— Ловко!

— Здорово!

— Все на-чеку: пуля, ухо, глаза...

— Чего ж нам не присылают журналов?

— Забытый мы народ.

Сюда совершенно не шлют журналов: нет ни «Пламени», ни петроградских, ни провинциальных журналов.

Кто-то заботится об армии.

Журнал пошел по рукам. Мы снова садимся за самовар.

И опять смех, шутки, остроты.

Поет поминутно телефон. Юзжит щенок. Тесно, на-

курено, и сквозь махорочный дым по-погребальному, тускло светят по три желтые церковные свечи.

Кажется, будто легко, весело, беззаботно в этой низенькой, тесненькой комнатке, и то-и-дело вырывается молодой смех, и не заметно особой важности и тяжести работы. А на самом деле здесь сосредоточена жизнь целого боевого участка, и малейшая ошибка, промедление или промах грозят всей армии.

И у этой внешне беззаботной молодежи постоянно напряжено в душе, как натянутая тетива. Тут нет восьмичасового и шестнадцатичасового рабочего дня. Тут все двадцать четыре часа наполняют душу непрерывным напряжением, все двадцать четыре часа работа.

Ложатся спать одевшись, с револьверами в головах. И поминутно поющие день и ночь телефоны подымают то одного, то другого.

— Одиночный пушечный выстрел? Хорошо. С которой стороны? Хорошо. Сейчас пошлем разъезд.

— Тревога? Кто бегает? Какие солдаты? Это — провокаторы. Непременно арестовать.

— Показались подозрительные, послать разъезды в тыл, чтоб захватить. Я сейчас буду.

Телефон без умолку пищит, то из штаба, то в штаб из самых разнообразных концов. Поминутно из штаба бригады вызывают штабы полков, рот, мелких частей, просто, чтоб проверить, работает ли телефон.

И самое главное, самая большая тревога в тесной дымной комнатке, когда телефон в каком-нибудь направлении молчит. Значит, оборван провод, значит, часть изолирована, отрезана, предоставлена сама себе, и врагу ее легко расстрелять.

Сейчас же туда посылаются конные и посылается отряд телефонистов, ночью ли, днем ли, в бурю, в снег, в мороз, для восстановления сети.

А сеть, как паутина, протянувшаяся по всему фронту и в тыл по всем направлениям, постоянно разрывается.

То крестьянин срежет аршина полтора «на кнутик», то едет, зацепит колесом обвисший с ветвей кабель и начнет наворачивать. Навертит огромный ком, с полверсты, провода, добросовестно заедет в штаб и скажет, показывая на колеса:

— А который у вас тут ниточками заведует? Вишь, навернуло на колесо. Чать, нужно вам! Еще пригодится.

Его готовы убить, да что возьмешь с дурака!

Но чаще всего режут кабель кулаки. Эти режут неуловимо, осторожно, на большом расстоянии, а концы далеко заносят в лес, и трудно отыскивать для восстановления.

Оттого-то поминутно пищит телефон, и когда замолчит, воцаряется в тесной комнатке тревога.

Утром мы идем на позицию.

Где же она? Да вот это же и есть позиция. Деревня, где мы спали с револьверами под головами, и эта молчаливая снежная гора, и морозная степь, что протянулась до самого края, где синеет морозный мутный туман.

Где же враг?

Нигде и везде.

Степь безлюдна и пустынна, и нигде не чернеется ничего живого.

Не верь тишине, второй роты дозор...

Каждую минуту может пропищать в штабе телефон:

— Налево против урочища показался конный отряд.

И сейчас же по всей сети, по всем частям, по всем штабам запищат телефоны:

— В ружье. Приготовить орудия. Полуэскадроны в обход!..

## БОЙ

То там, то здесь, вспыхивая белыми клубочками, стукнули винтовочные выстрелы. Зататакали пулеметы. И, наполняя осенний воздух тяжелым, значительным и угрожающим, стали бухать невидимые орудия. Неприятель перешел в наступление.

Земля холодная, чуть запорошенная снежком. Ходили туманы, и в цепи, когда лежали, было мучительно холодно.

До этого же три недели стояли красные войска на реке Ик.

Позади лежало до Симбирска четыреста с лишним верст, которые в сентябре — октябре прошли с боем, взяли Мелекес, Бугульму, а потом гнали белогвардейцев, не успевая притти с ними в соприкосновение: те рвали мосты, полотно, водонапорные башни, а сами в поездах торопливо уезжали по направлению к Уфе.

Но на реке Ик, верстах в семидесяти от Бугульмы, красные войска замедлили движение: надо было подтянуть правый фланг. Армия отдала несколько боевых единиц на другие фронты. Сказалась и усталость непрерывных боевых маршей.

Враг воспользовался передышкой и стал копить кулак. Стянул отборные войска: чешские полки, польский легион, офицерский студенческий отряд в пятьсот человек. И, что очень важно для гибкости движения, много кавалерии — казачьи полки.

Командование было вручено маленькому Макензену, полковнику Каппелю, специалисту по окружению и прорывам. Это он, когда Красная армия дралась под Казанью, сделал знаменитый стовосьмидесятиверстный обход под Свияжском и стал рвать мо-

сты в тылу нашей армии, грозя ей полным поражением. Но слишком оторвался от своей базы и был отбит.

Девятого ноября Каппель превосходными силами обрушился на наш левый фланг по реке Ик.

Красноармейцы дрались ожесточенно. По восьми раз ходили в атаку. Тыл разом переполнился ранеными. Снарядов неприятель не жалел.

К сожалению, без указаний центра часть боевых единиц перед сражением была передвинута с левого фланга к Белебею, чтобы взять его. Победителей ведь не судят. Обошедшее перед тем все газеты известие, что Белебей взят советскими войсками, было тогда ложно, — он взят был позже.

Ослабленный левый фланг стал поддаваться.

Неприятель тогда кинул полки на правый фланг и центр — и прорвал. Под густым артиллерийским огнем делались все усилия, чтоб отступление шло планомерно и не обратилось в бегство.

На реке Ик рухнул мост. Артиллерия неминуемо должна была попасть в руки врагу.

Холодной ночью столпились на берегу, чуть белевшем снежком, артиллеристы, орудия, красноармейцы, зарядные ящики. Неприятель нещадно наседал. Тогда политком и несколько человек из командного состава кинулись в реку; за ними бросились красноармейцы, подхватывая орудия и перетаскивая на руках.

В ледяной воде, судорожно замирая, останавливалось сердце. Глубина была неровная, — то не выше колен, то с головой. Брод некогда было разыскивать. Кто попадал в ледяную глубину, тонул на глазах товарищей. Кто удержался на более мелком месте, с нечеловеческими усилиями, борясь, чтобы не застыть, вытаскивал орудия.

Артиллерия была спасена.

Между тем на левом фланге наступление противника развивалось.

Измученные — не спали по нескольку дней подряд, голодные — кухни отбились, иззябшие от леженья день и ночь в цепи, на застывшей земле, еще в летней одежде, красноармейцы не выдерживали, и полки стали таять.

Продолжая громить с фронта, неприятель бросил

массу конницы в глубокий обход теснимого левого фланга.

Казаки лавиной обрушились на глубокий тыл, врубились в обоз и беспощадно стали рубить безоружных обозников. Они заставляли предварительно раздеваться, чтоб не окровавить и не испортить одежды, забирали сапоги, шинели, куртки, штаны, гимнастерки, а потом шашками разваливали головы.

Произошло что-то неописуемое.

Повозки, двуколки, люди, лошади — все кинулись беспощадным потоком, давя, ломая, сокрушая друг друга и все на пути.

Пронеслись страшные слова: «Обошли!», «Продали!», «Измена!»

Весь левый фланг побежал к Бугульме. Нависла катастрофа страшного разгрома.

На правый фланг и в центр, в дыру прорыва, была двинута 26-я дивизия.

Под страшной угрозой заразиться разливающейся паникой, под напором превосходных сил противника ринулась дивизия на белогвардейцев.

Снова перетащили в ледяной воде артиллерию и дали удивленному врагу жестокий отпор: отняли орудие, несколько пулеметов и погнали. Но чтоб сохранить остатки бегущих полков на левом фланге, чтоб отвести обозы и выровнять фронт, по распоряжению штаба медленно стали отходить, удерживая противника на почтительном расстоянии. И закрепились верстах в двадцати-тридцати от Бугульмы.

Левый наш фланг не существовал — весь был разбит и рассеян. Неприятелю открывался широкий простор, совершенно не защищенный, чтоб ударить на Бугульму, перерезать дорогу и отрезать всю армию от Симбирска.

Он это и сделал.

Он пустил великолепный легион испытанных польских солдат и чехов — отборные полки.

Легионеры и чехи шли железной стеной, полторы тысячи штыков, все кося пулеметным огнем и громя артиллерией, даже тяжелой.

Красноармейское командование двинуло навстречу особый социалистический отряд «ЦИК'а», как его здесь зовут. В отряде большое число коммунистов. Он нес всего триста штыков. Предстоящий результат

сражения для чехо-белогвардейцев был ясен; они приготовили донесение в Уфу о взятии Бугульмы и — церемониальным маршем на Симбирск.

Насколько во вражьем лагере были уверены в предстоящем полном разгроме Красной армии и восстановлении фронта по Волге — показывает их радиотелеграмма «в Совдепию, всем, всем, всем».

В этой радиотелеграмме они говорят о поражении, которое нанесли нам, перечисляют разбитые полки, — и, надо отдать справедливость, с большой точностью, — и говорят о необходимости сложить оружие, так как сопротивление бесполезно.

И вот триста красных штыков, осененных волнующимся социалистическим знаменем, сошлись с полуторатысячью черных от народной крови штыков наймитов.

Закипел бой.

Уверенные в победе, которая, как спелый плод, сама падала в протянутые руки, упоенные катастрофическим разгромом нашего левого фланга, чувствуя громадный численный перевес, легионеры и чехи ринулись на горсть красноармейцев.

Но «ЦИК» ощетинился.

Его пулеметы строчили страшную строчку смерти. Его орудия методически, не спеша, били врага наверняка.

Люди падали с обеих сторон.

Чтобы раздавить эту горсть, легионеры развернулись цепью и пошли в штыки. Со стороны белогвардейцев — это невиданная вещь, они сами здесь никогда не шли в штыки и никогда не принимали штыкового удара.

«ЦИК» тоже развернул цепь и тоже пошел в штыки. Сошлись, на секунду скрестившись, блеснули, и полуторатысячная масса отборнейших польских и чешских бойцов отхлынула и побежала.

Их преследовали, били, кололи и гнали.

Сражение не кончилось, а пулеметы и винтовки «ЦИКа» замолчали: израсходованы все патроны и пулеметные ленты.

Легион закрепился в деревне Байряки и стал расстреливать поредевшую горсть социалистов.

Это был критический момент: поляки и чехи готовились, оправившись, снова ринуться и раздавить хра-

брецов. Предстояло или медленно отходить, отбиваясь только штыками и кроваво устилая поле своими телами, или брать деревню без единого патрона, без единой ленты.

Командиры скомандовали, и «ЦИК», опустив штыки, кинулся развернутой цепью на деревню.

Не дожидаясь, легионеры и чехи кинулись бежать. Они пускали в ход нагайки, вырывая у крестьян подводы, толпами кидались на них и нещадно гнали лошадей, только бы ускакать от страшных, молчащих красных штыков. Десятки возов с мертвецами и сотни с ранеными вскачь неслись из сражения, и все поле и деревня были залиты кровью и забросаны бинтами.

Треть красных храбрецов — восемьдесят раненых и одиннадцать убитых — лежала на кровавом поле.

Неприятель был на-голову разбит и бежал так стремительно, что по всему нашему фронту с ним потеряли всякое соприкосновение, — на всей полосе до реки Ик не было врага.

Но наш фронт не продвинули вперед. Чтобы дать передышку и приготовиться, «ЦИК'у» отдали приказание оттянуться назад на двадцать верст и таким образом выровнять фронт.

Красноармейцы со слезами покидали деревню, — им казалось преступлением отходить с места, где легли товарищи, которое они так блестяще взяли.

Фронт выровнялся, закрепился верстах в двадцати — двадцати пяти от Бугульмы. Стали приводить в порядок полки левой группы. Они понесли огромные потери командного состава и политических комиссаров, и те и другие все время шли в первых рядах, беспощадно дрались и гибли. Солдаты, кторые во время паники разбежались по деревням, понемногу воротились в свои полки, и части левой группы восстановились.

Производится расследование причины поражения левой группы.

Встречаются красноармейцы.

— Товарищ, дай закурить.

Другой, сбросив мизинцем пепел, благодушно протягивает папиросу.

— Ты, товарищ, какой части?

Тот, наклоняясь и приготвляясь прикурить, роняет:

— Я, товарищ, такого-то полка левой группы...

Первый разом отдергивает руку с папиросой.

— Пошел к чорту!.. Еще бегунам всяким прикуривать давать. Накось пососи... резвой!

И это — отношение всей Красной армии к беднягам.

— Всю армию запакостили. Скидывай штаны, надевай юбку!

Удар для неприятеля был громовой.

Пленные поляки говорят, что ни разу белогвардейские войска не бежали в таком паническом ужасе, как в этот раз.

Взят был в плен денщик одного из белогвардейских офицеров. Денщику приходилось часто вертеться в офицерском собрании. Он слышал, как офицеры говорили, что это их наступление — последняя карта, которая или должна все вернуть — или, если будет бита, с ней все рухнет.

Я ехал на фронт с легким жалом не то что недоверия к тому, что постоянно говорится о внутреннем росте, стройности, крепости и дисциплине Красной армии, — нет; но я в известной пропорции всегда уменьшал размеры и роста, и дисциплины, и внутренней спайки, — ведь так мучительно хочется все это видеть в известных размерах, что невольно эти размеры себе подсказываешь.

Теперь, когда доверился своему собственному глазу, скажу: да! У русского пролетариата, у русского беднейшего крестьянства есть армия, есть своя собственная армия.

И есть в этой армии сознание, за что она борется, есть пролетарская дисциплина и, главное, есть животворящая сила внутреннего роста, внутреннего живого развития, сила воссоздания разрушенного.

Не количеством поражений, не числом побед измеряется это животворящее начало, а великой силой самоисцеления.

Разбитая, потрясенная на всем своем протяжении Красная армия, судорожно изогнувшись, без помощи извне откусывает больное место и, выпрямившись, загрызает почти до смерти впившегося в болячку врага.

Одно: есть у пролетариата пролетарская армия!

## ВОЛЧИНЫЙ ВЫВОДОК

— Так идем?

Жутко.

Из Москвы я выехал — было тепло, и я очутился тут в одной шинели. А теперь воет в трубе, на полатях тяжелый морозный ветер. И когда отдирает поповскую железную крышу, похоже, будто ухают отдаленные орудия.

Ребятишки забрались на печку и гомозятся, как цыплята.

Делать нечего. Выходим, садимся в сани.

С наветренной стороны у саней и у ног лошади уже горы снега.

Деревенская улица и все избы курятся белым куревом несущегося снега. Все бело, холодно, неуютно.

Мой спутник — председатель коллектива коммунистов бригады. Я вспоминаю, какое лицо у него было в избе. Совсем молодой, чуть пробиваются усики, круглолицый, волосы в кружок, и одутловатая бледность; хоть и крепыш по виду, а нездоровье.

А тут не узнаешь: нахлобучил папаху, втянул голову в шинель, сколько мог, всунул руки в рукава, весь белый, и, всячески изощряясь, сечет его злой ветер.

Но он жадно говорит, и я с трудом улавливаю слова, срываемые несущимся морозом:

— Я из Сормова. Там моя родина, там и работать стал. В паровозных мастерских. Мать у меня, брат был. Учиться хотел, до чего хотел учиться! Так и стоит перед глазами: учусь. Книжки читал, учебники были, да это все не то. Вот сбил всеми правдами и неправдами шестьдесят рублей, написал в Москву, в университет Шанявского. Да не вытерпел, не дождал-

ся ответа, взял да уехал. Приезжаю в Москву, прихожу в университет, а там говорят: «Да мы вам отказ послали, — требуется среднее образование. Значит, разминулся с бумагой». Я так и обомлел. Видно, очень изменился в лице. Мне говорят: «Ну, постойте. Посоветуемся». Пошли, долго совещались. Выходят. «Ну, ладно, примем в виде исключения, можете внести пятьдесят рублей». Я и не знал, что можно в рассрочку. Отдал пятьдесят рублей, пошел комнату искать. Нашел. «Давайте, — говорят, — четырнадцать рублей за месяц вперед». А у меня десятка на руках. Иду по улице. Что же это? Счастье было вот в руках, теперь куда же мне?.. А? Вы чего?

А я говорю: «Бу... бу... бу...» — стянутыми губами, да вижу, что не слушаются, рукой махнул.

Кругом только дымящийся снег, — ни деревца, ни черточки. Где же дорога?

Лошадь с трудом вытаскивает ноги, и скрипят полозья. Из-за этого снежного дыма могут показаться казаки или чехи. Впрочем, теперь не до них, — вот запхать бы руки поглубже в шинель.

А он говорит, говорит... Спешит излить свежему человеку, человеку из другого мира, поделиться, чтоб не теснило грудь накопившееся одиночество.

«И как его губы слушаются!» — думаю я, изо всех сил подавляя незатихающую внутреннюю дрожь.

— ...Ну, ходил, решил. Пошел в Сокольнические мастерские. Говорю: «Так и так, братцы, вот что вышло». А они: «Фу-у! Да оставайся у нас. Мы тебя кормить-поить будем, а ты учись. Учись и учись, товарищ, не думай ни о чем». Ну, бегаю к Шанявскому. Записался на одно отделение, а сам на все хожу, жадность одолела, — ну, конечно, зайцем, воровски. А в конце концов бросил Шанявского, стал работать в мастерских. Потом в районе стал работать, в Сокольническом же. Оттуда и в Красную армию пошел. На военную службу в начале войны меня забраковали по здоровью, а в Красную армию волей пошел, — надо. Брат у меня был строгий, суровый, не сдвинешь, настоящий коммунист. Он разбудил у меня душу. Бывало, где он, там сейчас же организация коммунистов. И уж требовательный был! Вместе в армии были. Вместе в цепи ходили, стреляли. Я только на него и глядел... Убили...

Наконец-то мы въехали в лес. Между деревьями несется, меняя очертания, метель. Отчаянно треплется, как черная струна, кабель полевого телефона, протянутого по качающимся веткам.

Гул стоит.

Я делаю попытку разжать губы и издаю нечленораздельные звуки.

Но он понял меня.

— Как убили-то?.. Под Казанью в цепи шли. Белые засыпают. Залегли. Стали окопики рыть. Молоденький красноармеец не так, плохо роет. Брат взял у него лопатку, стал показывать, а пуля — ему в живот. Все время молчал, два дня мучился, помер. А мне все равно стало: хожу, как во сне, ружье таскаю, не стреляю, иду на пули, да и все. Три дня так тянулось. Хотелось бросить ружье и иттить, иттить. Ну, потом пришел в себя. Что ж, думаю, брат бы видал — не похвалил. «Надо дело делать, надо работу работать», — только, бывало от него и слышишь. Ну, тут я взял себя в руки и теперь одно — работа, работа коммуниста, не покладаючи рук!

Потом мы ехали молча. Потом приехали.

Приехали в особый социалистический отряд «ЦИК'а», или, коротко, приехали в «ЦИК».

Насилу из саней вылезли, — примерзли. И долго не могли расправить рук, ног, губ и начать говорить в поповском доме, где поместился штаб.

Комнаты пустые, неуютные. Холодно. А по стенам картины и открытки. Поп сбежал.

На голом столе остывший самовар, кусок хлеба и протоколы коллектива коммунистов: в «ЦИК'е» много коммунистов, остальные — сочувствующие.

Председатель коллектива, — петроградский рабочий, с неуклюжим, но необыкновенно привлекательным и милым лицом, — и секретарь рассказывают нам:

— Бумаги у нас нет. Верите ли, протокола заседания записать не на чем.

А я с товарищем в пол-уха слушаем, — нос щекочет запах свинины. Молоденький красноармеец на корточках перед печкой скворчит на сковороде жарящимся салом.

Мучительно хочется жирного. Недаром самоеды в морозы просто пьют топленый жир.

— ...Так мы что сделали: забрали церковные книги,

выдрали кто там родился, кто замуж вышел, а на чистом свои протоколы пишем. Вот.

Они показывают. На переплете: «Церковная книга», а внутри — коммунистическая партия.

Мы смеемся.

— У нас тут работа идет во-всю. Мы, коммунисты, держим в руках весь отряд. Вот протокол: двоих исключили из партии. Один выпил самогонки, а другой пожалел, что если коммунист — из Красной армии уйти нельзя. Сейчас же долой его из партии. Ну, тоже не сладко с клеймом ходить.

Жареная свинина возвращает нам способность и слушать и говорить. И я с удивлением вслушиваюсь, с какой восторженностью говорят они о партии, о своем коллективе, о партийной работе. Как будто это не старые партийные работники, годы положившие на свою работу, которых ничем не удивишь, а молоденькие, только что вступившие в партию, которые горячо принимают к сердцу даже всякую мелочь. А у моего товарища глаза разгорелись, глядя на них.

Так вот в чем сила истинного коммуниста: в неувядаемости, в том, что для него нет будней, все революционный праздник, нет партийной усталости. Вот почему коммунисты — совесть в отрядах.

— А знаете, — говорит председатель, ласково улыбаясь всем своим неуклюже-милым лицом, и морщинки побежали от глаз, — коммунисты и прохвосты есть форменные. Только не выловишь, хитрые.

— А это вот протокол незаконченный, — говорит секретарь. — На половине заседания — вдруг: «В ружье!» Все повскакали, похватали винтовки — и в бой. Я схватил в одну руку винтовку, в другую — церковную книгу, выскочил к обозникам. Взмолился им: «Товарищи, возьмите! Ведь это партийные протоколы наши». А они ругаются: «Куда нам вожжаться с ними! В этой суматохе пропадет, вы нам голову проедите». Бегал я, бегал, — ну, что тут делать? Так и побежал в цепь, — в руке винтовка, а подмышкой церковная книга. Так и перебежки делал, и ложился, и стрелял... Ну, как в Москве? Расскажите нам про Москву. Как там? Как настроение?..

Понемногу комната наполняется. Пьем чай. Сахар пованивает керосином, но вкусно. Реквизировали у спекулянта, — должно быть, со зла облил.

Кто сидит на табуретке, кто на ящике, кто на связке старых газет, кто на доске, ребром поставил.

— Одно горе — газеты нам плохо доставляют. За полторы-две недели пришлют два-три номера, и опять жди полмесяца. Опять же рассказов хотелось бы почитать — ни одного!.. И тяжко: почты нету, полевой почты до сих пор нету.

Я всматриваюсь. Любопытный народ!

Вот командир отряда. И не подумаешь: в шапчонке, в замызганной гимнастерке. Юное матовое лицо. Грек. Совсем молодой. Он с железной волей водит в бой своих железных коммунистов.

А вот сидит, тяжело согнувшись, крупный, плечистый, и очень похоже — из купеческого звания. Молодой, безусое лицо, волосы вьются. В поддевке. Точь-в-точь купеческий сынок. Командир отдельной конной сотни, а эта сотня чудеса делает.

Нахмурил белобрысые брови командир роты. Юное голое лицо, — что-то в нем мальчишеское, — бронзовое, выдубленное ветрами, морозами, солнцем и дождем, а лоб весь изрыт глубокими, старческими морщинами. Шея мускулистая, низко открытая, как у матроса, даром что холодно в комнате.

Он водит свою роту, как будто перед ним не неприятель, засыпающий пулями, а заросли кустарника, которые просто надо раздвинуть плечами — и все.

И все они немножко исподлобья, кряжистые, крепкие и юные.

У этих мертвая хватка: как вцепятся, хоть за задние ноги тащи — не оторвешь.

Я гляжу на них: волчиный выводок, да и всё. Крепкошеие, будто неловкие, а чувствуешь затаенность огромной быстроты движения, поворотливости, волчьей цепкости, и клыки свешиваются.

Сегодня они взволнованы. Жестикулируют, говорят тяжело и страстно, и ложатся на стол бронзовые кулаки.

— Нам отдан был приказ отбить наседавшего неприятеля. Хорошо! Мы вышли. У нас триста штыков, на нас двинулись полторы тысячи отборных чешских и польских солдат. Мы опрокинули и гнали их двадцать верст. А когда вышли все патроны и ленты, молча пошли в штыки, выбили и заняли деревню Байряки. Неприятель бежал, и мы потеряли с ним сопри-

косновение. Расположились в Байряках. Вдруг приказ: оттянуть отряд на двадцать верст назад, чтоб выровнять фронт. Да пусть по нас равняются, а не мы по ним! Восемьдесят товарищей раненых, одиннадцать убитых. Понимаете, это — наши товарищи, коммунисты! Их головами мы взяли Байряки. И бросать? Что?! Окружение? Мы не боимся окружения!

Командир роты, с бронзовым юным лицом и со старческими морщинами на лбу, говорит сердито, изламывая морщины:

— Под Казанью мы шли цепью на впятеро сильнейшего неприятеля. Нас засыпали. Мы вплотную подошли. Глядь, а неприятель не впереди, а справа густая его колонна и слева колонна. Мы думали, — нас окружили. Ну, что ж! Мы сломали свою цепь, правая часть пошла против правой колонны, левая — против левой, и разбили, разогнали, рассеяли. Оказалось, не нас окружили, а мы прорвали неприятельский фронт, разрезали его на две части, а мы этого не знали. А нам толкуют об окружении.

Они в страстном негодовании мечутся, как волчата в клетке. Я смотрю, любуюсь ими и думаю: мужественность, не знающая удержу, страстная храбрость и стратегия должны быть в сцеплении, и первая — в подчинении второй. Но к ним и на козе не подъедешь.

А они все рассказывают о своих сражениях.

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они..

И когда я уезжал, я уносил впечатление огромной книги, и имя ей Революция, — книги, залитой борьбой, кровью, смехом, слезами, невиданным героизмом, предательством, фанатизмом, самопожертвованием.

И этот героический отряд «ЦИК», и эти председатель и секретарь коллектива коммунистов, которые совершают свою партийную работу с величайшей серьезностью и напряженностью и в бой идут прямо с собраний с протоколами подмышкой, и мой молодой товарищ, у которого глаза и лицо загораются при одном слове «коммунист», — все это только переворачиваемая страница великой книги «Революция», страница, края которой озарены ослепительным светом: человеческое счастье.

## БЕЛОПАНСКАЯ АРМИЯ

Знание врага — это половина победы.

Что же такое белая панская армия?

Я уже сказал: это регулярная армия, очень хорошо организованная и снабженная — опытный командный состав из польских офицеров русской царской армии, французские инструктора.

И если у Юденича, у Деникина, у Колчака в известной мере были банды, то ни в каком случае нельзя назвать бандами польское войско. Это в полном смысле регулярная европейская армия.

Поляки в армии разделяются на легионеров, или варшавян, и на познанцев. Особенно хороши в военном положении познанские полки. Тяжелые, стойкие, отличные стрелки. В атаку идут сомкнутыми колоннами, как ходили немцы. Пулеметы их косят, а они неудержимо подвигаются через трупы и в конце концов доходят, ибо их много.

Один из начальников дивизии сказал мне:

— Познанцы тупы, индивидуально тупы.

Я думаю, это не тупость, а тяжеловесность, свойственная немцам. В немецкой армии познанские полки были лучшими.

Легионеры, или варшавяне, полегче.

Хотя и они отлично дерутся, но нет у них той тупой стихийной силы, которая делает столь тяжкими в бою познанцев.

Между познанскими поляками и варшавянами, как это ни странно, — вражда. По данным разведки, за Березиной однажды произошло целое ожесточенное побоище между эшелонами познанцев и легионеров. Пущены были в ход ручные гранаты, винтовки, пуле-

меты. Чтоб утихомирить, польское командование вынуждено было двинуть на них другие части.

Материальная часть — это только пятьдесят процентов возможной победы, другие пятьдесят процентов падают на духовную крепость и силу борющихся, на тот внутренний подъем, который бросает в огонь воинов. Какова эта сторона в польском войске?

Отовсюду я слышу одно: польские войска дерутся с замечательным воодушевлением за отчизну. Это какой-то взрыв патриотического воодушевления, общее духовное заражение патриотизмом, и притом с такой стороны, откуда меньше всего можно было ожидать. Вот картинки с натуры.

В штаб приводят пленного легионера, начинается допрос.

— Чем занимался до призыва?

— Батрак, у пана в имении работал.

— Земля есть?

— Нима.

— Семья есть?

— Е.

— Сколько получал в день?

— Четыре марки.

— Сколько стоит фунт хлеба?

— Четыре марки.

— Чем же семью кормишь?

— Панечку дае трошки хлеба.

— Безвозвратно? В пособие?

— Ни, буду отрабатывать после войны.

— А скоро война кончится?

— Скоро, как москалей прогоним за Днепр до Москвы.

— За что же ты воюешь?

— За отчизну.

— Да эта отчизна только дерет с тебя?

— Панечку обещал дать трошки земли, как война кончится, и лошадь.

Он стоял, тяжело потупившись, ожидая, что сейчас поведут на расстрел. И был страшно изумлен, когда повели не на расстрел, а в питательный пункт, накормили, напоили.

Вводят второго легионера.

— Кто по национальности?

— Еврей.

— Чем занимался?

— Слесарь из варшавского железнодорожного депо.

— За что воюешь?

— За отчизну.

Допрашивающий товарищ даже подскочил.

— Рабочий и еврей, над которым паны не переставали изощряться в издевательствах, идет класть голову за эту подлую панскую отчизну!..

Легионера передернуло: сейчас на расстрел.

Товарищ успокоил.

— Не бойтесь, товарищ, худого вам ничего здесь не будет сделано. Мы — ваши друзья. Только не укладывается в голове, что вы, именно вы, идете драться за панскую отчизну.

— Большевики — разрушители, они все грабят, убивают, мучают, камня на камне от них не остается.

— Да откуда вы это знаете?

— Вся Варшава полна этим.

И опять был поражен, что повели не на расстрел, а накормить.

Но если польская армия прекрасно организована и снабжена, охвачена патриотическим угаром и воодушевлением, так теплится ли еще хоть какая-нибудь искра надежды на нашу окончательную победу?

Панская армия будет на-голову разбита.

Есть ли к тому основания?

Есть.

Какие?

## НА РОДИНЕ

В Ростове[4] влезаю в поезд, набитый солдатами, и еду в Новочеркасск. Всего сорок две версты — полтора часа езды. Я выехал в двенадцать дня и приехал... в десять ночи.

На вокзале строжайший досмотр документов.

Вот и родные места. Пирамидальные тополя, мягкое звездное небо. Небольшие неосвещенные молчаливые домики. Извозчиков нет, подымаюсь в гору пешком.

Как все изменилось. Или все то же, а в сердце все изменилось.

На горе с голубоватой мглой подымается громада собора. Золотые точки куполов играют, мешаясь со звездами.

Выстрел, другой, третий, — я прислушиваюсь: не слышно ли где свиста пуль в ночной тишине.

Этот собор строили сорок лет, и трижды, когда сводили купол, он обваливался до основания с грохотом, окутывая всю округу дымной пылью. Зато красиво и крепко по всему городу вырастали многочисленные дома строителей собора. Едва ли где-либо так весело, так беззаботно, грациозно умели воровать, как на Дону.

Похрустывает по панели ледок по белеющим лужицам. Здесь весна пахнет иначе, чем на севере.

В гостинице у входа меня встретил казак со штыком.

Утром солнце все залило, петухи поют, почки надулись, голоса у всех звонкие.

Встречаю знакомого.

— Откуда?.. Как?.. Ведь к нам никого... мы никуда... отрезаны были два с половиной месяца — ни писем,

ни телеграммы, ни почты. Совершенно ничего не знали, что делается на свете. Ленин убит... Дарданеллы прорваны англичанами. Немцы дошли до Урала. Правда ли это?

Начинаю расспрашивать о знакомых.

— Доктор Брыкин убит перед вступлением советских войск. Приехали два офицера на извозчике, попросили одеться, увезли, убили, бросили в колодец. Убили и извозчика, чтоб не выдал. Убивали рабочих. Приговорили к смерти целый ряд лиц. Из офицерства организовалось террористическое общество, которое и выносило смертные приговоры. Завели охранки с жандармами, со шпиками, честь-честью. Генерал Жерве завел систему «троек» для агитации. Ввели статистику, дневник дела заподозренных, характеристики, чертили кривые неблагонадежности, — ну, департамент полиции! Больнее всего, что ребятишек — учащуюся молодежь — втягивали в это, — сыск, взаимные подозрения, тлетворная атмосфера.

Ребятишек всячески и по-иному втягивали в борьбу. Начиная с третьего, четвертого класса, их тянули в партизаны. Весь город пестрел плакатами, на которых всячески увещевали поступить в добровольцы.[10] Вот образчик:

«У вас две руки, две ноги, неужели вы до сих пор не отдали их на служение отечеству? Позор! Идите же запишитесь в добровольческий отряд».

Дамы, барышни, гимназистки все свое обаяние пускали в ход. На улицах, на вечерах, в театре, на гуляньях подходили ко всем молодым людям, к мальчикам, стыдили, уговаривали, кокетничали. Родители тоже уговаривали детей итти в партизаны, добровольцы, — слишком были уверены в торжестве Корнилова,[5] Каледина,[6] Алексеева.[11] И учащаяся молодежь ринулась записываться. Целыми классами, целыми курсами. Ведь тут ветеринарный, политехникум, учительская семинария, гимназия, реальное и другие училища. Уверенности в победе тем больше было, что подлые услужающие газеты «Вольный Дон» в Новочеркасске и «Приазовский край» в Ростове врали, не покладаючи рук. С их страниц сыпались победы алексеевцев и поражения советских войск.

Любопытно, что Корнилова, который командовал отрядом, всячески прятали, говорили, что его нет на

Дону, — видно что прославился своим предательством. Всем орудовал Алексеев. Он требовал осадного положения, смертной казни, самых жестоких мер, всеобщей мобилизации. Каледина оттерли.

Насчет жестокости алексеевцы охулку на руку не клали: за городом найден ряд тел красногвардейцев.[12] Они были взяты в плен, их гнали и рубили им уши, руки, пока не падали; тогда разрубали головы.

Новочеркассцы, отуманенные реляциями о победах, и не подозревали о катастрофе: она разразилась, как гром.

Целую ночь добровольцы под страшной тайной возили что-то. На улицах были расставлены часовые. Показывавшихся убивали. Утром добровольцы со штабом, с генералами исчезли. К ужасу чистой публики и особенно родителей, отдавших своих сынов в партизаны, вступали советские войска.

Нашли семнадцать трупов дрогалей, которых ночью, оказывается, добровольцы заставляли перевозить захваченное в банках золото. Когда они перевезли, их убили, чтобы они не выдали тайны. Думают, что всего золота добровольцы не могли с собой увезти, — часть зарыли и скрыли в Новочеркасске, а возчики были убиты.

Отчаяние и ужас охватили родителей, дети которых ушли в придонские степи, расположились в зимовниках и ждут, чтоб прорваться в Екатеринодар или к горцам на Кавказ, или в глубь степей к калмыкам. На них послано несколько сотен казаков.

Закипела организационная работа. Уж такая моя участь. Всюду, куда ни попадаю на юге, люди среди страшной разрухи, устраиваются только к творческой жизни. И в Новочеркасске среди полной разрухи, оставленной генералами, в огромном здании бывших судебных установлений организовались отделы, подбирались люди, налаживалась работа.

Кадеты — адвокаты, судьи, журналисты, крупные капиталисты, вроде Парамонова, известного когда-то издателя «Донской речи», разбежались, как крысы.

Людей нет, работники задыхаются: двадцати четырех часов нехватает. А генералы постарались все разрушить: продовольственное дело разбито до основания, — в Новочеркасске четверть фунта хлеба на человека; народное просвещение, — все учебные заведения стали; транспорт почти погиб.

Теперь все это налаживается неимоверными усилиями.

А тут голод в северных округах. С областью сношения оборваны; Новочеркасск, как остров. Отовсюду требуют семян на посев.

Молодой Новочеркасский совет рабочих и казачьих депутатов изо всех сил работает. Крестьяне пока в нем не представлены — не сорганизовались. Как только сорганизуются, пришлют своих представителей.

Выходят «Известия» совета. Принимаются меры к проведению всех декретов народных комиссаров.

# ПОЛИТКОМ

Как из весенней земли густо и туго пробиваются молодые ростки, так из глубоко взрытого революционного чернозема дружно вырастают новые учреждения, люди, новые общественные строители и работники.

И не потому появляются и живут, и крепнут, и развиваются, что новые учреждения вновь организуют сверху, новые должности вновь создают сверху, а потому, что в рабочей толще и в толще крестьянской бедноты произошел какой-то сдвиг, какие-то глубокие перемены, которые восприняли эти новые ростки и дали им почву.

Передо мной открытое юное лицо политического комиссара третьей бригады. Чистый открытый лоб, волнистые светлые, назад, волосы, и молодость, смеющаяся, безудержная молодость брызжет из голубых, радостно смеющихся глаз, из молодого рдеющего румянца, от всей крепкой фигуры, затянутой в шинель и перетянутой ремнями, от револьвера и сабли.

Коммунист, — крепкий партийный работник из Петрограда. И, радостно смеясь лицом, всей своей фигурой, глазами, говорит:

— Ведь, знаете, даже смешно. Один ведь, в сущности, среди массы красноармейцев. Все вооружены, часто усталые, раздражены, а слушаются одного. Часто заберутся на подводы и едут. Подходишь и сгоняешь. Это необходимо. Все соскакивают и идут. Есть что-то, что заставляет их слушаться, помимо боязни. Признание моей правоты, что правда на моей стороне. В этом сила политического комиссара. И в этом его противоположность с командным составом. Последний на жалованьи, и так это понимается. А политкомы за со-

везть, и так это и понимается. А все-таки красноармейскую массу надо держать, и крепко держать в руках. Тут уже не ротозейничай, слюни не распускай. Политком должен на такой недосягаемой высоте стоять, и — твердость, ни малейшей уступки! Уступил — все пропало! И это не во внешних отношениях. Тут с ними и шутишь и балуешься, а как только к делу, политком для них — бог, вот на высоте. И чтоб ни одного пятнышка. Другой может устать, политком нет. Другой хочет выпить, ну, душу хоть немного отвести, это же естественно, политком — нет. Другой поухаживает за женщиной, политком — нет. Другой должен поспать шесть-семь часов в сутки, политком бодрствует двадцать четыре часа в сутки. И так и есть. И в этом сила. А в красноармейских массах признание правоты всего этого. И от этого та глубокая почва, на которой вырастают побеги железной дисциплины.

Он на минутку примолк, все такой же юный, румяный, крепкий и все с такими же радостно смеющимися глазами от своей молодости, от переизбытка сил.

У меня больно заныло сердце.

«Убьют. Политком, как бог, без пятнышка, стало быть, всегда в первых рядах, а пулеметы косят».

— А иногда жуткие бывают минуты, — сказал он, глядя на меня и ласково смеясь милыми глазами, — жуткие, не забудешь. Звонят мне по телефону: вторая рота отказывается выступать на позицию. Видите ли, командный состав прежде подделывался под старших, под свое начальство, ну, а теперь под армейскую массу, боятся. Вот ротный, вероятно, под шумок и шепнул: товарищи, просите, чтоб соседнюю роту послали. А то всё вы да вы. Небось, заморились. Ну, рота обрадовалась и уперлась: не пойдем, замучились: посылайте соседнюю роту. Ну, знаете, тут одной секунды упустить нельзя. Беру трубку и говорю спокойным и отчетливым голосом: «Я иду в роту. Если к моему приходу рота не уйдет на позицию, то ротный будет расстрелян, взводные будут расстреляны, отделенные будут расстреляны», и положил трубку, не слушая никаких объяснений. Потом пошел в роту. Шаги делаю коротенькие, и кажется, будто бегу. С четверть версты итти, а мне кажется, будто я их пробежал. Вхожу — никого... Гляжу, из балки хвост роты подымается, —

на позицию пошли. Гора с плеч свалилась: если бы застал, расстрелял бы, как сказал, иначе нельзя. И вот отсюда напряжение, понятно.

— Устали?

— Да нет, — заговорил он радостно, — чего уставать-то, некогда уставать-то — день и ночь ведь.

Как молодой конь, выпущенный в раннее утро во весь повод, несся он, и ветер резал его, и травы и цветы ложились под ним, и пена клочьями неслась назад, а ему все мало, он все наддает, все прибавляет, и нет конца бегу. Таким в работе, в строительстве армии, в строительстве дисциплины армии был этот юноша, с залитыми румянцем щеками.

Среди боевой тревоги, среди реющей смерти, бессонницы, напряжения, как непрерывно падающие капли, комиссар непрерывно внушает красноармейцам, за что они бьются, что было прежде и что грядет огромное мировое счастье человечества.

Маленький городишка, заброшенный и скучный, в снегах по самые окна. Сверху низкое иссера-снежное небо.

За крайними избами дымятся по пустынным степям метели.

А мы сидим в теплой низенькой мещанской комнатке. Печка столбиком посреди комнаты. На стенах деревянные фотографии с одинаковыми черными точечками в глазах. И, странно выделяясь, как музыкальный аккорд среди уличной шарманки, молча стоит пианино. Дочка-гимназистка играла. Вышла замуж, ну, и пианино не нужно.

Мы сидим за столом. Керосин на сегодня есть, и в комнате светло. На столике у стены то-и-дело цыплячьим голосом поет телефон.

Комиссар поминутно встает, отдает приказания, запрашивает, проверяет, цела ли цепь, и опять говорим, говорим, говорим.

Ведь я же свежий человек для него — оттуда, где он так давно, давно не был, и принес кусочек того мира, той жизни. Приносят пакеты. Он посылает. Иногда на полуслове подымается и уходит. А когда приходит, папаха, шинель, лицо, все занесено обмерзлым снегом.

— Я — литвин, — говорит он, глядя на меня серо-

голубыми глазами, — мой отец крестьянин. Знаете, у нас народ такой неподатливый, упорный, идет своей дорогой, его не своротишь. Бедный народ, но твердый. Вот и у отца бедность тяжелая, но он молча и упорно пробивал жизнь железным трудом.

Я смотрю на него: белолицый, под ушами бачки. Молодой, а фигура железная, видно, крестьянский сын, но речь, но движения руки — интеллигента.

— Я ведь художник. А как это вышло? — вот как. Рисовал я хорошо в школе; учитель говорит — тебе учиться надо. Я к отцу. А он сурово: мы — мужики, жили в лесу да в поле, тут нам и назначено, тут и делай во-всю свое дело. Но ведь я — литвин и в отца пошел, и вырос в лесу и в поле. Отец сшил мне сапоги. Это было целое событие. Сапоги! Сапоги — вечно босоногому лесному мальчику. Я готов был их на руках носить. Но я потихоньку отнес и незаметно поставил их у отца под кровать. У отца вынул три рубля, оставил отцовский дом и пошел, полуодетый, разутый, через поля и леса в неведомые города. Только я дал себе клятву, что это не будет воровство, а я из первого же заработка пришлю отцу. И еще дал клятву: как бы туго мне ни пришлось, хоть с голоду буду умирать, но к отцу не буду писать, пока не стану на ноги. И клятву сдержал. Где и чем только я не был: и у сапожника учеником, и у парикмахера, и у слесаря, и у живописца.

И всюду пил горькую чашу ученичества. Наконец я сколотил пять рублей, первые пять рублей, и послал отцу. Получил отец, железный старик, долго смотрел на эти пять рублей, и гордостью засветилось лицо. Не оттого засветилось оно, что сын, которого все считали уже мертвым, нашелся, а что пробился своими руками, пробился сын и вырвал у матери земли, такой суровой к детям полей и лесов, вырвал у нее первый заработок. «Живи, сын», сказал отец. Это было его благословение. В конце концов я попал в художественную школу в Риге. И вот тут-то стал из меня выковываться социалист сознательный. Несознательно, как и в отце, как и во всех нас, крестьянах, среди наших полей и лесов, жило постоянное чувство борьбы, чувство всегда готового вырваться отпора. На моих глазах великолепно жили бароны, учившиеся в школе, я нищенствовал. Они были бездарны, меня профессора

и художники выделяли как даровитого. Я едва мог сколотить на плохие краски, на плохие кисти, полотно; у баронов было всего вдоволь и все великолепное. Бароны презирали меня за нищету, я их — за бездарность. Вы понимаете, я не мог быть ничем, как большевиком. И я — литвин.

Он достал несколько своих альбомов. Великолепный, смелый, подчас оригинальный рисунок. И в каждом — свое внутреннее содержание.

Я долго и внимательно рассматривал альбом и говорю:

— Отчего вы сейчас не работаете? Ведь кругом море, бескрайное море типов, положений, событий, оттенков человеческих лиц. Ведь вы все это можете черпать безгранично рукой художника.

У него засветились возбужденные ласковостью голубые глаза.

— Это было бы для меня такое счастье, такое счастье! Но ведь я... — он опустил потемневшие глаза, — я... комиссар.

— Что же такого? Ведь не пьянствовать же вы будете, не в карты играть, а заносить на полотно то, что кругом совершается. Да ведь эти рисунки, эскизы, этюды драгоценностью будут. За них вам бесконечно будут благодарны и современники и потомство. Ведь сейчас и революционная и гражданская борьба проходит мимо молча. Это не то, что в буржуазную войну. Тогда на фронте тучи корреспондентов были, журналистов. Ведь тогда всё, как в огромном зеркале, отражали и перо писателя и кисть художника. А теперь мертвое молчание. Разве это справедливо? Вам судьба дала талант и возможность закрепить на полотне все виденное, а вы упускаете время.

Он опять твердо сказал:

— Я — комиссар.

— Ну, так что же из этого? Вам еще видней, больше народу перед вами проходит, больше всяких положений.

— Нет. У всех есть время, свободное от обязанностей, — у командного состава, у красноармейцев. Нет его только у политического комиссара, у политкома части. Все двадцать четыре часа он принадлежит не себе, а своей части. Конечно, я мог бы улучить минутку каждый день, чтобы сделать зарисовку, набро-

сок, этюд без ущерба для дела, но, вы понимаете, сейчас же кругом подымется: политком только и знает, что рисует. Нет, я лишен этой возможности, этого счастья.

Мы заговорили о Чурлянисе.

Он так и вскинулся:

— Чурлянис!.. Да ведь это же гениальный художник. Я знал его. Я учился у него.

Мы, забыв обо всем, заговорили о живописи, о судьбе художников, о будущем творчестве. Он весь горел, охваченный жаждою высказаться после долгого молчания в уфимских степях. Но поминутно подходил к телефону, по-цыплячьи пищал в него или ему пищали; входили с пакетами; он, на полуслове отрываясь, отдавал приказания. И опять мы, как два заговорщика, в зимние сумерки в мещанском домике, занесенном по окна снегом, жадно говорили об искусстве и литературе, о человеческих судьбах, о судьбе России и Литвы. О чудовищной революционной катастрофе, потрясающей весь мир.

Стояло и слушало молчаливое, на котором никогда не играют, пианино, печка, как белый столбик, посреди комнаты, мещанские портреты, одинаково напряженные, с одинаковыми черными точечками в глазах.

— Отчего вы не закончили вашего художественного образования?

— На войну взяли, война сожрала. Четыре года на войне да вот второй год в революционной борьбе. Пулеметным огнем ранен в обе ноги. Ноют, подлые. Сильно контужен был. И... и вам только, по секрету — устал. Но никто этого не видит, никто этого не должен знать. Комиссар не знает усталости, ни болезни, ни последствий ран. Он не знает необходимости отдыха, сна. Двадцать четыре часа на ногах, готовый каждую минуту отдать приказание или впереди цепи итти в атаку или расстрелять ослушника, и чтоб ни на одну секунду не мелькнул в глазах меркнущий огонек усталости.

А сколько у него жадности жить жизнью художника, жизнью творческого созидания! Все задавил в себе, все принес пролетариату, революционному крестьянству и сказал:

— Нате, берите меня всего, черпайте до конца, весь ваш!

Разумеется, несомненно есть и комиссары, не отвечающие своему назначению, но я таких не встречал. Политком день и ночь на виду у тысячи глаз, и малейший промах, малейшая ошибка, пятно — и он летит с места или идет под расстрел.

Жива Красная армия, и лучшее, что есть у пролетариата, у революционного крестьянства, у революционной интеллигенции, все это идет на служение ей.

## ФАБРИКА

Иду в штаб.

Было невытравимое ожидание встретить военщину, — не военную обстановку, это естественно, — а именно военщину. Как бы ни изменились времена, вытравить сложившееся веками невозможно.

Мне приходилось бывать в штабах в Галиции. И с тоской, бывало, вглядываешься в офицерские лица: ведь и у них же бьется сердце человеческое, и ищешь человека, и не находишь — все мертво, задавлено писаной и неписаной субординацией. И дело, разумеется, не во внешних только признаках подчинения, не в эполетах, не в знаках отличия, а в страшном, мертвящем отсутствии человеческого достоинства, с низу до верха. И оттуда — в страшном отсутствии чувства ответственности. И когда я, бывало, входил в блестящий штаб, я будто входил в гробовое помещение, обитое золотом и серебром и переполненное гнилью и мертвечиной.

И как же радостно было теперь, когда я пришел... домой. Это — мой дом. Кругом милые лица товарищей, пронизывающих всю работу штаба. Ни угодливости, ни заискивания, ни высокомерия, — свое.

Штаб, это — огромная фабрика, где командный состав — искусные инженеры, а товарищи-коммунисты — сердце, горячие биения которого отдаются в самых дальних уголках огромной фабрики.

И инженеры, и сердце, гонящее по фронту пролетарскую кровь, пролетарские дымящиеся мысли, волю, настойчивость, — спелись, работают дружно. Саботажники изгоняются и караются нещадно. Наверно, все-таки они есть, но все по-собачьи поджали хвосты и работают, не оглядываясь.

Теперь одно можно сказать: высшее командование партия сумела взять в свои руки.

Работу коммунисты несут колоссальную. В данный момент ее даже не учтешь. Они дают Красной армии газеты, библиотечки, литературу; они агитируют, они охраняют армию от саботажников, от измены.

Днем и ночью, не смыкая глаз, они берегут, как зеницу, рабоче-крестьянскую силу.

Воистину, Коммунистическая партия несет армии жизнь. Без партии здесь воцарилось бы разложение и смерть.

В группах коммунистов, разбросанных по штабам, есть и неровности. Всякая партия включает в себе работников различной партийной напряженности, различной внутренней значительности. Есть закаленные бойцы, есть побледнее.

Это естественно и неизбежно, и нет в этом ничего ни худого, ни опасного.

А вот что худо и опасно: нет внутри партийных групп взаимной связи.

Это уж опасно.

Надо принять во внимание: работы у коммунистов подавляюще много, отдыха никакого; здесь нет ни воскресений, ни праздников, ни перерывов, — изо дня в день все та же напряженность.

И все-таки партийная жизнь должна быть. Она всех объединит, подтянет слабеющих, осмыслит всю работу.

Наиболее энергичными товарищами уже делаются в этом направлении усилия.

Великой мукой, великой ценой идет невиданное строительство Красной армии.

## СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА

В тесную избу, где пахло овчиной, ребятишками, шуршали тараканы и все больше и синее сгущались морозные сумерки, набилось много народу, — все коммунисты, все представители партийных ячеек, как бродило, действуют на массу.

— Эх, керосину нету, и на заседание не хватит.

Кое-как зажгли лампу. И из загустевших сумерек опять выступили все молодые, юные лица с чуть намечающимися усиками, а то и голые.

— Ну, так собрание открываю, — говорит председатель коллектива, он из Сокольнического района, — а секретаря не надо, хоть десять секретарей наберем, а протокол все равно мне придется вести, уж я знаю по прошлому опыту.

Смеются.

— Нет, ничего, выберем; пусть составит, а то вас, товарищ, совсем заездим работой.

— Порядок дня: 1) Протокол предыдущего заседания; 2) Об отделе снабжения...

— Ага-га-га, вот, вот... вот их надо хорошенько! — зашумела изба.

— Вот он, отдел, у нас где сидит! — хлопнул себя по шее один.

— 3) О необходимости выдачи красноармейцам жалованья мелкими знаками; 4) Заявление политкома подотдела бригады; 5) Отчет по устройству праздника Октябрьской революции; 6) Необходимость организации разведки.

— Ладно.

Политический комиссар бригады с худым лицом, сухим и умным. Должно быть, чахотка. Бывший анархист. Теперь коммунист. Фанатик. Петроградский ра-

бочий. Он говорит, опустив глаза, шевеля длинными, музыкальными пальцами. Иногда подымет глаза и глянет на товарищей остро и пронизывающе.

— Дело с отделом снабжения обстоит так. Отдел забрался за двести верст от фронта, и не угодно ли туда ездить за хлебом? Поехать туда, это нужно по меньшей мере недели полторы — две. Значит, и люди и лошади будут отняты у части на целых полторы недели. Конечно, никто не ездит, а получают у крестьян тех деревень, где части расположены. И мы буквально объели население. Все сожрали, как саранча. Крестьяне начинают волноваться. Понятно: мы все сожрем, уйдем, а у них голод. Я прямо должен сказать: отдел снабжения дает такие же результаты, какие бы дала самая отъявленная контрреволюционная пропаганда. Только это — контрреволюционная пропаганда делом. Население начинает нас ненавидеть. Этого, что ли, мы добиваемся?

Негодующе загудела изба.

— Назначение армии не только сражаться, но и пропагандировать Советскую власть всюду, где покажется красноармеец, а мы вместо этого вражду к ней несем.

— Чорт знает, что такое!

— Надо составить резолюцию в самой резкой форме и послать в Революционный военный совет армии.

— Этим господам, конечно, очень удобно сидеть в Мелекесе за двести верст от фронта и трубочку покуривать.

Лампа стала чадить и гаснуть. Тени расползлись, а лица стали неузнаваемыми и одинаковыми. Но и в этой серой мути все метались раздраженные голоса.

— Товарищи, самую резкую резолюцию! Обозвать их всех распроконтрреволюционерами.

Кто-то достал гробовую свечку, зажег и приклеил. Тоненькая, желтая, с желтым колеблющимся язычком, она скупо озарила величайшее приобретение Красной армии: ничего не упускающий бродильный грибок — коммунистическую партийную ячейку. Внутри тела самой армии она стоит на страже ее интересов.

— Второй вопрос: о столкновении товарища бригадного политкома с подотделом. По этому поводу уже выработана резолюция, и ее только утвердить. Мы целиком на стороне нашего товарища. Нельзя давать верхам, тем, кто в центре...

Это — вечная борьба сил на местах с центром. Политком весь захлестнут работой в своей части и среди окружающего населения. Перед ним непосредственно результаты этой работы: рост сознания армии, рост сознания населения, но у него нет общей перспективы. В центре — представление общей перспективы, но нет ощущения непосредственных результатов работы. И так они и качаются и перетягивают друг друга то в ту, то в другую сторону.

Для напряженной работы нужны деньги; политком наложил контрибуцию на кулаков. Из центра говорят: «Этого нельзя».

— Да ведь для работы.

— Это только мы можем сделать.

— Да пока вы это сделаете, наша часть передвинется, упустим время и место.

— Вы должны подчиняться закону.

— Да ведь и инструкций нет.

— Они вырабатываются. А если каждая местная организация будет действовать за свой страх, так ведь это анархия.

— Вы мертвой буквой хотите задавить живое дело.

— Мы его спасаем, упорядочивая.

Так то сей, то оный набок гнется. Кто прав? Коллектив второй бригады ответил: «Наш товарищ, ответственность за которого мы несем все». А центр ответил: «Мы, разумеется, правы: мы несем ответственность за всё».

— Третий вопрос. Необходимо красноармейцам выдавать жалованье мелкими знаками. А то теперь что происходит? Выдают билеты в двести пятьдесят рублей. А то дают на несколько человек тысячерублевый билет. Что же им с ним делать? Ведь не раздерешь его на несколько частей.

— Да разрежь его на три части.

— Насмешка...

— Это в деревне-то на тысячи рублей билет. Здорово...

— Ну, и вот что происходит. Приходит красноармеец в избу к крестьянину. «Ну, товарищ, как бы мне подзакусить, да и коня маленько подкормить». Наестся, напьется, коня накормит. Надо расплачиваться. «Сколько с меня?» — «Ды сколько: скажем, за молоко — ну, трешня. За яйца — ну, семь рублей. За свинину —

двенадцать. Хлеб — рублевка. Еще сноп овса пущай пятерка, стало быть двадцать восемь рублей». Красноармеец достает тысячерублевый билет и подает: сдачи! Крестьянин весь потемнеет с лица, повернется молча спиной и уйдет со двора, либо уедет в лес за дровами. Ну, а красноармеец, что же ему делать? Спрячет билет, не разгрызать же его ему на части, сядет на лошадь и уедет.

— Что же вы думаете, хорошие отношения вызывает это в населении к Красной армии? Та же контрреволюционная работа. Одной рукой мы посылаем в деревню агитаторов, шлем литературу, а другой всячески вызываем в этом населении вражду, порой дикую, к этой самой Красной армии.

— Мало этого, мы вместе развращаем и самих красноармейцев. Он и рад заплатить и честью хочет это сделать, да как же заплатить тысячерублевым или даже двухсотпятидесятирублевым билетом? А потом привыкнет, и приятно: сам наелся, конь сыт, и денежки в кармане. Один разврат.

— Ну, товарищи, резолюцию, да поядренее надо закатить.

Уж короче и короче становится поповская восковая свечечка. Лиц не разберешь. Густо до самого потолка стоит одуряющий махорочный дым. Надо торопиться, а то совсем расплывется свечечка по столу.

— Теперь отчет по устройству праздника Октябрьской революции в деревне, где мы тогда стояли. Праздник удался на славу. Мы получили много красной материи. Сделали флаги, украшения. Для крестьян был чай. Школьникам и бабам раздавали орехи, пряники, ситец, конфеты. Были митинги, разъяснения событий, речи. Ну, так все остались довольны, так довольны, просто до невероятности. Особенно бабы, так те уже через край — целоваться лезли. «Вот вы, говорят, какие! Родные вы наши... Как в первый раз вас увидали... А мы все ждали, когда вы нас резать начнете, и скотину резать, и всех, а вы вот какие, гостинцами оделили, глаза нам разули. А то, чего мы знали, чего видали, чего слыхали? Дай вам бог победы. Вы от нас только не уходите». Вот отчет, вот оправдательные документы.

— Товарищи, теперь необходимо вырешить вопрос об организации разведки среди неприятеля. Хотя раз-

ведка и ведется, да все что-то не так, как надо, с малыми результатами, оттого и неожиданные сюрпризы бывают. Необходимо это дело на должную высоту поставить. Вы понимаете, как это важно для всей армии.

Начались горячие прения и обсуждения, как это сделать наилучше.

Потом началось обсуждение приказа об организации во всех частях так называемых десятков.

Десяток в роте, скажем, должен состоять из коммунистов или сочувствующих и должен нести всю ответственность за жизнь роты на себе, вплоть до расстрела, — ответственность за всю духовную жизнь роты и за ее боеспособность.

Я стал вслушиваться в прения, и что же оказалось: эта мысль еще до появления ее в центре уже стала осуществляться в армии коммунистами. Как раз этот коллектив коммунистов второй бригады выработал такие организации. Они назвали их «взводами». Только, в противоположность проекту центра, эта новая ячейка, десяток или «взвод», как там назовут, — не должна выделяться из части, не должна ставиться вне ее, а должна жить с нею родною жизнью.

— Теперь, товарищи, надо употребить все усилия, чтоб заставить дать нам полевую почту. Ведь это разврат один: красноармейцы не могут отослать домой деньги и начинают играть в карты, разыскивают самогонку, и мы же начинаем их наказывать. А отошли он деньги, и соблазна нет. Ведь даже в царские времена всюду в армии была полевая почта, а революционная армия лишена ее. Ну, разве не возмутительно это?

Так Красная армия живет, дышит, думает, творит и созидает новые формы.

## САМОИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА

Чем больше я присматриваюсь к строю и жизни нашей армии, тем радостнее становится на душе.

И не то, чтоб не было тут ошибок, промахов, упущений. Есть и ошибки, и промахи, и упущения, и злоупотребления, и иногда в достаточном количестве. Но драгоценна та изумительная гибкость, с которой армия, обернувшись, тут же сама зализывает свои раны, выправляет свои упущения, вытравляет свои злоупотребления, вытравляет каленым железом.

И не потому, что на это строжайшие распоряжения, приказы и декреты из центра. Как центр ни силен, его всегда на местах сумеют свести на нет, — примеров не занимать стать.

— Нет, тут не в центре дело, а в том громадном чувстве самоохранения, которое пронизывает армию. И оттого так быстро очищается всякий гнойник, затягивается всякая рана.

Вот я сижу в комнате политического комиссара и всматриваюсь в тысячи дел, которые обрушиваются сюда, вслушиваюсь в торопливый говор сотен людей, из которых каждый несет свое неотступное.

Прежде в Москве издали мне казалось, что комиссары несут только отрицательную работу — караулят командный состав.

— Ничуть.

Они несут колоссальную повседневную работу, на которой держится вся жизнь армии, ежеминутно тут же на месте не канцелярски, не бумагой, а живым распоряжением решая самые разнообразные дела.

Великолепный волжский мост от Симбирска рухнул последним пролетом на левом берегу. Уже когда Симбирск был взят, и белые отброшены, небольшая бан-

да их пробралась и взорвала пролет, — губы-то мы умеем распускать.

Инженер долго возился, тянул, а когда дальше тянуть с восстановлением моста стало нельзя, темной ночкой бежал. Отдан приказ об аресте, — поймают, расстреляют.

Поручили другому. У этого дело пошло скоро, наднях мост будет готов. Но идут бои, нужны переброски сию же минуту; по Волге идет сало, нельзя перевозить пароходами, нужен временный настил на мосту.

И уже комиссар—инженер; уже он втянулся в механизм мостовых построек, он все время напряженно учится в деле. И инженер говорит:

— Хорошо. Как только понадобится, позвоните по телефону, через три часа настил будет готов.

Он знает, что говорит: или настил будет готов, или надо будет бежать.

Но комиссар не только инженер, он — седельник, когда приходят кавалеристы и начинают толковать о седлах; он — санитар и врач, когда решаются вопросы об устройстве раненых, он — специалист всюду, где требует дело.

И это не с кондачка, не с налету, он напряженно учится все время в деле, а если не одолеет, зовет специалиста. Но не спихивает ему на руки дело, нет, он видит в нем только эксперта, он высосет из него все, что нужно.

Санитарное дело, нужно сознаться, поставлено плохо, — ни санитарных поездов, ни оборудования, ни врачей.

Кстати, куда же подевались великолепные поезда земского и городского союзов?

Их с аптеками, с операционными, с сестрами милосердия, с врачами отправляли за... хлебом. Хлеб возили в санитарных поездах. Теперь раненых возить не в чем.

С великими усилиями оборудовали в Симбирске госпиталь. Но стояло затишье, и все это оборудование, руководствуясь совершенно неправильной системой, забрали на другие фронты. Симбирск остался голый.

И вдруг грянули бои, жестокие бои. Разом прислали с фронта и — это было огромным упущением — не предупредив, четыреста раненых.

А для них ни кроватей, ни белья, ни тюфяков, ни

места. Хоть на снег клади. Было от чего в отчаяние притти.

Но в отчаяние не приходили, раненых не бросали в теплушки, не сбыли с рук куда-нибудь в тыл, не написали рапорта: «выполнить нет возможности, ибо ничего нет», — и формально были бы правы.

Нет, все поставили на ноги, перерыли весь город. — Комендант сказал монахиням: вы спите на мягких пуховиках; кельи у вас теплые, положите пуховики на пол, а кровати раненым. Обошли буквально все квартиры и, где нашлись излишки белья, взяли, не обижая жителей. Одеял совершенно нельзя было достать — у всех в обрез. Нашли солдатское сукно, пригласили безработных, нарезали сукна на одеяла.

Через четыре часа четыреста раненых, накормленные, перевязанные, обогретые, лежали на кроватях, с тюфяками, подушками, чистым бельем, под теплыми одеялами, а не тряслись по рапорту в теплушках в дальний тыл.

Это — эпизод. Да, эпизод, но из таких эпизодов строится вся жизнь армии.

Велика творящая и самоисцеляющая сила армии. Ибо армия эта оплодотворена великой силой, великой волей, великой действенностью коммуниста, — коммуниста как представителя пролетариата.

*РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ*

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ[12], ЕДУЩИМ НА ДОН, ОТ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА Р. С.-Д. Р. П.

## НАКАЗ *

Товарищи и братья наши!

Вы несете свои молодые жизни на борьбу с последним оплотом угнетения замученного трудового люда, вы идете против засевших с ген. Калединым на Дону и на Украине помещиков.

Вы идете туда, и наши глаза, не отрываясь, все время будут смотреть в ту сторону; наши помыслы, наши тревоги, наши радостные надежды будут тянуться за вами, и наши сердца будут биться вместе с вашими сердцами.

Как пролетариат во всех революционных выступлениях идет впереди восставшего народа, так и вы, дети пролетариата, идете впереди революционных войск и открываете беспощадную борьбу с кровавыми угнетателями трудящихся — с буржуазией.

Помните: во всей России сломлена сила помещиков и капиталистов, и последнее свое убежище они нашли на Дону и на Украине, у донских и украинских помещиков и богатеев.

---

* Прокламация эта была написана Серафимовичем по поручению Московского комитета партии. Тогда очень торжественно провожали отряды красногвардейцев на борьбу с Калединым. Выдвинула Серафимовича, как автора «напутствия», тов. Землячка, входившая тогда в Московский комитет.

Помещик — генерал Каледин поднял восстание против рабочих, крестьян и солдат. Он старается захватить на юге каменноугольные шахты, чтобы не дать городам, фабрикам и заводам угля, — пусть, мол, вымерзнут жители городов; пусть остановятся фабрики и заводы и нельзя будет наладить снабжение крестьян-землеробов мануфактурой и железом. Он старается захватить железные дороги и уже не пропускает в Россию и на фронт хлеб, — пусть вымирает население, пусть вымирают от голода солдаты в окопах. И когда эту разруху он доведет до высшего предела, снова возьмут власть в свои руки помещики, капиталисты, генералы, архиереи, — вернут себе земли и огромные барыши, затопят народной кровью русскую землю, наденут на шею трудящихся еще не виданное ярмо бесправия, и застонет русский народ от невыносимых налогов.

Как это всегда бывало, донские помещики, капиталисты, и украинские и прибежавшие к ним наши российские, ведут борьбу за власть, за землю, за капиталы обманом. Как прежде при царской власти обманутые темные солдаты, не ведая, что творят, стреляли в своих братьев-рабочих, так казаки и украинцы ныне обманываются своими генералами, офицерами, помещиками, которые их пугают тем, что будто бы рабочие и крестьяне хотят отнять у них земли, отнять у них волю.

Товарищи красногвардейцы, громким голосом скажите вашим братьям-казакам, вашим братьям-украинцам: это полный обман. Никто на их земли не посягает, ибо они такие же труженики, как и рабочие; они так же пòтом своим поливают родную землю, как и крестьяне. И они так же страдают от гнета своих генералов, офицеров, помещиков и капиталистов, как и весь трудящийся люд России. И они так же несут всю неизмеримую тяжесть государственных расходов, как рабочие и крестьяне остальной России, в то время как помещики и капиталисты пожинают обильные плоды ими не сеянного.

Пусть же подымутся братья-казаки и братья-украинцы, пусть стряхнут с себя кровавых обманщиков, пусть не дадут надеть всероссийское ярмо беспощадной помещичьей власти на шею великому русскому и украинскому народу. Пусть помнят братья-казаки

и братья-украинцы: у них свобода, у них воля, у них неутесняемая земля только до тех пор, пока свобода у всероссийского рабочего класса, у всего российского крестьянства.

Идите же вы, молодые стройные ряды Красной гвардии, идите выбивать помещиков и капиталистов из их последнего убежища, идите с великим сознанием, что боретесь не с обманутым тружеником-народом, казаками и украинцами, а с злыми угнетателями всего русского трудящегося люда — с помещиками и богатеями.

Когда царское правительство слало свои войска на бой, духовенство с молебнами, с водосвятием, с хоругвями об одном только старалось — переполнить сердца воинов кипучей, неугасимой ненавистью, и это для того, чтобы ненавистью погасить сознание и братское чувство между людьми.

Пролетариат же, посылая вас, громко говорит: товарищи, не злобу и жестокость несете вы братьям-казакам и братьям-украинцам, а боль сердца и ласковое просветленное слово убеждения.

Помните: казаки и украинцы — ваши братья, ваши так же веками замученные братья, как и вы. Протяните же им братскую горячую руку и этой братской любящей рукой перетяните их на сторону трудящегося русского народа.

Пусть и у них широко откроются глаза на мир: пусть и они, замученные и усталые, полившие землю своей кровью в угоду богачам, пусть они увидят, что и для них пришел великий день освобождения от помещиков, от богачей, от генералов, от офицерства, ото всех, кто кормился их кровавым трудом.

И вместе, рука об руку вы свергнете последнюю заговорщическую кучку помещиков и капиталистов.

Совершите же ваш подвиг, и засияет невозбранно знамя свободы и счастья трудящихся над всей русской землей от края и до края.

Да здравствует борьба рабочих, крестьян и солдат против капиталистов и помещиков!

Да здравствует международная революция!

Да здравствует социализм!

Московский комитет Р.С.-Д.Р.П.

## БЕЗ БИЛЕТА

Мне надо было ехать из Новочеркасска в Ростов [4]. Вагон четвертого класса нетопленый и пустой — никого. Дымится остывающее дыхание.

На платформе обычная новочеркасская публика, много казаков. Не видно только офицерских погон, которые прежде всюду мелькали.

Протаскивая огромные мешки, гремя винтовками и шашками, пролезают в вагон два казака в черных куртках, с которых течет масло.

— Ффу-у т-ты, божжа мой!

Сваливают мешки, отирают, сняв серые папахи, пот.

— Ну, слава богу, добрались. Теперича попасть нам на свой поезд, и ладно.

Оба плечистые, грудастые степняки. У одного обвисли по-украински усы, у другого славные серые глаза и ус вьется. Чисто выбритые подбородки, и та особенная казарменная выправка, которая так неприятна.

— А скоро будем в Ростове?

— Да вот я ехал полсуток сорок две версты.

— Оказия! Что тут делать?.. Заморозились, по семьям скучились вот до чего...

Я присматриваюсь, — лица усталые, сосредоточенные. Мы сидим молча, не говорится, и все чуть дымится у рта холодеющее дыхание. И вдруг толкнуло, и платформа, и люди, и вокзал поплыли мимо.

Казаки оживились:

— Да неужто тронулись? Вот диковина! Это мы живым манером в Ростове будем. А там на свой поезд, и марш. До нашей станицы два часа от Ростова. Кагальницкая. Лишь бы не загнали нас куда в тупик. Па-ашел!

Поезд, гремя расхлябанным составом, все ускорял.

Вошел кондуктор с рачьими глазами, покачиваясь от хода, и строго сказал:

— Ваши билеты!

Казаки замялись.

— Да мы... Хто ж ее знает... да мы думали...

— Чево думать, думать нечего, а надо билеты брать. Эдак все думать начнут, железная дорога сядет. В Аксае непременно возьмите.

— Возьмем, беспременно возьмем, — покорно сказали казаки.

Эта покорность смягчила кондуктора. Он присел и стал крутить, слюнявя, папироску.

— Главное теперя — это народное достояние. Прежде, бывало, сколько этого зайца возили, да я сам возил. Разве мысленно на двадцать пять рублей с семьей в месяц.

— Немыслимо, — подтвердили казаки.

— А теперь сто восемь; хочь и трудно, ну, можно перебиться. Так разве я повезу теперя зайца, когда все это — народное достояние? Чево с вас сало текет?

— Это не сало, а оленафт с сажей. Были у нас кожаны желтые. Ну, один прахтик говорит: вы сделайте их черными, приятнее, и опять же своим достоинством сурьезнее. Мы послухались, а теперь не рады: все белье в сале, руки, ноги, морда — все в сале. Куда ни сядешь, зад отпечатается, лошадь — и та вся в сале.

— Надо было чернилом, а потом олифой, вареным маслом, и дожжа б не боялась. Да вы откуда зараз едете и куда?

— Едем Корнилова[5] ловить, с его шайками биться. А зараз мы из Мариуполя. Это таким оборотом вышло...

Тот, что с серыми глазами, плечистый и стройный, слегка повернулся к кондуктору, который не спускал с лица строгого выражения к безбилетникам.

— Мы — первой сотни сорок первого казачьего полка, може, слыхали?

— Первой сотни, — подтвердили висячие усы и слегка мотнулись.

— Как же, слыхал! — ударил себя по коленке кондуктор и, любопытствуя, пододвинулся к казаку с серыми глазами.

— Да, — продолжал казак, помахивая рукой, — стало быть, наша сотня шестьдесят пять человек, как

один: не пойдем до Каледина [6]. Командир полка, ахвицеры так, сяк, — не пойдем, и шабаш. Под расстрел вас, таких-сяких! Хочь под расстрел, ну, не пойдем.

— Ах, молодцы! — опять хлопнул себя по коленкам кондуктор, сел на самый край скамьи, чтобы быть ближе к казаку, и выкатил на него рачьи глаза: — Ну-ну-ну?..

Казак, как бы не замечая внимания и помавывая рукой перед кондуктором, продолжал:

— Ну, ладно. Приказ нам выступать, да. Ну, поседлал полк лошадей: садись. Господи, благослови! Тронулся полк, а мы налево кругом и марш через Дон. Ну, они покеда то, сё — стой! стой! стрелять не спопашились сразу-то, нас и след простыл...

Кондуктор грузно запрыгал на сидении и так замотал руками, что я слегка отодвинулся, — выбьет глаза забитыми чернотой ногтями.

— Ну, герои... ну, молодцы!..

— Да, идем мы на рысях займищем. Батайск прошли. Энти сотни и погнались за нами, — велено было расстрелять нас, ну, не догнали, — дело на вечер, потеряли след. Ну, хорошо. Тронулись мы дальше, прямо степью к себе в станицу. Думаем, на большое дело пошли, надо родительское благословение принять. Да. Всю ночь шли. Ну, под утро подходим к своей станице, заря займается, екнуло сердце — мать ты, родная сторонушка. Да, приходим. Так и так, мол, за народ встала сотня. Вышли отцы наши, прислухались. «Ах, вы, игрец вас изломай, чево замыслили, — на богоданное начальство руку подняли! Нет вам нашего благословения. Ни воды из колодезя, ни хлеба, ни овса, ни сена, ни макова зернышка. Нет вам нашего благословения. А ежели не кинете вашу игру, проклянем». Бабы ревут, ребята ревут. Затужили казаки. Сбили круг да стали обсоветываться, ну, ни один казак не сдал, не попятил...

— Раки только пятются, — сказал долгоусый.

— ...Побросали пики, на што они нам теперь, остались одни винтовки да шашки, сели на лошадей и потянулись непригретые, без приюту, без благословения.

— Эк-к его! — крякнул кондуктор, отодвинулся, втянул померкшие глаза, уронил руки на колени и болезненно глядел на казака, не отрываясь.

— Так и ехали целый день по степи, только голодные кони головами мотают. Хутора объезжали, — уж ежели отцы нас проводили без корки, без глотка, так чужие и подавно. И жмемся все к морю, а моря все нету и нету. Думаем, своя отечества не примает, может, чужая примет, кубанская, вот и добивались до Ейска добраться. Встрелся пастушок, сказывает, кадетские войска по железной дороге проехали, казаков ищут. Ночь пришла, тума-ан. Передние наши с коней — шарах! Кадеты впереди.

Кондуктор обеими руками ухватил себя за голову и со стоном потаскал из стороны в сторону.

— Придави их буферами... Ну?

— Ну, мы зараз рассыпали цепь, поползли, ан энто кусты. Тьфу, тетка твоя, кукареку!

Кондуктор весь засветился, запрыгал на сидении, как мальчишка, и выпятил глаза.

— Ну?

— Ну, поехали дальше. Знаем, степью едем, голо, а оказывает, либо горы стоят, либо человек, а сам с дерево. Подъедем, ан это курган али дорога чернеет, либо чернобыльник. Стало светать. Глядим — хутор. Заморились и кони, и сами не емши. Мочи нету. Сами не поехали, послали делегатов, четырех казаков. Думаем, все одно не примут, ну, хочь попробуем. Батюшки мои, и курьми, и гусьми, и бараниной, и молока, и хлеба — всего натащили и лошадей накормили, напоили, прямо благорастворение. Вы, говорят, за нас, сирых, страдаете.

Кондуктор заметался, пододвинулся на самый край скамьи к казаку и радостно замотал руками, выпучивая на длинных стебельках влажные глаза:

— А... скажи на милость...

— Ну, хорошо. Подходим к Ейску. Опять послали делегатов, — хто ж ее знает, как примут кубанские казаки. Ну, они с открытой душой, как братья. Накормили, напоили нас, а начальника, полковник у них такой уса-атый, так его было избили, он все не приказывал нас принимать.

— Вот люди, вот народы, прямо Кубань! — опять неистово замотал черными ногтями кондуктор, еще пододвинулся к казаку, оперся руками о колени, чтоб не упасть, и изо всех сил поднял брови.

— Аккурат в это время подошел к Ейску военный

транспорт. Матросы зараз нас погрузили и доставили в Мариуполь. Ну, хорошо. В Мариуполе центральная рада сидела, а рабочие с ней бились. Собрался народ со всего заводу, и которые беднейшие с городу, ну, встречали нас, уму непостижимо. Женщины до нас прямо — обнимают, детей подымают к нам. Несут лепешки да хлебцы, да творожники. А которые платочки с себе сымают, нам суют. Лошадям тянут овса, хлебом кормят, просто сказать, птичьего молока только не было. А тут вылез оратор, залез на бочку и зачал, и зачал, и зачал.

Казак тоже придвинулся к кондуктору, они уперлись коленями и глядели зрачок в зрачок.

— Вот, полюбуйтесь, — говорит, — пришли наши братья-казаки нам на помощь, трудящему народу. Покинули они дома, своих цветущих жен, малолетних детей, своих престарелых родителей, хозяйство свое, обзаведение, которое без них рушится и оскорбляется, а также степи свои родные покинули, чтоб только дать возможность трудящему народу. Ну, говорил до того, до самого нутра прошло, бабы ревут, сам сидишь на лошади, слезу жмешь. Подымают и дают нам красное знамя. Все — ур-ра-а! — аж затряслось кругом.

Казак замотал руками перед самым лицом кондуктора.

— Зараз сучку раду разогнали и утвердили совет.

Кондуктор тоже отчаянно замотал черными забитыми ногтями. Так они с минуту радостно мотали друг перед другом руками.

Поезд замедлял ход. За окном мелькали желтые домики, а с другой стороны свинцово-синий, вздувшийся лед Дона.

Кондуктор поднялся, сурово нахмурился и, не глядя на казаков, сказал строго:

— Аксай. Тут билеты брать. Ну... не берите, небось, не сдохнет дорога, еще чего: страдали за нас, да брать, — и ушел.

— Покорно благодарим.

У казака потухли живые глаза, и лицо стало безразлично-сонным, как будто сделал дело и больше не нужна была эта живость и напряженность.

Долго стоял поезд, потом долго подымался в выемке к Нахичевани. Уж ночь, черная, сырая, холодная, — и замелькали разрозненные огоньки.

## ДОН

На южный фронт я попал в одну из самых тревожных минут. В окраинных углах Воронежской губернии пылали дезертирские восстания. Казаки разливались по южным, самым хлебородным уездам губернии. Красная армия все пятилась. Наконец, опасность стала угрожать самому Воронежу. Началась эвакуация учреждений. На север сплошь потянулись бесконечные поезда. Пассажирское движение приостановилось.

Черная туча нависла над Воронежем и Воронежской губернией.

Но постепенно стало проясняться. Казаков оттеснили. Восстания потухали. Население уездов, куда ворвались казаки, поднялось на защиту родных деревень.

Я вглядывался в совершавшееся и задавал вопрос, который тысячу раз все задавали себе, вопрос: как могло случиться, что наше почти триумфальное шествие через Донскую область, наше блестящее положение вдруг сменилось почти катастрофическим положением, почти разгромом, и враг ворвался в Воронежскую и другие губернии?

Это очень сложно и распутается медленно и трудно.

Я хочу обрисовать только кусочек той борьбы, которую вела Красная армия на Дону.

Чем объяснялось победоносное, почти триумфальное шествие по Донской области Красной армии, остановившейся местами лишь в 20 верстах от Новочеркасска?

Красная армия дралась великолепно в Воронежской и Тамбовской губерниях и в северной части Донской области, — она сломила стойкого врага. А потом в громадной степи оглушительный успех объяснялся разложением в рядах армии противника. Это разложение целиком зависело от настроения населения.

Донское казачество измучилось, истомилось за кровопролитную царскую войну, а потом в гражданскую. Ведь это же без передышки.

А тут, при всех трудностях, в трудовое казачество просачивалось представление о советском строе, как о справедливом строе трудящихся, без генералов, без офицерства, которое так осточертело казачеству.

И вот лопнула внутренняя скрепа в армии противника, и полки за полками стали переходить на нашу сторону или просто расходиться по домам.

Вот с этого момента и кладется начало нашим блестящим победам и нашему поражению: внешне мы победоносно шли все дальше и дальше, внутренно мы все ближе и ближе подвигались к поражению.

Все больше накапливалось невидимого, но грозного материала к разрушению все увеличивающихся побед.

Первое — это самоослепление, самоослепление и в военной области и в области гражданского строительства.

На огромное пространство тоненькой ниточкой протянулся тогда южный фронт. Сзади не было резервов, в полках не было пополнения, и, усталые, они часто сводились до минимума штыков. Политически армия обескровливалась, — в нее перестали вливать коммунистов. Санитарная обстановка — убийственная, иногда целую дивизию приходилось отводить в тыл, — ее пожирал тиф. И тело и душа армии слабели.

А красные ряды все шли и шли вперед, почти не встречая сопротивления, и победы всем заслоняли глаза.

А население?

Его не видели. Мимо него шли к Новочеркасску. Победы заслонили и население, его чаяния, его нужды, его предрассудки, его ожидания нового, его огромную потребность узнать, что же ему несут за красными рядами, его особенный экономический и бытовой уклад.

И никто-никто не крикнул:

— Товарищи, бейте тревогу, — нас одолевают победы!.. Давайте пополнения, — на нас идет гроза: мы побеждаем. Шлите коммунистов, объявите партийную мобилизацию в двадцать, тридцать, сорок процентов, или нас задушат победы!..

Никто в страшной тревоге не крикнул этого.

Скажут: как же кричать, когда и без того все напряжено до последней степени, все вычерпано до дна?

Но разве перед Колчаком [7] не было такого же положения? Все было напряжено до последней степени, все было вычерпано. И, однако, когда Колчак очутился у Волги, явились и пополнения и мобилизованные коммунисты.

И неужели надо было ждать, чтоб грянул Деникин [8], чтоб оказались и пополнения и возможность партийной мобилизации для юга. Теперь все это есть.

Население Донской области за то, что мимо него проходили, как мимо порожнего места, жестоко отомстило.

Нужно знать казаков, чтоб расценивать в полную меру. Южане — подвижные, впечатлительные, способные заразиться дико вспыхивающей ненавистью и враждой, иногда упорные и настойчивые.

И азиатчины в них достаточно. С врагом заключит перемирие, целуется, обнимается, а сам втихомолочку сзади и рубанет шашкой, ибо по отношению к врагу все дозволено.

И тут же рядом преданность к делу, которое считают справедливым, и в этом случае настойчивость и упорство.

Веками воспитанный в национализме, обособленности, особенно поддерживаемых при царизме, казак — это высшая порода, а спокон веков поселившийся на Дону великоросс или украинец — это низшая людская порода, к которой казак относится свысока.

Казаки ведут экстенсивное хозяйство. Чтоб добыть количество продуктов, необходимое для жизни, казаку нужно много скота, земли, орудий. Казак-середняк, перенесенный в Центральную Россию, конечно, попадает в слой кулаков.

Казак-бедняк — это совсем не то, что безлошадный бедняк в России. У него и лошадь, и корова, и землю пашет, и в то же время это действительно бедняк, кровавым потом отстаивающий жизнь. Бывало, как ни надрывается, не сдюжает справить сыновей на службу, у него продают последнюю коровенку и отнимают земельный пай, который сдают в аренду, чтоб покрыть справку сыновей.

Казачество, несомненно, экономически расслаивается, и расслаивается быстро. Но в сознании этот процесс не отпечатывается так отчетливо, как в России. Деревенский бедняк издалека видит мироеда, боится его и ненавидит. Слабеющий экономически казак не видит так отчетливо своего кулака.

Он враждебен своему офицерству, генералитету, давление которых он ощущает, главным образом, как давление представителей сословия, касты, военщины. Он высокомерно враждебен ко всем иногородним, которые в огромном большинстве сами эксплоатируются казачеством.

Победители прошли мимо всего этого с задернутыми победой глазами. Видели только один Новочеркасск, который надо было взять.

Если прибавить не объясненные населению возложенные на него тяготы, если прибавить ужасающее отсутствие литературы, элементарного живого человеческого слова, то станут понятны густые потемки, зловеще окутавшие казачество, — потемки, в которых и советская власть и, главным образом, Коммунистическая партия вставали в дико извращенном виде.

И казаки пришли к выводу: ошиблись, ошиблись и надо исправлять.

И потянулись на веревках опущенные по рекам пулеметы, стали подымать зарытые в землю орудия, вытаскивать из стогов ящики с патронами.

Кто припрятал оружие?

Конечно, в первую очередь отступающие красновские [9] части. Затем богатеи-казаки, офицерство, которое оставалось по местам, затаив ненависть к надвигающемуся новому строю, несшему смерть их беспечальному житью. Наконец, и рядовое трудовое казачество не без греха. Дух азиатчины сказался. Хотя совершенно искренно, доброжелательно, с хлебом-солью встречали советскую власть, а патроны и винтовки все-таки припрятали на всякий случай:

— Хто ево знает, как оно дальше будет?

Представители партийных и советских организаций вскинулись: началась чистка властей по станицам и хуторам. Пришлось местами расстрелять примазавшихся к коммунистам и даже коммунистов, опозоривших себя злоупотреблениями и насилиями, с широким оповещением населения о принятых мерах, но было поздно.

Огненная река восстания зловеще запылала в тылу армии, ослабляя ее, внося расстройство.

Был организован специальный экспедиционный корпус для подавления во что бы то ни стало.

Но как при гражданском устройстве не считались с особенным экономическим, бытовым и психологическим укладом казачества, не считались с живыми условиями, действительности, так и при подавлении восстания, ослепленные представлением собственной силы, не учли фактической силы восставших, силы казачества. Лезли напролом, лишенные творчества и комбинации. Бросали единицы по частям, а их били. Снабжение было представлено отвратительно, части стонали от острого недостатка снарядов и продовольствия. Нехватало специалистов — в роте связи вместо шестнадцати процентов телеграфистов только три. Курсанты, будущие красные офицеры, сводились в боевые единицы, бросались по частям, и их истребляли. Коммунистов, вместо того чтоб вкрапливать по войсковым частям, тоже сводили в боевые единицы и посылали в бой; они несли чудовищные потери, в конечном счете без пользы для дела.

А между тем некоторые части, не одухотворенные коммунистами, оставляли позиции, открывая дорогу врагу.

Здоровые же части дрались беззаветно, но в общем ходе не могли ни потушить восстания, ни предупредить соединения восставших с деникинцами.

Вот несколько отрывков из донесений и докладов:

«Высшее командование попрежнему отдавало приказы о наступлении, говоря, что справа и слева также наступают, чего не было. Казаки быстро ориентировались, ударили с флангов — поражение, паника» (доклад политк. Кодрня, 29/VI—1919).

«Задаются невыполнимые задачи, не считаясь с фактическим количеством бойцов. Это вызывает недоверие к высшему командному составу: подозревают или в незнании истинного положения вещей, или в предательстве. Полное отсутствие снабжения создает неблагоприятные условия боя, вызывая бездеятельность и безрассудность жертв, уменьшая сознательных, преданных коммунизму борцов.

«В бригаде нет роты связи, нет саперной роты. Десятки миллионов ежемесячного содержания бригады

не окупаются. Информация сверху отсутствует. Литература, газеты задерживаются. Финансы задерживаются, создавая невозможные условия работы политотдела. Отсутствие связи сотрудников с домом (почта отвратительно работает), неизвестность положения их семей уменьшает продуктивность работы, учащаются просьбы об отпусках.

«Разница обмундировки в тыловых и фронтовых частях ставит политработников в фальшивое положение — постоянно приходится выслушивать жалобы красноармейцев» (доклад агитаторов тт. Мещерякова и Паленичка. N-ская бригада, 17 июня 1919 г.).

«Литературы мало. Газеты страшно опаздывают. Снабжение и санитарная часть отвратительны. Красноармейцы ходят во многих частях голодные, босые. Медицинской помощи никакой. Несмотря на все это, красноармейцы настроены хорошо, дерутся прекрасно. Коммунисты умирают героями» (сводка политотдела N-ской дивизии, 27 июня).

«В Коммунистическом полку 1000 чел. После боя 7 июня осталось 400 штыков. Снабжение неправильно и несвоевременно. Газеты нерегулярны. Горячей пищи люди не получают. Мобилизованные двадцатки приходят без одежды. К командному составу отношение благоприятное, но к высшему, начиная с бригадного, недоверчивое» (доклад политкома Ткачева, 17 июня 1919 г.).

«N-ский полк был окружен противником силою в 2000 кавалерии и 1000 пехоты и артиллерии. Воодушевленные командиром Моргуновым красноармейцы дрались отчаянно, прорвали ряды врага, не оставив ему ни одной винтовки, ни одного пулемета, унося с собой 150 убитых и раненых, в то же время нанеся противнику огромные потери. 1-я батарея N-ского артилл. дивизиона участвовала в бою вместе с N-ским полком, своими действиями создавая панику среди казаков, соперничая с их 10 орудиями тяжелой артиллерии» (доклад завед. политотд. N-ской бригады тов. Еремина, 23 июня 1919 г.).

Вот при каких условиях специальный экспедиционный корпус подавлял восстание на Дону. В конце концов, через восставшие в тылу корпуса прорвались деникинцы, и Красная армия вынуждена была очистить область.

Какие же выводы?

Самые опасные моменты не только тогда, когда мы терпим поражение, но и когда побеждаем. И воинские мобилизации, и мобилизации коммунистов в высшем размере, и усиление снабжения надо производить во время побед, иначе гражданская война будет у нас тянуться бесконечно.

Нужно целесообразно использовать людской материал. Нельзя, при огромном недостатке красных офицеров, курсантов бросать в бой, как рядовых, кладя их чуть не поголовно. Нельзя коммунистов, этот драгоценный одухотворяющий материал, сбивать вместе в отряды и посылать в бой, как рядовые штыки, где они тоже ложатся чуть не поголовно, а армия остается без одухотворяющего засева и разлагается.

Необходимо считаться с реальной обстановкой: нельзя закрывать ослепленных победами глаз на фактическое соотношение сил. Казачество по своему экономическому и бытовому укладу совершенно своеобразно, оно представляет огромную боевую силу, и с этим необходимо считаться в полной мере.

По мере занятия области необходимо наводнить ее коммунистами для постройки советской власти, для разъяснения основ ее населению и углубления в сознании казачества классового расслоения, чего совершенно не было сделано в предыдущую кампанию. Но посылать туда коммунистов прямо серых нельзя. Рабочий городской быстро находит общий язык в деревне с крестьянином. Казак в таких своеобразных условиях, что к нему подойдешь только с большим трудом, и все же черта недоверия будет долго лежать, не стираясь. Необходимо организовать хотя коротенькие курсы, чтоб ознакомить отсылаемых с тем, куда и к кому они едут, каковы там условия, что и как надо делать. Только, чтобы это не были избитые митинговые речи. Нужно просто, спокойно говорить разговорной речью и, как огня, бояться «идеологий» и прочего.

При занятии области и при устроении советской власти необходима реальная сила в виде гарнизонов.

Деникин будет сломлен, область будет занята, но если сейчас же не будет начата подготовка кадра коммунистов, которые должны будут заполнить ее работой, не придется ли очищать ее еще раз или, по

крайней мере, изнурительно долго тушить загорающиеся то там, то здесь восстания?

Надо помнить, что в последнее восстание вместе с боевыми казаками на пулеметы с диким воем ненависти черной тучей шли женщины и дети.

## ОСТРОВ ПОРЯДКА И СВОБОДЫ

Необозримо белеют зимние донские и прикубанские степи. Черными далекими пятнами разбросаны хутора, станицы, и чуть струится синеватый дымок над ними. Медленно тянется там своя хозяйственная жизнь.

А города, — те придвинулись к самому морю. Оно тоже бело и неподвижно, старое, седое Азовское море.

И в городах спокойно — спокойствием порядка. Рестораны ярко освещены. В третьем классе вокзалов чисто и спокойно, и третьеклассники не кладут в первом, во втором классе ноги на стол. Нет спекуляции спиртом, не торгуют им по безумным ценам, не отравляются денатуратом, — отперты казенные лавки, и чистая неотравленная бутылка водки стоит пять рублей.

Но не только внешний порядок и спокойствие, здесь и внутренняя свобода. Это как раз то, что так страстно хотела бы видеть буржуазия не в этих только трех приазовских городах и забеленных снегом неоглядных степях, а по всей России: чтоб был производительный труд, чтоб плодотворно прилагался капитал, чтоб организующие классы за свой квалифицированный труд по справедливости пользовались и квалифицированной жизнью, развлечениями, удовольствиями, чтоб была свобода печати, союзов, обществ, стачек в пределах безвредности.

И все это было. Была и свобода печати, были и буржуазные и социалистические газеты. Буржуазная печать, как ей и полагается, лгала без меры, без конца, без передышки. Социалистическо-меньшевистская и право-эсеровская врала умеренно, как с кривизной зеркало, и будто верно, и чувствовала себя недурно.

По буржуазной печати, советские войска все время, как зайцы, бежали перед алексеевско-корниловскими

добровольцами [10], до такой степени бежали, что очутились, наконец, в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, и сотрудники газет, бросив перья на полуслове, прыснули во все стороны и скрылись.

Была и свобода собраний, стачек, союзов для рабочих, но в пределах, за которыми расстреливали.

По улицам стройно, в ногу, с музыкой проходили офицерские батальоны, батальоны добровольцев, юнкера, ударницы и ударники и «Белый дьявол», целиком состоявший из гимназистов. Стройно пели «боже, царя...», и колыхалось знамя с инициалами императрицы.

Словом, был порядок и свобода.

Офицерские батальоны представляли отборное войско — отлично стреляли, имели стратегически-тактические знания; была дисциплина; борьба с ними была чрезвычайно трудна.

Добровольцы — самый разношерстный народ: золотая молодежь, люди, которым девать себя некуда, грабители и убийцы, простоватые солдатики.

Ударники и георгиевские кавалеры были крепки.

Ударницы — истерички.

Наконец, «Белый дьявол» был нестоек, но убивать людей умел.

Все было прекрасно в этом царстве порядка, строгой, в пределах, свободы.

И советские войска были не страшны. Не страшны были потому, что были они в поре образования, подбора.

Красная гвардия, так упорно, стойко и мужественно бившаяся в уличной борьбе, в полевой терялась и, что всего страшнее, поддавалась панике: орудийного огня не выдерживала.

Среди солдат, шедших под советскими знаменами, после первого боя из тысячи оставалось триста. Правда, эти триста уж были закаленные бойцы и шли до конца, но этот подбор требовал времени, сил и поражений. Нет, не страшны были советские войска Каледину, Алексееву [11], Корнилову.

Все обстояло прекрасно на этом российском острове порядка и свободы в пределах.

И вдруг началась червоточина. Паровозов становилось все меньше и меньше, вагонов тоже, — огромная заболеваемость, а ремонта нет. Стали ждать рабочих, — не идут. Стали приводить под конвоем и ста-

вить к станкам под угрозой расстрела, — но какая же это работа!

То же во всем. Нехватает машинистов. Их приводят под револьверным дулом на паровоз, но стоит чуть зазеваться, — машинист исчез. Дошло, наконец, до того, что юнкерам самим пришлось водить поезда. Но не умели растапливать и стали массу пережигать паровозов. Да и рабочие усердно помогали им в этом и перекалечили целую кучу паровозов и вагонов.

Юнкера согнали и гнали на Екатерининскую дорогу с Владикавказской паровозы, и они гибли.

Стал чувствоваться недостаток угля. Юнкера забрали с писчебумажной фабрики бумагу и стали топить паровозы бумагой, но это только ухудшило дело.

А в это время советские войска надвигались, подымались казаки.

Не раз и не два стройные, крепкие офицерские батальоны били молодые советские войска. Они отступали, переформировывались, оправлялись и опять шли. Положение их было чрезвычайно трудное: без провианта, без фуража, без возможности реквизиций, ибо население стало бы на дыбы, плохо одетые. Каждый шаг их вперед определялся, будут ли накормлены люди или нет.

При таких условиях счастливый российский остров порядка мог держаться. Но... и тут червоточина.

В Таганрогском округе крестьяне везли красным советским войскам со всех сторон обозами печеный хлеб, муку, сало, пшено, говядину, гнали скот и за это не брали ни копейки. Мало того, — делали между собой сборы и привозили и передавали Красной гвардии по двести-триста рублей.

— Як вы уйдете, паны нас жгуть, — говорили крестьяне.

Солдаты, вернувшиеся с фронта, жили у себя дома, хозяйничали и по собственному почину производили разведку. Забирались к юнкерам и привозили советскому штабу ценнейшие данные.

Что же делали в это время генералы Каледин, Алексеев и Корнилов? То же, что и всегда и везде делали генералы и слуги буржуазии, — всячески старались обмануть трудовой народ.

Извне на остров не допускалась ни одна газета, ни письма, ни телеграммы. Обыватель был в блаженном

неведении. Ничего не знали о ходе революции, не имели представления об изданных декретах, страшно удивлялись новому стилю. Кроме бесконечно белеющих степей да городов, прилепившихся к застывшему Азовскому морю, ничего не было.

Вызывали с фронта казачьи части, сообщая, что большевики грабят и насилуют население.

На Матвеевом кургане казаки раздраженно и спешно выгружали батарею, чтоб разнести грабителей. Стали расспрашивать:

— Дюже вас грабят большевики?

— Тю вам, та мы сами их кормим, бо воны наши избавители. Хто такий вам брехав?

Казаки постояли, разинув рты, погрузили в поезд батарею и уехали назад.

А советские войска вместе с подымавшимися казаками все теснее сжимали счастливый остров. Красная гвардия стала закаляться в бою — приобрела сноровку.

Заметавшиеся юнкера, офицеры и добровольцы не знали предела своей жестокости. Во дворе штаба юнкеров в «Европейской гостинице» в Таганроге обнаружены двенадцать человек убитых рабочих. Это был цвет пролетариата.

Убивали варварски. Во дворе вырыли яму, на краю поставили лестницу и штыками заставляли рабочего подыматься на несколько ступеней. Потом стреляли. Человек падал в яму еще живой. Когда набралось двенадцать, — сверху бросили собаку и заровняли. Неудивительно, что таганрогские рабочие, как только услыхали, что приближаются советские войска, с риском быть всем перебитыми, восстали.

Советские войска были далеко, верст за двадцать пять, но рабочие с голыми руками — у них было десятка полтора винтовок — кинулись на юнкеров. Юнкера осыпали их убийственным пулеметным огнем. Штабу советскому как-то удалось с помощью населения прислать рабочим винтовок и патронов, и на улицах завязалась кровавая борьба. Юнкера, чтоб держать железную дорогу в своих руках, заняли каменное толстостенное здание, установили пулеметы. Взятие здания потребовало бы колоссальных жертв. Тогда рабочие нагрузили паровоз всякими взрывчатыми веществами, развили наивысший ход и направили на

здание с юнкерами, а машинист соскочил. Паровоз с ревом, проломив стену, влетел в здание, взорвался, все разрушив. Уцелевшая кучка юнкеров в панике бросилась бежать. Когда советские войска вступали в Таганрог, от юнкеров и след простыл.

Генералы заметались. Каледин был только вывеской для Дона. Дело было уже бесповоротно проиграно: загрохотали орудия, и в туманное утро 9 февраля советские войска вступили в Ростов.

На улицах валялись офицерские шинели, погоны,— очевидно, за ночь переодевались в штатское.

Весь трудовой народ высыпал на улицу и встречал красных солдат несмолкавшим «ура»...

Буржуа, встречавшие когда-то юнкеров и добровольцев цветами, конфетами, объятиями, попрятались, дамы надели платочки и стали выдавать своих вчерашних друзей и благодетелей, а солдаты вытаскивали корниловцев и расстреливали. Особенно раздражал расстрел калединцами красных войск из-за угла, из окон, когда город уже был целиком в руках советских солдат и очищен от добровольцев.

— Что же это такое? — говорили солдаты: — Из Питера их выбили и не тронули. Они прибежали в Москву. Из Москвы выбили и не тронули. Они прибежали сюда. Отсюда выбили. Они побежали на Кубань. Докуда же это будет? А ведь каждая перебежка офицера стоит с полсотни жизней рабочих и солдат. Нет, с корнем надо теперь уничтожить!

Алексеев и Корнилов выгребли все золото из банков и, грызясь, как два черных паука, побежали через Дон и с ними тысячи полторы-две — офицерских батальонов. Пробиваются к Екатеринодару, где засели юнкера и офицеры.

Относительно Красной гвардии начальник советских войск говорит, что если ее пропустить через военное обучение, она и в полевой борьбе будет крепка. Пример — петроградские красногвардейцы.

## ПОДАРКИ

Казалось бы, чего проще: рабочие хотят сделать своим братьям-красноармейцам подарки. Оторвали из своего заработка, собрали немалые суммы. Поручено было, я уж не знаю кому, закупить. Все по-хорошему, а вышло навыворот.

Получают красноармейцы ящики с подарками. Столпились радостные. Стоит смех, шутки. Ведь это оттуда, из милого мира, из милой жизни, от которой они так бесконечно отрезаны.

Вспомнили о них. Как же не радоваться?

И вот начинается распечатывание. Достается первый подарок и вручается красноармейцу. Он с удивленно разинутыми глазами получает с серебряной монограммой кольцо... для салфетки.

Гм! Кольцо для салфетки... Это на передовой линии, где иногда по нескольку дней не умываются, не до умывания, когда перебегаешь в цепи или лежишь на холодной мерзлой земле, где сморкаешься пальцами, — платков нет, где вши!

Достают второй подарок и подают. У красноармейца растерянно разлезается физиономия.

— Матеря твоя веселая!..

Он осторожно вертит в руках маленькую, из чудесного зеленоватого граненого хрусталя бонбоньерку, крохотную шкатулочку. Дно у нее выложено шелком. Дамы в такие кладут свои драгоценности — серьги, брошки, бриллиантовые кольца.

Третьему подают нечто вроде дамского ридикюля. Раскрывают заинтригованно: там зубочистки, приборы для чистки ногтей, кривые ножнички для обрезывания.

Красноармеец, так же конфузливо ухмыляясь, как и

первые двое, сразу всеми зубочистками чистит зубы и выкидывает. Рассматривает крохотные напильнички для ногтей.

— Это хорошо крючки затачивать на рыбу.

А изогнутые для обрезывания ногтей ножнички стараются выпрямить.

А где-то в глубине печаль, точно обошли его.

Разве для этого рабочие собирали деньги?

Но этого мало. Даже вещи, казалось бы, нужные, практичные, оказываются тут ненужными, лишними.

Присылают фуфайки, теплые кальсоны, кожаные куртки. И в девяноста случаях из ста начинается торговля: и куртки, и фуфайки, и теплые кальсоны — все это продается либо штабным, либо окружающему населению.

Но почему же это? Ведь все эти вещи так нужны на фронте!

Это лишний раз подтверждает, как тыл оторван от фронта, как он совершенно ничего не знает о жизни и быте на фронте.

И куртки и теплое белье страшно нужны на фронте, но они выдаются интендантством. Стало быть, то, что пришлют как подарки, окажется вторыми экземплярами.

Стало быть, их где-то нужно хранить, о них надо заботиться, возить с собой. А это такая канитель, которую трудно себе в тылу представить.

Обозники не берут, а возьмут — пропадет. Стоит ругань, пререкания. При постоянном передвижении лишний узел — мука.

Курток кожаных отдел снабжения не выдает, но выдает ватники, такие куртки, подбитые ватой, и кожаная куртка является вторым экземпляром и, как более ценное, идет в продажу.

Эта же торговля, кроме развращения, ничего не приносит.

Но тогда что же посылать на фронт?

Этот вопрос надо бы задать давно, перед организацией покупки подарков. И надо бы его задать не дома, не в тылу, а на фронте, задать тем, кому подарки предназначаются.

Вот какие вещи с радостью принимаются красноармейцами и страшно здесь нужны: теплые шарфы и теплые носки.

Ворот у шинели, у ватников страшно широк. Надо испытать дикие уфимские ветры со снегом, с морозом, которые бешено рвутся во всякую складку и смертельно знобят тело.

Если будет прислано достаточное количество теплых шарфов, много красноармейцев вы спасете от госпиталей, а еще больше не будут дрожать по-собачьи на позиции, не попадая зуб на зуб.

Теплые портянки выдаются, но они хороши для сапог, для валенок лучше теплые носки.

Драгоценность для красноармейцев — электрические фонарики. В кромешную тьму ночей в деревнях, где ни одного огонька, они незаменимы. На позициях караулы сигнализируют друг другу фонариками.

Но и тут надо присылать с умом, а не зря.

Пришлют десять фонариков и десять, а иной раз и меньше, батареек. Через четыре-пять дней их приходится выбрасывать, — батарейки израсходовались.

А надо присылать в такой пропорции: на один фонарик — шесть, семь, восемь батареек, и чем больше, тем лучше, так как остаются фонарики от предыдущих присылок, а батареек к ним нет. Необходимо присылать письменные принадлежности — бумагу, конверты и карандаши, но непременно химические, простых не присылать.

Присылайте иголок, ниток, — нужда, — и побольше.

Все шитые предметы, доставляемые интендантством, отвратительно шиты, — порются, завязки отрываются, пуговицы отваливаются, и красноармейцы то-и-дело сидят и зашивают, и иголки с ниткой — на вес золота. Нужны бритвы, бритвенные принадлежности. Складные ножи.

Из инструментов лучше всего присылать гармоники и балалайки. На гитаре, цитре, мандолине, скрипке редко кто умеет играть, и все это идет в штаб.

Когда присылают губные гармоники, красноармейцы сердятся:

— Дети мы, что ли?

Но в том виде, в котором присылают музыкальные инструменты, лучше их не присылать. Ото всех этих балалаек, гитар, мандолин остались одни щепки с мотающимися струнами.

Объявляется передвижение отряда. Суматоха, спеш-

ка. Торопливо грузят обоз. Кидают на повозки мешки с овсом, ящики с патронами, балалайки, гитары.

Торопливо сами вскакивают, кто садится на мандолину, кто на цитру, и когда приезжают на место, вытаскивают щепочки с мотающимися струнами.

Необходимо присылать все инструменты либо в прочных футлярах, либо в хорошо сколоченных ящиках. Иначе нет смысла присылать.

Присылайте книжки и особенно беллетристику, — огромная нужда, все красноармейцы жалуются.

Нужны сборники революционных песен, — слов не знают. Нужны зажигалки, только не бензиновые, бензину негде добывать, а кремневые с трутовым шнурком.

Памятные книжки, записные. Блокноты.

Очень нужны общие карты, хоть из старых календарей. Их нужно возможно больше. Красноармейцы страшно интересуются событиями и на других фронтах и в других странах. Им хочется иметь представление о расположении местностей. И когда показываешь им, жадно кидаются:

— Эх, кабы и нам такую карточку!

Нужны шахматные доски, шахматы и шашки, — здесь лепят из хлеба.

То, что я увидел и услышал на фронте о подарках, меня поразило.

— Что же это: отзвонил и с колокольни долой. Собрали деньги, накупили, чего попало, запаковали в ящики, отослали на фронт и успокоились.

Такая организация посылки подарков не только бесполезна, — вредна.

Лучше совсем отказаться от них.

Мало послать подарки, надо еще проследить, куда и как они попали, какой смысл в них, какое удовлетворение принесли они красноармейцам.

Помимо денег на подарки, много поступает жертвованных вещей. Их нельзя валить в одну кучу, а надо разобраться: что подходяще, — посылать, а что не подходит, — продавать, а на вырученные суммы покупать то, что надо.

## ПО УСАМ ТЕКЛО

Ждут командующего, ждут комиссаров.

Среди ноябрьских снегов, среди похолодевших лесов, среди пустынной мути туманов дети Красной армии чувствуют себя оторванными, одинокими, — редкие газеты, ни одного журнала, нет полевой почты, и от этого нет возможности снестись с отцом, с матерью, с невестой, с другом.

Часами лежать в секретах на холодной молчаливой земле, сжимать холодное железо винтовки и все смотреть, все смотреть не сморгнув, не спуская глаз, в мутно колышущийся туман, где мучительно никого не видно. И каждую минуту быть готовым услышать свист пули.

Пусть приедет командующий, комиссары.

Они не скажут им:

— Здорово, ребята!

И они не гаркнут в ответ:

— Здравия желаем!

Нет! Пусть они расскажут им, что делается на белом свете: пусть расскажут о революции в Австрии, в Германии.

Но ведь у них есть свои комиссары. Да, есть. И они любят своих комиссаров, доверяют им, делят с ними опасности и труды, и комиссары великолепно им рассказывают о всех событиях.

Но они привыкли к ним, привыкли к их лицам, глазам, голосу, речи. А им хочется, чтоб кто-то новый, со своим лицом, со своею речью пришел к ним оттуда, из того мира, который кипит и от которого они так бесконечно отделены.

И это вовсе не смешно.

В двадцати пяти верстах от железной дороги, в трех-

стах верстах от губернского города, а как будто тысяч за пять, за семь.

Все, что делается для Красной армии, идет, ослабевая по мере приближения к фронту, к линии позиций.

Чем дальше от фронта, тем штабы и резервные войска лучше обслуживаются.

Штабы и окрестное население завалены литературой. На фронт приходят огрызки.

В Симбирск из Москвы почта доставляет газеты на пятый день, шестой день, а контрагентство ЦИК организовало доставку газет на четвертый день.

На фронте же, в двадцати верстах от железной дороги, газеты получаются тюками р а з а т р и в м е с я ц.

— Слыхали мы, есть поезд товарища Ленина, — говорят красноармейцы, — будто везде ездит, литературу раздает, газеты, агитаторов привозит. Почему же до нас никогда не доедет? Ай мы уж неприкаянные? Хоть бы одним глазком на него глянуть.

Для фронта в Симбирск со специальным поездом доставлены были целых две труппы: драматическая и оперная.

Театр был битком набит — красноармейцы, штабные, советские работники. Слушают хорошее пение, смотрят пьесы.

Чудесно!

Но вот как говорят о себе красноармейцы на фронте:

— Какая наша жизнь! Пришел с линии, поел, лег, отогрелся, поспал, поднялся, — в заставу, в секрет. Вернулся, поел, отоспался, — в заставу, в секрет, в патрули. Вернулся, пожрал, завалился, — опять в заставу, в секрет, в патрули. Так и идет в круговорот. Слов нет, на то война, а все же хочется хоть немножко продрать глаза, глянуть на свет белый. Оно, конечно, газеты приходят, да ведь придет недели в полторы — в две номера два, ну, накинешься, обсосешь всю, а там жди опять полторы-две недели. В месяц-то и выходит: пять-шесть газет, не больше, прочтешь. Оно уж не гонишься за тем, чтобы каждый день газеты, хочь два раза в неделю, и то бы наблагодарились, а главное, чтоб без пропусков. А то два номера получишь, а номеров семь-восемь не дошлют, так и не знаешь, чего там на белом свете делается. Слыхали мы, в город актеры приехали играть красноармейцам. Вот хорошо, об нас подумали. Ждем-пождем, все то же у

нас: жрем, спим, да в заставе, в секрете сидим, а про актеров не слыхать. Наконец, прослыхали: в городе играют, а к нам и не думают. Та-ак, у Красной армии по усам текло, в рот не попало.

Пролетариат Москвы, Петрограда искренно, любовно, по-братски заботится о Красной армии. Заботятся и центральные учреждения. Заботятся и комиссары и штабы — все заботятся. Но странное дело: чем ближе к фронту, тем дальше заботы от фронта.

Словом «фронт» обозначают: и тонкую черту позиции, где люди умирают, и штабы за четыреста — шестьсот верст от позиций.

Так вот там, где люди умирают, они не видят развлечения, скудно видят литературу и читают в большие промежутки по два, по три номера. Совсем не видят беллетристики, которую жаждут.

А фронт за шестьсот верст аккуратно получает раньше почты газеты, которые доставляют ежедневно специальные курьеры издательства ЦИК.

На фронт за шестьсот верст от позиции приезжают артисты, музыканты. Там — концерты, пение, музыка, здесь одинокий свист ветра, заметающий снегом в пустынном поле людей с застывшими винтовками в стынущих руках.

Что за нелепость!

Я спрашиваю: почему же артисты не едут туда, где они действительно нужны?

Отвечают: там небезопасно.

Так на какой же леший тогда они нужны! Возиться с ними для тыла, тратить на них народные деньги, чтобы Красная армия облизывалась, ведь это же вздор!

В моменты боевых операций никто их не приглашает. В моменты затишья для них риску не больше, чем сломать головы на железной дороге, при обычно возможной катастрофе. Ведь играли же французские артисты и артистки для французских солдат в окопах, в ежеминутном ожидании самой грозной бомбардировки, а наши хотят ходить только по паркету!

Надо иметь в виду, что на позицию лучше всего присылать не труппу, а группки в четыре-пять человек музыкантов, певцов, драматических артистов. Они дадут концерт, споют, сыграют, поставят пьесу вроде «Медведя» Чехова. Пианино почти в каждой большой

деревне найдется: либо в помещичьем доме, либо у попа. А если нет, обойдутся и без пианино.

Придется ходить не по паркету, не по коврам, придется переночевать не в отеле, а в крестьянской избе или поповском доме, придется верст двадцать проехать не в вагоне первого класса, а на санях. Придется выступать не на оборудованной сцене, а в помещичьем или поповском доме, или в деревенской школе.

Но пусть же помнят, что они сделают громадное дело. Пусть помнят, что они будут итти рядом с усталыми бойцами, вливая в них новые силы, тем покупая новые победы, а стало быть, сохраняя сотни и тысячи драгоценных молодых жизней.

Там, в центрах России, не могут себе и представить, какую огромную, ни с чем не сравнимую роль сыграют здесь артисты.

Красная армия сурово борется с пьянством, с самогонкой вплоть до расстрелов. Помогите же бороться искусством, благородными развлечениями.

Если бы там, в Москве, в Петрограде, могли дать себе отчет в том подъеме боевого духа, который дает на фронте жизнь, наполненная не пустотой, одиночеством, тоскливой отрезанностью, а полная живых и ярких впечатлений; если бы в Москве и Петрограде умели отличать штабной тыл фронта от той линии фронта, где люди умирают, где люди живут в отрезанности и одиночестве!

К сожалению, там не знают, там не умеют отличить тылового фронта от передового фронта, от линии борьбы, — все валят в одну кучу. От этого жестоко и неповинно страдает Красная армия.

## ЕЩЕ О ПОДАРКАХ

В «Правде» была моя статья о подарках для Красной армии.

Комиссия при ВЦИК «Красный подарок» указала в «Известиях ЦИК», что ею никогда вещей, совершенно не нужных для красноармейцев, кроме колец для салфеток, в армию не посылалось. Такие вещи могут случайно попадать в Красную армию от случайных организаций.

Я рад этому указанию.

Центр моей статьи все-таки был не в этом.

Я указывал на оторванность тыла вообще от Красной армии. При самом честном и энергичном отношении к делу эта оторванность всегда мешает.

Я уже говорил — кожаные куртки для красноармейца драгоценность, но только не зимой, а в весенний, летний и осенний период, зимой же это обуза, так как зимой их не носят; их надо таскать в обозе, а это сопряжено с хлопотами и всяческими неприятностями. Чтобы избежать их, красноармейцы куртки зимою распродают. И будет совершенно правильно, если подарки куртками будут приурочиваться к весне.

Но из Москвы этого не видно, а видно, когда побываешь в армии. Об этом я и говорил.

Часы — прекраснейший подарок для красноармейца и вовсе не роскошь.

Тот перечень подарков, что был в моей статье, вовсе не из пальца высосан, а составлен по непосредственному опросу красноармейцев.

Оторванность тыла от фронта сознается наконец.

Районы выносят резолюции о необходимости связи с фронтом и создают особые комиссии для этого.

Московский комитет создает особую организацию для связи с фронтом.

Комиссия «Красный подарок» заботится, чтобы расширение ее деятельности носило не механический только характер, но и характер увеличения связи с фронтом, — поскольку это явствует из заметок в прессе.

И этому только порадуешься.

Вот еще одно из указаний жизни.

Комиссия «Красный подарок» шлет на фронт, так сказать, готовые клубы, даже с инструкторами. Это прекрасная и страшно нужная вещь. Но обслужить ими более или менее широкий фронт не хватит ни средств, ни сил. Поэтому, помимо таких клубов, надо в большем количестве рассылать по всем частям материал для маленьких клубов: библиотечку, шахматы, шашки, инструменты. При этих условиях все части армии будут иметь клубы, а это будет иметь колоссальное значение.

## КРАСНЫЙ ПРАЗДНИК

Как масло с водой, сколько их ни взбаламучивай, упрямо расслаиваются враги революции, угрюмо уходят с улиц, с площадей, давая место рабочим, когда начинают широко взмывать праздничные революционные флаги.

Автомобиль неустанно несется вперед: холодный осенний ветер режет глаза, выжигая слезы. Мимо с обоих боков проносятся серые фигуры революционной армии и без конца черные фигуры рабочих.

Отчего лица спокойны?

Нет, не весело-праздничные, не смеющиеся, а спокойные спокойствием решимости, спокойствием пережитых побед, пережитых и переживаемых боли и горечи. Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат...

Красные пятна запятнали улицы. Под серым холодным октябрьским небом красный город.

Ни одного благородного чистого господина, ни одной благородной дамы. Ветер свистит и нижет насквозь. Не зазнобило ли их?

Чьи же это злые глаза блестят за стеклами домов?

Вот голова нескончаемой детской колонны. У этих лица веселые. Еще не пришло время положить на них печать спокойной решимости, сосредоточенной серьезности. Они улыбаются, смеются, поворачиваются друг к другу, машут нам. И вдруг вспыхивает детское «ура», беспричинное и радостное, и катится с нами вдоль их нескончаемой колонны.

Ну, так просто оттого, что автомобиль быстро несется, захлебываясь, треплются на нем красные флажки, и мы сидим, мы, — давно знакомые, даром, что никогда не видались, — ведь это пролетарские дети, а в красном автомобиле могут ехать только их друзья.

Чьи же глазенки, съедаемые любопытством, блестят за стеклами домов?

Мальчуган стянутыми от холода ручонками несет знамя — красное знамя, а ветер валяет его, а он борется, и от этого еще ярче катится, обгоняя нас, чудесное детское «ура».

Автомобиль передохнул и пошел шагом.

Ну, что бы им еще сделать? Ну, подпрыгнуть, шлепнуть ручонкой по кузову или пуститься с нами в обгонки, да колонна не пускает, да детская дисциплина уже ложится на веселое своеволие.

Автомобиль напрягся, забормотал, и пошли мелькать дома, а за стеклами то сверкающие злобой глаза взрослых, то милые, полные любопытства глазенки детей. И далеко уже теряющимися пятнами чуть краснелись знамена и потухли, и погасло далекое детское «ура».

Вот Введенский театр Лефортовского района вспыхнул красным заревом революционного убранства, и, как черное ожерелье, рабочий народ вдоль полукруглого парапета. Красная трибуна.

Срываемая и уносимая ветром, звучит музыка.

Ближе и ближе. Стройно, молодо идут ряды революционной армии мимо рабочих, ее создавших.

Нужды нет, что не все в форме, — некоторые в шляпах, иные в пиджаках, — ничего, когда понадобится, будут отважно драться вот за тех, кто теперь на них смотрит.

Не мимо генералитета, не мимо князей и сановников — мимо братьев, мимо революционного пролетариата идут красные боевые ряды, и широко реют красные революционные знамена — за социализм.

Автомобиль, напружившись, вырывается с площади, и опять бегут запятнаемые краснеющие гирлянды, остро подымаются красные, только что выросшие башни.

И каждый район, мимо которого пробегает автомобиль, вспыхивает красным заревом убранства, вспыхивают красные трибуны.

Да, праздник.

И всюду торжественно звучит он, звучит колоссальным аккордом красного зарева, величавого спокойствия — и молчанием тех, глаза которых с немой ненавистью блестят за стеклами домов, — ни одного предательского выстрела.

Величаво и торжественно над красным городом в гуле холодного, волнующего флаги и знамена ветра звучит красный пролетарский праздник.

Красная площадь.

Снимите шапки: могилы тех, кто до дна испил красную чашу страдания за братьев своих!

Василий Блаженный, старенький и седенький, плохо видящими глазами смотрит, не понимая, на проходящие ряды рабочей трудовой и боевой армии, — идут мимо высокой красной трибуны. Громыхают орудия, приземисто ползут автомобили, броневики, плотным шагом идет пехота, сдерживая горячащихся лошадей, проходит кавалерия.

А за цепью, где серые зрители, — ни одного котелка, ни одной шляпы с перьями и... ни одного выстрела.

На Ходынке снова проходят войска. На трибуне комиссар, несколько бывших генералов, полковников.

Солдатик в толпе зрителей говорит:

— Это что же, тетку их за ногу! Что же опять у нас генералы да полковники, попрежнему?

И сказал рабочий, оборачиваясь к нему:

— Товарищ, они нужны нам, только не попрежнему: нужны просто как специалисты. А в случае чего справимся мы с ними, всегда сумеем: ведь перед ними не прежняя святая серая скотина, а мы.

И, быть может, в огромном аккорде великого пролетарского праздника это прозвучало наиболее внушительно — спокойный учет совершающегося кругом.

## ТРИ МИТИНГА

— Ну, идемте на митинг, — говорит мой приятель, коммунист из Сокольнического района, председатель коллектива коммунистов второй бригады.

— Какой митинг?

— Да красноармейцев собираем. Пока хоть одну роту. Всех-то не соберешь, не влезут в помещение, а на дворе — мороз. Это наша бригадная ячейка работает, надо же их обрабатывать.

— А много у вас коммунистов?

— Человек двадцать. А вот в первой да во второй бригаде совсем нет.

Мы торопливо идем. Мороз подгоняет. У гусей лапки стали еще краснее.

Часов двенадцать, а ослепительно морозное солнце над соломенной крышей не дает смотреть.

Широко и густо шагая скрипучим морозным шагом, проходит рота, и колышутся винтовки.

— Зачем это они на митинг с винтовками? — спрашиваю я.

— Да ведь это же позиция, там уж враг, — мотнул он на белеющий гребень молчаливой горы. — Вы думаете, мир и покой деревенский, а каждую минуту может ворваться он. Особенно казаки на это мастера. Глазом не успеешь моргнуть, — налетят, и пошла писать: рубят, колют, стреляют, бросают на скаку в окна гранаты. Пока соберутся части, и деревня пылает со всех сторон, и горы убитых. Были случаи.

Мы подымаемся в двухэтажный дом. Голые стены, замороженные окна, дыхание стынет.

Помещик сбежал, теперь беженцы живут.

Когда только в первый раз вошли красноармейцы, в доме все сохранилось, как при хозяевах: картины,

зеркала, мягкая мебель, ковры. Хорошо жил землевладелец. Да и то сказать, можно было: нескончаемыми десятинами тянулись угодья — пашни, луга, степи, леса, внизу шумела мельница, раскинулся скотный двор, овчарня, амбары.

Служил у помещика много лет сторож. Красноармейцы как пришли, позвали его:

— Поди, посмотри, как твои господа жили.

Поднялся он, вошел в комнаты, да как глянул, пощупал все руками и заплакал:

— Ты чего, дурень? Тебе радоваться.

— Ды нет. Двадцать годов у них прослужил, двадцать годов верой, правдой, а ни разу... хочь бы одним глазком глянуть, как они живут, ни разу не допустили в покои. Придешь внизу в кухню, да и то оглядаешься, а наверх и дороги не знал, а они вон как жили.

Теперь угрожающе гнутся под грузными солдатскими сапогами ступени лестницы и пол верхнего этажа.

— Кабы не провалиться.

— Н-но, для себя строил!

Красноармейцы плотно, плечо в плечо, с винтовками в руках, занимают две большие комнаты. Коммунист становится на пороге между комнатами и говорит, поворачивая голову то в ту, то в другую сторону:

— Товарищи! Мы, коммунисты, собрали вас, чтобы побеседовать нам. Надо нам между собой связь и сознание. Вы знаете, что такое Красная армия. Красная армия, она защищает революцию, то есть, Российскую социалистическую, это значит, социализм, не будет бедных ни богатых, все равные. Социализм распространится по всему миру, и тогда настанет счастье человечества. Так вот, Красная армия добивается этого, головы кладет. Значит, защищает Российскую социалистическую федеративную, значит, какие народы в России есть, все будут жить самостоятельно, по своим законам, и никто их давить не будет и в то же время все вместе... Теперь же империализм, враг коллективистического строя общества, враг коммунизма, то есть, всем по потребностям, от всех по способностям...

Отклоняясь от темы, постоянно теряя главное, со вкусом, как дымящуюся яичницу, подавая: коллективизм, идеологию, империализм, коммунизм, федера-

цию и прочие выверты и вывихи языка, он в то же время рассказал последовательно о значении буржуазной Февральской революции, сбросившей царя, но это, мол, десятая часть всего дела, о гнете помещиков, фабрикантов, купцов, капиталистов, о борьбе классов, о значении Октябрьской революции, о том, что теперь делает Советская Россия для бедняков, и как мировой империализм хочет сожрать Российскую социалистическую республику, и как мировой пролетариат подымается на ее защиту и на завоевание социализма во всем мире.

Я слушал, и передо мною вставали речи там, в далекой Москве, в огромных залах, речи умелые, ловкие, гладкие.

И... сердце у меня легло к этой самоделковой, неотесанной речи.

Там ораторы идут на готовенькое, по паркету. Перед ними готовая, одинаково с ними настроенная, созвучная толпа, которая непременно и гибко отзывается на каждую мысль, легко, с полуслова воспринимая ее, постоянно отражает свое настроение аплодисментами, вопросами, возгласами.

Тут...

Тут тупо стоят и смотрят, стоят с тяжелым молчанием, опираясь на винтовки, неподвижно глядят.

Всматриваюсь: каменные лица, тупо замкнутые, незамутимые. И вот туда надо достучаться.

Больше русские крестьяне, чуваши, мордва, татары. Это они дают большой процент дезертиров в маршевых ротах.

И опять гляжу на лица. И вдруг бросается блеск внимательных, живых, ничего не упускающих глаз, ловящих каждое движение мысли. Сухие рабочие лица, такие же сухие, подобранные фигуры.

И все какая молодежь... Часто с полудевичьими лицами, и по-девичьи приколоты красные ленты, — этим только и отличают в бою своих от белогвардейцев, одинаково одетых.

— Ну, так как же, товарищи? Здесь представитель московской газеты. Ну, так как же мы скажем, чтоб как передал он Красной Москве, нашим братьям, московским рабочим: где будем зимовать — в Уфе или Бугульме?

— В Уфе!.. — грянули в обеих комнатах.

И каменные лица тронулись легким движением.

Мы весело поспевали за ротой, размашисто скрипевшей по мерзлой улице. Шли в строю, но вольно, и оживленный говор колыхался... Пробовали петь «Интернационал», но ничего не вышло — за исключением нескольких коммунистов, не знали ни слов, ни мотива.

Но «Отречемся от старого мира» понемногу наладилось и дружно шло над ротой в морозной синеве, а работавшая мельница, узко черневший между белыми берегами ручей слушали.

И стояли горы с белым гребнем, за которыми дозоры, и затаенно пробирались балками, лесами, оврагами наши и их н и е разъезды.

— Знаете, много влилось новых, оттого так неподвижны. Особенно эти чуваши, мордва, татары. Бывало, так грянем «Интернационал», что любо-дорого. Перебито много. А эти еще нетронуты. Вот, знаете, из маршевых рот бегут эти чуваши, мордва, татары, а тут побудет месяц — другой, присмотрится, так его из роты ничем не выкуришь. Обработаем.

Да я и сам чувствую — «обработают».

Уже сегодня задвигались какие-то колесики за этими неподвижными лицами, заронен рыбий крючок с зазубринкой ощущения классовой борьбы, ощущения классового строя общества. Вот они где растут, результаты милой самоделковой речи.

И я радостно гляжу в молодое живое лицо своему спутнику, на котором печать беззаветной преданности партии.

Синел зимний вечер.

В старой, тесной, низкой, неуютной бывшей церковно-приходской школе стали собираться крестьяне в нагольных тулупах, в кафтанах, в огромных овчинных шубах, с отвалившимися лохматыми воротниками, в валенках, в лаптях. То входят, то выходят. Никак собрание не собьется. Наконец, собрались, расселись по партам, бородатые, старые, молодые, совсем мальчики, женщины ни одной.

И опять коммунист говорит о Февральской, об Октябрьской революции, о помещиках, фабрикантах, о трудящихся и эксплоататорах, об идеологии, коллективизме, империализме.

А неподвижные заветренные слушающие лица крестьян, на которых сеть морщин работы и забот, говорили: «Слухаем».

Долго говорил, горячо, под конец спрашивает:

— Теперь понимаете, что такое советская власть? Понимаете, что она вам несет? Так как же, подчиняетесь вы ей или нет?

На заветренных, изрезанных морщинами лицах было все то же — свое, неподходящее: сенцо, скотинка, домашность, хлебец. Стояли, молчали и внимательно слушали воцарившееся молчание.

— Так как же, товарищи, принимаете советскую власть или нет! А?

Тогда зашевелили заросшими, как сеном, усами и вяло, нехотя сказали:

— Да мы кажного принимаем, хто над нами, повинуемся.

Коммунист раздраженно хлопнул себя по ляжкам:

— Да как же это вы так! Вот это-то и скверно и недопустимо. Значит, кто палку взял, тот и начальник над вами, а сами вы не можете себя устроить? Вот оттого все и пороли: и царь, и помещик, и губернатор, и становой, и сосали все, кому не лень.

— И отпорют, не откажешься.

— Эх, вы, только и слышно вашего, что сами шеей в хомут лезете!

— Лезешь, как надевают.

И вдруг в тесной, в низкой потемневшей комнатке,— через окно видать, в избах уже зажглись огоньки,— разом стало шумно, раздраженно:

— Подводами нас донимают. Кажный день по триста-четыреста подвод. Мысленно разве?

Коммунист сказал раздраженно:

— Эх, подводами! Из подворотни только ноги и видите. Тут человечество жизнь перестраивает, счастье ищет, а вы — подводы! А красноармейцы не подводы, а головы свои кладут, не скулят же.

Подошел, в хорошем кафтане, с сухим лицом и расчетливыми торговыми глазами, и сказал, понизив голос:

— Подводы — это не расчет, понадобится, и восемьсот выставим. А вот, что есть буржуй? Хрестьянин, какой он буржуй? А то буржуй да буржуй. Лишнюю корову тяни, лишнюю лошадь тяни. Мало лодырей. А у меня во! мозоли.

Когда выходили, подошли трое в лаптях.

— Знамо, так, головы кладете за нас же, дураков. Ну, силы нашей нету. Обсилили они нас. Ежели скажешь, заедят. А какая наша жисть? На вас надеемся.

— Ну, ладно, вот постойте денек, комитеты бедноты устроим.

Мы расходимся в густой темноте ночи. Чуть обозначились крохотные, замерзшие звездочки, и далеко-далеко шумела обледенелая мельница.

Как-то прибегает бригадный и говорит:

— Гениальный проект. Через две недели война с чехами[13] — кончена.

— Как так?

— Идут наши пленные к себе. А там чехи. Так вот и воспользуемся. Соберем пленных, хорошенько обработаем их, надаем побольше воззваний к чехам, литературы, они там и будут чехов разделывать. Через две недели война кончится.

Послышались голоса:

— А если вместо этого начнут передавать чехам наше расположение, название частей?

— Во-первых, они ничего не видели и не знают: сегодня пришли, завтра уйдут. Во-вторых, если мы их и станем задерживать, никакого толку: они обойдут кругом, проберутся окольными тропками, — местные жители все норы знают, их все равно не удержишь. Вот только обработать их нужно.

Вечером в избу набились военнопленные — все исхудалые, с почернелыми лицами, с осевшими внутрь глазами, но вид бодрый, видно, мать-родина подкормила, приютила. Как будто спокойные, даже равнодушные лица, но за ними чуялась железная решимость: хоть мертвый, да домой.

Коммунист им сказал о Февральской, об Октябрьской революции, об эксплоататорах и прочее.

Они слушали, качали головами, и вырывалось:

— Во, во, это так... верно!

А когда им дали слово, наперебой заговорили, и, оказалось, были в курсе всего. И стали торопливо, перебивая друг друга, рассказывать о той жажде переворота, которая объяла уже давно и Австрию и Германию.

— Сказывали, немцы нас обижали. Ну, нет! Придешь в немецкую деревню, там тебя напоят, накормют, табаку дадут, на дорогу всего напхают, поночевать не пускали, — нас, говорит, ежели жандарм найдет, во! и показывают на шею, повесят. Ну, начальство день ото дня зверее. Лютое зверье. В лагерях наших пропало много. Мы там и по-чешски выучились.

— Значит, будете чехов настраивать?

— Ффу, да, буду. Лишь бы не повесили при переходе. А то мы их настрочим.

А один сказал:

— Я — уфимец. Ну, не желаю итить, покеда там белая гвардия. Дозвольте в Красную армию. Буду биться, покеда не выгоним с родины.

Нет, этих учить нечему, они сами принесли на родину понимание революционных событий.

## ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

Над польской [14] армией, над польским народом зловеще-траурно распростерлись два черных крыла: мрачное наследие прошлого, ненависть к москалю, взлелеянная подлым царским режимом угнетения, и обман — величайший наглейший обман, которым сумели спутать польский народ паны-помещики, паны-ксендзы, паны-офицеры, паны-учителя, паны-литераторы, всякие паны-интеллигенты.

Нужно знать неизмеримое влияние польского ксендза на население: его паства — это в буквальном смысле бессловесные рабы, без воли и разума по отношению к нему.

Наш деревенский поп — овца и размазня перед ксендзом, образованным, умным, стоящим над толпой, глубоко ее презирающим и ни перед чем по-иезуитски не останавливающимся. И вот эти люди пронизывают польскую армию.

Это — черно-огненные агитаторы, нередко с крестом в руках бросающиеся в битву и увлекающие солдат. Для них, как и для всего панства, все поставлено на карту: в тылу в недрах польского народа глухо клокочет приближение революции, впереди ярко разбрасываемые искры уже совершившейся социальной революции. Третьего не дано. Надо загасить эти страшные искры, от этого и бросаются в шрапнельный огонь с крестом в руке.

Я уже не говорю о лживой панской литературе, о печати, которая заливает темнотой всю польскую землю; не говорю о преследованиях рабочей печати, об уничтожении для рабочих свободы слова, собраний, об обысках на вокзалах, о жандармерии, превосходящей царскую жандармерию, об осадном положении.

Туман, непроницаемый и удушливый, едко выедающий глаза, разлился над польским народом.

В этом огромная сила попов. В этом и гибель их.

Самый великолепный обман, чрезвычайно искусно оборудованный, все же, в конце концов, обман и неизбежно раскроется.

А как только раскроется, в эту дыру все провалится: и прекрасная организованность армии и снабжения, и всяческая помощь Антанты, и паны, и ксендзы, и страшное кровавое рабство польского народа.

А обман то там, то здесь понемногу начинает давать трещины, понемногу расползается. По агентурным сведениям, по рассказам перебежчиков и пленных, польские большевики, несмотря на неимоверные трудности, все же работают в армии.

Наши листовки, воззвания, несмотря на дьявольское сопротивление панов-офицеров, панов-ксендзов, панов-жандармов, все же проникают к польским солдатам.

Что Красная армия не расстреливает, не мучит, не издевается над пленными, хотя медленно, все же просачивается в польские полки.

Наконец, то, что делается там, у них в прифронтовой полосе, не может, хотя медленно, хотя трудно, не делаться известным, ибо оно разрушает самую военную организованность, подводя солдат под удары.

Наши разведчики как-то проникли за Березиной в тыл и включили себя в линию военных телефонов. Слушают, слушают, ничего не разберут. Сердиться даже стали — разговор непрерывный, а какую-то чепуху несут, ни слова о военных делах.

Оказалось, паны военными проводами преспокойно обслуживают свои имения, ведя свои хозяйственные разговоры и мешая, разумеется, чисто военному обслуживанию телефонов.

В одном месте польское командование составило план не больше, не меньше как захвата штаба одной из наших дивизий. План был великолепно разработан, до тонкости, местность благоприятствовала, кулак был соарганизован, и вдруг все рухнуло: один из польских полком от соприкосновения с нашими настолько разложился, что все рухнуло. Полк расформировали.

Пусть это единичный факт, но это первый гонец смерти польской армии.

Что же удивительного, если в польском тылу не-

мало дезертиров, если тюрьмы полны? И ведь это при всеобщем одушевлении и самое главное — при победах.

Да, в польской панской армии заложена гибель ей, заложена потому, что это — панская армия.

## НА ПАНСКОМ ФРОНТЕ

Знойное небо, чудесное расплавленное солнце, от которого давно у всех загорели лица, ласковый горячий ветерок струится все в одну сторону, раскачивая березы, а под ними на песке судорожно играют живые тени и трепетные золотистые пятна — пахнет до одури насыщенным смолистым запахом, голова кружится. Чайку бы попить в этой благодати да с книгой завалиться вон в той сосновой роще.

А вместо этого головы всех подняты вверх, и глаза напряженно следят. В голубой высоте то сверкнет, как длинная спица, то погаснет, и снова едва горячая голубизна, и опять сверкнет.

— Каждый день бомбы кидает. Летает вот, рукой подать, за лес крыльями цепляется, а ничего не поделаешь: пулеметы не берут, снизу блиндированы, а пропеллер — туда не попасть.

— Погоди, — говорит другой красноармеец, — вот привезут наши, перестанет зря мотаться над нами.

Длинная игла в небе совсем погасла.

— В тыл полетел, эшелоны все ищет.

Стоит красавец, сажень косая росту, плечистый, стройный, пышет алая фуражка, до самой земли кривая кавказская, похожая на ятаган, шашка, вся в серебре с чернью. Весь он затянут, все в нем кокетливо-воинственно и отважно. Чувствуется лихой кавалерист.

— Вот приходится со своими же поляками воевать. Да, я — поляк из Вильны.

— Как они дерутся, поляки-то?

— Да как вам сказать, есть пехотные части, стойко бьются, а кавалеристы наших атак не принимают. Два раза водил свой конный отряд в атаку, оба раза не приняли, показали тыл. А одеты — один шик. Тут, —

он провел пальцем вокруг горла,— оторочено черным барашком; в таких коротких затянутых мундирчиках,— загляденье. Конечно, в общем сейчас дерутся хорошо, но как только нас подопрут резервами, разобьем, у меня нет сомнений. Только вот злодеи мучают наших пленных, такие пакости делают. Я сам видел трупы наших пленных красноармейцев; знаете, не хочется и рассказывать, что проделывают! Что турки когда-то.

Толпа красноармейцев, сгрудившаяся вокруг, тяжело молчала, не глядя друг на друга.

— А по-моему, так,— заговорил кавалерист,— пленных брать, кормить-поить, хорошо обходиться, а сколько наших изуродуют, столько ихних, так же с этими сделать и положить в халупе, а самим уйти и записку оставить,— смотрите, мол: вы наших — и мы ваших, как раз столько же, не больше, не меньше.

— Верно. Так...— загудели кругом голоса, и красноармейцы оживились.

— А у нас, на восточном фронте я был,— заговорил небольшого роста красноармеец с большими ушами и хитроватыми на несмеющемся лице глазами, сухопарый и подвижной, должно быть, из рабочих,— так что делалось: казаки резали из спины наших пленных ремни, выжигали на груди звезду, закапывали живыми. Ну, мы в долгу не оставались. Так и шло. А потом додумались: взяли в плен полк уральцев, бородачи, зверье. Грязные, обовшивели, оборванные. По-волчьи глядят из-под насупленных бровей, ждут расправы. Ну, комиссар послал их перво-наперво в бани. Вымылись, дали им чистое белье, одежду, а когда вышли из бани,— встретили оркестром, как грянули, они обалдели: стоят, разинули глаза, ничего не понимают. А вечером устроили им митинг, рассказали, что они нам братья,— только глаза им заволокло. Повели в театр, кинематограф, концерт устроили. Так сами, когда пришли в себя от изумления, все встали, как один человек, в Красную армию и, как звери, дрались со своими, с белыми.

Красноармейцы молчали, вопросительно поглядывая друг на друга, не умея определить своего отношения к рассказанному.

— То есть, — сказал кавалерист, — они наших будут уродовать, а мы их будем угощать?

— Товарищ, — сказал с смеющимися глазами, — чего ты, десять лет хочешь воевать?

— Как!

— Да ежели мы им носы и все прочее начнем резать, так ведь они, как звери, будут драться до самой Варшавы: сколько нашего брата поляжет. А если побратски с пленными, после первого хорошего нашего удара рассеется вся армия, нет, посмотрите.

И странно, по толпе пробежало оживление, засверкали улыбки, и дружно загудело:

— Ясное дело.

— Отдан приказ не трогать, ну, и не трожь...

— Верное дело. Кто сам себе враг?.. Кому охота затягивать войну?..

А на песке все так же трепетно играли ежеминутно меняющиеся золотистые пятна.

## КРАСНАЯ АРМИЯ

Конечно, обман, густо обволакивающий польский трудящийся народ, польского солдата, в конце концов, рассеется, но ведь «доки сонце зийде, роса очи выисть». Пока медленно рассеется этот туман, Советская республика может задохнуться.

Кто же ускорит это рассеяние? Кто разобьет эти цепи?

Красная армия.

Что же такое Красная армия?

Я был поражен разницей того, что я увидел теперь в армии, с тем, что наблюдал в позапрошлом году на восточном фронте. Иные лица, иные глаза, иной ход мысли. Надо было оторваться от Красной армии на полтора года, чтобы так ярко почувствовать эту перемену.

Какая же колоссальная работа произведена за этот промежуток! И это при страшной разрухе, при недостатке бумаги, при гибельном недостатке людей. Очевидно, не прямая только агитационная работа, — ее, несомненно, недостаточно было, — а вся обстановка жизни в Советской России, самый воздух, которым в ней приходится дышать, делает людей такими, а не иными.

В массе нынешние красноармейцы отчетливо понимают, что у них сзади, за что они бьются, кто их враг, чего он хочет. Даже деревня, с ее упрямством, медленностью, узеньким кругом интересов только своей избы, даже она в армии быстро выравнивается по остальным.

Это, конечно, не значит, что красноармейцы ведут чистые, благородные, интеллигентские разговоры об империализме, о классовой эксплоататорской природе польских панов и прочем. Нет. Иногда по целым дням не услышишь слово «пан» или «советская власть», или

«польский рабочий», «крестьянин», но среди обыденных разговоров об амуниции, приварке, потертых ногах, о молоке, добытом в деревне, какое-нибудь оброненное слово о польском пане, смех, замечание или крепкая неудобосказуемая характеристика вдруг осветит красноармейскую душу до дна. Инстинкт вражды к барину уже шагает через национальные перегородки. И польский пан такой же лютый враг, как и русский барин.

Смотры и парады с незапамятных времен носили всегда лицевой характер; изнанки там не увидишь. В значительной степени такой характер они носят и теперь, — это неизбежно, да, пожалуй, и законно. Но прежде видел однообразные каменные лица солдат, у которых все глубоко запрятано, а снаружи лишь одно — дружно пройти, гаркнуть и заслужить генеральское «молодцы, ребята».

И вот я видел теперь. Широкое, широкое поле. По краям голубеют леса. Походным порядком идет отряд за отрядом, часть за частью. Кого тут только нет: и пехота щетинится темными штыками, и артиллерия тяжело громыхает, и кавалеристы, и разведчики, и пулеметные роты.

Неожиданно приехал представитель центральной власти. Войска развернулись длинными шеренгами, стройно, уверенно прошли и построились покоем. Внимательно слушали как бы краткий, чрезвычайно сжатый отчет о деятельности центральной власти. Полякам предлагали мир; шли на самые громадные уступки, быть может, переходившие даже границы, лишь бы избежать кровопролития. Польские помещики ответили наступлением, взятием Киева. Теперь надо биться, биться во-всю. Но надо помнить, — польский рабочий и крестьянин не враг, а друг наш.

И какое грянуло «ура» польскому рабочему и крестьянину.

Да, так не говорили царские генералы, и оттого лица у царских солдат были каменные.

И я всматриваюсь в эти лица и неупускающие глаза со своей мыслью, со своей остротой. Сотни лет вбивали царя в голову народа, а вот в этих советская власть внедрилась в два года, и уж не отдерешь. Да, это армия победы.

Да ведь все это, скажут, субъективно: одному ка-

жутся лица сознательные, бодрые, другому — не очень. Наконец, если даже и сознательные лица и глаза, да ведь неизвестно, как в деле-то будут эти сознательные воины? Вот про познанцев мы знаем, — они железной стеной идут в бою под губительным обстрелом, а вот про красноармейцев в этой войне не знаем.

Правильно.

Встретил под Киевом высокого с желтым, осунувшимся, в щетине, лицом человека. Одет в потертый подпоясанный пиджачок, глаза ушли вглубь, лихорадочно блестят, и он жадно, не отрываясь, курит махорку.

Я обрадованно узнал знакомого начдива. Этот лихорадочный блеск глаз, осунувшееся лицо, небрежность в одежде, жадность, с которой он затягивался, говорили о страшном нервном напряжении, нечеловеческой работе, без перерыва, целыми месяцами.

Он рассказывает:

— Ведь вот и побурчишь на красноармейцев, и иной раз с упреками к ним, а как попадешь в переделку, в самую крутую, тут вдруг во все глаза увидишь, какая это изумительная армия, железные люди. При отступлении от Бердичева одна из наших дивизий совершенно была окружена неприятелем в огромно-превосходных силах. Железное кольцо сомкнулось. Положение было совершенно безвыходное. Дивизия была зажата в круге диаметром в семь-восемь верст. На этом сдавленном пространстве паны без перерыва со всех сторон палили по дивизии из орудий, пулеметов, винтовок. Все засыпалось снарядами; в дыму, закопченные, в изорванной, обожженной одежде отбивались красные воины. Мало этого. Поперек пути, куда надо было пробиваться, тянулись тройные окопы, старые царские окопы, сооруженные еще на случай наступления немцев на Киев. Эти окопы паны подновили и засели. Пришлось не только пробиваться сквозь четверного неприятеля, пришлось брать укрепленные позиции. Познанцы шли стеной, добыча была в руках. Дивизия дралась отчаянно, выбила панов из окопов. На нее кинули кавалерию. Кавалерию не только отбили, но ухитрились отрезать и окружить эскадрон и истребили подавляющую силу врага.

Да, познанцы ходили в атаку густыми сомкнутыми колоннами, но ходили в упоении первых побед, чув-

ствуя свое огромное численное превосходство, уверенные своим начальством, что Красная армия разложилась, что от нее остались только банды. Но, самое главное, все были уверены, — один громовой удар, взятие Киева, и война кончена. Оттого поляки так бешено рвались.

В совершенно другом положении была Красная армия. Подавляемые громадным перевесом сил, захваченные вероломством польских панов врасплох, без подкреплений, без ближайших надежд на них, красные воины дрались по-львиному. И смутная тревога закралась в черную душу панов. Кто сказал: это — Верден?

Вы видите теперь: то, что написано на лицах наших боевых товарищей, то есть и на деле.

Два процесса параллельно нарастают.

Паны все больше и больше обжигаются, и скоро познанцы перестанут ходить в атаку сомкнутыми колоннами, если уж не перестали.

Красные воины крепнут числом и духом, ибо им недоставало только числа.

У польских рабочих и крестьян в американских мундирах все больше и больше открываются глаза на Советскую Россию, на своих братьев — рабочих и крестьян российских, и качаются в руках французские штыки.

У красных воинов твердо подымается в руках винтовка для русского барина, натянувшего на себя шкуру польского пана.

И польские паны, и познанцы, и легионеры идут все время под гору. Красные воины все время подымаются в гору, пока с вершины ее не откроется весь мир в будущем пламени революционного пожара.

И, тем не менее, ни на секунду нельзя ослаблять страшного напряжения: надо не только победить, надо победить в кратчайший срок.

А мы все, кто остаемся в тылу, ни на секунду не должны забывать о наших боевых товарищах, — ведь головы кладут.

Собирайте же подарки, книги, газеты, шлите на фронт и, главное, сумейте сделать организованно. Прежде жаловались: одна дивизия получит много, другая ничего, и ходят печальные: забыли о нас.

Товарищи-девушки и женщины-работницы, идите в сестры, — там нужда.

О раненых нам надо думать неустанно.

Приходилось мне обходить госпитали. У кого нет родных и знакомых, лежат печальные, одинокие. А ведь только поговоришь, расспросишь про семью, о хозяйстве, и это огромное для него облегчение.

А если принести чего-нибудь, — верх радости: значит, помнят о них.

Необходимо принять за правило: каждого раненого всюду должен кто-нибудь посещать; приносимое собирать вскладчину.

Мало кричать «да здравствует Красная армия» и со слезами принимать резолюции, — надо на деле любовно помочь и облегчить участь наших братьев.

## НИ ТО, НИ СЕ

Оружие, численность, дух. Что еще надо для победы?

Благожелательный ближайший тыл, население, кровно связанное с армией. Ведь армия дышит, живет, борется среди него.

Как же обстоит дело на польском фронте? На позиции у Гомеля мне рассказывали: белорусы тихи, смирны, покорливы.

Придет Красная армия, ну-к что ж! Они не оказывают ни сопротивления, ни помощи по своей инициативе.

Придут поляки, ну-к что ж! Им не оказывают ни сопротивления, ни помощи по своему почину. Они сами по себе, а армия — та или другая — сама по себе.

Почему же так? Разве крестьяне не связаны кровно с советской властью? Разве они не дорожат ею?

Нет.

Отчего?

Да просто потому, что советская власть не почувствовалась населением как его собственная власть. Мало того. На исполнение обязанностей власти крестьяне тут смотрят как на подводную повинность. Это — тягость. И, как всякую тягость, они стараются разложить равномерно, чтоб никому обидно не было.

Каждый мужик ходит в советской власти по пяти дней. Так все по очереди, пока исполнение советской власти не обойдет всю деревню, — и опять сначала. Точь-в-точь, как выполнение нарядов подводной повинности.

Почему же это так?

Крестьянство темно, инертно, и, главное, хождение во власти не оплачивается, должностным лицам ниче-

го не платят. И крестьянин каждый рабочий день, обращенный на исполнение власти, считает за чистую потерю.

Разумеется, таким положением с величайшим наслаждением пользуются кулаки-богатеи. Они освобождают крестьян от тяготы власти, забирают ее безраздельно в свои руки и устраивают свои дела.

Вот — пример.

За Могилевом, недалеко от Березины, в ближайшем тылу есть местечко Шипелевичи. Кулаки и богатеи забрали совет в свои руки, очень выгодно поделили между собою помещичью землю, скот, лошадей, мертвый инвентарь, а беднота ходит да облизывается. Совет держит ее в ежовых рукавицах.

— Отчего же вы не переизберете совет?

— Да хто же его знает... Как его! Вон выборы были, так они так все обделали, что мы ничего и не знали, — глядь, а они уж на нас верхи сидят, так и везем.

— Почему же вы не обратитесь в уездный, губернский исполком?

— Да ведь на выезд они же и не дают разрешения. Так и сидим.

— Бумагу послали бы.

— А на почте дураки, што ль? Нет, никак не выходит. И в губернии они сумеют так дело представить, мы же и виноваты окажемся. Сказывают все — советская власть, а оно — вон оно што.

— Под лежачий камень вода не течет. Вот что: пошлите человека в Москву, уж как-нибудь всеми правдами и неправдами проберется.

— Да это што, это можно.

— Ну, вот. Это ведь не для одного местечка, а для всей округи. А в Москве все вам по-настоящему устроят. Есть такой отдел советской власти: отдел по работе в деревне. Мужиков страсть там толпится, и всех устраивают.

Мужичок торопливо зачесал брюхо, потом спину, поскреб голову и стал прыток.

— Ах, ты, прости господи! А мы и не знали. Беспременно надо достукаться.

В тылу нашей армии иногда появляются шайки, очевидно, организуемые польскими агентами [15]. Они пытаются нападать на обозы, портить железные дороги.

Устроили два взрыва; один прошел благополучно, а в другой раз пострадал поезд.

Если население будет помогать бандитам, они неискоренимы и произведут колоссальные разрушения.

Если население будет безразлично, шайки с трудом будут существовать.

Если население поможет Красной армии ловить эти шайки, существование их абсолютно невозможно.

Отсюда вывод один: ближайший тыл армии безусловно, под страхом самых тяжелых последствий, должен быть обслужен коммунистами.

Но где же их взять?

Добыть их во что бы то ни стало нужно и послать на эту неотложную работу.

Конечно, для всего тыла, даже в его узкой полосе, работников не хватит. Тут выход один: создать летучие отряды коммунистов, которые обслуживали бы узкую прифронтовую полосу.

В отряде достаточно двух человек. Они поделят между собою деревни данного района и объедут их. Это будет иметь громадное значение.

Но это должны быть надежные, опытные коммунисты и, главное, молчальники, чтобы поменьше говорили. Чтоб ни под каким видом не начинали, как обычно, — придет и заведет: «советская власть есть власть...» и т. д.

А чтоб приехал и прямо в совет: богатеев разогнал, кулаков по шее, мошенников в тюрьму. Потом перевыборы, чтоб беднота и середняк их сделали, потом перераспределить землю; инвентарь живой и мертвый, который загребли кулаки, обратить в общественное пользование.

И только после этого можно заговорить, сколько душе угодно: «советская власть, рабоче-крестьянская власть трудящихся...» Впрочем, чего же говорить.

— Ишь ты, а!.. А мы и не знали... а оно вон оно... Мужики, почесываясь, сами заговорят:

И армия может чувствовать себя как дома.

Во время наступления Юденича [16] в приозерных районах крестьянство, в массе зажиточное, с нескрываемой враждой относилось к Красной армии и ждало Юденича.

Пришел Юденич, обобрал, поиздевался, был прогнан. Крестьянство возненавидело его, но не стали

относиться лучше и к Красной армии. Им и митинги, и собрания, и речи — ничем не проймешь, волками смотрят, и шабаш! И на митинги не загонишь.

В расположенных в приозерьи частях оказался прекрасный подбор комиссаров. Они взялись с другого конца: вошли в местную жизнь, устроили неделю чистоты; красноармейцы вычистили веками накопленную грязь во дворах, на улицах, в избах, в сараях; все деревни вычистили. А комиссары вычистили все советы от кулаков, мироедов, мошенников, а особенно подлых и расстреляли.

Крестьяне остолбенели. И тут все повалили, и стар и мал, на собрания, на митинги, в читальни, в кинематограф, и нужно было видеть, как все, не отрываясь, затаив дыхание, слушали речи о советской власти, о ее структуре.

Красная армия, до того голодавшая, стала купаться, как сыр в масле, — крестьяне тащили и вареным, и пареным, и жареным. Красноармеец стал как бы членом семьи: садятся за стол и его сажают, а он потюкает по двору топором, вытешет ось, поправит плетень.

И если бы после этого надвинулся Юденич, он бы издох в непрерывной борьбе с населением.

Вот такую атмосферу действенной любви и расположения к Красной армии необходимо создать и на польском фронте, но создать не языком, не митинговыми речами, а делом.

Повторяю, это дело надо сделать сию минуту.

## НЕ ОБМАНЫВАЙ СЕБЯ

Переоценить врага опасно. Недооценить — вдвое.

О врангелевском фронте кричат, надрываясь: разлагаются, распадаются; армия Врангеля [17] разваливается.

Вздор! Ни распадаться, ни разваливаться армия его и не думает.

Дерется великолепно. Бьет короткими смелыми ударами и бьет с хорошим для себя результатом.

В чем же ее сила? В многолюдности?..

Нет, ее численность колеблется в пределах 50—100 тысяч.

В вооружении?

Нет, хотя она прекрасно вооружена и снабжена технически. Так в чем же?

В том, что у врангелевской армии великолепный кадр, на редкость крепкое ядро. Это — офицеры, добровольцы, казаки.

Среди них много людей насквозь в крови, людей, почернелых от тех невероятных мучительств и жестокостей, которым они подвергали рабочих и крестьян в деникинском походе. И они дерутся с злобой ожесточения.

Казаки спят и во сне видят свои станицы, но те же черные преступления или изуверство и тупая невежественная ненависть к советскому строю крепко держат их в рядах врангелевцев. Так же держит калмыков их непролазная темнота.

Наконец, офицерство, которого очень много. В каждом взводе, чуть не в каждом отделении офицеры. Оттого этот кадр, это ядро так крепко спаяно, и оттого так смело врангелевцы ставят с винтовкой в свои ряды красноармейцев, только что взятых в плен: кругом пулеметы, винтовки казаков и добровольцев,

револьверы офицеров, поневоле приходится стрелять в своих. Правда, красноармейцы убегают к своим, как только представится случай, но случая этого приходится ждать, так как караулят крепко.

Так же смело ставят в свои ряды врангелевцы и мобилизованное против воли население: кадр армии крепко держит их в руках.

Врангель — это хитрая и умная лисица, — отлично понимает, что увеличивать свои ряды таким насильственным путем он может только до известного предела, пока кадр в состоянии держать в железных руках присоединенные к нему массы.

Оттого он, имея полную возможность продвинуться на север, держится в определенных, очень выгодных ему в позиционном отношении границах, — он боится раздувать свою армию. А в этих границах ему ничего не могут сделать. С запада его прикрывает Днепр, на севере — укрепления в пересеченной, холмистой, безводной (оттого нам трудно оперировать) местности, с востока — по железной дороге броневые поезда создают подвижную крепость, в тылу — Крым и море, а внутри — богатейший Мелитопольский уезд, который его питает. И он сидит в этом четырехугольнике, как у Христа за пазухой.

Это крепкое спаянное ядро с умелым и многочисленным командованием работает очень согласованно. Артиллерия, пехота, аэропланы, кавалерия бьют как раз, куда надо, и как раз, когда надо. В известный момент вылетает эскадрилья аэропланов в двадцать, смело летает над нашими частями, чуть не задевая за шапки, и осыпает бомбами и пулеметным огнем.

Что же противоставляем мы этой крепкой, умелой организации?

До последнего времени одно: убеждение, что врангелевский фронт — второстепенный фронт. Результаты от этого получились невеселые.

Нужно, наконец, понять, что врангелевский фронт — опасный фронт, и может быть, остро-опасный фронт.

Чем же опасный?

## НЕСИТЕ ИМ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Устали люди, стали гнуться перед белыми. И немудрено: три года бьются, три года непогода, жизнь на лошадях, в холод, в дождь, в жару, три года сеча, кровь, раны, смерть.

А какие бойцы! Какие рубаки! Это они отступали с знаменитой Таманской армией, они дрались на Кавказе, когда он был отрезан от Советской России; они, охваченные тифом, вырвались из рук белых, отступая в пустыне на Астрахань.

И вот теперь эти железные люди погнулись, и дивизию отвели в тыл.

Влили коммунистов, закипела политическая работа.

Прошла неделя. Мне предложили поехать из штаба в дивизию. Поехали.

Отдано было распоряжение: привести красноармейцев.

Закрывая деревенскую улицу пылью, по четыре в ряд, на мотающих головами лошадях, надвигалась бригада.

Что за молодцы! Из бронзы отлитые плечи, руки, лица; солнцем закалены, ветром обожжены, от горячей пыли почернели.

Кто в запыленной, без пояса, гимнастерке, кто в домотканой рубахе, кто в чекмене, и в разорванные дыры иной раз сквозит черное, прокаленной бронзы тело.

В папахе, в фуражке блином, или выглядывает суровое загорелое лицо из-под нависших полей белой татарской шляпы.

Мне рассказывали: в бою свалится с плеч излохматившаяся рубаха, боец перетянет себя поясом через загорелое тело, заткнет наган и ринется в бой, странно выделяясь голым бронзовым торсом.

И за каждым из них «по пять, по шесть котелков», — по пять, по шесть срубленных голов.

Спешились, густо расположились в саду, кто на деревьях, остальные прямо на земле. Принесли скамью. Один из товарищей взобрался и сказал:

— Товарищи, у вас тут трудно, головы кладете, страдания, но послушайте, что в тылу у рабочих, которые рвутся из сил, чтобы дать вам сюда оружие, снаряды, амуницию. Вас тут может сразу положить пуля, а там и день и ночь чахнут люди, клонятся в неустанной, надрывающей работе, в недоедании, в холоде, в лишениях, пока не свалятся. На Брянском заводе, при наступлении Деникина, рабочие, голодные, без пайков, не отрывались от станка, падали у станка, их выносили на носилках, и было, что умирали в амбулатории. Зато изумительно быстро починенные бронепоезда громили Деникина. Рабочие в тылу не отрываются от станков. Что же, товарищи, им сказать от вас, — сломите вы хребет Врангелю?

И грянуло по всему саду, лист посыпался:

— Сломим!.. Не жить ему!.. Скажите там нашим!..

Сделали обзор текущих событий. Потом было прочитано два рассказа: один — из солдатской жизни до революции, другой — из красноармейской жизни.

И как же слушали! Какой здоровенный хохот прокатывался по рядам! Или какими широко, по-детски разинутыми глазами смотрели эти бронзовые люди на читающего в драматических местах, — с сапогами готовы были сожрать!

Потом повели их на спектакль. Труппа тамбовского Пролеткульта поставила в школе «Марата» и «Мстителя».

И с какой голодной жадностью смотрели. Да ведь из чужой жизни. А если бы из своей, из родной!

— Ноне у нас праздник, — говорили бойцы, радостно блестя глазами.

Приехал Петровский, председатель украинского Центрального исполнительного комитета, и стал говорить, что там, в России, жены, матери, дети, сестры, братья ждут, измучились, когда же, наконец, бойцы задушат крымскую змею, исстрадалась голодная, холодная Россия на пороге величайшего счастья новой жизни, и не выдержал, заплакал. По бронзовым щекам бойцов, размазывая грязь, странно, по-детски, поползли

слезы, — у каждого из них по 5—6 «котелков» сзади, — и они хмуро вытирали слезы кулаками. Полезли за платками комиссары, командиры с покрасневшими глазами.

— Теперь я знаю, поведу их на самого дьявола, они ему череп сломят, — говорит командир, вытирая глаза.

«Да, — думал я, — митинговые речи притупились, потеряли свою остроту, убедительность».

— Просто уже не слушают обычные митинговые речи, — говорит мне начальник политического отдела, — им надо образы. Как ведь слушали рассказы, как смотрели спектакль! Посмотрите, какое настроение! Никто и не ожидал. И они себя покажут.

И они себя показали всего через три дня.

## НАДО НАПРЯЧЬ СИЛЫ

Наш поезд все ближе и ближе к боевой линии. На маленькой станции, верстах в шести от линии огня, нам говорят: «дальше ехать нельзя». Вылезаем и идем пешком.

Угрюмо сереют наши бронепоезда. На заднем орудия задрали хоботы к небу для перекидного огня. На переднем длинный хобот смотрит прямо в пролет недалекого железндорожного моста, — будет бить прямой наводкой.

Идем по полотну большой гурьбой. В полотне глубокие орудийные воронки; рельсы выворочены и изогнуты; шпалы расщеплены. Поляки били, чтобы разрушить дорогу. Но путь почти уже восстановлен. Рабочие доделывают последнее спокойно и хладнокровно, будто каждую минуту не может начаться губительный обстрел.

Но поляки молчат, и мы торопливо идем.

— Сойдите с полотна, товарищи.

Мы идем обочиной, утопая в песке и обходя воронки.

Свежие березы чуть шевелят листвой, скрывая нас от неприятеля.

Надо перейти открытую полянку.

— Тут поодиночке, товарищи! Растягивайтесь!

Идем длинно, гуськом, и на этой светлой, ясной и такой невинной поляне как будто смотрят, впившись со всех сторон, тысячи глаз. Но смотрят только лес да белый пролет великолепного моста, да грозно желтеющие размывы крутого берега на той стороне, — там поляки. Молчат.

Наконец перескакиваешь через изгородь — уф ты,

гора с плеч. И за стенку небольшого кирпичного железнодорожного домика, — тут все сгрудились.

А на той стороне огненное море, — у поляков громаднейший пожар, в бою начался. Багровые языки, как революционные флаги, безмерно струятся по ветру. Бой окончился перед самым нашим приездом.

Река разделяет врагов, и на мост наведены орудия той и другой стороны. Он одинаково недоступен, за него будут биться.

На полотне вырыты одиночные окопы, и из каждого выглядывает штык и голова красноармейца.

Я вслушиваюсь в разговор товарища, прибывшего из центра, с красноармейцами.

— Главное, напирает, силы у него сколько супротив нас. Лбом их не прошибешь, надо подкрепления.

Товарищ из центра говорит, что подкрепления будут, и больше, чем достаточно.

— А когда? — ставит практический вопрос красноармеец.

— В самом ближайшем будущем.

Глаза и лица повеселели, стали увереннее. И, когда товарищ отошел, я слышу говор среди красноармейцев:

— Я говорю, давно бы к нам. Вот из центра приехал, посмотрел, теперь видит: заброшенный наш фронт.

— Ну, да теперь дело наладится.

Я с удовольствием встречаю знакомого по восточному фронту начальника штаба дивизии. Молодой, но с отличным боевым опытом.

Он рассказывает:

— Знаете, ведь все с начала пришлось тут налаживать — ни связи, ничего. Действительно, забытый и заброшенный был фронт.

— А у поляков насколько организовано и налажено дело?

— Великолепно. Прекрасно одеты, вооружены, снабжены. Отличный командный состав. Прекрасные артиллеристы. Особенно хороши части из познанских поляков: великолепные стрелки. Наши, избалованные победами над юденичскими бандами, очень легко относились к ним: о самоокапывании и слышать не хотели, лопату в руки не заставишь взять, и стреляли... стоя. А познанский стрелок, только наш высунет го-

лову из-за прикрытия, — хлоп, и готов. В германской армии познанские поляки были лучшие солдаты. Тут только наши почувствовали, — надвигается стройная, регулярная, прекрасно организованная армия, с которой нужно биться организованно и упорно, что дело не шуточное.

Я приглядываюсь и прислушиваюсь, — да, дело не шуточное, и не только не шуточное, а грозное. И это так же должны понимать в центре, как должны понять рабочие и крестьяне.

Это не фразы, не слова, не желание пугнуть. Это жестокая истина, которой надо смотреть прямо в глаза.

Не раскачиваться надо, а напрячь сейчас, сию же минуту все силы, ибо каждый потерянный день — это почти потерянная битва.

## МОКРЫЙ ВЕТЕР

Не странно ли: империалистическая царская война ярко освещалась всеми доступными средствами. Сотни журналистов, художников, фотографов, литераторов, беллетристов, поэтов запечатлевали каждый шаг борьбы помещиков и капиталистов, подлой борьбы чужими руками за их барыши, за их доходы.

А величайшая борьба рабочих и крестьян за жизнь, за счастье всего человечества проходит молча.

Знаю, в сече, в пулеметном огне, в грохоте разваливающейся старой жизни не до писания. Это так. Но если б у всех, соприкасающихся с борьбой, жило сознание необходимости и важности запечатления этой борьбы, всегда выпала б минутка, чтоб пером, кистью, аппаратом схватить убегающие события.

А сколько удивительных лиц проходит! Сколько рабочий класс, сколько Коммунистическая партия дала поражающих типов, невиданных организаторских сил, невиданной энергии, невиданной способности угадывать и использовать события!

Неужели все это уйдет и потухнет с уходящим днем?

Поколениям один маленький рассказ, маленькое воспоминание, один небольшой рисунок даст неизмеримо больше, чем сотня ученых изысканий в архивах. А живущим даст больше, чем два-три разъясняющих митинга.

Хлещут мокрые холодные березки, гнутся черные елочки, пронизывает такой же мокрый ветер, заворачивая хвост нашему бегущему коню. Мокрый снег тяжело расступается под санями.

Шум стоит в лесу, и весь он желтеет от сложенных в кубы дров.

Сквозь лесной шум стучат топоры. Между деревьями мелькают серые фигуры красноармейцев. Мы едем, и без конца желтеют сложенные дрова.

— Ежели б поднять все это, Петроград и ухом не повел бы насчет топлива, — говорит мой спутник и, обернувшись и закрывая от рвущего ветра рот, кричит:

— Какой части?

Едва ли там слышно, да догадались, и в шуме доходит разорванно:

— За... пас... но-го пол-ка...

Вот и кладбище...

Два длинных свеже-насыпанных вала параллельно тянутся сажен на сорок; людей не видать, только видно, вылетает снизу мокрая глинистая земля и вскидывается на валы.

Подходим. В глубокой, больше чем на сажень, траншее вода уже стала выступать, — торопливо работает, выбрасывая лопатами, партия трудармейцев [19].

— Здравствуйте, товарищи!

Часть поставила лопаты, другие молча продолжали выкидывать, не прерывая работы.

— Доброго здоровья...

— Ну-ка, — говорит мой спутник, — теперь дело на лад идет.

— Помирать не поспевают, — весело доносится снизу, и они поднимают к нам оживленные лица, худые, истомленные недоеданием. — Триста человек в этой траншее захоронили, и в этой триста лягут, лишь подвози.

И опять рыхло-мокрая земля замелькала снизу, вскидываясь на вал.

— Видите, как работают, — говорит мой спутник, помощник комиссара Карельского [18] участка, металлист-путиловец с славными ласково-задумчивыми глазами, — как шибко дело идет; вот и производительность труда высокая. Их надо поставить в такие условия, чтоб ни одной минуты зря не терять. А то, когда пришли сюда сначала, стали верхний мерзлый пласт снимать, ломы легкие, не берут, земля смерзлась почти на аршин, как камень. Тюкают, тюкают, ничего не поделаешь. А остальные стоят с лопатами, покуривают да болтаются. А уж это самое последнее дело, когда во время работы да без дела приходится стоять, — разложение сейчас же начинается, а там и недоразумения

всякие. Да и дело не делается: мертвецов все везут да везут. Ну, догадались, вместо того чтобы мерзлоту колупать, два колодца и взорвали порохом, а там лопатами и заработали; видите, как дружно пошло. И сразу повеселели ребята, и производительность поднялась.

Я много расспрашивал знающих людей, а теперь и сам вижу — производительность труда трудармейцев можно свободно довести до нормальной производительности, если только их поставить в нормальные условия, чтоб были сыты, имели отдых, не теряли время на большие переходы, а главное, чтобы все приготовлено было заранее, — место работы, инструменты, технические руководители, чтоб не приходилось разыскивать, дожидаться, что ядовито разлагает...

Мокрые, иззябшие, исхлестанные злым ветром, мы едем с комиссаром артиллерийского дивизиона — здесь артиллеристы работают. Тоже металлист, перебывал чуть ли не на всех металлических заводах Петрограда, с молодым безусым лицом.

В теплой дачке, которая показалась раем после дьявольского ветра, комиссар угостил нас горячим супом, который сам варился, пока мы ездили на работы.

Я смотрю на них, на обоих, слушаю, как они вспоминают и рассказывают случаи из своей заводской жизни, из красноармейской. Славные ребята. Ведь они занимают, если попрежнему сказать, места генералов. А для красноармейцев это — свой брат, с полуслова друг друга понимают. Оттого так легко, так свободно в девяноста случаях словом убеждения они умеют поддержать в Красной армии железную дисциплину.

## БОРЬБА

Только что народилась трудовая армия, и уже зажглась вокруг нее борьба.

Страшная нужда в квалифицированных рабочих, особенно в металлистах. Петрограду их нужно было более 10 000. И отдельные предприятия и целые учреждения в один голос требуют:

— Трудовая армия, отдай нам квалифицированных рабочих!

— У нас станки стоят, — кричат рабочие-металлисты, — вон паровоз не можем выпустить, ведь это же зарез!

— У нас и сырье есть, и топливом кое-как обойдемся, и рабочие есть, — стараются перекричать табачники, — а дело становится: нет механика-специалиста на станках! Что же вы режете производство!

— Послушайте, — рвутся просветительные, профессиональные, партийные организации, — помимо всего, что предприятия технически замирают от отсутствия квалифицированных рабочих, вы лишаете нас цемента, который связывает всю пролетарскую массу, который одухотворяет, вливает в нас общественно-политическое сознание. Чего же вы хотите? Духовного обнищания пролетариата? Политического и культурного его распада? Послушайте, вы сделали свое дело, штыком вы пригвоздили врага к земле; во время страшной борьбы мы ничего вам не говорили, ничего не требовали. А теперь дайте же нам дышать.

— Как, мы сделали свое дело?! Разве мы его кончили? Разве нам не грозит еще горшая смерть от другого врага? Мы только переложили штык в левую руку, а в правую взяли топор, молот, пилу, железнодорожный ключ. Вам нужен цемент для городского

пролетариата, а нам нужен для армии, которая почти сплошь крестьянская, и по уровню, конечно, ниже пролетарской массы. Вы что же — хотите ее полного распада? Так говорите прямо. Наконец, нам для производительных работ квалифицированные рабочие так же нужны, как вам. Если мы их вам отдадим, армия потеряет свою трудовую стройность, организацию и ценность, просто превратится в толпу чернорабочих и начнет разлагаться. Какой же тогда смысл содержать трудовую армию?

Так борются: «То сей, то оный на бок гнется...»

И те и другие правы. Армия возвратила Петрограду 300 квалифицированных рабочих. Заводские комитеты устраивают им экзамен, верно, что квалифицированные, и берут. Возвращают квалифицированных железнодорожников, но это капля в море.

Какой же вывод?

Армия — живой организм и гибко приспосабливается к реальным условиям жизни. Будет найдено положение равновесия для обеих сторон.

Сейчас идет анкетный поголовный подсчет в армии специалистов, квалифицированных рабочих, механиков, слесарей, токарей, столяров и прочих.

Все рабочие высокой квалификации, как модельщики, отливщики, будут немедленно возвращены предприятию.

Из оставшихся квалифицированных рабочих будут организованы ударные бригады слесарей, плотников, столяров, монтеров, водопроводчиков и прочих, человек по 100—150, и будут направляться на заводы и в учреждения по требованиям.

## ЧЕРВЯЧОК

Уж такое, видно, нутро у меня, — к чему бы ни подходил, всегда в душе сидит ядовитый червячок сомнения: да так ли это, как говорят? Да верно ли рисуется мне и другим какое-нибудь явление?

Вот точно такой же червячок копошился, когда я ехал в Петроградскую трудовую армию.

Ведь это же колоссального размаха невиданный социальный опыт, опыт мирового значения!

А червячок ядовито: цыплят по осени считают, подождем, что выйдет.

Да ведь потребность в организованной рабочей силе неисчерпаема!

А червячок: да, в рабочей организации, а не в военной организации.

Но ведь уже есть опыт на Востоке работы трудовой армии и опыт вполне удовлетворительный?

А червячок: удовлетворительный-то удовлетворительный, потому что массой навалились, а какова производительность труда, мы не знаем, из общих сухих сводок этого не видно. Может быть, овчинка и выделки не стоит; может быть, неизмеримо выгоднее распустить армию, чтобы ее состав просто влился в рабочую массу и дал обычную, нормальную производительность труда.

И сколько бы я ни приводил доводов, червячок, ядовито изгибаясь, с усмешкой обесценивал их.

Ну, что ж, надо своим глазом посмотреть, надо самому прикинуть, самому прислушаться.

И я собрался ехать на позиции.

Да не тут-то было! Город вцепился в меня сотней рук, сотней учреждений, сотней различных мнений, интересов.

Трудармию со всех сторон то восхваляли, то критиковали, то ругали, то были равнодушны, но все тянулись к ней.

Попал я на заседание Исполкома Петроградского совета. Там мрачно звучало: тиф ползет по Красному городу, холера притаилась — ждет весны. Борьба с этими ядовитыми врагами и поручена трудовой армии.

Над городом давно уже нависло бестопливье. Застывшие дома рушатся, а будущий год надвигается еще горше... Постойте, как же быть? А трудовая армия?

Гужевого транспорта нет: отдельные учреждения пользуются гужевой повинностью крестьян вкривь и вкось, подрывая окончательно транспорт. Так пусть трудовая армия возьмет в свои руки подводную мобилизацию. Куда бы ни обернулся, в какое бы учреждение ни попал, только и слышишь: трудовая армия.

Так что же, это если не прекрасная, так во всяком случае интересная незнакомка.

И я иду знакомиться.

## ДВА ТЕЧЕНИЯ

Мокрое небо низко, а под ним ветер по лесу разбушевался. Скрипят сосны, кланяются елочки все в одну сторону, как растрепавшиеся волосы, мотаются березы.

По самые по колена в снегу ворочаются трудармейцы и широкими лопатами скидают тяжелый мокрый снег со штабелей торфа. Вяло работают.

— Что ж, товарищи, веселости нет в работе?

Тот, что возле меня, ставит лопату, достает табак, крутит и долго закуривает, всячески укрываясь от ветра.

— Да как вам сказать, не соврать, — говорит он, поймав, наконец, папироской огонь, — кабы положение было, а то видимость одна. Приехали утром, заместь на работу прямо итти, нас погнали спервоначалу к конторе, построили и повели, чтоб походным порядком, в строю. Ну, пришли. Работать бы, лопат нету. Опять построились, повели нас за лопатами. Покеда инструмент приносили, ноги отходили, верст шесть туды-сюды отмахали. Ну, уж тут не работа, — все думаешь, как бы присесть да покурить. А там на обед за две с половиной версты итти.

В трудармии борются два течения. Одно, необыкновенно яростное, говорит: нет трудармии, есть только армия, и все до последнего движения должно определяться в ней воинским уставом, воинской дисциплиной, всем, чем живет, дышит, чем сильна и крепка армия.

На работу идет не трудармеец, а красноармеец, и потому он должен на работу итти в строю и уходить с работы в строю. Он должен терпеть голод, холод, неустройства точно так, как он их терпит в бою, в по-

ходе, на позиции, и не смеет ими отговариваться. Для него одно свято: долг и дисциплина. Никаких наград, никаких поощрений, никаких премий. Как в бою не из-за наград, а из чувства долга и под давлением дисциплины люди кладут головы, так и здесь, во имя долга и железной дисциплины люди должны отдавать свой труд, свои силы, здоровье, должны мириться со всякими переустройствами, с голодом, с холодом, с промахами и ошибками окружающих учреждений.

Только тогда это армия. Иначе, это только сброд бывшей разложившейся армии, которую выгодней совсем распустить, чем заражать кругом этим разложением, ибо ведь это страшная штука.

— Видите ли, — говорил мне рабочий, бывший комиссар трудовой армии, и во время наступления Юденича и после делавший огромную работу в армии, — конечно, армия есть армия, а стало быть, и дисциплина, и дисциплина железная, должна быть, и строй всей жизни должен быть военный, и трудовые задания должны исполняться, как боевые. Все это так. Но жизнь есть жизнь: у ней тоже свое, и ее кулаками не перешибешь. С ней приходится считаться, хочешь не хочешь. Одно дело, когда люди на смерть идут, тут деваться некуда, и все покрывает страшное напряжение; другое дело изо дня в день спокойно работать работу. Вот они говорят: никаких наград, никаких поощрений, никаких премий, никакой оплаты сверх трудармейского пайка и жалованья. А я сделал такие наблюдения:

«Шесть трудармейцев в обычном порядке, то есть не получая никаких добавочных, грузили вагон дров в четыре часа, то есть на погрузку дров одного вагона нужно было двадцать четыре рабочих часа. Работали за совесть. Вагон берет три куба дров.

«Три женщины-работницы грузили вагон в семь часов. То есть вагон требовал двадцати одного рабочего часа. Получали они за это пятьсот рублей, обед бесплатный, по восьмушке табаку и по восьмушке сахару.

«Четыре трудармейца, взятые одним учреждением, нагрузили вагон в два часа, то есть на вагон потребовалось восемь рабочих часов. Им заплатили пятьсот рублей, дали бесплатный обед и по четверке табаку.

«Ничего не поделаешь, приходится считаться с реальными условиями. И как-никак, в бою — одно, в мирной жизни — другое. Да и в боевой обстановке разве нет наград, поощрений, премий, отличий? И ордена дают за боевые заслуги, и денежные награды, и благодарят в приказах, и не разлагается от этого армия. И не только не разлагается, а это подстегивает, побуждает к большему рвению, к соревнованию. Нет, такая военная прямолинейная политика в мирной обстановке труда не годится. Она даже сорвать может все дело. Дело новое, на каждом шагу надо применяться к окружающим условиям. На каждом шагу надо прикидывать и так и этак: ошибся — по-иному, опять ошибся — опять по-иному. А не то что оседлал, сел да поехал напролом, не оглядываясь.

«А ведь, пожалуй, он прав», — думал я, глядя на его крепкое, энергичное рабочее лицо.

— А тут опять же тыл, — продолжал он, — ни одна боевая армия не вросла так в тыл, как трудовая армия. Все ее движения, вся ее работа, производительность труда, все зависит от тыла, от тех учреждений, с которыми армия соприкасается. А надо прямо сказать, тыл не пришлифовался еще к армии. Учреждения вызывают пятьсот трудармейцев, а дают работу четыремстам, а сто болтаются без дела, это — гибель; нет ничего более разлагающего, как оставить хоть на минуту людей без дела, — сейчас же разложение начнется. Вызовут на работу, — смотрим, то инструмента не приготовили, то гонят зря людей; ну, тут уж о производительности труда не спрашивай. А между тем ведь в сущности тыл у нашей армии великолепный — революционный рабочий город. Нужно только, чтоб учреждения подтянулись. Чтоб они не смотрели на трудармию спустя рукава, как на что-то постороннее, их не касающееся. Тогда дело на лад пойдет.

## ТИФ

Когда в прошлом году пришли башкиры, их платье и белье сняли для дезинфекции. Когда камеру открыли, на полу ее лежал серый песок в два вершка толщины. Присмотрелись, а это не песок, а вши.

Вши в два вершка толщиной! И тиф ворвался в армию.

Кое-как справились.

Пришел и ушел Юденич, и на Красную армию неожиданно хлынули полчища перебежчиков. Они шли голодные, холодные, оборванные, босые, изнуренные и несли поголовно тиф. Шли качающимися толпами по льду через Чудское озеро, а это сорок верст. Морозы, ветры, метели, — и озеро запестрело мертвецами.

Сколько глаз хватал, они чернели по снегу, пропадая за горизонтом. А теперь озеро попрежнему чисто и бело: всех мертвецов заровняла метелица.

Прибрежные леса Эстонии оглашались безумными криками — шли тифозные в бреду. Кормить их было некому, смотреть некому, лечить некому, — эстонцы, спасая себя и свои семьи, гнали их от себя, как чуму, и некому было хоронить.

Весной из-под осевших сугробов вырастут груды человеческих тел, и истлеют безымянные кости.

В Красную армию хлынул тиф, а через нее — в город.

Город не мог справиться с обрушившимся бедствием. Тиф расползался. Тифозные селились по частным квартирам. Санитарные поезда стояли по семь, по восемь суток неразгруженными. Надо знать весь ужас, когда неделями тифозные валяются по теплушкам. Что же делать? Да в трудовую армию. Начальник петроградского укрепленного района был назначен чрезвычайным уполномоченным по борьбе с эпидемиями. Рабо-

та закипела. Трудармия выделила из себя квалифицированные группы — плотников, столяров, слесарей, водопроводчиков, электромонтеров, — и они быстро, без переписки, без волокиты стали оборудовать вновь развертываемые госпитали. Надо знать, в каком состоянии дома, чтобы представить себе всю груду необходимой работы. Команды трудармейцев подвозили кровати, столы, умывальники. Сейчас идет сбор среди населения одеял, белья, устраиваются бани, прачечные.

Результат. Шесть тысяч кроватей развернуто, семь тысяч будет развернуто в ближайшее время. Санитарные поезда, набитые тифозными, разгружены. Организовано погребение трупов, а то они валялись непогребенные. В гарнизоне тиф загнан в госпитали, а это больше половины дела. Организовано чтение лекций, беседы. Во всякой борьбе необходима концентрация сил. Под давлением необходимости гражданские учреждения, поскольку дело касается борьбы с тифом, сосредоточиваются в руках трудармии.

Волокита, распускание слюней и ушей пресекается. Военный механизм действует строго, точно, порой жестоко.

Мне рассказывают: послана телеграмма одному из представителей гражданского учреждения с настоятельным приглашением явиться на чрезвычайно важное заседание в шесть часов вечера. Телеграмма в девять часов утра. Не явился. Почему? Да извольте видеть, он живет в пятом этаже, а телеграмма попала в третий этаж учреждения и оттуда шла в пятый целый день, и представитель учреждения на заседание не попал.

— Да разве это мыслимо! Да разве это возможно!.. — кипятился представитель трудармии. — Мы работаем двадцать четыре часа, нет мертвого пробела в сутках; в гражданских учреждениях посидят от девяти до четырех, а там хоть трава не расти, а ведь тиф не от девяти до четырех работает.

Нигде, может быть, так выпукло не вырисовывается концентрированность учреждения, как в этой обстановке борьбы с эпидемиями.

Не знаем, как в других местах, но в Петрограде трудармия нашла широчайшее и плодотворнейшее поле для приложения своих сил.

## В ШТАБЕ

Автомобиль быстро идет мимо однообразно-скучных петербургских дач; в лицо лепит мокрый снег, холодный мокрый ветер.

Начальник укрепленного петроградского района показывает на бесконечно тянущиеся между березами направо и налево желтые полосы.

— Вот все окопы, и все оплетено проволокой. Они тянутся бесконечными рядами. Юденич тут запутался бы, как в тенетах.

У моего спутника простое крепкое лицо, а за этой крепостью печать усталости. Едва ли он когда-нибудь спит. Боевое управление, работа в трудармии, напряженная борьба с эпидемиями — разве передохнешь? А сзади два года пестрой революционными событиями жизни, борьба, чехословацкий плен, побег, десятки назначений на разные посты, надрыв, болезнь, и вот опять в красно-кипящем котле революционного города. Только революция умеет ковать такую разнообразно нарастающую судьбу.

Я спрашиваю о том, что меня постоянно занимает и мучает:

— Скажите, производительность труда трудармии какова?

Я спрашиваю, а сам заранее знаю истертый ответ: «О, великолепно! Чрезвычайно высока!..» И слышу коротко и резко:

— Низкая!

— Почему?

Он сосредоточенно молчит. Потом говорит с затаенным раздражением:

— А потому, видите ли, у нас, у трудармейцев, рабочий день двадцать четыре часа; каждую минуту дня

и ночи мы готовы выполнить боевое или трудовое задание. А в гражданских учреждениях от десяти до четырех. Допустимо ли у нас что-нибудь подобное? Нет, их нужно милитаризировать, иначе толку не будет.

Он опять сосредоточенно помолчал, обдумывая.

— А тут и наши. Приходится перевоспитывать. Многие из командного состава просятся: переведите на боевой фронт, мне нужны боевые задания, что я тут дроворубом буду! Извольте видеть, это для него унизительно. Вести роту под пулеметным огнем, это — геройство, вести ее на заготовку дров, на стройку моста — это обывательщина, мещанство. Вот с чем приходится бороться. Да это командный состав! Есть комиссары-коммунисты, которые придерживаются тех же взглядов. Вот тут и поди. Приходится перевоспитывать сверху донизу. Но это все обойдется, это в конце концов не страшно. А вот гражданские учреждения подтянуть надо, милитаризировать их надо.

Человек, который никогда не спит, железной рукой умеет заставить всех вокруг себя работать.

Вот и штаб. К крыльцу подходит молоденький артиллерист. Мой спутник обращается к нему:

— Который час, товарищ?

— Половина одиннадцатого.

— Под арест за опоздание на службу. Это не первый раз.

В штабе обычно, как во всяком полевом штабе, рапорты, донесения, телефонограммы. Дачка натоплена. Достаем карту, смотрим расположение работ, куда мне ехать. Входит помощник комиссара Карельского участка, славные глаза. Ну, конечно, рабочий, конечно, металлист, путиловец. Садимся с ним в санки и едем мимо хлещущих березок, томно гнущихся елочек. Ветер, как дьявол, старается нас опрокинуть с санями и с конем — с моря рвется, должно быть, от англичан.

Вот батарея. При малейшей тревоге все номера на месте, и орудие откроет губительный огонь. Тут все на-чеку.

У ручья притянутая к земле «колбаса» под брезентом; ветер волнуется и переливается в ней, как в огромном брюхе. Немало послужил аэростат, зорко наблюдая за врагами.

Тянется необозримое Шуваловское болото с громадными пластами великолепнейшего торфа. Достав-

лены торфяные машины, проводится узкоколейка (почему не ширококолейная, не было бы перегрузки).

Инженер торфяного комитета объясняет расположение и характер работ. Идет расчистка из-под леса торфяных болот, работы торфяные начнутся весной.

Я спрашиваю инженера:

— Какова производительность труда трудармейца?

Он осторожно, косо посматривает на комиссара — не хочет ссориться — и говорит:

— О-о, прекрасно работают! Мы с ними отлично работаем, спелись.

— Ну, как в цифрах? — настаиваю я.

Он полуотворачивается и, понизив голос, говорит:

— Да... хорошо: шестьдесят процентов нормы.

«Ну, шестьдесят процентов нормы не так уж хорошо», — думаю я.

— Почему это так?

Инженер пожимает плечами.

В затоны, между которыми со свистом все так же бешено рвется ветер, трудармейцы кидают лопатами почвенный торф.

Мы подходим, все окружают нас, вкладывая лопаты. Немало желтых истощенных лиц.

— Ну, что, кончили? — спрашивает комиссар.

— Обедать идем, — послышались голоса, уносимые рвущимся ветром. — Опять такой же обед: без хлеба.

— Разве не привезли?

— Да привозят когда? В четыре, в пять вечера. А за обедом без хлеба. А вечером привезут, тут же весь его и слопаешь, жрать-то ведь хочется. А кабы привезли к обеду, за обедом его весь не съешь, на утро бы оставил, перед работой и закусил бы, ан работа совсем другая. А то руку с лопатой не подымешь.

— Опять же без толку, — послышались возбужденные голоса, которые трудно было разобрать в свисте ветра, — обедать иттить три версты, назад три версты, когда же работать? Придешь на работу, инструментов нет, иди за инструментами. Покеда сходишь, а дню уж сколько осталось? А то торфу не подвозят, стой тут, болтайся, жди. Разве это работа?

Так вот почему шестьдесят процентов! Напрасно инженер пожимал плечами. И не пришло ли время подтянуть отдел снабжения?

Я слежу за устало удаляющейся командой трудармейцев со своим молоденьким инструктором. И мне радостно: люди честно относятся к работе, не хотят воспользоваться неустройством тыла, чтобы побаклушничать.

У нас с комиссаром совпадают мысли, и он говорит, угадывая:

— Сознательно ребята относятся к делу, а то что бы им: инструментов нет у них, привалились бы в затишке и курили бы себе спокойно. Торф не подвозят, — опять бы курили, благо табачок выдали. Далеко обедать ходить, — так ведь ходить за разговорами и за цыгаркой легче, чем работать, и лоботрясы рады бы этому были, а эти сердятся. Ну, да и то сказать: какая огромная работа среди них ведется — собрания, митинги, доклады. В отдельности с каждым говоришь, так они уже пропитались сознанием, что если разруху не сбыть, — смерть.

Мы садимся в санки и едем дальше. В лесу легче: бешеный ветер запутывается в деревьях и не так пронизывает.

## НОЧЬ

Москва живет болезненно-чуткой напряженностью. Как будто ободрали с нее всю кожу, и малейшая рябь мировых событий хлещет в открытые нервы.

Неизбежно это, необходимо, но... устаешь. И я был очень рад, когда наш прокуренный, заплеванный, черный — свечей нет — вагон остановился и я вылез в кромешную тьму самой непролазной провинции.

Вдали дымит туманом одинокий фонарь.

Где станция, куда итти, никто ничего не знает. Из вагонов вываливаются черной гущей люди и в гомоне и давке текут вдоль вагонов то навстречу друг другу, громоздясь в заторы, полные крика, воплей, брани, то в одном направлении.

Для удобства под ногами навалены шпалы, камни, доски.

Баба кричит, как резаная:

— Рабеночка уронила!.. Рабеночка раздавите, анахвемы!..

И среди этой черно ворочающейся каши зловеще-жуткий молодой голос:

— Которые контуженные прожектором, суды!

— Слепые, что ль?

Я выбираюсь из неразберихи по откосу.

В слабом освещении у станции две лошадиные морды в оглоблях. Но на пролетках уже куча ребятишек, — больше извозчиков нет; хлопочут женщины. До города версты две. Куда итти, решительно не знаю.

В мутной полосе из окна, тускло ложащейся по жидкой грязи, стоит высокий старик в шинели; в руках белеет чемодан.

Я вхожу в полосу, и он, оглядев меня выспрашивающе, говорит:

— Пойдем до города вместе, а то темь, кругом овраги.

— Отлично, только вы идите вперед, а я за вами — я близорук.

Он разом становится сторожким:

— Почему же я?!. Иди ты вперед, — у меня тоже глаза плохие... Он у меня, чемодан-то, — пустой. Вот, — он подымает его легко.

— Да я дороги не знаю, я в первый раз... заведу вас.

Я ужасно рад, что не взял с собою ни чемодана, ни портпледа. Вскидываю за спину свой горный мешок с переменой белья да с письменными принадлежностями и шагаю, разбрызгивая грязь, за мутным, едва уловимым пятном старикова чемодана.

Кромешная ночь идет с нами, молчаливая и пустая.

А старик все спешит, стараясь подальше от меня держаться. Вдруг мутное пятно исчезает. Я останавливаюсь. Куда же теперь!

У самых моих ног из-под земли голос:

— Стой, товарищ, ни шагу — я в яме сижу.

Я щупаю ногой край обрыва. Потом ложусь грудью на него:

— Давай руку, товарищ.

Старик вылезает. Теперь мы дружелюбно идем след-в-след.

Осторожно разговариваем, придерживая язык, чтоб не перекусить, оступившись.

— Знаете, мне уж шесть десятков, а я добровольцем служу. Старей меня в армии нет. А почему? Потому, что черное пятно души моей не дает мне покою. Я у них под Симбирском в плену был; я да еще восемь человек. Ну, энтим восьмерым велели им лечь лицом к земле, а руки на спине накрест. Легли они лицом к земле, руки выпростали на спину. Подошли восемь сербов, винтовками в затылок — рраз! только вздрогнули.

Спрашивают меня:

— Чем был?

— В железнодорожном батальоне.

— Подрывное дело знаешь?

— Знаю.

— Ну, отставьте его к сторонке. Ежели вздумаешь бежать, ремни из тебя будем резать.

Стою. А тут наши как раз шрапнель пустили, так и осыпали кругом. Начальник ихний упал. Все бросились к нему, а я за дерево встал, перебежал за другое и побежал лесом. Стали стрелять... ушел. Ну, я что? — ничего, я ничего, — они с нами так, и мы с ними, зуб за зуб, тут обижаться не будешь. А вот чернота... Верите ли, я цыпленка зарезать не могу, никогда во всю жизнь не резал, а их, ну кишки бы выпустил. Трех попов зарезал, в брюхо рраз! готов. Мужики доказали: провокаторы. Один и посейчас в деревне, непричинен, ну что ж, оставайся... Я ведь сын крепостных. Вот мамаша рассказывала. Гоняли людей глину месить. Так по кругу гоняют, как лошадей, они ногами и месют. А мамаша тяжелая была старшим братом. Да и опоздай, — и опоздала, может, на четверть часа. Зараз бурмистр: «А-а, такая-сякая!..» Выкопали в глине ямку для живота, положили животом в ямку и стали пороть.

Он остановился.

— А?.. Ямку выкопали! Да я им теперь горлы перегрызаю!.. Так с ямкой и в могилу пойду...

Голос его сорвался. И столько в стоявшей темноте прозвучало ненависти, жутко стало. Казалось, невидимое лицо его дергалось судорогой.

Так вот почему с такой невиданной в мировой истории непреоборимостью ломаются незыблемые тысячелетние неподвижные устои. Железная необходимость развития внутренних общественно-экономических законов проломала отдушину, и туда хлынул океан классовой ненависти.

Дежурный помощник коменданта отвел мне ночлег, и я повалился, как убитый.

## ДВА БРАТА

Ну, и жарит! Судорожно, знойно трепещет все — и иссохшее, бледно недосягаемое небо, и дальние увалы бесконечно разлегшейся, тоже иссохшей степи, и забытое белое облако над краем, и соломенные хаты,— тронь спичкой, сразу все огненно забушует. Кони исступленно отбиваются от мух и слепней, не трогая наваленного сена.

Вчера в леваде за хатами с врангелевского аэроплана разорвалась бомба. Разнесло двух лошадей, санитарную повозку, переранило красноармейцев, мирно сидевших поодаль за котелком. Сестру убило.

Я лежу на спине под изуродованной, израненной вербой, — кора сорвана, — и гляжу сквозь переломанные обвислые ветви в побелевшее от зноя небо. Наша артиллерия ухает за хутором, сотрясая землю, отдаваясь в груди и голове. А вражья — глухо, как далекий гром, оттуда, где застряло за краем белое облако, — снаряды рвутся версты за три от нас над громадно разлегшейся балкой. Там залегли наши цепи.

Мне ребята сказали:

— Ничего, лежи. Он бонбу бросит, улетит, тут самое мы и лезем в холодок, куды кидал, думает, побоимся, и не трогает, другого ищет.

Ротное прикрытие рассыпалось по хутору. За вербами речонка — одна тина, а в ней свиньи подрагивают ушами от мух. Жителей не видать.

Идут двое красноармейцев, молодые. Сожженные дочерна щеки втянуло. Один — высокий, с длинным лицом, а другой — русый. Не видят меня. Прошли, хрустя опавшим, заскорузлым от жары листом, сели на корточки, стали крутить.

— Ты, товарищ... Одно слово, ссёть мене тоска — хочь в лепешку разбейся.

Другой молчал, все так же на корточках. Провел языком, склеил, сломал собачью ножку, насыпал махорки, прикурили друг у друга.

— Нечево кричать, коли еще не бьют.

— Да как же!.. Вот ведь... кабы так, а то ведь женился... Кабы как-нибудь, а то вот она где, — русый стукнул себя в грудь, будто пробить хотел. А? Товарищ!..

— Как было-то?

И высокий, равнодушно затянувшись, сжег собачью ножку почти до перелома.

— Ды как!

Тот, что пониже, докурил, выдул на листья изо рта остаток цыгарки, сел, придвинул колени и обнял их.

— Как! Кабы что, а то ведь...

И вдруг запрокинул голову, закричал:

— Гля!.. гля!.. Должно, наш..

Высокий тоже запрокинул голову. Стали глядеть в изнеможенное, пожухлое от зноя небо. Черно распластавшись высоко под маленьким забытым облачком, плыл аэроплан. Да вдруг грохнуло, дрогнула утроба земли; около аэроплана родился белый, медленно тающий клубочек.

Красноармеец вскочил на колени с все так же задранной головой.

— Врангель!.. А-а, сволочь!!.

А земля продолжала содрогаться, и белые клубочки рождались все ближе и ближе к черно плывущему коршуну. В стороне загрохотала непохоже на орудийный удар сброшенная бомба. Да, видно, невтерпеж стало, коршун нырнул в облачко. Зенитные смолкли.

Красноармеец опять охватил колени, и непроходящей тоской зазвучал его голос, как будто не летал вражий аэроплан, как будто кругом мирно дрожал зной, а вдали сухо погромыхивал летний гром:

— Кабы так... А то веды не то, что побаловался ды бросил. Женился... Ну, одно слово по чести. Что ж, и тут бабы... которая и ластится, а я без внимания, — помню ее одну, так бы и полетел. А тут — на, письмо — гуляет с австрияком, военнопленный у нас.

— Брехня!

Красноармеец вскочил на колени:

— Отец пишет, кабы кто! Он ее кохает, как свою дочь. Стало быть, от рук отбилась, ежели написал, а то все таился, — он у меня справедливый.

Замолчали. Я смотрел на ротного; он опустил голову и мял сухие листья. И заговорил:

— Чудак! У тебя, что ли, одного? Да у меня вовсе жена сбежала... С бывшим офицером...

Красноармеец обрадованно закричал:

— Нну-у!.. И у тебя?!.

Тот спокойно стал рассказывать о своей семье; как встретился с девушкой, полюбили друг друга, зажили счастливо, а потом... с бывшим офицером... Конечно, горько... А потом приходит, «прости, говорит, сама не знаю, как вышло... одного тебя люблю...»

— Во-во! — радостно говорил красноармеец. — Ну, а ты чего же?

— Да что, говорю: «Ежели любишь, давай жить». Теперь — ни сучка, ни задоринки.

— Во, во, во... — заторопился красноармеец, — вот и я так: ворочусь, ежели бросит его, спокается, скажу: «Ну, ладно, чего уж вспоминать...»

Они долго сидели и тихо говорили.

А ведь у него никакой семьи нет и не было, у ротного-то, — один, как перст. Я его отлично знаю по Москве.

Далекая неприятельская батарея все ухала. Двое поднялись и ушли. Я тоже пошел.

Бежит знакомый красноармеец. Еще издали машет рукой:

— Скорее садитесь на лошадь да уезжайте! Казаки наступают в обхват...

Мимо шла рота. Шагал ротный. Да разве это тот, что полчаса назад сидел с красноармейцем в леваде? Нет, это — не он. Он, и не он. На лице легли железные складки. И я видел, и я знал, что если бы давешний красноармеец, — вот он идет во втором взводе, — что если б этот красноармеец хоть малейше погнулся в дисциплине, он, ни секунды не промедлив, уложил бы его из маузера. Он видел и знал только одно — там, далеко подымающих на изволок казаков.

Вечером в тылу, где стоял штаб, подвозили раненых (казаков отбили), раненых и убитых. Раненых

перевязывали в поповском доме. Убитые лежали в поповском саду на пожелтевшей траве, в ожидании, пока сколотят гробы.

Я прошел в сад. У края лежал ротный с красноармейцем.

Перед глазами, не потухая, стояла левада, и они сидят на корточках, курят собачьи ножки.

А теперь лежат с спокойствием смерти на молодых лицах, лежат два брата.

## КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРАВДЫ»

Тяжкая осень восемнадцатого года. На Восточном фронте Красная армия с переменным успехом билась с Колчаком, с чехо-словаками.

С фронта систематических известий не было. Что доходило оттуда — было отрывочно, случайно, маловразумительно. Не было кадра постоянных корреспондентов. Случайные же корреспонденции неизменно возглашали «гром победы», даже и тогда, когда красные полки с «громом победы» пятились. И мало этим сообщениям верили.

«Правда» первая это положение попыталась выправить и послала меня на Восточный фронт. Поехал.

Качеств, так необходимых корреспонденту — быстроты, натиска, уменья быстро освоиться с обстановкой, уменья влезть куда нужно, заговорить зубы, вынюхать, выведать, — этих необходимых качеств корреспондента у меня не было, но был писательский глаз; уж что-нибудь, думаю, да схвачу. Да и то сказать, — на безрыбьи и рак рыба.

Ехать было холодно, голодно. На остановках и с деньгами сдохнешь с голоду, нигде ничего не купишь, торговлю-то всю прикончили. И лавки и базары стояли дохлые.

А тут на пересадках мука — в вагон не влезешь: всюду полно, друг на друге, всюду гонят в шею, приправляя сдобным словом. Хоть пешком иди!

Пошел к коменданту. Замученный человек, в кожанке, с серым лицом, из рабочих.

— А?

— Я — писатель такой-то. Еду.

— Ну-к что ж. Чево вам нужно-то?

— Так и так... Писатель. Еду на фронт. Ни в один вагон не влезу. Посодействуйте...

Он не то равнодушно, не то замученно посмотрел в окно.

— Ну-к что ж! Я-то что сделаю? Не рожу же нового вагона.

Я — с отчаянием:

— Я послан «Правдой»... корреспондентом на фронт....

Он разом засветился весело и радостно:

— Что ж ты не сказал, товарищ... Садись, отдохни. Вот чаю. Хлеб-то у нас — того... Эк его завернуло!.. Устрою в лучшем виде. Хочешь — подожди. Вечером штабной пойдет, как дома будешь... Ну-ну, не хочешь, — зараз устрою.

Через полчаса я трясся в товарном. Спереди несло нестерпимо от печурки, растапливаемой разнесенными по дороге заборами, сзади леденил свистевший в щели ветер. Красноармейцы, матросы сидели, лежали, матерно рассказывали бывальщины, смеялись и пели.

А я понял, что я прежде всего корреспондент «Правды», маленький, крохотный кусочек, осколочек «Правды», несущий для нее работу, а потом уж такой-то писатель.

И где бы я ни был во время этой поездки, я протягивал корреспондентский билет «Правды» — и сразу попадал в свой дом — товарищества, сердечности, близости.

За Волгой ударил крепкий мороз, понесло степной метелью. Сквозь снежное мелькание дымила студено чернеющая речка, по громадине куполообразной вершины черно щетинились иззябшие леса. В лощине верст на десять протянулась заваленная снегом деревня. К лесу выдвинуты крайние посты, дальше — враг. Он затаился, и было тихо. Только метель неустанная то проступала чернеющими пятнами леса, то колебалась безглазой мутью от края до края.

На передовой линии люди всегда недоверчивы и замкнуты, точно лица их немо подернуты, и официальные бумаги их трудно разогревают. Но только я протянул — «Правда», как сейчас же очутился среди друзей и товарищей. И полились рассказы о боях, о боевой жизни. За окнами все сине застыло в двадцатидвухградусном морозе.

Да, было... Налетали белые. Обошли с тыла и налетели. Сколько обозных порубили! Все смешалось и побежало. Но часть полков уперлась: по горло в каленой ноябрьской воде, на руках перетаскивали орудия. Белых отбили. Я обо всем написал корреспонденцию.

В те времена много слали подарков в армию. Специальная комиссия была. В центре решали вопрос, что посылать, и никто не удосужился на месте проверить, что наиболее нужно красноармейцу.

А получалось следующее. Присылают кожаные куртки. Красноармейцы, получившие куртки, бегают, высуня язык, и продают за бесценок. Дело в том, что куртки зимой обуза — не греют, а приходится с ними возиться, беречь. А вот шарфы, самые дрянные, рвали из рук друг у друга. Дело просто: у шинелей ворот страшно выхватывается, и шарф в морозный ветер — спасение. Я написал корреспонденцию.

Как-то утром, морозом дымились горы, на лошади, тоже дымившейся, к штабу подъехал красноармеец. Через плечо — набитая сумка. И по улице и по избам, как электрический толчок, пронеслось: «Правда» приехала!» Бежали, как на пожар. Я тоже прибежал в избу. «Правду» рвали из рук. Два товарища стояли друг перед другом, тянули каждый к себе «Правду» и урезонивали друг друга:

— Дорогой товарищ, вы же нахал! Ведь я первый взял.

— Дорогой товарищ, вы понюхайте вот этого! — и он деликатно поднес к его носу волосатый кулак.

А третий, пока они друг с другом деликатничали, изловчился, дернул сбоку, вырвал газету, юркнул к окну и застыл глазами.

Точно потеплело по избам, где шуршали «Правдой»; точно вернулись в родные семьи, точно ласково накормили всех голодных и усталых. И уже не думали, что вон из-за того чернеющего леска каждую минуту могут выкатиться лавой казаки и с гиком начать разваливать головы, переполненные мыслями родной газеты. Целый день и другие дни товарищи ходят веселые и оживленные.

Вернулся я в Москву. «Правда» с корреспонденциями к этому времени дошла до линии фронта. Батюшки, какой содом поднялся! Командный состав, полит-

отдельцы, командующий армией встали на дыбы: «Как, рассказывать в газете, что было поражение! Разве это допустимо?»

По армии отдан был приказ: «В армию приезжают ничего не понимающие корреспонденты, которые злостно извращают события. Таких надо гнать из рядов Красной армии...»

В редакцию «Правды» прилетела громаднейшая телеграмма, где на все корки поносился корреспондент «Правды», — телеграмма за подписью командующего армией и политотдельца.

Наконец, сам тогдашний народный комиссар по военным делам Троцкий заявил Марии Ильиничне (Ульяновой), что придется отдать корреспондента «Правды» под суд за дискредитацию армии.

Через два года тот же наркомвоен написал в «Правде» лживую статью о том, что армии нужна истина. Не фарисей ли?.. Читая эту статью, я установил логическую непоследовательность и фальшивость Троцкого.

Эта фальшивость подчеркивалась еще больше письмом, помещенным в «Правде» и подписанным командным и политическим составом целой бригады, о том, что корреспонденции верно рисуют события, достоинства и недостатки боевой жизни на фронте.

Шуба-шубой поднялась и подарочная комиссия, и тоже письмо в редакцию, — обидели и ее.

В конце концов все утихомирилось.

Так «Правда» пробила дорогу для верного освещения жизни армии и всей страны.

## ТОВАРИЩКА ДОРА

Когда она родилась, она была таким же красным крохотным калачиком, как и все новорожденные, у нее были такие же мутные глазки, как и у всех только что родившихся детей. Она умела различать только свет, как и все крохотные дети. Даже отца и мать она не умела отличить друг от друга и от других людей, — опять-таки, как это бывает со всеми детьми во всем белом свете.

Потом она стала подрастать, стала говорить «папа» и «мама» и смешно косила теперь уже ясные, различающие глазки на маму, когда сосала грудь.

И отец и мать не могли наглядеться на нее, ненаглядную, как это бывает со всеми родителями на всем белом свете.

Потом уже везде бегала и играла с подругами — и в саду и на улице.

Раз она прибежала в слезах, всхлипывая, к матери:

— Мамочка, мамочка! Сейчас я играла с мальчиком... добрый мальчик... Мы играли, а он закричал «жидовка», ударил, погнался за мной... Мамочка, за что он меня ударил?.. Я ему давала пирожки, подарила маленький поясок, мы с ним играли, а потом он ударил и закричал «жидовка». Мамочка, он — злой!

— Нет, деточка, он не злой, только он не понимает.

— Мамочка, отчего мы жиды?

— Нет, мое солнышко, мы не жиды, мы — евреи. Вот есть русские, есть грузины, есть персы...

— Мамочка, а персюк ходил, а у него на клетке зеленый попугай билетики вытаскивал, а нос криво-ой.

— Мы такой же народ, деточка, как другие народы.

Дора вприпрыжку побежала опять играть. Но тон-

кая заноза, тонкая, как отломанный кончик иглы, осталась в маленьком сердце.

Осталась и потихоньку стала расти; и чем больше подрастала, тем больше и на улицах, и в театрах, и в домах чутко прислушивалась; и слово «жид» обидно и больно вспыхивало—и среди крестьян, и среди рабочих, и среди образованных людей. И она узнала, что евреев громят, убивают, нечеловечески замучивают.

Дора, уже девочкой, с горечью думала: «Разве можно жить среди такой травли? Лучше умереть».

И она опять приглядывалась и видела, что одни люди, которые пили трудовой пот других, науськивали их на евреев, чтобы отвести от себя их раздражение. А замученные травили евреев с горя, от нищеты, от безвыходности и непробудной темноты.

Познакомилась Дора с революционерами, с их учением, тогда поняла, что только революция освободит всех замученных от их мук: рабочих — от сосущих их фабрикантов, крестьян — от помещиков, евреев — от мучений, потому что и у рабочих и у крестьян смахнется вековечная темнота с глаз.

Грянула революция. Дора — коммунистка. Ее послали в армию в политотдел. Наступал Деникин. В тяжелых солдатских башмаках, в штанах, в шинели, в фуражке на обстриженных кудрявых волосах, она весь поход шла с красноармейцами.

— Дора, будет тебе, — говорили товарищи политотдельцы. — Иди в обоз, садись на повозку. Все равно долго не протянешь, сама видишь — не по силам.

Дора отмахивалась и шагала в колонне красноармейцев. И опять, опять слышала:

— Да ведь это — жидовка.

Закусив губы, шагала она вместе с красноармейцами, довольствовалась с ними из одного котла, голодала вместе с ними, когда отставали походные кухни и обозы; разъясняла им всю громаду борьбы, которую ведут рабочие и крестьяне со своими лютыми врагами. В боях она неизменно была в передовых рядах, подбодряла своей улыбкой, своим девичьим голосом, а когда не управлялись санитары, помогала перевязывать раны, выносить раненых, — как будто не рвались вверху шрапнели, не перебивали друг друга пулеметы.

К ней стали привыкать, и часть казалась пустою, если красноармейцы не видели возле себя замызганной фуражки на кудрявых волосах. И все-таки... все-таки срывалось то тут, то там под горячую руку слово «жидовка». И, стиснув зубы, все той же общей жизнью жила с красноармейцами Дора.

Черною хмарой надвинулись темные дни: навалились белогвардейские полки, пятилась на север Красная армия. Отбивались красноармейцы и день и ночь, уходили, и вместе с ними в рвущихся шрапнелях шла позеленевшая от бессонных ночей и напряжения, с ног до головы забрызганная грязью Дора.

Налетели казаки. Стали уходить, огрызаясь, измученные красноармейцы. А в овражке под деревом остались двое красноармейцев: перепоясало их пониже колен дробными четками пулемета.

— Братцы!.. Бра-атцы, не кидайте...

Да, видно, сила солому ломит, — уходит часть. Больно бросать товарищей, да ничего не поделаешь, одни остались.

Нет, не одни: возле, на коленях — Дора. С зеленым, измученным лицом и с замызганной, простреленной фуражкой на кудрявых волосах, стоит на коленях, перевязывает.

Увидали казаки, полетели кучкой. Впереди офицер на караковом жеребце, шашка сверкает в крепко зажатой руке.

Вот они.

Поднялась Дора, схватила обеими руками тяжелый наган, дернулся он от выстрела. Вздыбилась лошадь, опрокинулась, придавила офицера, быстро стало синеть его лицо.

Увидала отступавшая часть, ёкнуло у всех сердце, без команды кинулись назад. Отогнали казаков, подобрали раненых.

Целую ночь шли красноармейцы. Шла с ними, шатаясь от усталости, еле выволакивая из чмокающей грязи разбухшие, тяжелые башмаки, Дора. Нет, не дойти ей. Все больше и больше рядов обходит ее, и когда проходили последние, она остановилась. Всё! Дальше не может! И села.

Остановились последние красноармейцы. Один молча сдернул намокшую шинель, четверо растянули ее, а один уложил туда Дору, и понесли ее, молча и су-

рово, среди грязи, среди сеющегося в темноте дождя и провожающих шрапнельных разрывов.

— Не надо, не надо... Пустите, я сама пойду... Я теперь отдохнула, сама пойду...

И карабкалась на край шинели, чтобы слезть в грязь. А они:

— Товарищка Дора, не бунтуй.

Встряхивали шинель, и Дора опять скатывалась на середину.

И они изнеможенно шагали по грязи в мокро сеющейся темноте, не в состоянии поднять закрывающихся век: трое суток не смыкали глаз.

А Дора все норовила сползти с шинели, и ее опять молча сердито стряхивали на середину и шли. И слезы ползли по ее щекам, размазывая грязь, слезы несказанного счастья, вдруг осветившего всю жизнь.

Нет, никогда-никогда они теперь не назовут ее «жидовкой», не назовут, она знала это, — они такие родные, такие близкие.

И эти невидимые слезы счастья тихонько вымыли из сердца ту занозу, которая уколола его, когда она была еще крохотной девочкой, — и впервые посмотрела на мир широко открытыми, счастливыми глазами.

## АДИМЕЙ

Века шло одно и то же: курились вершины облаками, блестели на солнце вечные снега и, утопая в чудовищной траве, бродил у снегов скот и лошади. Далеко внизу, в ущельях, безумно грохотали реки. В дымных, топившихся по-черному кошах* жили на горах горцы все лето семьями. В конце лета снега покрывали горы сплошь, и семьи, и стада, и лошади спускались вниз, в ущелья, где в пене и грохоте гнали валуны бешеные реки.

Дымились аулы, и медленно текла в них скудная, темная, но родная жизнь. Белоголовые дремучие горы загораживали все, что делалось на свете. Да и вся жизнь, весь «свет» был здесь, в этих извечных громадах, в этих дремучих лесах, в смертельных пропастях, в день и ночь грохочущих потоках.

Только те горцы вырывались из заколдованного царства скал, ущелий, лесов и снегов, кого помещики выписывали в Россию охранять имения. И они жестоко пороли крестьян плетьми, рубили кинжалами, стреляли из винтовок — со страстью, с презрением, потому что это был ненавистный «урус». А ведь от «уруса» с равнин шло в горы все горе, все тяготы, все несказанные издевательства. «Урус» всегда звучало в горах как насильник, враг, обиратель. Нужды нет, что этот враг приходил в погонах, — горец не разбирался и драл отрепанных и босых крестьян как врагов.

Да еще горские бандиты умели вырываться из заколдованного мира гор. Смело налетали в равнинах на станицы, хутора и села, а иногда нагло врывались даже в города, рубили и грабили.

* Кош — табор, стоянка, становище, лагерь.

Только выписываемые из ущелий помещиками горцы да бандиты знали и видели высокие здания городов, удивительные повозки, бегавшие по улицам без лошадей, видели чудесный свет, заливавший по ночам улицы. Весь же горский народ видел только солнце над зубчатыми скалами да лунные тени, да во тьме угадываемые громады гор — и думал: здесь счастье и жизнь, здесь родиться и умереть.

Так думал и Адимей и спокойно пас огромные стада своего дяди Муссы. У Адимея ничего не было кроме лошади, седла, уздечки, винтовки и револьвера, даже сакли * не было своей; он пас стада своего дяди и ненавидел «уруса». В горах он охотился на оленей, туров, кабанов, медведей, — он превосходный стрелок, — охотился и ненавидел «уруса».

Пришла война с немцами, — ну что ж, все равно он ненавидел «уруса». Потом пришло такое, что ничего не разберешь. Пришел «урус» и отнял у дяди овец, оставил только три. Отнял коров, оставил только одну — по едокам. Ничего не отняли у Адимея, потому что он был бедняк. А еще дали ему из дядиных три овцы и телку, потому что он был бедняк.

Опустил глаза Адимей, потому что ненавидел он «уруса». Потом вскочил на лошадь, ускакал в неприступные горы и стал бело-зеленым бандитом с другими горцами.

Смелые были, ловкие. Постоянно налетали на хутора, на села.

Пощады красноармейцам не давали, — всех убивали, кто попадался в руки.

Только тяжкая жизнь была, особенно зимой мучительная жизнь была: по брюхо лезли в снегу задыхающиеся лошади в пустынных горах, и молчаливая голодная смерть в белом саване угрюмо стояла кругом.

А когда растаял снег, по низу, по ущельям, по долинам рек потекли красноармейские части. Сколько их было — не счесть. Заняли аул за аулом, заняли все дороги, тропки, заняли все ущелья, все выходы.

И пришла смерть. Схватили Адимея и товарищей, затянули туго назад локти и погнали.

---

* Сакля — плоскокровельное жилище горцев в Дагестане, Чечне, Хевсуретии, Осетии.

Покачиваются красноармейцы на лошадях с винтовками наготове, торопливо шагает Адимей со скрученными назади руками вместе с товарищами. Гремит под обрывом, бешено заворачиваясь пеной, Кубань; отходят горы, затягиваясь печальной синевой, и уже степь расстилается кругом.

«Нет, не видать мне родных гор, не слыхать шума потоков, орлиного клекота. Прощай, родной аул!..»

Покачиваются красноармейцы на лошадях с винтовками наготове. Шумит Кубань в степных берегах, и привольно раскинулся вдоль нее, почитай, на десяток верст хлебородный Баталпашинск.

Привели, спустили в подвал, захлопнулась наверху дверь. Стали ждать. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к сырой стене. Кто лежал без движения на каменном полу. Тускло просвечивало сквозь толстую решотку вверху мутное окно.

Тут и карачаевцы были, и черкесы, и белогвардейские офицеры. Молчали и ждали конца. И пришла ночь.

Оконце почернело, и в подвале перестали видеть друг друга. Громыхнул железом затвор, разинулась наверху дверь. По лестнице, по сидевшим, стоявшим, лежавшим людям воровски скользнула, ломаясь, полоса света. Показались осторожно спускающиеся по ступенькам рваные сапоги красноармейца и винтовка. А там опять сапоги и винтовка. И еще. И еще... И лампочка спустилась жестяная; длинный траурный хвост бежит над полуразбитым закопченным стеклом.

Лампочку — на гвоздик. И стало видно: все головы повернуты к красноармейцам. Все повернуты и смотрят блестящими глазами на вошедших.

— Ну, становись, что ли, — сказал один и стал по бумаге выкликать.

Красноармейцы всматривались в лица и отводили к лестнице, — эти уже не вернутся.

Адимей, как и все, смотрел на них блестящими глазами. С ними спустилось все прошлое, весь ужас горской жизни при царе. С ними встал ужас, который принесли с собою большевики: у тех, кто имел стада, кто был богат, кому помогал аллах, — отняли все. Затоптали святую правду, ибо каждый бедняк хотел сделаться таким же богачом.

И Адимей, как хищная птица, издал пронзительный крик, прыгнул пантерой, вырвал лампочку, затоптал. Хлынул густой мрак, и не было ни стен, ни людей,— одна клубящаяся тьма. И вся она наполнилась безумным воем, ругательствами, стонами, хрипами.

Красноармейцев рвали, душили, топтали, выдергивали из рук оружие. Рвали, топтали, душили и друг друга, потому что клубилась безумная тьма и ничего нельзя было разобрать.

И пронесся хищный крик Адимея:

— Горский народ, не трогайся!

Все замерли, и стало слышно в налившейся молчанием темноте, как хрипели, стонали, харкали невидимо кровью и пеной израненные, измученные, обезоруженные красноармейцы. И поползли, щупая холодный пол, поползли к лестнице и по лестнице, не понимая, о чем крикнул голос, не понимая горского языка.

И как только первый коснулся уцепившегося наверху Адимея, глухо раздался стук падения тела и глухо запрыгало по ступеням: Адимей, схватив за волосы с кошачьей ловкостью, обезглавил в темноте, и плюхнуло тело, и запрыгала по ступеням голова. А за ним со стонами всполз второй, третий, пятый,— и все так же плюхало тело и глухо стукалась по ступеням невидимая голова. Потом смолкло. Под босыми ногами каменный пол теплел, и остро пахло кровью.

Сверху отворилась дверь, скользнул свет и голос:

— Ребята, вылазь! Чево такое у вас?

В ответ — выстрел, кто-то наверху застонал, дверь захлопнулась, придавив мрак. И опять безысходное молчание, безысходная тьма.

Снова слегка разинулась светлая щель — и бабий голос:

— Это я, родненькие, не стреляйте! У меня тут муж. Спущусь, погляжу, жив аль нет. Не стреляйте!..

По лестнице стала спускаться баба. Спустилась и осветила: обезглавленные трупы, немигающие головы, море крови, в которой отражался свет лампочки и затихшая толпа.

Казак хрипло выкрикнул:

— Убейте ее! Ее послали высмотреть. Убейте!

Но горцы молча стояли, не давая винтовок.

— У нас в горах закон: женщину нельзя убить. А кто убьет, тот сам будет убит.

Ушла. Тогда сверху:

— Эй, вы все, вылазьте поодиночке наверх!

Постояло молчание, покрытое тьмой. Тогда опять:

— Ежели не полезете, зараз бросим бомбу!

Крик, стоны, рычание, рев взорвали подвал. Десятки рук вцепились в толстую, заделанную в кирпичи решотку, а в этих и друг в друга вцепились остальные. Со звериным ревом рванула обезумевшая, слившаяся в одно масса. Заскрипела решотка, посыпались сверху кирпичи.

С кряхтением, медленно, с нечеловеческой силой отогнулось книзу тяжелое железо решотки. Срывая друг друга, срывая мясо на руках, кинулись пролезать в окно.

Первым выскочил высокий гигант, черкес, весь белый — перед расстрелом раздели. За ним Адимей схватился за решотку, гибко перегнулся. Сзади, в вое, в стонах, в ужасе, чугунной тяжестью повисли, вцепившись в его ногу, — никак не выдернет.

«Ай, прощай, аул родной!»

Нестерпимо затрещал во мраке октябрьской ночи пулемет. Белое пятно черкеса вдруг снизилось и осталось неподвижным на черноте земли.

С нечеловеческой силой, бешено ударив кого-то в лицо ногой, рванулся Адимей, вырвался из окна. В подвале — потрясающий грохот, и все смолкло. Адимей — к белому пятну. И в ту же секунду пронизало шею, руку, плечо. И закричал он, глотая кровь:

— Вставай! Бежим! — да упал.

А пулемет: раз, раз, раз...

Адимей поднялся, опять упал, по-звериному встал на четвереньки, пополз, потащил черкеса по земле за угол...

Та-та-та...

В подвале сзади молчали.

— Вставай, князь, бежим!

Поднялся черкес, огромный, белый, шатаясь, побежал. Адимей бежал рядом, чувствуя, как густо и влажно теплеет рука, поддерживающая князя. Обрываясь, то на спине, то на животе, то боком сползли с обрыва, и там, где сползали, земля в темноте дымилась горячим следом приторно и сладко. А над обрывом сзади засверкали язычки винтовок.

Перед глазами мутно белесо-гремящей полосой неслась Кубань, ревела валунами, рыла берега. Не то пена, не то льдины бледно возникали и гасли уносящимися пятнами. Неслась Кубань, холодная река, неслась со снегов и вечных льдов стынущая река во тьме.

Белый князь рухнул в клокочущий поток.

— Прощай, князь!

Пропал.

Адимей ринулся. Обожгло смертельным холодом первозданных снегов, на секунду отняв сознание. Но недаром Адимей — сын снеговых гор: перехваченное сердце опять стало, хоть замирая, хоть останавливаясь, работать. Его бешено уносило, а он бешено бился за жизнь, за горы, за леса, за родной народ. Внезапно, раньше чем ожидал, вынесло и ударило о смерзшуюся гальку, оглушив.

Поднялся стеклянея; дул холодный октябрьский ветер. И попятился, — среди тьмы немо белело не то привидение, не то высокая смерть. Белая, а во всю грудь — чернота.

И смерть сказала, расставляя слова:

— Беги... Брось меня... Спасайся... Мне конец!..

Сурово сказал, а по груди все шире расползалось черное.

Побежал Адимей, взобрался на береговой обрыв; белая полоска протянулась у воды, — лег князь навеки.

В горах в затерявшемся коше уложили горцы-бандиты Адимея, зарезали молодого барашка, обернули Адимея в кроваво дымящуюся кожу и стали лечить.

Через три месяца затянуло раны. Сел Адимей на лошадь, вскочили товарищи на лошадей и, как бешеные, стали разбойничать. Не одна красноармейская голова, простреленная меткой пулей, навеки поникла. Неуловим был Адимей со своей шайкой.

В самых глухих горах скитался Адимей; все дальше и дальше, в самые глухие места проникали красноармейские отряды. И встретились: на непроходимой тропке среди скал встретились. Выстрелы, крики, ругательства, — и Адимей со скрученными руками идет опять в Баталпашинск, в подвал. Теперь — конец. Уже пропала та страшная, как свернутая пружина, напря-

женность, с которой он боролся за жизнь. Давно бы убили его красноармейцы, — знали, какого зверя ведут, да не позволил начальник, велено живым приводить.

Пришли и, видно, для истязаний, ввели не в подвал, а в комнату. Ну что же, он ко всему готов.

В комнате сидели двое в замасленных кожанках, и щеки худые ввалились. Видал таких Адимей в городах на заводах. Серые глаза, как сталь. В бумагах возятся.

— Товарищ, привели.

Вскинул серые глаза один, опять опустил в бумаги, буркнул:

— Развяжи.

Красноармейцы разинули рот.

— Товарищ, это самый опасный. Сколько нашего брата перебил — ужасть!

— Из подвала убег, — добавил другой.

— Прямо зверь в горах был!

А в кожанке — опять:

— Развяжите, товарищи.

Красноармейцы выпучили глаза. Развязали.

— Садись, Адимей, — сказала кожаная куртка. — На-ка!

И протянул папиросу.

«И звать как, знает...— подумал Адимей.— Сволочь!»

Угрюмо сел и закурил.

— Так что, товарищи, окно раскрытое. Одним махом — только его и видать будет. Лови потом опять, — ничего не понимая, говорили красноармейцы.

Опять махнула рукой кожаная куртка, и, неуклюже стуча сапогами, красноармейцы вышли.

«Мучить будут, — думал Адимей. — Сначала папироску дадут, чтобы выспросить», — и жадно затягивался и слушал, как кричали воробьи за окном.

— Ну, вот что, брат, — сказал в серой куртке, отодвигая бумаги, — наломали дров, и будет! — и глянул на него серыми глазами.

И Адимей, вместо того чтобы махнуть в окно, сидел, жадно курил и глядел в серые глаза.

— Сколько тебе лет?

— Тридцать два.

— Стало быть, двадцать семь лет работал батраком на своего дядю. Двадцать семь лет недоедал, не-

досыпал, все пас стада своего дяди Муссы. Толстый дядя?

— Балшой живот.

— То-то.

И рассказала серая куртка всю его жизнь, всю жизнь Адимея-батрака.

— Женат?

— Где бедному жениться!

— А у дяди красивая молодая жена. Большой живот и красивая молодая жена.

Жадно курил Адимей. И держал одной рукой сердце, будто кто тихонько и ласково погладил по наболевшему сердцу.

А куртка:

— Чудаки вы! Да у нас вон вся Россия полна такими Адимеями-батраками. И века работали на дядей-помещиков. И у дядей были большие животы и красивые жены, а у русских Адимеев — только бедность да нескончаемый труд.

Всю жизнь, всю жизнь Адимея-батрака рассказал Адимею-батраку.

А потом... А потом у Адимея голова пошла кругом. Тот, в серой куртке, придвинул ему бумагу и сказал:

— Вот тебе бумага. Никто тебя не тронет, живи. А эту подпиши, что больше не будешь бандитствовать. А это — деньги. Надо же тебе сбить хозяйство.

Шатаясь, вышел Адимей, и никто его не тронул. И шел он вдоль Кубани, и никто его не тронул. И пришел в горы, и никто его не тронул.

И стал жить Адимей, — и подвал, и расстрелы, и убийства красноармейцев, — все это мелькающим прошлым побежало назад, как вода в Кубани.

Сидит Адимей в черкеске в сельсовете, с трудом пишет, — он член президиума. Против на лавке — тот, который два года назад велел развязать ему руки. И кашляет, и лицо желтое.

И говорит ему Адимей:

— Ничего, Николай, поправишься. У нас воздух чистый, здоровье любит. Пойдем провожу. Полежи, отдохни.

Они пошли. Адимей обнял его за плечи, поддерживая. И толкнул в бок локтем:

— А?! Город-то наш!..

Среди скал, ущелий, дремучих лесов, возле грохочущей реки желтели свежие срубы новых строений: больница, народный дом, школа — как из земли вырастали.

И горец Адимей и рабочий питерский шли мимо, поглядывая и держась друг за друга...

# ДВЕ СМЕРТИ

В Московский совет, в штаб пришла сероглазая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.

Девушка сказала:

— Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой — я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже, — никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ с маузером за поясом в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

— Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас, расстреляем здесь!

— Знаю.

— Да вы взвесили все?

Она поправила платочек на голове.

— Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я — офицерская дочь.

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.

За окнами на площади опять посыпались выстрелы — налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

— А чорт ее знает. Справки навел, да что справки, — говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, — конечно, может подвести. Ну, да дадим. Многого она о нас не сумеет там рассказать. А попадется — пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.

— Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

— Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы — дочь офицера. Пожалуйте!

Ее провели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему юнкеру:

— Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.

Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди — только что сняли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и отправился на Покровку.

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:

— Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой, маленькой. Буржуйка чортова.

— Где она сейчас?

— Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва. А вам зачем она?

— Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояли; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.

— Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыплются.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий — сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.

— Шпион! — бросил юнкер, проходя и не взглянув. — Поймали.

Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые темно-запушенные глаза:

— Спасибо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

— Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

— Я им документы покажу, я — мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает, что с ней. Душа изболелась.

— Ну, да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.

— Нет, нет, нет... — испуганно протянула руки, — я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел.

— Н-да... Ну, что ж!.. Идите.

«Розовая рубашка, и над глазом темная дырка... голова откинута...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы — ни черточки, ни намека, ни звука.

Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего — она одна на всем свете.

Не было страха. Только внутри все напрягалось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною и все подтягивает колышек, и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой — ти-ти-ти-и... Ай, лопнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку — стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решотка бульвара. Значит, потерялась. Ну — что ж такое — сейчас найдет на-

правление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

— Так, ведь, это ж начало конца... не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач...

Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки — столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо... Решотка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и... задрожала. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали кровавые.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыхание. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов — знает — затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду, идет облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой — красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное, немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.

К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шопот — шопот, который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами, публичными домами — исчез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятности — молчание, и в молчании — затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но

стояло молчание, и в молчании ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

— Куды?! Кто такая?

Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую ладонь и разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами, стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарища сноп искр, судорожно осветив... На корявой ладони лежал юнкерский пропуск... кверху ногами...

«Уф, т-ты... неграмотный!»

— На.

Она зажала проклятую бумажку.

— Куда идешь? — вдогонку ей.

— В штаб... в Совет.

— Переулками ступай, а то цокнут.

В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке с чахоточным лицом ласково ей улыбался:

— Ну, молодец девка. Смотри только, не сорвись.

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита; они понесли урон.

Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер без шапки в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.

Он подскочил к девушке:

— Вот... эта... потаскуха... продала...

Она отшатнулась, бледная, как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

— Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся из страш-

ной доли... У меня... я не умею оружием, вот я вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опущенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.

# МАРЬЯНА

## Пьеса в четырех действиях

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

**Марьяна** — сноха, 21 год.
**Луша** — старикова дочка, 16 лет.
**Старуха** — 52 года; выглядит старше своих лет.
**Старик** — 53 года.
**Ивлевна** — тетка Марьяны, 46 лет.
**Павел** — красноармеец, отделенный.
**Сергеев** — красноармеец, откормленный, краснощекий.
**Микеша** — красноармеец.
1-й, 2-й, 3-й и 4-й красноармейцы.
1-й, 2-й, 3-й крестьяне.
**Иван Посный** — с большой седой бородой.
**Коноводов Илья** — безногий.
**Поп.**
**Дьячок** — с подведенным от голода животом.
**Лавочник.**
**Попадья.**
**Однорукий** — пустой рукав висит.
**Одноногий** — на деревяшке.
1-я, 2-я, 3-я бабы.
**Козел** — длинный, худой, нескладный старик с хитрой козлиной бородкой и смеющимися, в морщинках, глазами.
**Степан** — сын старика; 23 года; красивый, чернобородый.
**Парни, девки, ребятишки.**

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

1918 год. Внутренность избы. Низкий закопченный потолок. Русская печь. Лавки. Стол под иконами. Большая кровать с ситцевым пологом. Предобеденное время. У печи стоит Марьяна. Красивое строгое лицо, немного высокомерное; черные брови. Видно, слегка вздрагивает от подавляемых рыданий.

**Марьяна** (некоторое время неподвижно стоит, потом сдержанно говорит). Родимый мой... иде ты?! Откликнись... слышь... Третий год... за што эта напасть... У других воротились, другие семьями живут, а я, как кукушка, без родимого гнезда, как та вербочка над водой... Истомилась, измаялась... Всю-то ноченьку, всю-то ноченьку слезьми подушку... За што бог покарал... Али я согрешила чем непрощенным? Чем я хуже супротив других... За што у меня тебя отняли, родимый мой... (Смахивает непрошенную слезу.)

Вскакивает в избу старикова дочка Луша: непоседа; ничего не может спокойно делать, все скоком, бегом, как коза. Марьяна быстро вытирает глаза и, строгая, спокойная, возится с горшками, чистит картошку.

**Луша** (торопливо). Слышь, у Кубанихи за дочерью посватался Ильюшка Коноводов, а у самого ног нету. Слышь, Марьяна, как же он без ног-то?..

**Марьяна** (строго). А я почем знаю!

**Луша.** Ну, а я нипочем бы не пошла. Иде ты топор задевала?

Входит старуха; садится к прялке, прядет.

**Марьяна.** Под лавкой.

**Старуха.** И чево ты мечешься, как овца угорелая? Жеребенку-то мазала дегтем ногу?

**Луша** (огрызаясь). Али не мазала? (Убегает, опять вбегает, роется в ящике стола, на полках.)

**Старуха.** Как гляну на лошака, так сердце и зайдется по Степушке, — при ём кобыла ожеребилась. Лошака запрягать пора, а Степушки все нету. (Плачет.) Свиней-то покормила ли?

**Луша.** Не сдохнут.

**Старуха.** Выйду за околицу, подопрусь и все гляжу, все гляжу — вот-вот выйдет из-за лесочку с котомоч-

кой, подойдет, скажет: «маменька!..» Все жду, а ево все нету. (*П л а ч е т.*)

Входит с хомутом старик, крепкий, широкоплечий, благообразная крестьянская борода, мало седины.

**Старик** (*н е д о в о л ь н о*). Ну-у, завели!.. Вы тут реветь, а хозяйство стоит. (*Л у ш е.*) Ты чево глаза вылупила? Свиньи плетень в огороде подрыли. (*Ч и н и т х о м у т.*)

**Луша.** Будь они неладны. (*У б е г а е т.*)

**Старик.** Чево ревешь-то коровой? Сказано, без вести пропал. Наши деревенские не станут брехать, сказывают — немецким снарядом разорвало на кусочки. И рад похоронить, да нечего. Реви не реви, — не воротишь. Не в другой раз его родить.

**Старуха.** У-у, камень бесчувственный! Истукан!.. Тебе все одно, живой он аль нет.

**Старик.** Дура! Сын он мне ай нет? Мясу свою дал бы резать (*п р о т я г и в а е т з а с у ч е н н у ю р у к у*), только б воротить его.

**Старуха.** И этта истукан истуканом. Хошь бы слезинку сронила. Ай не муж ей был... Кабы урод какой, али косой, али хромой, а то писаный красавец. Да за него первая девка на деревне пошла бы. А эта хошь бы што... Хошь бы слезинку сронила. Стоит кувалда кувалдой.

**Старик** (*с е р д и т о*). Да будя тебе! Расходилась, как бондарский конь под обручами.

**Старуха.** А ты чево заступаисси? Ишь, заступник нашелся! Таких заступников коло молодых снох, как мужьев нету...

**Старик** (*р е в е т*). Цыц! Всю шею изломаю!

**Старуха.** Ну, бей!.. На, бей за сноху!.. (*Г о р ь к о п л а ч е т.*) Сына нету, заступиться некому, так за сношеньку, старый...

**Марьяна.** Будя вам, батюшка. Всем горько. Разве сердцу закажешь!

Входит Ивлевна, тетка Марьяны, толстая, неуклюжая, красный нос картошкой; вздувшаяся щека подвязана платком, и концы его, как заячьи уши, торчат сверху.

**Ивлевна.** Никак штурма у вас? Иду, слухаю, аж петухи с перепугу по улице бегут. Доброго здоровья!

**Старик.** Здорова была!

Марьяна молча кивает головой.

**Старуха** (вытирает слезы). Всю жисть поедом заел меня. Не чаю и смерти дождаться.

**Ивлевна.** Я как у панов жила, тоже вот убивалась по сыну. Так иcделали гроб, огромаднейший гроб, железный, сносу ему нету. А в него серебряный, а в него — золотой, а в него — алмазный, а в него — упокойничка. И поставили ему, чтоб веселей лежать до штрашного суда...

**Старуха** (вбежавшей Луше). Телят-то посмотри.

**Луша.** Без вас знаю. (Убегает.)

**Ивлевна.** Штоб веселей лежал до штрашного суда, машинку поставили. И таково-то она искусственно играет. (Поет фальшивым голосом.) «Во са-аду ли в о-го-ро-де...»

**Старик.** Будя боталом-то ботать, свихнешь.

**Ивлевна.** Я как у панов жила, меня дюже уважали за красоту. Даже поп-батюшка, пошла к ему на исповедь, накрыл епитрахилью и говорит: «Много, говорит, за тобой грехов, ну отпущается тебе, раба божья, безо всякого, как ты не виновата, што бог наградил тебя красотой».

Где-то далеко-далеко слышится, приближаясь и нарастая, «Интернационал» духового оркестра. Вместе с тем нарастает ровно отбиваемый гул шагов. В избу вскакивает с перепуганным лицом Луша.

**Луша** (задыхаясь, кричит). И чево вы сидите! И чево вы думаете: рыжие идут, всех без края резать будут!

**Старик.** Каки рыжи?

**Луша.** Ффу-у, да с ружжами, да с пушками!..

**Старик.** Красные, што ль?

**Луша.** Фу, да все одно, у них и бород-то нету. Всех обкровянят, не помилуют, всех под один нож. Там народ кричит...

За окном глухой топот бегущих, бабьи, мужские голоса, плач ребят.

| | |
|---|---|
| **Голоса** | — Гони лошадей!..<br>— Эй, бабу мою не видали ль?<br>— Анютка, куды ты провалилась?<br>— Иде дети?..<br>— Бей тревогу на колокольне! |

Понемногу все стихает.

**Ивлевна.** Молодые аль старые идуть-то? Побечь посмотреть... (Уходит.)

**Старуха.** Господи Исусе!..

**Старик** (в тревоге). Слышь, старуха, за божницей деньги которые бери, да гоните скотину в лес, в бурелом, в Черную балку. А я запрягу кобылу, лошадей погоню. Одежонку какую ни то вяжите в узел. (Подымает половицу.)

**Луша** (мечется, всхлипывает, срывает с гвоздей, со стены одежду, кидает на разостланный на полу полог). Господи, чево такое будет... Жисти своей молодой решусь...

**Старуха** (лазит за божницей, всхлипывает). Царица небесная, мати пресвятая богородица... Старик, с подполья-то не трожь деньги, целей будут.

**Старик.** А как избу запалят, все пропадет.

**Старуха** (ищет за божницей). Да иде они, деньги-то?.. Заступница пречистая и преподобная мати!.. Лушка, это ты, стерва... сохрани и помилуй!.. смыла их?!. сохрани (вытаскивает сверток с деньгами) и помилуй нас... Вот они! Али лампадочку вздуть, може, окаянные святых хочь икон побоятся...

**Марьяна** (помогая Луше увязывать узел с одеждой, спокойно). Чево им резать-то православных? Чать, живые люди?

Луша, Марьяна, старуха тащат огромный сундук к двери.

**Старуха** (плачет). Родной ты мой старик, скорей! Жили мы с тобой душа в душу тридцать лет. Соломинки обиды от тебя не слыхала... Мати пресвятая богородица, никак они?! (Мелко и часто крестится в ужасе.)

**Луша** (с плачем всплескивает руками). Пришли!!.

За окнами глухо и ровно отбивают шаг проходящие роты. Дружно несется «Интернационал» оркестра. Оркестр уходит дальше и постепенно замирает. Слышна команда: «Рота, стой!.. Вольно!..» Слышны голоса красноармейцев, шутки, смех:

**Голоса красноармейцев**
— Эй, Ванька, беги в обоз, табачку возьми!
— Товарищ, дай прикурнуть.
— Что за деревня: одни куры ходят, народу не видать.
— В бане весь...
— Парится...

Слышны переливы гармошки. В избу входит красноармеец Павел, отделенный; худой, скулы выдались, молодой, некрасивый, славные глаза.

**Павел** (*оглядываясь*). Доброго здоровья, хозяева! (*Те молчат.*) Ну, вот тут троим можно. Сколько вас в избе? Что это у вас за базар? (*Старик, до половины вылезший из-под пола, так и застыл.*) Что же, как воды в рот набрали? Сколько вас в избе, спрашиваю?

**Марьяна.** Четверо: вот двое стариков, я да девка.

Входят еще двое красноармейцев, усталые, запыленные,—Сергеев и Микеша. Сергеев—откормленный, краснощекий. Снимают мешки, ставят винтовки.

**Старик.** Четверо, служивый.

**Старуха.** Четверо, родимый, четверо. А пятый... а пятово... сынок (*плачет*) мне... Как раз, как иттить ему на немцев, кобыла ожеребилась. Теперича лошаку третий год, а сына все нету. Без вести пропал. Кои бают — убили. Кажный день хожу за околицу ды все жду: из-за лесочка выйдет сыночек (*плачет*), а я... а я...

**Павел.** Ну, ладно, троим можно суды. Много места у вас не отобьем.

Старик закрывает половицу.

**Старуха.** Ну-к што ж. Ничаво, разместимся. Одежу-то убрать надоть.

**Луша** (*убирает одежду, лукаво поглядывает на красноармейцев*). А мы думали, резать нас будете.

**Павел.** Ножики точут. Наточут, и свежевать вас начнем.

**Луша** (*отмахиваясь рукой, кокетливо*). Брешете! Сказывают, рыжие православных режут, — и все брешут, ни за што не поверю.

**Павел** (*к Марьяне*). Молодка, не знаю, как вас звать, по отчеству величать. (*Марьяна строго отворачивается и продолжает со старухой прибирать одежду.*) Водицы ковшик можно попросить?

**Марьяна** (*не поворачиваясь*). Луша, дай ему воды.

**Луша** (*черпает ковшом, подает и, отвернувшись, хохочет в рукав*). И все брешете!..

**Павел.** Спасибо. Шли, дюже уж запылились. Микеша, сходи, узнай, где обоз станет. А я до взводного пойду.

Павел и красноармеец Микеша уходят.

**Луша.** Скуластый какой.

Старик и женщины приводят все в порядок, отодвигают сундук на место. Старик садится за починку хомута. Сергеев снимает сапоги, разворачивает и встряхивает портянки.

**Сергеев.** Эх, ножки бедные, потрудились сколь сегодня.

Входит Ивлевна.

**Ивлевна** (*низко кланяясь*). Со счастливым прибытием!

**Сергеев.** Здравствуй, красавица!..

**Ивлевна.** Да, за красоту за мою бог грехи мне прощает.

**Сергеев.** И то хорошо. Стало быть, гульнем. Эй, старая хрычовка, вари зараз курицу да вареники с сыром. Живо! Одна нога тут, другая — там.

**Старуха.** Батюшка, да куры-то у нас с цыплятами, либо на яйцах! Как же ее от цыплят-то резать, ведь жалко?

**Сергеев.** Ты, старая карга, не разговаривай мне, а то у меня разговор короткий, живо свернешься!

**Старуха.** Ох, ты, господи, царица небесная! (*Крестится.*)

**Старик.** Пойди. Поймай курицу.

**Старуха.** Луша, иди.

**Луша.** Да ведь квочки.

**Старуха.** Ну, у какой цыплята побольше.

Луша уходит.

**Сергеев** (*садится около Ивлевны.*) Ну, как, красота неоцененная?

**Ивлевна.** Я — женщина уважительная, веселая. Обо мне все довольны.

**Сергеев.** А насчет самогоночки как у вас тут, полнокровно?

**Ивлевна.** Самогоночки можно, — ну только денег стоит.

**Сергеев.** Пустяк, плюнуть! (*Достает деньги.*) Бери, на! Только скорей, душа высохла.

Ивлевна уходит. Луша приносит зарезанную курицу, разводит с Марьяной огонь, готовит.

**Сергеев.** Дюже ноги натер, а то я танцовать мастер. (*Ковыряет в ногах.*) Лучше меня в нашем городе не было, чтоб танцовал.

Сергеев молодецки становится перед Марьяной и, подбоченясь, ловко притопывая босыми ногами, делает коленце. Марьяна, отвернувшись, делает свое дело. Старуха прядет. Старик возится с хомутом. Луша помогает Марьяне.

**Сергеев** (*прищелкивает, припевает*). Ах-х, мать чесна, удалого молодца!.. У моего папаши колбасная заведения.

Входит Ивлевна с чайником; Сергеев бросается к ней.

**Сергеев.** Ах-х, раскрасавица, ну, золото червонное...

**Ивлевна.** Насилу достукалась... Боятся продавать: Красная армия, говорят, пришла.

**Сергеев.** Ну, садись, красавица, заслужила. Давайтека стаканчики. (*Подают чашки; наливает из чайника.*) Хозяин, бери-ка. (*К Ивлевне.*) Красавица, потчуйся. (*К Марьяне.*) Молодайка, черепушечку.

Ивлевна берет чашку.

**Старик.** Мы не потребляем ее.

Марьяна продолжает, отвернувшись, молча возиться около печи.

**Сергеев.** Н-но и жидкий народ ноне пошел, слабый. Эх, красавица, гульнем мы с тобой, что ль! Урра-а!

**Ивлевна.** Штоб вам быть здоровыми да веселыми, да скоро жениться.

**Сергеев.** Типун тебе на язык. (Пьют.) Эй, хозяйка, скоро закуска будет? (Наливает стакан самогону.) Угощайтесь.

**Ивлевна.** Покорно благодарю, — вы спервоначалу.

**Сергеев.** Ничего, кушайте. (Выпивают, захмелели.) У папаши тройка была караковых — огонь. Бывало, запрягу, а сани ковром застелю, и девушек катать. (Посматривает на Марьяну.) Девушки меня любили, отбою не было, просто как мухи на мед. Молодаечка, что ж вы с нами по стаканчику? Пройдемтесь, любо-дорого.

Марьяна презрительно молчит.

**Ивлевна.** Об мне бесперечь мущины убиваются, до того убиваются, до того убиваются. Я говорю: «Ах, оставьте ваши аранжегменты». А они: «Ну, не могем, — уж дюже у тебя блестят глаза, ну, блестят, как самовар. А зубы у тебя, — грит, — как у кобеля, — бе-е-лые пре-белые. И за пазуху тебе бог наклал. И сама ты...» Ну, вот перед истинным — чисто надоели. (Выпивает.)

**Сергеев.** У моего папаши колбасная заведения была, большая заведения была, человек до тридцати рабочих работало. Бывало, наберешь колбас разных: и чайной, и чесночной, и копченой, и языковой, опять же водочки, а женскому полу сладкой наливочки, винца, конфет, пряников, — и-их, вот зальемся. У нас за городом роща, так в рощу.

**Ивлевна.** А я хавалеров до страсти боюсь. Как хавалер, так у меня серче так и трепыхается, так и трепыхается, аж боюсь помереть. Мне дохтур так и сказал: у вас, грит, раздрызг серча.

**Сергеев.** Ну, споем, что ли.

**Сергеев**<br>**Ивлевна** } (поют разноголосо).

Мой ми-лень-кий сра-жал-ся<br>
Храбро на вой-не.<br>
Он пулев не бо-ял-ся,<br>
Все ду-мал обо мне...

**Луша** (подает курицу и вареники; мимоходом). Мордой-то в нашего борова дюже вышел.

**Сергеев** (к Марьяне). Молодаечка!..

**Луша.** И хрюкает. Свинья ды боров.

Сергеев схватывает ее, притягивает, хочет обнять.

**Луша** (бьет его, вырывается). Будь ты проклят, окаянный!!. Отец-то твой прошибся: тебя бы замест борова прирезал, то-то сала натопил бы...

**Сергеев** (идет к ней). Перепелочка!.. Ишь, недотрога. Чистая коза: так и отскочит, как мячик.

**Старик.** Ты, служивый, вот што: ты с кем хошь балуй, а девку не замай. У нас этова заведения нету.

**Сергеев** (грозно). Что-о-о! Учить меня!.. Зараз расстреляю, и пикнуть не успеешь. Где винтовка?

**Старуха.** Царица небесная... Мати пресвятая!..

**Старик.** Што ж, стреляй, твоя сила, ну девку не трожь.

**Сергеев** (наливает, пьет). Я всю деревню разнесу, не посмотрю!.. Сволочи!.. (К Марьяне.) Молодаечка, успокойте мои нервы. Очень у вас брови черные.

**Марьяна** (надменно). Ты меня не замай, слышь, не замай, — не рад будешь.

**Сергеев.** Меня девки любили. Да мне начхать. Выпьем, красота, одна ты у меня неоцененная осталась. (Обнимает Ивлевну. Та, пока он заигрывал с другими, сидела насупившись.) Нос у тебя прямо греческий.

**Ивлевна** (отстраняясь). Ка-кой!.. Ах, ты, паскуда... тверь ты низкая!.. Да как ты смеешь?! Я отродясь в греках не крестилась и от своей религии не отступлюсь, хочь режь меня. Я те все глаза твои бесстыжие выдеру!

**Сергеев.** Да что ты взъелась?!. Я об вашей религии никак не касаюсь. Я об вашей красоте.

**Ивлевна.** Какая жисть моя была, в судомойках ды в кухарках (плачет), свету божьего не видала. Ни семьи, ни ребеночка. Разве станут на местах держать с детьми? Сожрали мою жисть господа, а он еще мою религию конфузит...

**Сергеев.** Да чево вы белугой ревете? Я же никаких... (Входит Микеша. Сергеев злобно Ивлевне.) Прячь самогонку, чортова кукла! (Падает на скамью, корчится и стонет.) Сме-ертынька моя!.. Ой-ёй-ёй, пропадаю!..

**Микеша.** Эй, Сергеев, бери винтовку, рота выступает на позицию.

**Сергеев.** Ой, пропадаю, Микеша!

**Микеша.** Да чево с тобой?

**Сергеев.** Ой, смерть пришла, живот схватило, помираю!

**Микеша** (почесывает затылок). С чево бы такое? Был здоровый, сразу, как в холере. Отделенный велел зараз в строй. А то вали в околоток. (Берет винтовку, уходит.)

**Сергеев.** На-кось, выкуси! (Показывает дулю.) Только пришли, опять иди. Да я обезножил совсем. Что я, лошадь, что ли! Пущай другую роту шлют, а то нашей и отдыху нету. Ну-ка, давай-ка чайничек, будем лечиться.

Пьют с Ивлевной. За дверью слышны голоса. Сергеев прячет чайник, ложится на скамью и стонет.

**Павел** (входит). Ты чего же валяешься? Рота в строю, а ты вылеживаешь.

**Сергеев** (стонет). Схватило, товарищ, во как схватило, вроде холеры...

**Павел.** Я те схвачу, подлая шкура! Сейчас в роту.

**Сергеев.** Ой-ёй-ёй! Ей-богу, не могу!..

Луша хохочет в рукав.

**Павел** (вынимает револьвер). Ну!!

**Старуха**
**Ивлевна**
**Луша** } Ой, батюшки!.. Мати пресвятая!! Страсти-то!..

**Сергеев** (торопливо обувается). Я сейчас, легче стало...

**Павел** (подозрительно оглядывает стол, избу). Это что такое? (К хозяевам.) Это он велел готовить?

**Старуха.** Куры-то у нас — наседки, либо...

**Старик.** Помолчи, старая... Это, господин начальник, мы собрались повечерять да служивому говорим: садись с нами.

**Сергеев.** Они действительно пригласили меня.

**Старуха.** От цаплят-то квочку. Куды же цаплята-то...

**Старик.** Помолчи, старая... Ничего, пущай... с походу-то, с устатку...

**Луша.** А сам чистый кабан.

**Павел** (к Сергееву). Подлая шкура!.. Мародер!.. Собака проклятая!.. Примазываться умеешь, а вот товарищи на позицию идут, так тебя нету. Если замечу хоть малейшее, и ротному докладывать не буду — всажу пулю, и шабаш!.. Расплачивайся сейчас с хозяевами.

**Сергеев.** Сейчас. (Торопливо расплачивается.)

**Старуха.** Ишь ты, батюшка, серчаешь как. Свово рази можно стрелять? В ём дух-от, чать, хрестьянский.

**Павел.** Отца родного пристрелю, ежели гадить революцию станет.

Сергеев подпоясывает патронташ, вскидывает мешок, берет винтовку и с Павлом уходит.

**Ивлевна.** Я так и думала, застрелит хавалера.

**Старик** (сердито). Таскаешь тут самогонку. Кабы нашел, и нас бы не помиловал. (Уходит с хомутом.)

**Старуха.** Жалко наседку. Луша, загони цаплят в решето да принеси суды, пущай тут ходят.

**Луша** (хохочет). Борову теперь вольется.

**Ивлевна.** Жалко, хавалер хороший. Ну, прощевайте.

Обе уходят.

**Старуха.** Правду народ сказывал: придет анчихрист, зачнется убивство. Заприметила я, кубыть у этова у толстова печать накладена. Спаси и помилуй. (Уходит.)

**Луша** (вбегает с решетом, в нем цыплята, ставит под печку). Слышь, Марьянка, солдаты-то. А я думала — они нас резать станут. А они веселые. У одного на улице гармонь. А у Кривулихи один

уж сватает дочь-то. Кабы за меня какой не посватался... Ну, нипочем!.. Убегу...

**Марьяна.** Хто об чем, а она об своем.

**Луша.** Которые у нас были, ни один мне не показался. А тебе?

**Марьяна.** Мне все равно, как их и нету.

**Луша.** А мне чевось-то скушно стало.

**Марьяна.** Дай срок, наплачешься.

**Луша.** А как ты со своим жила? Пальцем брат тебя, бывало, не тронет.

**Марьяна** (злобно). Уйди!..

**Луша.** У-у, змеюка!.. (Убегает.)

Некоторое время Марьяна возится по хозяйству.

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же внутренность избы. Вечерние косые лучи ложатся сквозь окна. На улице слышен говор, смех красноармейцев и девушек. Потренькивает балалайка, наигрывает гармоника. В окна видно — проходят мимо, сидят и стоят группами. В избе старуха за прялкой Марьяна шьет. Молчание.

На улице голоса.

**1-й голос.** Табак просыпешь, еловая голова!

**2-й голос** (поет). «Па-а-следний но-о-нешний де-енечек гу-ляю с вами я, дру-зья...»

**3-й голос.** Эй, Семка, куды бежишь? Держи их!..

**Девки** (визжат).

— Пусти, окаянный! Всю кохту изорвал.

— Вот оглашенные!..

— Медведь косолапый!..

**4-й голос.** Теперя спи спокойно: белых и след простыл — верст на двадцать отогнали, и разъездов не видать.

В избе.

**Старуха.** У-у, статуй каменный!.. Покеда сын был, маты тебе была, а как сына нету, тетка чужая стала.

**Марьяна.** Чево вы едите меня, чево поедом едите?

**Старуха.** А чево молчишь? Чево по целым дням молчишь, хошь бы слово сказала.

Входит Павел, садится к столу, разбирает и чистит винтовку.

**Старуха.** Курицу-то зарезали, а она наседка, а теперича цаплята...

**Марьяна.** Будя вам, маменька.

**Старуха** (у х о д и т, в о р ч и т). Про курочку нельзя сказать, зараз рот затыкает... тетка ей чужая...

За окнами попрежнему говор, взрывы смеха; под балалайку и гармонику пляс и топот. Визг и хохот Луши и девок.

**Павел.** Намучились на позиции. Теперя отдохнем, отогнали. (М о л ч а н и е.) К вам еще одного поставим, четверо будем. (М о л ч а н и е.) Эх, Марьяна, приглядываюсь я к тебе, — хорошая голова присажена у тебя на плечах, ну только норовистая ты, как лошадь невзнузданная.

**Марьяна.** Зануздал один такой, да на третий день сдох.

**Павел.** Я не об себе. Я об том, как кроты вы тут земляные. Ни свету, ни людей. Одно только, что едите да работаете, уткнув головой в землю.

**Марьяна** (г о в о р и т н а д м е н н о, р о н я я с л о в а, н е о б о р а ч и в а я с ь). А тебе чево же, танцовать надо?

**Павел.** Эх, молодуха, так ты тут и повянешь, как березка подрубленная.

**Марьяна.** А тебе горе?

**Павел.** У нас каждый человек на счету. Счастья-то всем хочется, а добывают его для всех раз-два, да обчелся. А ты, вишь, крепкая. Кабы взялась за дело, из рук не сронила бы.

**Марьяна** (п р е н е б р е ж и т е л ь н о). Мне забота о ваших делах!

**Павел** (п о м о л ч а в). Мать у меня была, не старая годами, а сама согнулась, седая. Всю жизнь на фабрике. Ткачиха. Померла недавно. Всегда, бывало, гоняла меня, чтобы с социалистами не знался. Пускай, говорит, другие, а ты, Пашка, не смей, а то головы не сносишь, — на то ль я тебя рожала. А невдолге перед смертью увидала на улице весь фабричный народ с знаменами с красными со всех фабрик, с заводов. Идут и идут, конца-краю им нету, и все желтые,

худые, грудь завалилась, а сами про волю поют. Заплакала. Впервой, говорит, вижу столько фабричного люду. Сила его, а замученный народ. И как умирала, подозвала меня, благословила и говорит: «Иди, Пашенька, иди к ним, к замученным, добывай волю всем, а там воля божья». (*Молчание.*) А как у вас урожай?

**Луша** (*вбегает*). Урожай у нас огроменный, хлеба будет — хочь завались. Браги наварят, пирогов напекут, а свадьбы играть некому.

**Старуха** (*входит*). Лушка, опять свиньи в огороде!..

**Луша.** Штоб они подохли, окаянные!..

**Старуха.** Што ты, што ты! Окстись... аль не в своем уме? Об рожество чего будешь трескать, как свининки не будет?

**Луша** (*убегает*). Нужна она мне, как летошний снег.

**Старуха.** Сбесилась девка... Вот горе, без соли сидим... Придет рожество, зарезать бы кабана, посолить нечем. Без соли насидимся. Как трава все, — в рот не впихнешь... Може, у вас, служивый, сольцы бы достать?

**Павел.** Да ведь нам, бабушка, отпускают на рыло золотниками, а кроме нету. Вот прогоним врага, все будет и у вас и у нас: и соль, и керосин, и ситец.

**Старуха.** Дай-то бог. И когда она кончится, эта война! И-и, господи Иисусе Христе!..

Уходит. Темнеет.

**Павел** (*вздыхает*). Эх, Марьянушка, как оно складывается. Вот кабы не пришли в эту деревню, не знал бы про тебя, не видал. А вот уйдем, все ты будешь передо мной, как живая. Не забыть тебя, покеда жив буду. (*Молчание.*) Так-то, Марьянушка. Видно, такая моя судьба... Уйдем, чай, и не вспомянешь меня, как и не были.

Долгое молчание. С улицы иногда доносится смех и визг Луши с которой шалят красноармейцы.

**Сергеев** (*входит*). Ну, что, как: ужинать будем?

**Микеша** (*входит*). Повечерять бы, что ли.

**Марьяна** (*откидывает шитво, кричит в окно*). Маменька, вечерять просют!

**Старуха** (*с улицы*). Ну-к что ж, давай. (*Кричит.*) Лушка, Лушка, чего ты там ржешь, кобыла! Иди, сбирай вечерять служивым.

**Луша** (*вбегает в избу*). Не обтрескаются, обровы...

Марьяна и Луша собирают ужинать.

**Микеша.** Луша, а Луша, я секрет про тебя один знаю.

**Луша.** Секрет? Заткни его себе в ноздрю.

**Павел.** Ну, чего же, садиться, что ль? (*Отставляет винтовку.*) Зови энтих-то.

**Микеша** (*в окно*). Товарищи, ужинать...

Садятся. Постепенно подходят еще четыре красноармейца со смехом, с разговором, доигрывая на гармонике, на балалайке. Голоса слышны сначала на улице, потом в избе.

**1-й красноармеец.** Спокон веку повелось, что война...

**2-й красноармеец** (*передразнивая*). «Спокон веку!» Голова у тебя спокон веку задом наперед присажена. За то и кровь проливаем, чтоб никогда больше войны не было.

Садятся за стол.

**3-й красноармеец** (*сначала на улице, потом в избе поет под балалайку*). «Ка-кая чу-до-де-вица затвор-ни-цей жи-ла...»

4-й красноармеец входит, наигрывая на гармонике. Входит старуха.

**Микеша.** Будет вам, садитесь.

За столом одни красноармейцы, первое время едят молча. Входит старик.

**Павел.** Что же не садитесь, хозяева? Садитесь ужинать.

**Старик.** Ничево, вечеряйте.

**Микеша.** Гужом веселей.

**Павел.** Садись, старина. Без хозяина дом сирота. Бабушка, а ты чего же? А вы, молодки?

**Старик.** Ничево, мы постоим.

**1-й красноармеец.** Да чево стоять? Больше не вырастешь.

**Старуха.** У меня — сынок... убили его немцы. А, бывалыча, садится с молитвой на икону, а вы беспеперечь валитесь за стол, лба не перекрестите.

**Павел.** А ты, старая, гляди по делам людей, а не как они рукой мотают. Он перед иконой рукой мотал, а своего брата рабочего да красноармейца штыком колол.

**Старик.** На войне убили.

**Павел.** Да за кого убили? За вашего помещика да за вашего кулака — за буржуев и смерть принял. Есть у вас помещик?

Постепенно в избу набираются крестьяне, бабы, девки. Постоят, послушают и уходят. Окна с улицы облепили ребятишки.

**Старик.** Как не быть? Убег, — должно, про вас прослыхал.

**Голоса крестьян.** Лютой был.

**Павел.** И кулак есть?

**Старик.** Да он кулак — не кулак, а лавошник наш.

**1-й крестьянин.** Кулак — не кулак, а по пяти шкур драл с человека.

**Павел.** Вот за них твой сын и голову сложил.

**Старик.** А мы почем знаем? Мы — темный народ, нам велели.

**Павел.** А будь тогда власть у рабочих и крестьян, — что ж, они разве послали бы твоего сына убивать немецких рабочих и крестьян? Э-э, небось, был бы теперь дома, вон с молодайкой жили бы любовно да радостно, детишки округ них бегали бы. Вот как! А теперь ей сохнуть... из-за чего?

Марьяна клонит голову все ниже и ниже.

**Луша.** Женихов всех перебили, и вот те Христос!.. (Торопливо крестится.)

**2-й красноармеец.** На добрую невесту десять найдется.

**Микеша.** За меня пойдешь? Вот как любить буду!

**Луша.** Чтоб ты лопнул, окаянный!

**Микеша.** Девушки хороши, красные пригожи, да отколь злые жены берутся?

Красноармейцы смеются.

**Луша.** У-у, верблюд камолый!.. (*Плюет, отворачивается.*)

**2-й крестьянин.** Хрестьяне, они всегда в ответе: и перевернешься — бьют и не довернешься — бьют.

**1-й красноармеец.** Били вас, а теперьча вы бьете.

**2-й крестьянин.** Мы никого не трогаем.

**Микеша.** Прежде фабрикант драл шкуру с рабочего, а теперя мужик с него три сымает.

**Иван Посный** (*с большой седой бородой*). Чать, у нас хрест есть.

**1-й красноармеец.** То-то вы со крестом хлеб в землю зарываете, — зубами у вас его не вытащишь. За сало, за масло, за молоко, за картошку сто шкур крестом спущаете.

**2-й крестьянин.** А нам, што ж, даром достается? Поджамши ручки сидим?

**Иван Посный.** Ни карасину, ни ситцу, ни дегтю — из-за чево же нам стараться?

**Павел.** А из-за чего мы стараемся? (*Показывает на 1-го красноармейца.*) Из-за чего он старается? Он тоже крестьянский сын. Я с девяти годов — рабочий. Сладко ли? Мне двадцать третий год, а у меня и посейчас все стоит в ушах: гу-гу-у, и все будто фабрика трясется кругом, и будто очески летают, и, как в тумане, не видать сквозь них. Так ведь мне жить-то хочется ай нет?

**1-й крестьянин.** Знамо, всякому белый свет мил.

**Павел.** Да жить не по-собачьи. Вот мы и пошли добывать себе, чтоб не по-собачьи. Может, и голову сложим, то по крайности знаем, за что. (*К старику.*) Не как твой сын — сложил голову за вашего помещика, а ему самому в бежки пришлось. Не так что ль, ребята?

**Красноармейцы** (*загудели*). Веррно!.. Правильно!..

Марьяна внимательно слушает и в знак согласия кивает головой,

**Сергеев.** А то бывает и так, что которые не хочуть работать, от этого и бедность. У моего папаши...

**Павел** (*передразнивая*). «От этого и бедность»...

**Старик.** Хозяйство, оно порядок любит.

**1-й красноармеец.** От вашего порядку рабочие в городе сдыхают.

**Старик.** Мы не причинны.

**Павел.** Да чорт с ним (*бьет по столу ложкой*), с вашим хлебовом, если мне опять скотнячья жизнь! Да лучше сдохнуть али в бою сложить голову. По крайней мере, очи мои паскуды этой не будут видеть, которая по России пойдет. А вам, мужикам, что?! Одно: нагресть керенок побольше да веревками перевязать, — на фунты меряете, считать-то, вишь, долго, да в подполье загресть.

**Старик** (*испуганно*). Нету у меня денег, как перед истинным. В подполье даже не лазим, чево нам там делать?

**Павел** (*моргает ему насмешливо*). Не лазишь?

**Красноармейцы** (*смеются*). Попался, старик? Давай весы, взвесим.

**Старик** (*озлобленно*). Сказывашь, ваша жисть чижолая. А наша легкая? Легко ее, матушку-землицу, ублажать: унавозить да вздобрить, да заскородить, да засеять, да снять, да вымолотить. Божьего свету, его не видишь, пóтом заливаешься, жилы — вó! (*Протягивает засученный рукав.*) Все вытянул...

**Павел.** Вам только помещичьей земли нагресть, а там хоть трава не расти.

**Старик.** Мы ее, землю-то, и не нюхали.

**Павел.** Мы вам дадим, своей кровью добываем.

**Красноармейцы** (*покончили ужин, обтерли губами ложки, засунули за голенища*). Спасибо! Покорно благодарим...

**Старуха.** Ешьте, кушайте, рóдные. Погляжу на вас, сыночка вспоминаю... (*Плачет.*) Такой же... молодой...

**Луша.** Хоть бы лоб перекстили.

**Микеша.** Мы, девка, своему богу молимся.

**Луша.** Какому такому?

**Микеша.** Наш бог — совесть да правда, да счастье трудящему народу по всему миру. Мы ему зараз молитву споем. А замуж за меня пойдешь?

**Луша.** За басурмана-то?

**Красноармейцы** (*запевают*):

> Нам не нужны златые кумиры,
> Ненавистен нам царский чертог...
> Вставай, подымайся, рабочий народ!..

Луша с любопытством слушает, бросив прибирать. Марьяна прибирает, но по лицу, по взглядам видно, что слушает.

**Коноводов Илья** (*с присвистом вползает, опираясь руками на деревянные колодки; обе ноги у него отрезаны*). Эй, жги, говори!.. Отворяй ворота, господа едут!

**Луша** (*покатывается со смеху*). Женихи приехали!..

**Старик.** С каких пор веселый стал, Илюша?

**Коноводов.** С тех самых пор, как немец ноги у меня оттяпал. Легко стало без них, весело, а то таскай задарма их, нихто и гроша не дает. Здравствуйте, господа служивые!

**Красноармейцы.** Здравствуй, товарищ! Тут господ нету.

**Коноводов.** Ну, к тому так говорится у нас.

**1-й красноармеец.** Еще не обтяпались.

**Павел.** Дай-ка, што ль! (*Берет у одного из красноармейцев балалайку.*) Спою-ка свою любимую, ткацкую. Одиннадцать лет пел ее своею шкурою. (*Настраивает.*)

**Луша** (*Коноводову*). Илюша, на свадьбу позовешь?

**Коноводов** (*поет*). «И пить будем и гулять будем, а смерть придет — помирать будем».

Луша хохочет.

**Павел.** Во, старик! (*Стучит по балалайке.*) Мы тут бьемся, головы за вас кладем, за мужиков, — никто об нас тут не подумает, сдыхайте, как собаки, а там на фабриках, на заводах наши братья день и

ночь об нас помнят — во подарок прислали! Из последней копейки собьются, пришлют.

**Сергеев.** Фу-у! Много ль на человека приходится — гроши.

**Микеша.** Гроши!.. Да ведь голодные сидят. Надо этот грош отколупнуть от голодных детей.

**2-й красноармеец.** А из грошей на армию миллионы выходят на подарки.

**Старик.** Это и мы могем.

**3-й красноармеец.** Могете!.. Покеда по загривку вас потянут, тогда могете. Всё дожидаетесь.

**Павел** (поет под балалайку):

Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машин и колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.
Как не завидовать главному мастеру,
Вишь, у окна он сидит,
Чай попивает да гладит бородушку,
Знать, на душе не болит.
Нитка в основе порвалась, канальская...
Ах, распроклятая снасть!
Жизнь бесталанная, сколько ты на душу
Примешь мучений, так страсть!
Ноют и рученьки, ноженьки, спинушка,
Грудь разломило ткачу...
Эх, главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!..

Марьяна, как птица, вся застыла в порыве — слушает. Стемнело. Павел легонько тренькает на балалайке. Молчание.

**Старик.** У всех горе.

**1-й красноармеец.** Вот мы и несем свои головы, штоб замест горя всем была радость.

2-й красноармеец на гармонике играет плясовую. Сергеев вскакивает и, притопывая, начинает плясать. Микеша схватывает Лушу и вытаскивает, чтобы плясала.

**Луша** (отбиваясь). Утопни, окаянный!..

**Ивлевна** (входит, вынимает платочек, павой плывет, поет). «Мимо сада винограда собачка бяжала, ножки тонки, боки звонки, а хвост закурлючкой. Ножки тонки, боки звонки, а хвост закурлючкой, на хвостике колтунчики ветром развевает. На хвостике колтунчики ветром...»

**Павел.** Ну, будет, ребята, надо спать ложиться...

Посторонние понемногу расходятся.

**Голос на улице.** Никак дожж?

**2-й голос.** Не-е, нахмарилось только.

**Микеша** (в избе). Ну, как же мы ляжем?

**1-й красноармеец.** Да так: стели шинель да ложись.

**Микеша.** Эх, и завалюсь!.. Две ночи не спал.

**Сергеев.** Хоть бы сенца подстелить.

**1-й красноармеец.** Но-о, набалован, сенца ему! Може, перину?

**Сергеев.** На кровати можно.

**Павел.** Пускай старики.

Расстилают шинели, начинают раздеваться.

**3-й красноармеец** (разувается). Эх, славно!.. Отекли совсем.

**Павел.** Обуйся! Не разуваться! Винтовки возле себя.

**3-й красноармеец.** Чево ж, успеем.

**Микеша.** Отогнали. И разъездов ихних нету.

**Павел** (сердито). Тебе говорят — обуйся. Мало чего — нету. Сейчас нету, а не успеешь оглянуться — навалятся. Разве угадаешь?

Все обуваются. Старик ложится на кровати. Марьяна, Луша — на лавках.

**Микеша.** Не-е... теперя его и с собаками не сыщешь — без оглядки бежал. Сегодня ничего не будет.

**2-й красноармеец.** Отделенный, хочь патронташ снять.

**Павел.** Ничего не снимать, — так ложись. Какой запас у кого патронов?

**Микеша.** У меня с сотню.

**1-й красноармеец.** У меня с полсотни.

**Павел.** Завтра утром пополнить.

Понемногу засыпают.

**Старуха** (бормочет). Господи Исусе, сыне божий, спаси и помилуй... прегрешения наши... Раба божьего Степана помяни во царствии твоем. (Ложится на кровать.)

Молчание. Луша подымается, прислушивается, пробирается к Марьяне.

**Луша** (полушопотом). Слышь, Марьяна, а они ничево, солдаты-то. (Молчание.) Энтот-то боров все сватается до меня.

**Марьяна.** Дура! Дюже ему жена нужна. Побалуется да кинет, как утирку.

**Луша.** Я и то его мокрым полотенцем здорово саданула, аж присел. (Молчание.) Слышь, Марьянка, страшно им на войне-то? (Молчание.) Ведь это все женихи. Тебе который пондравился?

На полу завозился красноармеец, приподнялся, неясно забормотал.

**1-й красноармеец.** Бей... коли... цепь... бегом... лошадей... бурбур... мурмут... мм... (Опять повалился.)

Марьяна с Лушей застыли, прижавшись

**Марьяна.** Это он со сна. Представляется ему.

Некоторое время молчание.

**Луша.** Энтот вон губастенький, с усиками, ничего из себе. Кабы уши у него помене, а то дюже как у лошади.

Далекий, едва уловимый звук выстрела.

**Луша.** Чево такое?! (Обе прислушиваются; тихо, сонное дыхание.) А энтот белобрысенький, полнокровный из себе, да дюже рот разявает. (Молчание.) А энтот скуластый некрасивше всех, а как запел, аж за самое за сердце схватил. Глаза у него уж дюже хороши. Так бы глядела в них, не отрывалась.

В окнах слабо и медленно разгорается красное зарево. Марьяна и Луша не замечают.

**Марьяна.** Душа в ём.

**Луша.** Об чем он пел?

**Марьяна.** Про фабричных.

**Луша.** Дюже уж жалостливо, не оторвалась бы, так бы и слухала.

**Марьяна.** Жисть, видно, не сладкая у самого. (*Вздыхает.*) Худой.

**Луша.** Холостой, гляди?

**Марьяна.** Ступай спать.

**Луша** (*крадется к себе, ложится, потом возвращается*). Марьяна! (*Марьяна молчит.*) А я знаю, скуластый тебе больше всех пондравился...

**Марьяна** (*сердито*). Уйди!..

Луша крадется к себе. Молчание, темнота. Где-то снова далекий выстрел, другой, третий. Смутно заговорили пулеметы, и глухо ухнуло орудие, другое. Красное зарево все больше разгорается. Стук в окно.

**Голос с улицы.** Тревога!.. Тревога!.. Тревога!..

**Павел** (*вставая*). Подымайся!

Красноармейцы в багровой темноте подымаются, стучат оружием.

**Павел.** Вставай, что ль!

**Микеша.** Вот те отоспались!

**Старик.** Лушка, зажги свет.

Луша зажигает.

**Старуха.** О, господи Исусе, спаси и помилуй...

**1-й красноармеец.** Должно, казаки.

**2-й красноармеец.** Не слышишь, артиллерия бухает, — стало быть, пехота подошла.

**Павел.** Выходи!

Красноармейцы выходят. Луша гасит лампочку. В окнах все больше багрово разгорается пламя далекого пожара.

**Павел** (*голос на улице*). Стройся!.. Чего переваливаешься?

За окнами слышно: торопливо позвякивая оружием, со смехом и говором строятся.

**1-й красноармеец** (*голос на улице*). Рота за колодезем.

**2-й красноармеец** (*голос на улице*). Эх, табачок забыл!

Старик (*в избе*). Пожар. Должно, в Выселках.

Старуха (*в избе*). О, господи Исусе, мати пресвятая...

**Микеша** (голос на улице). Поспать не дали, сволочи!

**1-й красноармеец** (голос на улице). Беспременно казаки.

**2-й красноармеец** (голос на улице). И пехота. Наши прибегли, сказывают, цепями идут.

**Микеша** (голос на улице). Задаст он нам жару.

**1-й красноармеец** (голос на улице). Не то он нам, не то мы ему.

**Павел** (голос на улице). Все?

**Голоса на улице.** Все.

**Павел** (голос на улице). Зря патронов не трать. Бей, когда увидишь, или по огню. Смир-но! Левое плечо, шагом арш!

Удаляющийся топот.

**Старик** (в избе). Пожар дюже разгорается. (Все в избе красно озарено. Старик скребет голову, спину.) Ишь, взбулгачились, не иначе белые напали. (Молчание). Сколько сена потравили.

**Старуха.** Ну, да и то сказать, за все заплатили честно, благородно.

**Старик.** Што ж заплатили, зимой бы дороже продал.

**Марьяна.** Вздумали про сено. Сколько теперя голов положат.

**Старик.** Наше дело сторона. Запри дверь.

Луша запирает.

**Старуха.** Вот так и мой Степушка... (Луша зевает.) Лушка, заксти рот-то... Господи Исусе, помилуй нас...

Ложатся. Некоторое время сонное молчание. Перестрелка то затихает, то разгорается. В окнах все то же багровое шевелящееся зарево. Нетерпеливый стук в дверь.

**Луша** (подбегает к двери). Хто там?

**Сергеев** (за дверью). Отпирай!

**Старик.** Да хто такой?

**Сергеев** (за дверью). Отпирай, голову снесу!..

**Луша.** Батенька, я боюсь.

**Сергеев** (грохочет в дверь). Отпирай, тебе говорят!

**Старик.** Лушка, отопри.

**Старуха.** Господи Исусе!..

Луша отпирает. Врывается Сергеев без винтовки, с перекошенным от страха и злобы лицом. Мечется по избе.

**Сергеев** (задыхаясь от быстрого бега). Куда бы мне?!

**Старуха.** Ты чево, родименький? Ай забыл чево?

**Сергеев.** Молчи, карга!..

**Старуха.** О, господи Исусе, спаси и помилуй!.. Никак с печатью!

**Сергеев** (старику). Подымай половицу.

**Старик** (испуганно). На што тебе половицу?

**Сергеев** (вытаскивает револьвер). На месте положу...

**Старик.** Слышь, там тебе крысы стрескают. Они с кобеля у нас, накинутся на человека...

**Луша.** Уж был такой случай у нас...

**Сергеев.** Издохнешь, собака! (Наводит на старика револьвер.)

**Старуха.** Царица небесная! (Плачет.)

**Луша** (испуганно). Батенька!..

**Марьяна** (озлобленно). Чего озверинился?

**Старик** (подымает половицу). Чево ж, спущайся... Мне не жалко...

**Сергеев** (спускаясь под пол). Закрой. Да слышь, ежели придут наши, скажи — никого нету и никто не приходил... А то все одно не жить вам, всех перестреляю...

Старик закрывает подполье.

**Старуха.** Страсти-то!..

**Старик.** Запри.

Луша запирает дверь. Все ложатся. Молчание. Полыхает сильное зарево. Далекая перестрелка.

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Зал помещичьего покинутого дома. Мебель, портьеры, картины — все сохранилось. На столе епитрахиль, крест, чаша с водой, кропило. Поп с красивым наглым лицом, подстриженная черн я борода: очевидно, умел и любил пожить, упитанный, но подвижной, моложавый. Дьячок с подведенным от голода животом. Лавочник толстый, присадистый, с могучим затылком.

**Поп** (в к а м и л а в к е). Иван Иваныч, надо бы велеть досок принесть да помост сбить. Видней будет. И служить лучше и слышней, когда слово буду говорить.

**Лавочник.** Отец Феофан, я опять на своем: в церкви бы лучше. Ты с амвона скажешь слово, оно будет благолепнее. И служба там на месте. Там народ кажное слово принимает безо всяких.

**Поп.** Говорю тебе, все известкой да кирпичом завалило... Снаряд как ударил в купол, пробил, — так все вниз и свалилось.

**Лавочник.** Вычистить.

**Поп.** За день не управишься. По колено мусору. И опасно — из свода кирпичи нависли, может оторваться в толпу, паники наделаем, а откладывать тоже нельзя: куй железо, пока горячо.

**Попадья** (б е л о т е л а я, п ы ш н а я, б о г а т о о д е т а я, в х о д и т; н е д о в о л ь н ы м т о н о м). Что же это народу нету? Отец Феофан, вели в колокол ударить.

**Поп.** Постой, мать, не мешай. Так как, Иван Иваныч, будем помост мостить?

Постепенно в зал набивается народ. Приходят крестьяне, бабы, ребятишки. Приходит Луша, старуха, старик, Сергеев. Бабы подходят под благословение к попу, кое-кто и из мужиков, больше старики.

**Лавочник.** Да когда же? Теперь некогда.

**Поп** (к к р е с т ь я н а м). Что, миряне, тихо собираетесь?

Крестьяне толпятся, оглядываются друг на друга.

**1-й крестьянин.** Подходят.

**2-й крестьянин.** Староста постучал посошком в окна, — ну, идуть.

**Старуха.** Деревня долгая, покеда дойдешь. О, господи Исусе!

Шурша и постукивая колодками, вползает Илюша Коноводов. Входят Одноногий на деревяшке и Однорукий, один рукав у него зашит; оба молодые. Входит Иван Посный.

**Поп.** Ну что, Иван Иваныч, будем начинать?

**Лавочник.** С господом.

**Поп** (*заправляет волосы, закидывает рукава; торжественно*). Братие! Собрали мы вас сюда обсудить свое положение. Тяжкие времена, неслыханно тяжкие времена пришли на святую Русь. Подобного не было во всю ее историю, а царство российское стоит вторую тысячу лет. Своими очами взгляните, что творится кругом. Церкви божии поруганы, святые мощи осквернены, служители божии убиты. В Москве сорок сороков было, а теперь не осталось и десятка церквей, — все разрушено, все в кирпичах да в мусоре. (*Движение среди крестьян.*) Священнослужители в облачениях висят на каждом перекрестке, на фонарях удавленные. (*Среди крестьян движение; бабы начинают слегка всхлипывать.*) А архиереи качаются на виселицах на кремлевских стенах, и враны выклевывают им мертвые очи. А митрополит... (*Лавочник дергает попа.*) Гм-м... ну да, и митрополит... и ему туго приходится... И на самого... на самого... — страшно сказать — помазанника божия покусились. Братие, государь император, самодержец всероссийский расстрелян злодеями. Кто такие эти злодеи, омывшие руки свои в священной крови помазанника? Это — всемирные злодеи, исчадие ада, дети сатаны, богомерзкие большевики, рекомые коммунисты. Печать Вельзевула...

**Старуха.** То-то я заприметила, как лез к нам в подполье, на заду у него печать, стало быть, анчихристова...

**Сергеев** (*злобно*). Молчи, старая карга, мешаешь батюшке!

**Старик.** Замолчи, старуха.

**Старуха** (*плачет*). Он и наседку...

**Сергеев.** Да цыц ты! А то зараз в тюгулевку.

**Поп.** Печать сатанинская на всех их деяниях, на

всех их помыслах. За их преступления, за их злодейства господь не оставляет их своим гневом: голод, зараза, война, бедствия царят в их оскверненном царстве. В Москве трупы умерших от голоду валяются по улицам, и озверелые от голоду псы терзают их...

**Голоса**
— О господи!!
— Страсти-то господни!..
— Да што такое?!
— Наказал, стало быть, господь!..

**Поп.** И мужчины и женщины ходят нагие, ибо нечем прикрыть срамоту свою. И были случаи, когда матери, терзаемые голодом, поедали невинных младенцев своих...

Среди женщин всхлипывания.

**Голоса**
— Душеньки невинные!..
— Деточки-то чем виноваты!..

**2-й крестьянин.** Надоть хлеба им собрать, вишь, знать, оголодали дюже.

**Голоса**
— Верно!
— Сбор надо исделать!..
— Пущай очунеются...

**Сергеев** (2-му крестьянину). Да ты кто?.. Ты кто такой?! Красный, што ль?.. Тебя взять нужно да под расстрел.

**2-й крестьянин.** Не-е... Это я насчет которые оголодали, так исделать сбор, а то дюже ребята с голоду пропадают, батюшка вон говорит, замест свежинки их...

**1-й крестьянин.** Знамо, подадут. Хто гарнец, хто полтора, а то и всю меру.

**3-й крестьянин.** С миру по нитке...

**Сергеев** (2-му крестьянину). Ага, так ты за них заступаешься? Иван Иваныч, революционер, за большевиков заступается. Надо его отвесть.

**Лавочник** (2-му крестьянину). Иди... иди... иди... пойдем!

**2-й крестьянин.** Да я ни сном, ни духом... Иван Иваныч... только к тому, што...

**Сергеев.** Пойдем, пойдем, там тебе покажут кузь-

кину мать! (Вместе с лавочником уводит его.)

**Поп.** Плач и стенания стоят над поруганной первопрестольной столицей. Вот что сотворили дети Вельзевула, братья сатаны, смердящие большевики. Господь наш Иисус Христос проклял их. И они, как Каины, мечутся, убивая невинных, замучивая не токмо мужчин и женщин, но и немощных стариков и невинных детей.

**Голоса** — Спаси и помилуй!
— Терпит еще господь черных злодеев.
— Кабы земля из-за них в тартарары не провалилась!
— Кабы и нам с ними не провалиться!

**Поп.** Народ голодает, народ в плаче и стенании, а большевики радуются бесовской радостью и предаются обжорству, питию и блуду среди стенящего народа.

**Голоса** — Штоб им ни дна, ни покрышки!..
— У, ироды, змеиное отродье!..

**Поп.** И вот, братие, это скопище злодейское пришло и к нам. Пришла красная злодейская банда. И нам предстоят такие же горести, бедствия, ужасы: и голод, и всех обобрали бы, и всех замучили бы.

Сергеев и лавочник возвращаются.

**1-й крестьянин.** Подводами дюже притесняли.

**Старик.** Кажный день, кажный день пятьдесят подвод с деревни — разве мысленно!

**Старуха.** А у меня наседку, да в подполье полез.

**Сергеев.** Цыц, старая карга!.. Еще раз рот разявишь, зараз отведу и тебя туда же.

**Старик.** Молчи, старуха! И что у тебя не держится?..

**Поп.** Ну, вот. Да это — цветики, а ягодки впереди. У кого получше изба, у того заберут...

**Голос.** Да я за свою избу горло ему зубами перегрызу.

**Поп.** Лошадей заберут, скот перережут. А молодых хозяек да девушек возьмут себе наложницами...

Среди крестьян движение негодования.

**Голоса** { — Вот паскуды!<br>— Кишки мало выпустить!..

**Старуха.** К Лушке все примазывался...

**Сергеев.** Ты опять?.. Иван Иваныч...

**Луша.** А я его мокрым полотенцем, аж присел...

**Сергеев.** Вот это революционерка, надо ее отвесть — поперек каждого слова батюшке вставляет.

**Старик.** Сделайте милость, ослобоните, больше не будет. Я ей дома наломаю шею.

**Попадья.** Да что вы, миряне, ведете себя, как в трактире. Батюшка говорит, каждое слово надо ценить, а вы тут шум да разговоры. Вы, как в церкви, должны слушать, каждое слово запоминать отца духовного.

Глухой, далекий орудийный выстрел.

**Поп.** Братие, тяжкие, позорные времена переживает святая Русь, но уже возгорается заря освобождения от насильников, от злодеев, от кровопийц, прелюбодеев, от смердящих большевиков: восстает христолюбивое воинство верных сынов церкви. С молитвой и крестом святое воинство гонит банды большевиков, и злодеи в ужасе и тоске бегут, как побитые собаки. (*Глухой, далекий орудийный выстрел.*) Но, убегая, оборачиваются и кусают. Вы видели, что они сделали с нашим храмом божиим: проломили купол снарядами и засыпали святые иконы и алтарь известкой, кирпичами и мусором...

**Голоса** { — О, господи боже мой!<br>— Изверги рода человеческого...<br>— Царица небесная, страсти-то!..

**Однорукий.** Кубыть с энтой стороны, от белых вдарили-то в кунпол. Красные суды отступали, а энти оттеда,— ночью-то не видать...

**Сергеев.** Иван Иваныч, опять революционер, надыть забрать.

**Попадья.** Да что вы тут, право, базар завели! Не можете к сану священническому с уважением и вниманием. Это чистое богохульство.

**Однорукий.** Да я чево, я ничево, я — безрукий.

**Лавочник.** Граждане, помолчите. Надо же порядок...

После батюшки, кто захочет, выходи и высказывай все злодейства большевиков.

**Поп.** Братие!.. Оглянулся на нас господь, пожалел наших младенцев невинных, наши труды святые, наслал ужас и страх на злодейские банды большевиков. С искаженными лицами бежали они, бросая преступное оружие. Воздадим же хвалу всевышнему. Возблагодарим усердно царя небесного за его неизреченную милость к нам, недостойным. Сейчас пусть выскажется каждый о злодействах безбожных разбойников, а затем отслужим молебен с окроплением о даровании победы христолюбивому православному белогвардейскому воинству.

Поп что-то говорит дьячку; дьячок готовит и раздувает кадило. Снова далекий выстрел из орудия.

**Лавочник.** Граждане, жили мы спокойно, мирно, годы, десятки годов и никакого несчастья не знали. Жили, как надо: работали, трудились, и храм божий у нас был. Одним словом — в поте лица. Ничего мы себе не думали и не помышляли, а как надо. А тут, как снег на голову, большевики. Да это что ж, разбой... Зараз ко мне в лавку: «Отворяй анбар». Я говорю: «Ключи потерял». — «А-а, потерял...» Зараз лом, ломом пробой долой. Влезли и все вытащили. Граждане, для вас же приготовил. Мне ничего себе не надо. Как в чем есть, так в том и пошел. Ну, знаю, народ бедствует. Не щадя живота своего, приготовил, — там ситчику, там керосинцу трошечки, там гвоздишек трошечки. Сами знаете, достать негде, народ бедствует.

**Голос.** Чижало, мочи нету.

**Лавочник.** ... народ бедствует, нуждается. Дай, думаю, сколько ни то помогу. Мне ничего не надо. Как есть в чем...

**Иван Посный.** Покорно благодарим, Иван Иваныч.

**Голос.** Без тебе хочь ложись да помирай.

**Лавочник.** Хорошо, пущай кажный сполняет свой труд. Хрестьянин пашет и проливает свой пот. Чеботарь пущай нас обувает, а наш брат, который по торговой части, штоб все доставил хрестьянину, што ему требуется. Легко ли, — дни, ночи не спишь, как бы добыть то да се — ситчику, керосинчику, мыльца. Знаю, почитай, голые ходят православные. А теперича какие времена, сами знаете.

Голоса:
— Дочиста обносились...
— Пеленки нету, ребеночка завернуть не во что.
— Босые и голые.

**Лавочник.** Я то и говорю. А тут явились, анбар разбили: «Не имеешь правов торговать». Как так? Я — православный, кажный год говею. Вы заберете, а я чем оправдаю православных? Ежели я не буду добывать, куды сунутся, хто заботу возьмет? Расшибить легко, а ты построй.

**1-й голос.** Верно!

**2-й голос.** Изба сгорит, моргнуть не успеешь, а поставить ее — три года тяни лямку.

**Лавочник.** А как было прежде, когда царь-батюшка правил? Всего было вдоволь — и людям и скотине. Анбары полны завалены. На базарах коров, лошадей, овец. А в лавках чево хочешь: и керосину, и ситцу, и пряников, и сукна, каково желательно, и железа бери — не хочу. А ноне?!.

Голоса:
— Правильно!..
— Верно!..
— Без керосину-то поперед курей ложимся.
— Лежишь, лежишь, инда все бока пролежишь.
— И ночь длинная кажет, особливо зимою, — конца-краю нету.

**Лавочник.** А все отчего? Все оттого — большевик пошел по Расее. А большевик, одно слово, разбой делает, грабит, режет, убивает. Вон нашу церковь рушить хотел, да не успел, кунпол только пробил, — отогнали. А сколько годов мы сбирали на построение нашего храма?!

Глухие выстрелы из орудий.

**Иван Посный.** Я етто молодой был, когда зачали сбирать.

**Лавочник.** Я уж не считаю, сколько своих жертвовал, без счету.

**1-й крестьянин.** Ты — жертвователь.

**1-я баба.** Благодетель.

**Однорукий.** Тоже много и разворовали сбиратели.

**Иван Посный.** Да ты видал?

**Коноводов.** Как сбиратель, так дом под железом.

**Лавочник.** Так вот, православные христиане, то и говорю, всем миром, всем народом подымайся, хто с вилами, хто с косой, а хто и дубок сруби покрепше и бей их, иде не заприметишь, бей большевиков, бей разбойников, бей кровопивцев-татей!.. Спасай Расею! Не дай им спуску. Так на том и постановляем...

Снова далекие вздрагивающие орудийные удары: среди крестьян легкое движение тревоги.

**Сергеев.** Братцы и граждане и благодетели мои! Был я счастливой жизни человек. И так же у моего папаши колбасная заведения была, — а там и чайная, и языковая, и фисташковая, и копченая, и какая только душеньке угодно колбаса. Бывало, запрягешь тройку, сани ковром, колбасы наберешь, да с девушками кататься. А папаша мой праведными трудами... не только весь город, но и из других городов приезжали, потому первый сорт колбаса. Опять же тридцать человек рабочих кормились округ нашего дела. Куда же теперь им? На мостовую? С голоду сдыхать? После такой счастливой жизни приходят большевики. Здрасте! Зараз ключи у папаши — и заперли заведение. Как так? Ваш папаша, говорят, буржуй! Нет, говорю, это ошибочное предложение. Позвольте узнать, который разбойник, а который буржуй? Разбойник, который убивает, вот это и есть самый большевик. Ну, забрали они у папаши ключи, а меня в Красную армию забрали. Кончилась наша счастливая жизнь. Но я так себе положил: нешто я буду с святотатцами из одной чашки, которые решили меня не только счастливой жизни, но и наследства папашиного? Нет, думаю, лучше я буду голодать, холодать, но пойду против святотатцев Российской империи. Разбойники Российской империи, убийцы, святотатцы есть большевики. И я на них подымаю оружие. И всех вас, трудолюбивые граждане, очень даже прошу уничтожать их, как самую закоренелую змею, — посади ее за пазуху, она тебя тяпнет. На этом вас благодарю!

**Поп.** Вознесем наши...

В дверях показывается Павел, Микеша, 1-й, 2-й, 3-й красноармейцы. У Павла перевязана раненая голова, и на повязке запеклась просачивающаяся кровь. У Микеши на перевязи левая раненая рука. Их не замечают. Они стоят, слушают.

**Поп.** ...молитвы всевышнему о даровании христолюбивому белогвардейскому воинству победы и одоления на врага и супостата... Ионыч, дай епитрахиль. (Просовывает в нее голову.) Миром господу помолимся!.. (Берет кадило.)

**Дьячок** (гнусаво). Господи, помилуй!..

Входит 2-й крестьянин.

**Павел.** Вот где черное воронье собралось!

Все ахнули. Сергеев кинулся вылезать в окно. Лавочник полез между крестьянами к двери. Поп стал стаскивать епитрахиль.

**1-я баба.** Батюшки!... Опять они!..

**2-я баба.** Царица небесная!..

**Луша** (толкает Марьяну). И скуластый тут. Голова увязана.

Марьяна порывисто делает движение к Павлу, но сдерживает себя и становится к сторонке.

**1-й красноармеец и Микеша** (стаскивают с окна Сергеева). Постой, постой, ты куда же... ай не рад нам?..

**Сергеев** (в ужасе). Братцы!.. товарищи... я... я... ни в чем не виноват... я тут хотел...

Красноармеец перехватывает у дверей лавочника.

**Павел** (насмешливо Сергееву). Хотел удрать из роты, да не вышло.

**Сергеев** (злобно). Это они (показывает на попа и лавочника). Народ тут смутьянили. Противу власти советской подымали. Молебны за избавление от красноармейцев служили...

**1-й красноармеец.** А ты помогал.

**Сергеев.** Братцы, ненароком попал сюда... для пользы службы... хотел накрыть, которые народ смущают, белогвардейцам служат... А-а, думаю, вот вы где собрались, черносотенцы!.. Уж я знал, что наши вернутся... Прямо, думаю, арестую всех — и попа и лавочника, наши придут, а я из рук в руки...

**Павел.** Ведите его.

**Сергеев.** Господин отделенный!.. (Бросается на колени.) Я за революцию... голову положу... у папаши которое состояние, все отдам...

**Павел.** Берите его, чего смотрите!

**1-й и 2-й красноармейцы.** Ну, иди, што ль! Што ж, тебя на руках несть?

**Сергеев** (ползет на коленях, хватает за сапоги). Братцы, товарищи... родные мои...

**1-й красноармеец.** Какие мы тебе товарищи... И-иди.

Уводят.

**Ивлевна** (плачет, сморкается). Какова хавалера увели!

**Павел** (к попу). А ты чево тут?

**Поп** (заикаясь). О да... да... да... ро... ва... нии христолюбивому красноармейскому священному советскому воинству... о... да... ровании победы и одоления на врага и супостата.

**Павел.** Вот, вот по вашим святым молитвам мы белогвардейцев вдребезги расколотили...

**Поп.** Позвольте пастве моей слово сказать. Братие! По нашим молитвам господь внял молению нашему и даровал победу христолюбивому советскому войску, победу над злодеями белогвардейцами. Братие, мы должны...

Крестьяне почесывают в затылках, качают головами, крякают.

**2-й крестьянин.** Эк ево!

**1-й крестьянин.** Как же оно теперича?!

**3-й крестьянин.** Чево же это он?!

**Павел** (попу). Ну, ладно, обожди. (Лавочнику.) А ты чево тут? Тоже моления рассылал?

**Лавочник.** Мы, стало быть... страшно стало... дюже стрельба, ну, сбились все в кучу... на миру смерть красна... Батюшку пригласили... чтоб ежели помереть, так с молитвой... Опять же белогвардейские разбойники не людей, так хочь бога побоятся. А они в церковь стали лупить, куппол проломили... Ишь, почитай вся деревня сбеглась и с малыми детьми спасаться от кровопийцев белогвардейцев...

**2-й красноармеец.** Запел волк козленком.

Смех.

**Голос.** Верно!

**Поп.** Позвольте, господин начальник, это недоразумение... я за советскую власть... с самого рождения... в евангелии сказано: «Несть власти, аще не от бога».

**Павел.** Ну, ладно.

**Поп** (*торопливо*). Нет, постойте.

**Попадья** (*плача*). Сделайте одолжение. Мы вас очень просим... Мы вам будем очень благодарны... вареньица пришлем малинового... очень хорошо сварено...

**Поп.** В евангелии сказано: «Легче верблюду сквозь игольное ушко пройти, чем богатому в царство небесное внити...» А большевики от богатых раздают имение бедным, приуготовляют для всех царство небесное... Слава тебе, господи!.. сподобил мя еси (*отчаянно крестится*) узрети благодати твоея, ибо приходит царство твое. Не будет нищих, которые с голоду мрут в тяжких страданиях и трудах. Братие, сколько раз я вам говорил об этом в проповеди... Ныне отпущаеши (*все так же отчаянно крестится*) раба твоего с миром.

**Микеша.** Ну, будя, поп, отмолил свое, пора и честь знать.

**Поп.** Братие, освободится народ от фабрикантов, от помещиков: вот (*показывает кругом*) — ведь это все на ваши святые труды, на ваш кровавый пот — и зеркала, и картины, и мебель. Избавитесь и от торговцев, которые, как кровопийцы, сосут вас...

**Лавочник.** Да ты што замолол?! Господин начальник, он тут молебны белой гвардии служил, а теперя честных людей порочит...

**Поп.** Господин начальник, да он первый меня сюда пригласил и народ созвал сюда...

**Лавочник.** А помост хто мостить хотел?..

**Поп.** Да у тебя под стогом восемьсот аршин ситцу спрятано, а под вербой в конюшне бочка керосину закопана.

**Коноводов** (*с присвистом*). Ах, вы, сени, мои сени, сени новые мои!..

**1-й крестьянин.** А нам хунт по сто сорок рублей продает.

**2-й крестьянин.** Передрались.

**Баба.** О, господи Иисусе!..

**Лавочник.** Ну, ежели так, так слухайте, православные. Бывалыча, поп вам проповеди, молебны с акафистами, а ко мне придет, нальется водкой, подберет рясу да так-то отхватывает в присядку: един бог, говорит, без греха...

**Поп** (перебивая). Господин начальник, не позволяйте ему богохульствовать...

Павел делает знак попу, чтобы молчал.

**Лавочник.** ...да все приговаривает: «С нами бог, его святая сила», а сам все этак боком к бабам, к бабам...

**Попадья.** Врешь, мироед, процентщик проклятый!

**Павел.** Молчать!..

Среди крестьян движение.

**Голоса** { — Это чаво ж такое?!
— Э-эх ты!..

**Одноногий.** Потрошат один другова.

Смех.

**Павел** (красноармейцам, показывая на попа). Берите его.

**Поп.** Господин начальник, позвольте... одну минуточку...

**Попадья** (плачет). Не отрывайте от семьи...

**Поп.** Коли так... хорошо... все чистосердечно... дайте покаяться... Братие, вы у меня исповедывались, теперь я у вас исповедуюсь... Братие!..

**3-й красноармеец** (берет подруку попа). Пойдем.

Поп (отмахивается). Братие, выслушайте меня.

**2-й крестьянин.** Пущай скажет.

**1-й крестьянин.** Душе полегчает.

**Голоса** (дружно). Ничаво... пущай... пущай говорит... не трожь...

**Поп.** Братие, обманывал, обманывал я всех... обманывал... всю жизнь обкрадывал вас духовно... Сам

служу, сам чашу держу, а сам думаю: вино там прасковейское, да еще поддельное, из черники, да белый хлеб... просвирня Васса пекла (*среди крестьян движение*), а у просвирни-то середний... Ванятка... мой... мой грех...

**Попадья** (*подавленно, зажимая платком рот, сквозь задушенные слезы*). Так вот что!.. Сан священнический, а он по бабам да по девкам... Какая пакость!! Развратник!.. Жизнь заел... Не хотела выходить, — уговорили... (*Азартно.*) Врешь, что у просвирни один! У тебя на каждом перекрестке по пяти... (*Рыдает.*)

**Поп.** Таинство, а мы с дьяконом в алтаре... за волосья друг дружку таскаем... кружку церковную не поделим...

**2-й крестьянин.** Известно, выпимши.

**Поп.** Каюся... семья... сам десятый... Меня-то не спросились, мальчишкой в духовное отдали... плакал, бился, не хотел в попы... отдали... Рясу-то надевал, как резаный боров, ревел... Сладко ли молодому в попы... Знал, надеваю рясу, чтоб всю жизнь морочить людей... Всю жизнь!.. А там пошло, привык, как за колесом побежал... Один я, что ли, — все попы так!.. Ведь некуда вырваться, как в хомуте... Заступитесь!..

**2-й крестьянин.** Нашей силы тут нету.

**Голоса.** Ничаво не поделаешь.

**Павел** (*сердито*). Берите его, ведите отсюда...

1-й и 2-й красноармейцы подходят к попу.

**Поп.** Дайте хоть благословить христолюбивое красноармейское воинство.

**Микеша.** Тоже этим самым крестом благословлял сдыхать за царя, за богачей, за ихних шлюх...

**Однорукий.** Во (*хлопает по зашитому рукаву*), пустой рукав.

**Одноногий.** А я на чужой ноге.

**Коноводов.** А я — жаних.

Луша хохочет в рукав.

**1-й крестьянин.** У меня сын убитый.

**2-й крестьянин.** У меня двое.

**3-й крестьянин.** У меня с ума сшел.

**Старуха.** Наш Степушка... (п л а ч е т) третий год... лошаку... скоро запрягать... а я все жду, все жду... вот с котомочкой из-за лесочку... (П л а ч е т, б а б ы п л а ч у т.) А ево все нету!

**Поп.** Братцы, товарищи! Да ведь меня заставляли... Не откажешься, а то в тюрьму, в ссылку... А как же вы при царе сами за помещика, за фабриканта кололи друг дружку штыками? Или это вам не простится никогда?

**1-й красноармеец.** Через тебя же и кололи. Ты же темнил глаза.

**Павел.** Разница. Рабочий, крестьянин стреляли один в другого, кололи... так он придет домой, ему за это нищета, голод, дохнуть нет мочи. А ты слепил народ, тебе за это кресты, камилавки, доход. Мы за то, что подымали руку брат на брата, пропадали в несчастьи, а ты за то, что брата своего держал во тьме, за то, что врал ему, катался как сыр в масле.

**1-й красноармеец.** Пойдем!

**Поп** (к р и ч и т). Постойте, я не все сказал!.. Какие там мощи!.. соломой набиты... чучелы!..

**1-й красноармеец.** Распоясался поп.

**Поп.** Братцы!.. товарищи!.. пролетарии всех стран.

**Коноводов.** Ходи хата, ходи печь!..

**1-й красноармеец.** Пойдем, поп, будя тебе. В лагере поработаешь, меньше языком трепать будешь.

**Поп.** Дайте молебен отслужить... за большевиков... с акафистом... Ионыч, подай епитрахиль...

Его уводят.

**2-й крестьянин.** Вывернулся поп наизнанку.

**Попадья** (п л а ч е т). Отпустите батюшку... кто же нас содержать будет?.. Ведь семейство... (П а в е л м а ш е т р у к о й, о н а у х о д и т.)

**Павел.** Пусть поработает. (У к а з ы в а е т н а л а в о ч н и к а.) Забирайте и этого.

**Лавочник.** А меня за што? Ты спроси народ, али я притеснял, али обидел кого? Пущай скажут. Слышь, Иван, али забыл, на лошадь тебе давал?..

**Иван Посный.** Верно, чаво там. Кабы не ты, в лоск бы...

**1-й крестьянин.** Чаво зря клепать — выручал народ.

**3-й крестьянин.** Когда чижало, и сбавит копеечку.

**Старик.** Своими трудами, честно, благородно нажил, а не то што там убил али ограбил, али украл. Потому порядок у него в хозяйстве.

**Лавочник.** Ну, во, за што же мне отвечать за всех? Нехватка какая али погорит хто — к кому? К Ивану Иванычу. Скотина упадет — к кому? К Ивану Иванычу. Вас много, я один. Пятью хлебами вас не укормишь. А хочь кому был отказ? Никому отказу не было. А в голодный год сколько народу кормил?..

**Коноводов.** Не покормишь, не поедешь.

Среди крестьян движение.

**3-й крестьянин.** Голодный год вот иде у нас сидит (*хлопает себя по затылку*).

**2-й крестьянин.** С голодного году и взялся.

**1-я баба.** С тово и распух.

**Однорукий.** Кабы не голодный год, сарай под железой не покрыл бы.

**Одноногий.** Да другой дом выстроил.

**1-й крестьянин.** Да десять лошадей завел.

**Лавочник.** Чево чужое добро считаете? А не считаете, как ночи не спал, от лихих людей караулил, как голова лопалась, все удумывал, как лучче и как дешевше вам товар образовать.

**3-й красноармеец.** Ну, ладно, вот зараз отведем, там видно будет.

**Лавочник.** Товарищи... братцы... заступитесь! Што же это?

**Коноводов.** Живоглот...

**Однорукий.** У меня за долг последнюю лошадь описал, не посмотрел, что с одной рукой, хочь сдыхать мне...

**2-й крестьянин.** У меня последние пять овчишек...

**Коноводов.** Всех обгладывал.

**Однорукий.** Всех облегчал, по пяти шкур спущал...

**Одноногий.** Налегке теперь бегаем.

**Луша** (*хохочет*). На одной ноге...

**Коноводов.** Одно слово — кулак.

**Лавочник.** Коли на то пошло, али я один? На моем месте всяк из вас тоже... Кто себе враг?

**Иван Посный.** Знамо, сам себе нихто не враг.

**Лавочник.** Ну, то-то. Откеда же я вышел? Из вас же и вышел, вы же меня породили. Ежели я — кулак, стало быть, в кажном из вас кулак, только што случай не подошел. За што же меня одново?

**Коноводов.** Нам-то всем случай не подошел, а ты один покеда с нас шкуры сымаешь.

Микеша и 1-й красноармеец берут лавочника, ведут к дверям, он упирается.

**Лавочник.** Ребята... постойте... все отдам... ситцу восемьсот аршин... керосину бочку... бери, православные, бери без копейки... бери все... только ослобоните... господин начальник...

Его уводят.

**1-й крестьянин.** Теперь — берите! А то из-под полы продавал по кружечке. Сто сорок рублей кружка, а там и хунта нету.

**2-я баба.** А ситец по сто двадцать рублей аршин, ды яиц, ды свинины ему принеси окромя.

**2-й крестьянин.** Обиратель.

**3-й крестьянин.** Набрехали с три короба.

**1-й крестьянин.** Сами признались.

**Однорукий.** Целый век морочили народ.

**Одноногий.** А мы-то распустим ухи и все к пузу его под благословение прикладаемся.

**Павел.** Теперь, товарищи, как же: под белых или под красных?

**Старик.** Мы всякую власть признаем, которая над нами.

**Павел.** Эх, недотепы!.. Вам все одно, по шее вам насыплют или свой же брат рабочий вам власть несет. Ни лица, ни изнанки. На подтирку только годитесь.

**Голоса.** Верно! Правильно!

**Одноногий.** За советскую!

**Коноводов.** К советской власти что есть духу, на всех четырех ногах...

Смех.

**Однорукий.** С одной рукой куда же притулиться, как не к советской...

**Козел** (длинный, худой, нескладный старик с хитрой седенькой бородкой и смеющимися, в морщинах, глазами). Сыми ты с нас чижелесть. Во, заели нас едуны, опутали нас паутинники, кровушку из нас пили, сосуны, а нам не видать. Скрозь глядим, не видим, глазами болтаем. Сыми ты паутину с нас, штоб глядеть нам в глаз, а не в полглаза. Помещик ли, лавочник ли, поп ли сомуститель, красный ли, — не разберемся мы, хресьянские дети. Ну, ты нам объясни, — советска власть. Хорошо. В каком она разе: хто ды хто на ком будет ездить?

**Павел.** Эх, сивые! Вам в рот, а вы задом воротите.

**Козел** (хитро усмехаясь, по-козлиному, торопливо выговаривая слова). Так, так, так, батюшка, лядащий мы народ. Хрен народ.

**Павел.** Прежде откуда шла власть? Из губернии присылали. А теперь говорят: да управляйтесь сами, дьяволы! Ну, сами, чорт бы вас разодрал! Понял ты ай нет?!

**Козел** (кланяется в такт словам). Как не понять, как не понять, так, так, так, батюшка...

**Павел.** Ну, вот и выбирайте себе совет.

**Козел** (кланяется). Так, так, батюшка, понял... Советска власть, штоб всем лучче было...

**Павел.** Врешь, старый хрен, безбожно врешь! Советская власть ни под каким видом не хочет, чтоб всем лучше было. А только чтоб лучше было бедным, трудящимся, рабочим да крестьянам, а кулакам, помещикам, фабрикантам, банкирам, как ни мога, чтоб хуже было. Да чтоб не у нас только в России, а по всему свету.

**Голоса**
— Верно!
— Правильно!
— Бог труды любит!

**Козел** (все кланяется). Так, так, так... верно... правильно, как в аптеке! (Хитро ухмыляется.) Ну, теперича дозволь ешшо одно удостоверение успросить нам, дуракам. Ты сказываешь, советска власть по всему свету лучче. А к нам пришли красные: давай подводы, давай лошадей, давай хлеба. Пришли

белые: давай лошадей, давай подводы, давай хлеба. Опять же пришли белые: ни сахару, ни ситчику, ни керосинцу. Пришли красные: опять же — ни ситцу, ни железа и с курами спать ложимся. И выходит, тетка твоя кукареку, што красный, што белый — одна цана. А?!.

**Голоса** { — Так, так!
— Верно! Подводами замучили!..
— С курами ложимся...

**Павел.** Эх, ты, драная голова, мочало лыковое, дубленый баран!

**Козел** (кивает головой, усмехаясь, торопливо, в такт словам, кланяется). Так, так, так, батюшка, верно!.. Так, так, так!..

**Павел.** Раскорячь мозги. Любили вы помещика?

**Козел.** Как собака палку.

**Павел.** Белые пришли, где помещик был?

**Голоса** (дружно показывая вокруг). В этих самых хоромах, — где же ему ешшо?

**Павел.** Красные пришли, где помещик?

**Голоса.** Стреканул, только пыль закрутилась. Пятками засверкал!

**Павел.** Белые пришли, чья земля была?

**Голоса** { — Чья больше — помешшикова.
— Драл с нас аренду, как с освежеванного барана.

**Павел.** Красные пришли, чья земля?

Веселый смех.

**1-й крестьянин.** Теперича наша, чья больше.

**2-й крестьянин.** И мельница и дома эти — все наше.

**Павел.** Ну, а подводы у вас белые не брали?

**Голоса.** Как не брать, брали! Замучили подводами!

**Павел.** И мы берем. Только мы этими подводами гоним помещика от вас, а они этими подводами гонят помещика на вас.

**Голоса** (оживленный смех). Знамо дело! Дурак лишь этого не докумекает. Чаво там... правильно... Свои головы кладете за нас, за дураков...

**Козел.** А... тетка твоя кукареку!.. (*Заразительно смеется беззубым ртом.*) Вот верно! Вот парень молодой!.. Вот ерой гусака оправдал!..

Бабы все время шушукаются.

**1-я баба** (*подступая к Павлу*). Отдавай нам попа!..

**Бабы** (*наступая, все*). Отдавай нашего попа!..

**1-я баба.** Отдай нам батюшку!..

**2-я баба.** Слышь, батюшку нашего подавай!..

**Павел.** Да на што он вам сдался?

**2-я баба.** Нам без попа никак невозможно...

**1-я баба.** Без попа все одно што голая ходишь...

**3-я баба.** Без попа — хто младенчиков в купель кунать будет?..

**2-я баба.** Ды отпевать...

**1-я баба.** Отдавай попа!..

**Бабы** (*все*). Отдавай попа!.. Отдавай попа!..

Крестьяне смеются.

**Коноводов.** Бабы взбунтовались.

**Однорукий.** Захотели попа, как парного молока.

**Бабы** (*азартно*). Отдавай попа, а то глаза те выдерем все!..

**Коноводов.** Да ведь он брешет, поп-то.

**Павел.** Али не слыхали, как сейчас признавался?

**Бабы.** Шут с им. В купель-то рабеночка кунает, хучь и брешет, да в купель кунает, — ну, и ладно.

**Павел.** Да ведь если в одном брешет, стало, и в другом брешет. Слыхали, — сам ни во што не верит.

**1-я баба.** Без надобности. А рабеночек помрет, — отпоет.

**2-я баба.** Опять же грехи к нему отнесешь. А то как с грехами ходить, — болтаются на тебе, как насохлая грязь на подоле.

**Ивлевна.** С грехами ходить срамотно.

**Бабы** (*все*). Отдавай попа!

**Крестьяне** (*смеются*). Эх, бабы!

**1-й крестьянин.** Их опасайся, а то изделают...

**Бабы** (***азартно***). Отдавай, отдавай попа!

**Павел.** Ну, стой, бабы, замолчите... (С м о л к а ю т.) Этого попа вам не отдадим. А ежели вам так нужно, так вам другого брехунца пришлют.

**Бабы** (д р у ж н о). Да нам все едино!..

**1-я баба.** Абы младенцев кунал в купель...

**2-я баба.** Ды отпевал: летом мрут андельские душки.

**Павел.** Так кончили, товарищи. Завтра об эту пору опять собрание. А теперь можно и расходиться.

Все, толпясь, выходят. Павел видит стоящую в стороне Марьяну; она смотрит на него; он подходит к ней, и они стоят, не спуская глаз друг с друга.

З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Внутренность той же избы. Марьяна сеет муку на хлебы. Микеша зашивает гимнастерку. Одна рука забинтована. 1-й и 2-й красноармейцы чистят винтовки. Два красноармейца и Микеша заняты делом, задумчиво вполголоса поют:

Во субботу, день ненастный,
Нельзя, нельзя в поле работать,
Нельзя, нельзя в полюшке работать,
Ни боронить,
Ни боронить, ни пахать...

**Микеша.** Нынче в бане здорово выбанился (в с т р я х и в а е т г и м н а с т е р к у), а то вошь заела, чисто весь расчесался.

**1-й красноармеец.** Трошки передохнули тут.

**2-й красноармеец.** Ныне выступим, пойдем вперед, про передышку забудь.

**Микеша.** На правом фланге его здорово расколошматили. С донесением бегал. Мать честна! В овраге, за оврагом — все он лежит. Лошадей навалено.

**2-й красноармеец.** Лошадей жалко. У которой вся внутренность выпущена, а она все встать хочет, все голову подымает.

**1-й красноармеец.** Винтовки до сего дня по всему полю собирали.

**Микеша** (в п о л г о л о с а п о е т). «Во субботу...»

**2-й красноармеец.** У нас страшно было. Бил из орудий без передыху. Бил, бил, деваться некуда, засыпает. Потом замолчал, и сразу — казаки. Туча их, аж

земля дрожит, топот лошадиный. А казаки: «га-а-а!..» вой, свету божьего не видать. Ближе да ближе. А по них, как вода, так и блеснет солнце по шашкам. Ажно мурашки. У нас первая шеренга легла, вторая с колена, третья с руки. Как зачали пачками, как зачали пулеметы, как зачали они через головы, — люди, лошади, ничего не разберешь, в куче все ворочается. Накосили, несть числа.

**1-й красноармеец.** Калмыков у них много.

Входит 3-й красноармеец.

**3-й красноармеец.** Отделенный тут?

**Микеша** (поет). «Пойдем, девки, пойдем, парни, во зеленый, во зеленый лес гулять...»

**3-й красноармеец.** Оглохли, што ль?

**1-й красноармеец.** К ротному пошел.

3-й красноармеец уходит.

**2-й красноармеец.** Лютые косоглазые.

**1-й красноармеец.** Он лютой, покеда на лошади, а снял его с лошади — овца.

**Микеша.** И не чуял, как клюнуло. Сразу винтовку сронил. Нагнулся поднять, а рука не берет. Что такое? Я правой перехватил, глядь — а на левой с пальцев кровь капет. И тут почуял — больно стало. Подхватил, глядь, здоровой, побежал перевязываться. Бегу, лошадь лежит, голову подымает, шея разворочена, да кровь фонтаном прямо на калмычина, кровь-то. А он привалился, из живота кишки вывалились. Хотел приколоть, чтоб не мучился, да неловко одной рукой. А он глядит на меня, все языком по губам, запеклись, да по-русски мне: «Бачка... товарищ... воды... трошки...» Вынул флягу, дал, он глотнул, отвалился и помер. И лошадь навалилась головой на него ды сдохла, а я побег на пункт.

**2-й красноармеец.** Теперь флягу брось.

**Микеша.** Чево?

**2-й красноармеец.** Маханину едят. Чево ни сдохнет, все сожрут.

**Микеша.** Пустяковину затеял. Може, святой водицей ополоснуть?

1-й красноармеец и Микеша берут винтовки, уходят.

**2-й красноармеец.** Чевой-то молодаечка кубыть скучная.

**Марьяна.** А тебе горе?

**2-й красноармеец.** Нет, так это, между прочим. Уходим ноне мы.

**Марьяна** (тревожно). Куда? Далече?

**2-й красноармеец.** Мы ево разбили, теперь правым плечом заходить будем, чтоб сбить ево совсем к реке. (Уходит.)

Павел входит, голова забинтована.

**Марьяна** (рванулась к нему). Пашенька... (Помолчав.) Уходите?!

**Павел.** Уходим, Марьянушка, уходим. (Берет ее за руки.) Приказ пришел.

**Марьяна.** Останусь одна, теперича... одна...

**Павел.** Марьянушка, что ты со мной сделала! (Крепко обнимает.) Любишь?

**Марьяна** (обнимает). Родной мой!.. Золотой мой!.. Как глянула тогда, голова увязана, чуть не упала. Чай, больно тебе?

**Павел.** Нет, ничего. Пойдешь за меня?

**Марьяна.** Пойду, родимый, пойду, касатик. Ведь ты один у меня, как глаз. Пашенька, одна теперь буду, одна, как в лесу, — не с кем слова сказать. Свекор — энтот одно: хозяйство. Ему абы все работали, да прибыль в хозяйстве. Свекровь поедом ест. Лушка без памяти замуж хочет. Одна я, Пашенька. (Обняв его, спрятала лицо на груди.) Уйдешь ты... уйдешь ты — и не с кем слова... одна... одинёшенька...

**Павел.** Ежели бы ты письма мне писала, Марьянушка, с оказией. Будут обозы переходить через вашу деревню, дай — передадут.

**Марьяна.** Да ведь неграмотная я, Пашенька. А к кому пойдешь, чтоб написали? Вся деревня зараз узнает, места не будет, со свету сживут. Кабы грамоте знала.

**Павел.** А ты начхай на них. Сбегай к учительше. Пускай тебя выучит.

**Марьяна.** Сбегаю, сбегаю, соколик. Вот как буду учиться, все глаза прогляжу.

**Павел.** Эх, горлица моя, што ж, думаешь, все так и будет? И на нашей улице будет праздник, выпадет и нам счастье. Будешь ждать? Не забудешь?

**Марьяна.** Али забуду!.. Прикипелся ты к самому сердцу... Сколько жить буду, буду помнить...

**Павел.** Ненаглядная моя, солнышко.. Ежели не убьют, ворочусь, пойдешь за меня?

**Марьяна.** Ворочайся, соколик, ждать буду с утра до ночи и всю-то ноченьку до утра. Сама не своя хожу. Тебя не вижу, все-то из рук валится. (*Обнявшись, садятся на скамью.*)

**Павел.** Как увидал тебя в первый раз, стукнуло сердце,— почуял, не забуду уж тебя. Эх, думаю, никогда она меня любить не станет.

**Марьяна.** А мне, Пашенька, как увидала вас всех в первый раз, все одно было, што люди, што пеньки. А потом стал ты говорить, стал говорить, прислухалась я: правду ты говоришь, заступаешься за сирых да убогих, никого не боишься. Словами ты меня, Пашенька, взял. Глаза мне разул.

**Павел.** Не признавался я спервоначалу сам себе, а только куда ни пойдешь — в обоз ли, к ротному, в наряд ли, все ты у меня в думках. И рад про тебя не думать, да не отгонишь. В бою смерть кругом летает, ни об чем некогда думать, а ты в сердце притулилась, в уголочке и сидишь.

Молчание.

**Марьяна.** Матерю твою вспоминаю, как благословляла тебя. Перед смертью правду увидала. Меня, Пашенька, некому было благословить. Все — кроты слепые, все в одно трубили.

**Павел.** Слышь, Марьяна, судьба не выдаст, свинья не съест. Ворочусь — а чую, ворочусь — будет у нас счастье. У всех будет счастье, Марьяна. (*За дверями голоса.*) Ну, прощай, родная. (*Обнимает.*) Эх, судьба наша счастливая! Трудно, ой, как трудно, ну зато какое счастье идет! Ну, жди, невдолге буду. (*Обнимает, уходит.*)

Марьяна, не отрываясь, смотрит в окно; на улице говор. Несколько в отдалении команда: «Рота, смирно!» Все смолкло. Команда: «По отделениям левое плечо, шагом марш!» Глухой гул отбиваемых шагов. Хор грянул: «Смело, товарищи, в ногу». Пение замирает вдали. Некоторое время слышен гул шагов, говор колес удаляющегося обоза, и они замирают.

**Марьяна.** Ушли!..

Входит старуха, садится за прялку.

**Луша** (на улице). Все женихи ушли. А там, гляди, перебьют сколько.

**Старик** (входит). Ушла армия. Опять сена сколько потравили. (Роется под лавкой.) Иде тут ремень был? Лошадей дюже загоняли. Кажный день сто подвод им подай. Разве мысленно! (Достает ремень, садится, починяет шлею.)

**Старуха.** А мне квочку все жалко — как вспомню, так сердце зайдется. (Входит Ивлевна. Старуха кричит в окно.) Лушка!.. Лушка!.. Лушка!..

**Ивлевна.** Здорово дневали! (Садится.) Ушли наши хавалеры. Остались мы, сироты неприкаянные.

**Старик.** Сироты!.. Самогонки по сиротству своему не нахлебались вдоволь. Жалко, што ль?

**Ивлевна.** Не видють, как сирота плачет, а видють, как скачет.

**Старик.** Сирота-а!.. не пролезет в ворота.

**Ивлевна.** Жалко моего хавалера. (Утирает слезы.) Хочь он и надсмеялся над моей религией, а хороший хавалер был, с ухваткой.

**Старуха.** Жалко человека, ну только зачем он мою наседку загубил, прости, господи, ему прегрешения, анделы господни. Надоть подать за него в церковь.

**Старик.** Кому подавать-то будешь? Поп на работах в лагерях, брюхо спущает, допрыгался.

**Старуха.** И батюшку!.. (Плачет.) Сану не побоялись, идолы оглашенные. (Кричит.) Лушка!.. Лушка!..

**Луша** (на улице, огрызаясь). Ну, чево там?

**Старуха.** Цаплята все ли?

**Луша** (на улице, огрызаясь). Одново коршун унес.

**Старуха.** А штоп те ни дна, ни покрышки! Загубил наседку, теперя всех цаплят перетаскает коршун. Кол те осиновый, штоп ты перевернулся там!.. (Кричит.) Лушка! Лушка! Зараз загони цаплят в решето.

**Луша** (на улице). И так обойдутся.

**Старуха.** Отбилась от рук совсем девка. А все Красная армия. Хочь бы ты ее, старик, за косу поводил

**Старик.** Есть когда мне тут с вами возжаться. (Уходит.)

**Ивлевна.** Ну, прощайте, пойду.

**Старуха.** Постой, куды жа ты? Посиди.

**Ивлевна** (садится). Скушно што-то стало. До смерти боюсь хавалеров, а без них скушно. Всю жисть так. У господ прожила, ни тебе семьи, ни роду, ни племени.

**Луша** (на улице поет, перевирая).

Нам ня нужна святого Чурила,
Нам ня нужна и царскай чарток,
Вставай, подымайся, рабочий народ...

**Старуха** (кричит). Лушка!.. Лушка!.. Ай сбесилась?! Да што это басурманские песни играешь?.. Ай ума решилась?! Запей зараз святой водицей,— слышь, те говорю. На божнице в посудинке трошки осталось, запей, — рот опоганила.

Слышно, удаляясь, доносится Лушин голос:
«Нам ня нужна и царскай чарток...»

**Старуха** (плачет). Ума не приложу, чаво с девкой делать. Видала? И слухать не хочет.

**Марьяна.** Пущай себе поет. Никакого сраму в песне нету. Кабы срам в ней какой был, а то...

**Старуха.** Да уж ты-ы!.. Рассу-удишь!.. Об тебе и раки не шепчут. Ты у нас енерал.

**Ивлевна.** Я как у панов жила, так у нашего пана папаша был енерал, такой енерал, такой енерал! Брюхо здоровое, сам в еполетах, матушки мои!..

**Луша** (на улице). Господи, ды што такое! Ды откуда это? (Не то хохочет, не то плачет.) Ой-ёй-ёй, ай, родные мои!.. ай попритчилось... Ды откуда?!! Родной ты мой!.. Маменька!.. батенька!.. Ды скорей жа!

**Старуха.** Ай загорелось? (Бессмысленно бормочет.) Господи Иисусе... Господи Иисусе! (Все крестится дрожащей рукой.) Господи Иисусе!... Господи Иисусе... Близко ай далеко?.. Спаси и помилуй... Свят! свят! свят!.. Господь Саваоф!..

**Ивлевна.** Спаси и помилуй. (Крестится.)

**Луша** (врывается в избу, как сумасшедшая). Ды чево вы сидите, ды скорей жа!.. Марьянка! Маменька!.. (Бросается на шею то к той, то к другой.) Ды хто пришел-то...

В дверях стоит чернобородый красивый, плохо одетый, истомленный Степан, сын стариков. Длинная палка; за спиной котомка.

**Луша** (отчаянно визжит). Батенька, батенька!.. Батенька!..

Убегает, и со двора слышны ее отчаянные крики: «Батенька!» Марьяна прислонилась к стене и замерла белей стены.

**Старуха** (смотрит на Степана, не узнавая). Господи Иисусе... близко ай далеко горит-то?.. Господи Иисусе...

**Степан.** Маменька!.. (Кланяется ей в ноги.)

**Старуха** (в бесконечном ужасе радости бессмысленно бормочет, заикаясь). Сте... Степушка... Степушка... Степушка... сыночек... Степушка... (Бьется в судорожных рыданиях на его груди.) Степушка!..

**Степан** (плачет). Маменька!..

**Старуха** (захлебываясь). Ждала... сколько годов... за околицу... ждала... вот из лесочку выйдет... Степушка!..

**Старик** (вбегая с ведром). Иде горит?!.

Степан, оторвавшись от матери, кланяется в ноги отцу.

**Старик.** Степан! Ты?! Степан... Откеля?! Степан... ай не ты?! (Обнимаются, оба плачут.)

**Луша** (бросается, обнимает Степана). Чаво ж про сестру-то забыл!.. А я тут трошки замуж не вышла...

**Ивлевна.** Ай не признаешь? Тетку-то Матрену забыл? (Обнимаются.)

**Степан.** Иде же Марьяна? (Смотрит на нее. Та все стоит неподвижно, опираясь о стену.) Здравствуй, богоданная супруга! (Подходит к ней.) Ай не рада?..

**Старуха.** Слезинки николи не сронила.

Степан подходит, обнимает Марьяну. Та все так же безжизненна.

**Старик.** Будя, старая. Работница твоя жена, кажному пожелаю.

**Луша.** Это она сомлела от радости. Как сказали впервой, што тебе убили, так она и окаменела, слова не добьешься... А у нас рыжие были... Фу, нет, красные, Красная армия была!..

**Старуха.** Наседку у меня, Степушка, один извел, а теперича цаплят коршун таскает...

**Старик.** Да буде тебе, старая. Вы хочь покормите ево, с устатку, чай, поисть хотца.

**Старуха.** Господи, да што я за окаянная! Лушка, Марьянка, чаво же вы стоите, кобылы! Доставайте из печи, там осталось всего. Давайте на стол. Ды самовар ставьте.

Луша и Марьяна ставят самовар, накрывают на стол. Сумерки густеют, всходит луна.

**Старуха.** Родной ты мой, сколько годов... голодный, холодный, необогретый (*плачет у него на груди*), без матери-то, без роду-племени... некому об тебе заботушкой болеть... Чадушка моя... сколько годов... не чаяла... Кобыла ожеребилась — аккурат тебе уходить, а теперича лошаку почитай три года, запрягать будем...

**Степан.** Маменька, да вы сядьте, не морите себя. (*Бережно сажает ее на лавку.*)

**Старик.** Дай ему, старуха, оправиться.

**Старуха.** Ничаво, ничаво... Може, ляжешь, сынок, отдохни, а я сготовлю чаво ни то...

**Степан.** Маменька, пущай они, не трудите себя.

**Старик.** Садись, Степан, рассказывай.

**Луша** (*садясь у печи*). Ишь — борода. А уходил — чуть усики были.

Луша, Марьяна подают на стол ужин, потом самовар. Крестятся, садятся за стол. Только Марьяна все возится с посудой и около печки.

**Ивлевна.** Ну, прощавайте, потить мне.

**Старуха.** Садись, садись, Ивлевна, не объишь.

**Степан.** Садись, тетка.

Ивлевна крестится, садится. Принимаются ужинать. В окнах набиваются ребятишки, заглядывают, шушукаются, отталкивают друг друга. 1-й крестьянин и Иван Посный входят, крестятся на образа.

**1-й крестьянин.** Гость на гость, хозяину радость. Служивый прибыл. Доброго здоровья! (*Целуются трижды накрест со Степаном.*) Откеля и как?

**Степан.** Из германского плену.

**Иван Посный.** Ну, здравствуй, сынок! (О б н и м а ю т с я.)

**1-й крестьянин.** А мы уж думали, тебе и в живых нету.

**Старуха.** Ды уж мы не чаяли, не гадали. Садись, соседушка, с нами, чем бог послал.

**1-й крестьянин.** Ды... спасибо... мы энтово... вечеряли...

**Старуха.** Ды садитесь, садитесь.

**Старик.** Чайку чашечку.

1-й крестьянин и Иван Посный садятся.

**1-й крестьянин.** Ну, как у немцев?

**Степан.** У немцев здорово — кофей непременно со сливками пьют.

Входят 1-я и 2-я бабы.

**1-я баба**, **2-я баба** } Здорово дневали!

**Голоса.** Доброго здоровья!

**1-я баба.** Степанушка, никак ты?!

**Степан.** Я же, я, я и есть, тетка Марья. (Ц е л у ю т с я.)

**1-я баба** (в ы т и р а е т г л а з а, п л а ч е т). Господи, ишь, пришел...

**Иван Посный.** С радости, што ль, плачешь, тетка Марья?

**1-я баба.** С печали, горький, с печали. Сыночек-то у меня помер, младенчик восьми месяцев. А теперь бы ему аккурат со Степушку быть, — в один год с Дементьевной выходили...

**Старуха.** Как раз овец стригли.

**1-я баба.** Ровесничек со Степушкой. Вот так бы и моего в плен забрали бы, а я бы плакала, ждала, а он бы пришел, а я бы рада, вот как вы... А он помер восьмимесяшный... (П л а ч е т.)

**Старик.** Ну, вспомнила старину.

**Степан.** Хорошо, тетка Марья, как пришел бы, а то много, кои остались, — косточки лежат их там навеки.

**2-я баба.** Это ишшо бы горше. Вон как у мене. У мене были двояшки, а я говорю попу...

Входят: 2-й крестьянин, Однорукий, Одноногий.

**2-й крестьянин.** Никак Степан воротился?!

**Однорукий.** Нам сказывают, а мы не верим.

**Одноногий.** Будто как сочли — убитый давно. (Целуются со Степаном.)

**2-й крестьянин.** Ну, здравствуйте! С дорогим гостем. А то тут совсем без тебе заскучали.

**Старуха.** Ну, так-то заскучали, так-то заскучали... Садитесь, родные, садитесь, травки святой милости просим.

В окнах снаружи гомозятся ребятишки.

**Голоса ребят** (в окне).
— Пусти, дай я погляжу.
— Я те как дам!
— Вона Степан.
— Иде?
— Фу, да вон, на разбойника похож... Зубы белые, как у нашего мерина, а борода че-ерная!
— На кузнеца.
— На цыгана, что у нас лошадь скрал.

**Старуха.** Брысь, вот я вас...

Ребятишки на минуту отвалились от окна, а потом опять наваливаются друг на друга.

**Степан.** Батенька, ну что же не сказываешь, хозяйство как у вас?

**2-й крестьянин.** А как ерманец? Как об себе понимает ноне?

**Степан.** Германец, как сказать, не соврать, — в городе у них действительно голодно, ну в деревне — чего хочешь. Опять же утром встанут — кофей, сливки, бутенброд.

**1-й крестьянин.** Это чево ж, фрухта произрастает?

**Степан.** Не-е, просто сказать, хлеб, а на ем масло намазано, а по маслу мед. А мед там искусственный, — не то чтоб пчела, а сами выделывают.

**Старуха.** И-и, господи, до чего дошли — бога об-

воровывают! Бог чаво велел: пущай пчела медку насбирает ды воску ярова на свечечку, ан они сами взялись, непутевые. Накажет их господь.

**Баба** (*убежденно*.) Нака-ажет!

**Степан.** Черный хлеб там не едят.

**Голоса.** О-о?!

**Степан.** Не-е, нипочем, один белый.

**2-й крестьянин.** Все, што ли?..

**Степан.** Ну, действительно, которые с умом. Который с умом, он те везде устроится, хочь в плену, хочь в тюрьме, хочь на каторге. Я три года в плену прожил, ну, прямо скажу, не буду жалиться, хорошо прожил у немца в деревне, немец, говорит: «Карош, Стефан, ошень карош. Выходи замуж за мой дочка». Ну, нет, говорю, у меня дома законная ждет. Ну, есть которые и из немцев беднеющие: у него ни хозяйства, ни лошади, просто сказать — батрак. Так тот не только белого, а и черного хлеба не каждый день видит. Что заработал, то и его.

**1-й крестьянин.** Как и мы грешные — часом с квасом, порою с водою.

**Степан.** А почему? Опять же лень. Который человек лентяй — тот и бедняк, а который трудящий — у того все есть.

**Марьяна.** Помещик наш, стало, умный и до работы лют.

**Степан.** Помещик — энто другая статья. Ему наследственно, по закону.

**Марьяна.** Стало быть, по закону на людях ездить можно?

**Старуха.** А ты не выскакивай поперед мужа. Муж три года дома не был, только рот разявит, а она уж тут как тут.

**2-й крестьянин.** Этта нам и поп с лавочником тоже говорили: бедность от лени.

**Старуха.** Горе какое, обоих угнали в лагеря.

**Марьяна.** Дивуюсь я, как это доселе все царства не передохли с голоду — бедных тысячи тысяч, и все лентяи, а богатых — раз, два — и обчелся, — работать и некому.

**Старуха.** Ты опять? Степан, чево ты смотришь?

Гляди: покеда маленькая порося, в лукошко сунешь, а большую свинью и веревкой не обратаешь.

**Старик.** Будя, старуха.

**Степан.** Ничего, маменька, пущай, — вреды не будет, пущай себе. Ну, как, батенька, хозяйство?

Входит Козел, крестится.

**Козел** (*Степану*). Ерой!.. молодой парень!.. гусака оправдал!.. Ах, тетка твоя кукареку!.. (*Целуются со Степаном.*) Вот он свет завоевал, вдоль и поперек прошел.

**Ребятишки** (*в окне на разные голоса*). Кука-ре-ку, ку-ка-ре-ку... мм-е-е... Козел кочетом запел...

**Старуха** (*берет рогач*). Кши! Надоели, неладные, оммарок вас возьми...

Ребятишки прыснули прочь. Потом осторожно одна за другой высовываются головы в окне. Тащится, опираясь на руки, Коноводов. Лунный свет ложится на окна.

**Коноводов** (*припевает*). «И гудит, и шу-ми-ит, дробин до-о-жжик и-дет, про-яви-лася па-нян-ка ю нас на дворе...» Степа, друг!..

**Степан** (*бросается к нему и остолбеневает при виде безногого гостя*). Илюха!.. брат!..

**Коноводов.** До бога высоко, до царя далеко, и до тебя, Степа, не достанешь. Нагинайся.

**Степан.** Эх, иде же тебя так обкарнали?.. (*Обнимает его, крепко целуются.*)

**Коноводов.** На Мазурских озерах царь мне памятку оставил. Граната вдарилась и по ножкам мне — чик!

**Степан.** Эх, сердяга!

**Коноводов.** А помнишь, как мы с тобой, бывалыча, плясали? Супротив нас никто не мог выстоить.

**Степан** (*чешет в затылке*). Экк его!.. Ну, лезь, подсоблю. (*Поднимает и сажает на скамью.*)

**Коноводов.** Я, Степа, женюсь.

**1-й крестьянин.** Жана его эк вот носить будет...

**Луша.** Охота была. Поносит, поносит ды в яр и спустит. (*Хохочет.*)

**Степан.** Ну, так как, батенька, хозяйство, не доказал ты мне?

**Старик.** Ды как хозяйство — ничего, жалиться — бога гневить. Только советы завелись, советы притесняют.

**Степан.** А што?

**Старик.** Да што. У кого четыре лошади — две отберут, а две оставють. У кого шесть — четыре отберут. Я оставил лишь лошака ды кобылу, а энтих всех угнал в Нагольный к бабке в лес, — в лес-то загонит — не найдут.

**2-й крестьянин.** Дык не себе отбирают, а раздают которые безлошадным.

**Луша.** Вон Семениха погорела, — им лошадь дали.

**Степан** (злобно). Ишь, сладкие!.. Люди наживали, а они на готовенькое. Отчего они безлошадные, спроси.

**Луша** (живо). Ды погорели жа.

**Степан.** Цыц! Много ты понимаешь! Потому — бездельники.

**Одноногий**<br>**Однорукий**<br>**2-й крестьянин** } Слыхали мы это. Сколько помним, нам про лень все рассказывают.

**Козел** (посмеиваясь, хитро). От кого вы слухаете про лень?

**Однорукий.** Известно от кого.

**2-й крестьянин.** От каво, — хто сам в двери не пролезет, — лавошник...

**Старуха.** В каторжных лагерях, горький, трудится...

**2-й крестьянин.** Помещик...

**1-й крестьянин.** У кого бесперечь работники не переводятся...

**Однорукий.** От ково я без руки...

**Одноногий.** А я без ноги...

**Коноводов.** А я... эх, ты, малина, в саду ягода калина!..

**Старик.** Как же так? Как же так? Я цельный век наживал, а другой придет, сядет верхи и поедет. Это не модель.

**Козел** (хитро). Ты скажи, сваток, сколько работничков принанимаешь?

**Старик.** Да я сколько... я што ж...

**2-й крестьянин**
**Однорукий** (смеясь).
**Одноногий**
**1-й крестьянин**

} А-а, запамятовал, не знает... дай по пальцам счесть.

**Степан.** Это что ж, коммунию хочите заводить?.. грабеж?..

**Иван Посный.** Грабеж и есть.

**Козел.** Ды я теперича хочь куды и спереду и сзаду (поворачивается), как облизанный, ни на мне, ни подо мной, аккурат в коммунию лезть.

**Степан.** Потому ты — нищий.

**Козел** (торопливо). Во, во, во!.. Правильно сказал, тетка твоя кукареку: коммуния для нищих, для убогих, для сирых...

Подымается шум.

**Коноводов.** Штоб не жрали их, у кого брюхо да мошна тугие.

**Однорукий.** Штоб кулаки да мироеды окарячились.

**Коноводов**
**Однорукий**
**Одноногий**

} Все пойдем в коммунию!

**2-й крестьянин.** Знамо, пойдем, надоело в хомуте ходить.

**Степан.** На чужинку захотелось?.. В чужие труды-достатки лапу запущаете?..

**Однорукий.** Да ты сам норовишь в кулаки вылезть.

**2-й крестьянин.** Хрестьян сосать...

**Одноногий.** Замест лавошника...

Возбужденные и озлобленные, начинают расходиться.

**Степан.** Хулиганы беспартошные.

**1-й крестьянин** (кивает на Степана). Этот лавошнику сто очков вперед даст...

**Иван Посный.** Без порток оно легше чужое добро делить, прохладней...

**Марьяна.** Вон красноармейцы головы свои кладут, жисти своей молодой не жалеют, а почему? Одному

счастье, а тысячам — неизмывное горе. А жить-то всем хочется... Да разве у вас жисть?!

**Старуха.** Ты опять?!

**Старик.** От этой самой Красной армии и смута пошла. Покеда ее не было, порядок был.

**1-й крестьянин.** Порядок тебе керенки нагребать.

**Степан.** Да ты считал? Нам таких гостей не надо.

**1-й крестьянин.** Да мне начхать... Кишкорезы!.. (Уходит.)

**Старуха.** Скатертью дорога.

**Ребятишки** (за окном). Ку-ка-ре-ку!.. Ку-ка-ре-ку!.. Ме-ке-ке-е...

**Старуха** (берет рогач, выходит. Слышен ее голос на улице). Вот я вас, пострелы!.. Оммарок вас возьми!..

Ребятишки разбегаются.

**Козел.** Гусака оправдал!.. Слышь, сваток: Иван Иваныч-то опростал место, не лезь ты на его следы... Переменилось, сваток, переменилось округ и все... Жисть, она наизнанку вывернулась... Чаво и не снилось, а оно во!.. Али плохо, што беднота хошь вздохнет, хошь глазами-то луп-луп, проглянет на свет-то божий...

**Степан.** Но-о, учитель нашелся! Иди, там под мельницей читай проповеди. Може, тебя водяные слухать будут...

**Коноводов.** От ворот поворот гостям по снегу.

**Козел** (посмеиваясь). Так, так, так... ерой... молодой парень.. гусака оправдал...

**Старуха** (входит). Чаво ты, сват, языком подметаешь, как добра корова? Иди спать.

**Козел** (уходит). Тетка твоя кукареку!..

**Коноводов** (слезает со скамьи, тащится к двери, поет на мотив: «Под вечер осенью ненастной»). «Ты ку-у-да, мой друг, стремишь-ся, на то-от по-о-гибель-ный Кав-каз, а-ах (за дверью), от-ту-у-да не воз-вра-тишься, го-во-рит мне темный гла-ас...»

**Степан.** Беспартошная гвардия. Храпы!..

**Старик.** На чужой каравай рот не разевай... А то так кажный захочет.

**Степан.** Пойдем, батенька, хозяйство посмотрим, — скучился я по нем.

**Старуха.** Ну, вы тут приберите покеда.

**Степан.** Хорошо бы маслобойку нам поставить. (*Уходит со стариком.*)

**Луша.** Пущай она, я с вами. (*Уходит со старухой.*)

**Марьяна** (*некоторое время стоит неподвижно, потом с глубоким отчаянием*). Чево ж это такое?! Ай сон?.. Нето правда?.. Ай из смерти люди приходют... Пашенька, иде ты?! Пашенька, родной мой! Как бирюки... только бы жрать ды как нажить... окромя у них ничего нету. Хуже кротов: глазами глядят, а свету божьего не видют, людей не видют... Пашенька, тянут меня назад, а я не хочу... не могу... Пашенька, возьми меня отцеда... (*Рыдает.*) Спаси, Пашенька, — погибель моя! Господи, ды што я за разнесчастная... али незамоленый грех за мной?.. Пашенька, откликнись, иде ты!.. Кабы не ты, Пашенька, минутки бы не ждала, наложила б на себя руки.

Во дворе слышны голоса, говор возвращающихся Степана, старика, старухи, Луши.

**Марьяна** (*вытирает слезы, спокойно*). Ну, хорошо. Уйду от них, уйду. Батрачкой наймусь... гденибудь буду жить... Может, когда и встречусь с Пашенькой.

Старик, Степан, старуха, Луша входят.

**Старик.** Сено энто, которое продадим зимою, большие деньги выручим... Просорушку опять выгодно поставить... Оно и маслобойку выгодно, ну только совет зараз заберет в обчество, вот оно што.

**Степан.** Ишь ты, совет. На-кось, выкуси! А мы, батенька, давай совет к рукам приберем. Голь оттуда долой, а туда выберем степенных хозяйственных крестьян с достатком, ну, и по-нашему будут все делать.

**Старуха.** Марьяна, Лушка, чаво же вы, кобылы, посуду не убрали? Мать не сделает, так они не подумают.

**Луша.** Я спать хочу. (*Укладывается в углу.*)

Старик со старухой в сенях. Марьяна убирает посуду.

**Степан.** Марьяна! Вот соскучился по тебе... А ты меня дюже вспоминала? (Хочет обнять.)

**Марьяна** (отстраняясь). Будя... не трожь!..

**Степан.** Ты чево?.. опять...

**Марьяна** (отстраняясь). Не трожь меня, Степан.

**Степан.** Да ты чево? Ты чево... чево морду-то воротишь?.. Ай барыней стала?.. Тебе какого рожна-то надо?.. Чем же я плох стал? За меня в немцев сватали, а сами богатые, всего...

**Марьяна** (отстраняясь). Нет, не трожь...

**Степан.** Да ты вспомни, как жили с тобой, Марьянушка... любила ты меня, во как любила... И ты у меня все в думках была: во приду... Ай я плохой стал?..

**Марьяна.** Я тебе не жена, ты мне — не муж, чужие мы с тобой.

**Степан.** Што-о?! Ай белены обтрескалась!!

**Марьяна.** Не мучь меня, не неволь... все одно ничево не будет... Любила тебя, вот как любила, резать себя на куски за тебя дала бы, а теперя ты мне чужой, как вон с улицы пришел...

**Степан.** Я из тебя дурь-то повыбью! Полюбовничка, небось, завела!

**Марьяна.** Слышь, Степан? Христом-богом я тебя прошу: брось меня, не жена я тебе. Сколько девок на деревне, кажная с радостью великою за тебя пойдет! Красивше тебя нету на деревне, и богатые вы. Счастье у вас будет. Со мной счастья не будет. Будем грызться, как собаки. Держите меня батрачкой, буду работать из сил, а нет — пойду к другим наймусь.

**Степан.** Молчи, тварь!.. Убью!.. Забыла, што ль: жана ты мне законная, што хочу, то и сделаю.

**Марьяна** (помолчав, раздельно). Ну, так, ежели хочешь знать, люблю человека, а хто он, не скажу, хочь режь!.. Ну, только краше ево нету. Кубыть на высокую гору меня привел, и все оттуда видать, всю жисть... Словами меня взял. Ишь, как его все слухали, слова не проронили. Што мы такое? Бессловесными жили, бирюками, один на одново, — только б зубами вырвать из горла друг у дружки побольше мяса, только бы нажраться, а он глаза нам всем разул.

Пошел голову свою молодую класть за людей, за трудящих, за счастье ихнее. А ты ни бе, ни ме, бирюк бирюком.

**Степан.** А-а, заговорила, паскуда!.. Ну, так ладно, мясо с костей спущу, не пожалею ременных вожжей. Остатний раз спрашиваю!

**Марьяна** (*кричит*). Не трожь меня!.. Не замай!.. Ежели хочь пальцем, не жить тебе!.. Слышь, не жить тебе!

Подымаются на шум старик, старуха и Луша.

**Луша.** Степан, ты чаво?.. Ай белены объелся!..

**Старуха.** Сказывала, не давай ей воли...

**Степан** (*сдергивает со стены вожжи, собирает на руке*). Нну, сука!.. Ох, как же я тебя буду возить... как пороть... без передышки... покеда замолчишь, покеда кричать перестанешь, покеда шкура будет мотаться кусками!..

**Старик.** Постой!.. Степан!.. Успеешь ешшо... Постой, для первого-то разу... только што пришел.

**Луша.** Степан, не смей! (*Злобно, сквозь слезы.*) Зверюга!..

**Марьяна** (*со страстной ненавистью*). Так будь же ты проклят!.. Штоб ты в своей жисти покою не знал ни дня, ни ночи... штоб у тебе детей никогда не было... штоб ты, как домовой, по ночам бродил... (*Отталкивает Степана, бросается к двери и убегает.*)

Степан за ней с вожжами. В отворенную дверь лунный свет. Слышен задыхающийся голос Степана: «Я те покажу... я те...»

**Старик.** И чево не поделили?.. Только што пришел, и для первого разу эвот взбулгачились...

**Старуха.** Сказывала, воли ей не давай. Обратай, покеда малая порося... Степушки не было, хочь бы слезинку сронила...

**Луша.** Вот так и выйди замуж, а он зачнет измываться. Ды ни в жисть не пойду... штоб они все передохли, окаянные!..

**Старик.** А все Красная армия: подводами заездили, сено позабрали, и народ весь разнуздался, — што бабы, што девки, што парни, удержу нету.

Молчание.

**Степан** (*входит, швыряет в угол вожжи*). Убегла!..

**Старуха.** Сказывала я тебе, Степушка...

**Степан** (*злобно*). А все вы!.. Ели ее тут поедом, она на стену и полезла...

**Старуха.** Степушка, родной ты мой! Ды рази мы не жалели ее! Ды што она вздумала, ягодка наша! Али хто ее обидел? Али неласковое слово сказал? Али мы не любили ее, сладеньким кусочком не кормили? Доченька ты наша!..

Занавес

# КОММЕНТАРИИ

## ВЫСКАЗЫВАНИЯ АВТОРА

«Поход» и «Нефед и я» написаны давно. Написаны «по-старинке», с длиннотами и томительными пересказами. Они дают чисто внешние бытовые штрихи, без углубления в классовую сущность рисуемых явлений.

— Я, — говорит Серафимович, — успел уже отбыть ссылку и прочитать Маркса и, конечно, не должен был ограничиться изображением мелкобуржуазной обстановки с точки зрения этой же мелкобуржуазной жизни. Я не вскрыл и не пытался даже в пределах, допускавшихся тогдашней цензурой, вскрыть социальную роль и сущность царской армии. Заскорузлость и реакционность тогдашней военщины у меня просвечивает как-то вскользь. Если все-таки я включаю эти рассказы в настоящий том, то делаю это потому, что они до известной степени служат документом тогдашней военной обстановки. Они прежде всего дают представление о беспросветной пустоте офицерской жизни. Кроме того, в них много автобиографических моментов из моего раннего детства.

Я получил в семье «двойственное» воспитание. На белой половине меня учили «благородным манерам» и «хорошему тону»; заботливая нянька пичкала меня всякой вкусной снедью. На черной же половине я узнавал от денщиков и горничных многое такое, что знать мне возбранялось. Тут я узнавал, в каких тяжелых условиях и в каком порабощении живут трудящиеся. Многое из тогдашних впечатлений на кухне оставило след на всю жизнь.

Помню, например, меня очень тогда поразило отношение к евреям. В казацкой массе я зоологического антисемитизма не замечал. Правда, иногда пренебрежительно третировали евреев, не зло подсмеи-

вались, передразнивали акцент. Но резких проявлений национальной вражды не было. А все-таки и тогда, будучи ребенком, я приметил отношение к евреям, как к низшей расе. А уж в офицерских верхах отношение к евреям было насквозь проникнуто фальшью и шовинизмом. Помню жившую от нас недалеко семью одного еврея, крупного поставщика фуража для полка. Он был внешне очень прилично одет, с буржуазными замашками. Его принимали в офицерских домах. Семья его жила довольно богато: поставки на армию давали большие доходы. Впрочем, еврей-поставщик добросовестно делился доходами с офицерами и был поэтому хорошо принимаем в их домах. Но вот однажды меня — помню — страшно поразило, как мой отец, служивший казначеем в полку, с невероятным озлоблением и грубостью орал на этого еврея. Тогда я почувствовал громадную разницу между двумя человеками — моим отцом и евреем. Какое презрение, какая глубокая убежденность, что еврей есть представитель какой-то низшей породы, которую можно безнаказанно поносить! Я почувствовал инстинктом всю антикультурность военных держиморд и все их лицемерие под маскою внешней воспитанности. Я ведь целыми днями бегал и играл с соседними еврейскими мальчиками и, среди них, с мальчиками этого самого поставщика, на которого мой отец орал.

Такие сцены, как и некоторые описанные в рассказе, производили на меня большое впечатление. Начиналась в маленькой голове «переоценка ценностей».

Рассказ «Морской кот» я бы теперь тоже писал совершенно иначе. Он тоже дает чисто внешнюю обстановку. Конечно, цензура... Но все-таки и тогда можно было провести более глубокую социальную борозду. Я ведь тогда хорошо знал, что среди матросов тлеет искра революции. Во флот брали и квалифицированных рабочих, они там были нужны. Матросы много ездили, много видели, — и это отражалось на их культурном и политическом облике. Они перевозили на кораблях революционную литературу. Хоть бы глухо, а надо было дать классовое содержание, классовое расслоение на корабле. У меня этого нет... Лишь после Октябрьской революции я спохва-

тился и написал рассказ «Долговязый», в котором отразил революционные настроения матросов.

Рассказана мне была история с морским котом в Ростове-на-Дону. Там вместе со мною в газете работал один старый революционер. Ему пришлось по службе участвовать в какой-то специальной комиссии, ездившей в Севастополь для обследования корабля. При нем и разыгралась история с котом, послужившая поводом для драки двух почтенных адмиралов. Я добросовестно передал фабулу, но не сумел дать на фоне ее социальные корни морского быта. Теперь, конечно, я бы написал совсем иначе.

•

— В очерке «На батарее», напечатанном в «Русских ведомостях»,— говорит Серафимович, — я описываю, как ездил в империалистическую войну на передовые позиции. Поехал я туда вместе с нынешним ленинградским профессором Тан-Богоразом. Он ехал от Земского союза, я — корреспондентом от «Русских ведомостей». Кстати сказать, корреспондентский билет мне права быть на фронте не давал. Но у Богораза были все документы в порядке, и он меня всюду рекомендовал. Он и тут за меня похлопотал, мне дали артиллерийскую лошадь.

Ехал я среди офицеров. Преимущественно — интеллигентная молодежь. Некоторые учились в кадетских корпусах, некоторые — в артиллерийских училищах. Офицерство, в общем, тогда пестрое было. С хорошим образованием было незначительное меньшинство.

Внешне отношение — джентльменское. Внимательно слушают. Подробно объясняют. Так, в общем, ничего плохого про них не скажешь: славные ребята. Но вот трясусь на лошади, едем мимо болотца, а оттуда странные звуки раздаются. Я спрашиваю офицера:

— Кто это кричит?

А он, усмехаясь:

— Да это жабы, они всегда так.

И прибавляет через некоторое время под наплывом воспоминаний:

— У нас их, в имении, очень много...

Как сказал «в имении», ясно: помещик, помещичий сынок. Поглядел я повнимательней после этого на

других — почти все такие, из привилегированных: в артиллерию-то ведь шли «сливки буржуазного общества».

Особенно мил был с нами полковник. Уже с изрядной сединой, но такой холеный, подобранный, ровный, еще бодрый, крепкий, энергичный. С солдатами — тон повелительный. Он долго нам объяснял, как стреляют из орудий. Не прямой наводкой, а — орудие прячут так, чтобы его не видать было противнику, маскируют в кустах. Наблюдатель взбирается повыше на дерево. Ему оттуда хорошо видать в полевой бинокль фронт противника. По телефону он сообщает, какой брать прицел.

Однако, по моим впечатлениям, общий склад царской армии был чрезвычайно низкий, не сравнить с нашей. Организация была — безобразная. Воровали чудовищно. Хищничество, казнокрадство на каждом шагу. Вор на воре. И слабо с этим боролись, почти совсем не боролись. По принципу: ворон ворону глаз не выклюет. А в обращении были джентльмены, очаровать могли доверчивых, и выпить были не дураки.

Во всякой армии бывают разные недочеты и неполадки. То не во-время пошлют, то не то, что надо, пошлют, и не туда, куда надо. Головотяпство разное бывает, даже не из предательства. И у нас бывало. Но у нас с таким разгильдяйством борются, искореняют. А в старой армии боролись отвратительно, боролись бюрократически, циркуляром.

Да и вообще разве сравнишь ту армию с нашей по общей культурности, по учебе и по образованности командного состава, как высшего, так и низшего? Взять, например, нынешнего красноармейца и прежнего солдата. Прежний деревенский увалень — он в большинстве безграмотный был. Наш — несравненно более развит. Он и в деревне уж не тот, что раньше, а в Красной армии и вовсе меняется, получает здесь большой толчок в развитии. Армия — теперь университет для красноармейца. Красноармеец знает, кому и зачем служит.

Имеет еще важное значение интернациональный дух в нашей армии. Старую армию разъедала, как и всю страну, неутихающая национальная рознь. Солдаты разных национальностей пакостили друг другу, издевались над слабейшим. Я наблюдал отношения

между казаками и солдатами. Ощетинивались, готовы были вцепиться в глотку. Это — русские, между собой. Что уж говорить о разных национальностях!

Помню такой случай. Возвращался я в империалистическую войну с польского фронта. Поезд наш остановился на какой-то станции Орловской губернии. Подошел другой поезд, санитарный, переполненный ранеными. Вышел из вагона солдат, молодой еврей. Ехал он, как все остальные, с фронта, был ранен, провалялся в госпитале, послали в тыл, чтоб поправился. Гляжу, окружили солдаты еврея и давай издеваться над «жидом». У него ужасное лицо было... Сначала он пробовал улыбаться, надеялся — отстанут. А те все залихватистей, все гаже. Окружили его теснейхохотали чудовищно. Кто? Те самые, с которыми он вместе на фронте лил кровь!.. Что он должен был чувствовать — один, как затравленный, среди врагов?

Подтачивало это старую армию, ослабляло, разъединяло. Кроме того, техническое вооружение и снабжение было неизмеримо ниже, чем сейчас, хотя и снабжала старую армию заграница. Конечно, были и пушки, и пулеметы, и винтовки, и газы. Многое и у нас раньше делалось, многое союзники доставляли. Нельзя сказать, чтобы не была вооружена царская армия, и чтобы ничего не умела. Но то, что тогда получалось, получалось в результате громадного количества жертв. На солдатскую массу смотрели, как на пушечное мясо. Генералы не щадили.

Впрочем, и солдаты отвечали полным равнодушием к целям войны. Шли из-под палки. Куда денешься? Когда я был в Галиции, то однажды встретил ополченцев. Шла целая дивизия. И все — безоружные. Всех встречных, едущих на фронт, оглядывают озлобленно, в тоне раздраженность, отвечают сквозь зубы. Я спрашиваю:

— Почему без винтовок?

— А им, — говорят мне, — винтовок не выдали. Выдадут лишь, когда попадут на фронт.

Вот какое было доверие... вот какие были взаимоотношения...

Писатель Чириков, побывав на фронте, рассказал мне такую историю. Шел бой. Большой урон в людях. Выбили почти всех офицеров. С обеих сторон

поляны — лес. Тащатся санитарные повозки, везут раненых без конца. Солдаты ждут, прислушиваются. Вдруг пошел неизвестно откуда слушок, что неприятель обходит лесок. Чириков рассказывал: сильная поползла тревога, смятение появилось на лицах солдат. Солдаты в мундирах словно исчезли, остались насмерть перепуганные деревенские парни. Паника все разрасталась. Стоят, как быдло, трясутся от страха и не знают, что предпринять.

— Но вот, — рассказывал Чириков, — тут же быстро выделилась кучка рабочих. Они моментально сорганизовались, быстро ориентировались, толково расспросили у населения, куда и как итти, узнали, где неприятель, взяли команду в свои руки и благополучно вывели полк и раненых.

Наш красноармеец — его не вышибешь из колеи.

— Свои рассказы и очерки из эпохи гражданской войны, — говорит Серафимович, — я большею частью писал с натуры, ничего не «сочиняя». Например, очерк — «Товарищка Дора». В действительности звали ее — Роза. Это была необыкновенно привлекательная девушка. Встретил я ее в Ессентуках, где лечился.

С ней произошло все то, что я описал в рассказе. Она работала на фронте в Харьковском политотделе армии. Происходила она из буржуазной семьи. Она мне рассказала всю свою биографию. Переход ее к большевикам был очень болезненный. Сначала она к меньшевикам пошла. Вскоре в них разочаровалась, бросила, перешла к нам и стала крепким, великолепным товарищем.

Попала она из Харьковского политотдела в отряд, который боролся с бандитами. Борьба была жестокая. Тем более, что некоторые из красноармейцев отряда были мало надежны — якшались с бандитами. Над ними нужно было еще много работать — агитировать их, просвещать. Но как только она начинала говорить, со всех сторон: «Жидовка!» Слушать не хотят. Смеются, передразнивают. Набралась она горя. Пробовала с ними и так, и этак. Ничего не выходило. «Жидовка!»

Но вот отряд занимает город. В большом здании гимназии Политотдел устраивает собрание. Чуть ли не

силком загоняли красноармейцев, они выпрыгивают через окна, не хотят слушать «жидовку», а то и хорошими словами загнут. Тогда Роза говорит им:

— Товарищи! Не хотите, не буду вам рассказывать. Лучше сыграю вам на пианино.

Красноармейцы:

— Что ж... это, конечно. А то брехать...

Стоят, курят, сплевывают. Она села за пианино:

— Слушайте!

Сыграла небольшую вещичку, веселенькую, понятную. Понравилось.

— Еще?

— Еще!

Сыграла еще и спрашивает:

— Хотите, расскажу, о чем тут играется?

Недовольные голоса:

— Да ну ее, жидовку, начнет брехать. Пойдем, ребята!

А она начала играть прекрасную простую вещичку Грига — и этак осторожно во время игры:

— Слышите, это вечер... месяц взошел... уже старые спать полегли...

Играет и тихо поясняет притихшему залу:

— Дивчина с парубком сидят на завалинке под вишней, обнимаются и целуются.

Красноармейцы замолчали, навострили уши. Потом музыка пошла все задумчивей, печальней, медленней. Роза:

— Слышите, чего-то не поладили, поссорились

Слушают внимательно. Музыка еще печальней, и Роза объясняет:

— Поссорились, — она в одну сторону смотрит, он — в другую. Друг на друга не глядят. Грустно им...

Музыка пошла бравурнее:

— Она оглянулась, и он оглянулся. Стали подходить друг к другу.

Еще бравурнее:

— Слышите, сели и опять целуются.

От пианино вдруг понеслась в зал какая-то тревога. Роза:

— В хате услышали:

«Вы чего тут?..»

— Разбежались...

Весь зал не колыхнется. Никто цыгарок не курит, молчат, ждут. Роза, встав, говорит:

— Вот и вся моя лекция!

Красноармейцы в недоумении, разочарованно расходятся.

Следующий раз политотдел назначает опять доклад. Набилось тьма народу. Выказывают нетерпение. Вышедшую Розу уже не встречают «жидовкой», а обращаются:

— Ты вот чего... опять доклад на рояле сделай...

— С удовольствием.

Опять играла и объясняла, захватила весь зал и сама загорелась.

Где там циничные ругательства! «Жидовки» и помину нет. Кончила, а красноармейцы к ней:

— Спасибо, Роза... Ну и здорово ты нахлестываешь. Прямо в сердце. Ну и молодец... Когда следующий доклад?

И так постепенно музыкой она приучила красноармейцев слушать себя, все больше и больше заостряя политическую сторону. Плутовка Маркса каким-то путем к музыке пристроила. Будто задумался Маркс, как рабочие тяжело живут, а буржуи жрут. Повела настоящую большую агитацию — и с большим успехом. И стали к ней очень хорошо относиться. Даже с нежностью. Ведь, действительно, несли ее в шинели, которую сняли с товарища.

Теперь — самое главное: почему я написал этот рассказ? И что было после того, как я его написал?

Написал я этот рассказ потому, что в ту пору замечалось много антисемитских выступлений. При этом в таких местах, где их следовало меньше всего ожидать. Несколько случаев попало в газеты, в суд.

С этими явлениями у нас, конечно, боролись.

В рабочих аудиториях вели борьбу с антисемитизмом. Слишком глубокие корни пустили дореволюционные понятия. Ведь царизмом все строилось на национальной вражде и взаимопоедании.

И вот решил я выступить в клубе на Введенской площади, в бывшем фабрикантском доме, перед текстильщиками. Я знал, что среди текстильщиков, особенно женщин, много отсталых, думающих и живущих по-старинке. Захватил «Товарищку Дору» и прочитал. Поглядывал — вижу, хорошо слушают, молчат. Кончил я.

Поднимается один, не старый, и этак исподлобья ко мне, раздраженно:

— Вы чего же нам про жидов читаете?

Я на вопрос вопросом:

— Да в чем дело?

— Да они же эксплоататоры!

Гляжу, поднимается еще один в красноармейской форме и подтверждает:

— Верно товарищ говорит — эксплоататоры... Он — жид — никогда трудом не жил. Они все торговцы.

Слышу в тоне озлобленность. Остальная публика загадочно молчит. Никто, однако, в защиту евреев не встает. Тогда я обращаюсь к первому:

— Вы, товарищ, служащий?

— Нет, отвечает, я — рабочий, столяр на фабрике.

Я тогда:

— Рабочий, а не знаете, что говорите... Что все евреи эксплоататоры и торговцы — это неверно!..

— Нет, верно!

— Нет, неверно! Евреев-рабочих очень много.

— Не видал что-то... Где ж они живут? Не на луне-ль?

— В Западной области живут, на юге — там на фабриках и заводах масса еврейских рабочих. И у нас.

— Да сколько там их... Один-два и обчелся. А остальные торгуют.

Вижу, опять на подмогу поднимается в военной форме. Я в упор задаю ему вопрос:

— А вы кто такой?

— Я, — отвечает, — донской казак.

Тогда я обращаюсь к публике:

— И я тоже донской казак. Как раз оттуда...

Слышу ехидный голос:

— А не еврей?

— Я, товарищи, как раз из тех, кто безжалостно евреев порол плетьми... Казаки и рабочих и крестьян, выступавших против помещиков, жестоко пороли плетьми.

И пошел и пошел. Задело меня... Целую лекцию...

— Даже те евреи, что торговали — я их много наблюдал — они не от хорошей жизни, а от голоду торговали. У него всего-то на пятьдесят копеек товару на лотке, иголки да нитки. Целый день на жаре или морозе. Что он там наторгует, несчастный! Такие же

пролетарии... Самодержавие их скучивало в «черте оседлости», лишало элементарных человеческих прав, вынуждало торговать. Не было у них возможности работать в поле и на многих фабриках.

Какой-то интеллигент в шляпе вкрадчивым голосом меня прерывает:

— А все-таки они — торгаши!..

Опять слышу уже много голосов:

— Торгаши... Эксплоататоры!..

Я тогда опять пошел и пошел — и в конце говорю:

— Ленин — вы знаете, товарищи, не поглупей нас с вами был. А что Ленин говорил? Что национальная вражда — самая подлая штука! Те, что ругают евреев, — они борьбу классовую против действительных эксплоататоров — против буржуазии — переводят на борьбу национальную. То, что вы говорите здесь о евреях, разве не говорят на Кавказе о грузинах, о черкесах, об осетинах? Разве наряду с еврейскими погромами мы не имели в царской России резни армян? Многие по бессознательности самые скверные и разлагающие мысли вносят в рабочие головы и тем отвлекают от пролетарской линии... Я обращаюсь не к вам (указываю на своих оппонентов), вас не убедишь, — я обращаюсь к молодежи... Смотрите, берегитесь таких людей в вашей среде! Они вносят в вашу среду разврат политический!

Не могу похвастать, что публика в зале прониклась моими доводами. Она молчала. Но устроители хвосты поджали. Выступившие антисемиты где-то потонули в зале.

Потом, через год, принялись бороться с антисемитизмом более действительными средствами. Стали устраивать на фабриках показательные суды над преследователями евреев, кое-кого из наиболее злостных и активных антисемитов арестовали. И постепенно это сошло на-нет.

Однако, еще и сейчас кое-где пробивается это фашистское семя. Литература и теперь должна бороться с антисемитизмом.

— Другие рассказы из эпохи гражданской войны также воспроизводят действительность. Например, героиня рассказа «Две смерти»—бывшая эсерка, отшат-

нувшаяся от своих и пришедшая к большевикам по собственной инициативе. Она сама мне рассказывала, как работала для большевиков. Только я сочинил другой конец: она и сейчас живехонька. Работает теперь врачом. Беспартийная. Несколько отошла от политики.

Время тогда было боевое. Поднимало над житейщиной обыкновенных людей. Молодежь хотела послужить идее, шла на опаснейшие дела.

Другой рассказ, «Адимей», тоже описан «с натуры». История Адимея мне была подробно рассказана в Теберде. Там ее знает любой карачаевец. Среди последних в первые годы революции было много бандитов, которые сражались с оружием в руках против советской власти. Адимей был одним из многих, только с более выразительными геройскими чертами. Теперь он — председатель совета, активный советский работник. В ту пору советская власть многих вернула к мирному труду. Были объявлены сроки: кто вернется — будет восстановлен в правах. Многие вернулись, — конечно, не кулаки. И многие теперь у себя на родине — активные советские работники, среди них и Адимей.

В гражданскую войну «сочинять» почти не приходилось. Не успевал списывать с натуры. Например, очерк «Только уснуть». Я тогда поехал на юг, по поручению Моссовета. Остановился в Харькове. Отнеслись ко мне в советских учреждениях с большим вниманием. С готовностью дали ордер на номер в гостиницу.

Но владельцы гостиниц тогда саботировали советы. Я бесконечно намаялся с ордером, и номера так и не раздобыл. Куда деваться? Город большой, а приткнуться некуда. Сильно хотелось спать, был измучен. Пришлось поехать на вокзал. Тогда свирепствовал сильный тиф. На вокзале валялись тифозные, бредили. Но что делать?.. Что бы ни было: только уснуть.

«С натуры» я много давал и в империалистическую войну. Например, в рассказе «Термометр» списал своих ребятишек.

У меня был опыт военного корреспондента. Но корреспондировать в буржуазную газету — это одно, а в пролетарскую — совсем другое. Я, можно сказать, был пионером, бродил ощупью. Но как-то инстинктивно осмысливал, что самое главное и важное — быть ближе к правде. Читателю-пролетарию не нужно никакого приукрашательства. И нужно, чтобы он вполне верил

корреспонденту. Тогда затраченная энергия не пропадет даром. Я ставил себе прежде всего чисто утилитарные цели. Нужно было, чтобы из моей работы получился определенный результат: из чтения моих корреспонденций в газете должны были вытекать определенные действия.

Задачи буржуазного корреспондента были совсем другие. Он выискивал интересные, сенсационные случаи, он стремился бить на чувство, на психологию. Ему нужно было туманить головы, скрывать правду об истинных грабительских целях войны. Поэтому он должен был обязательно выдумывать, раскрашивать. Пролетарскому же читателю нужно было правдиво и честно рассказать, как обстоит дело на фронте и что нужно предпринять. Я это и делал по мере сил и разумения. Но на это простое на первый взгляд дело — говорить правду — нужно было затратить гораздо больше энергии, чем буржуазному корреспонденту — на вранье. Нельзя было писать «из окна вагона» или на основании десятиминутной беседы с двумя-тремя человечками в штабе. Пролетарскому военному корреспонденту надо самому тыкаться во все углы, надо побывать в самых дальних закоулках, все лично обследовать, рассмотреть. И перво-наперво надо быть в непрерывном, непосредственном общении с красноармейской массой. Это не так просто.

Прежнее романтизирование театра войны, конечно, здесь совершенно неуместно. Оно звучало бы неискренно и глупо. Я твердо усвоил, что романтизм противоестественен; все, что не соответствует правде, меня в литературе всегда отвращало.

Общий тон моих корреспонденций был деловой. Я старался быть действенным и бодрым. Ничего общего с мрачностью моих корреспонденций в «Русские ведомости» в империалистическую войну. Мрачность тогда вытекала из отрицательного общего отношения к капиталистической войне. Теперь же сражался пролетариат за пролетарские цели. Унынию, сомнениям и мрачности тут, конечно, не могло быть места.

В империалистическую войну настроение у всех было тяжелое и подавленное. Единственным утешением было то, что война в конечном счете должна принести с собою что-то новое, лучшее. Помню, т. Ангарский меня как-то спросил:

— Чем все это кончится?

Я ответил:

— Нас разобьют, и начнется революция.

Тогда многие напряженно ждали. Правда, буржуазная интеллигенция была оторвана от революционного подполья. Ко мне тоже очень смутно доходили неясные сведения о циммервальдских и кинтальских настроениях левого крыла социал-демократии. Это казалось чем-то очень отдаленным от реальной действительности. Однако каким-то образом передавалось по воздуху, несмотря на цензурные рогатки. Какой-то след оставляло.

В империалистическую войну можно было более медлительно обрабатывать материал и давать образы. В гражданскую же войну некогда было. Нужен был практический подход. Важнее всего было дать практический совет, чтобы быть действенно полезным.

Приходилось писать в форме очерка, перемешанного публицистическими деловыми рассуждениями. Индивидуальные черты уплывали.

— Как представителю московской «Правды», мне отвели место в поезде Троцкого. Оказалось, однако, что Троцкий отнесся к представителю прессы скверно, свысока. Отношение «высокого начальства» автоматически передалось и подчиненным. Для меня была создана в поезде тяжелая обстановка. Работать нельзя было.

Когда военные корреспонденции начали появляться в «Правде», Троцкий поднял целую бучу. Грозился даже предать суду. Возразить что-либо по существу против корреспонденций он не мог, так как все было описано верно и правдиво. Троцкий же, по обыкновению, делал благородный жест: на словах он требовал, чтобы про армию писали правду, — когда же правда была написана, он поднял бунт.

Во время пребывания на фронте мне несколько раз приходилось убеждаться в фальшивости Троцкого. Я убеждался, что это, прежде всего, человек позы. Внешняя благопристойность, внешнее благополучие были для него важнее, чем живые интересы красноармейцев. Мне приходилось воевать с комиссией по сбору подарков и посылок для армии. Они собирали и посылали на позиции то, что меньше всего нужно

было фронту. И когда я написал в «Правду» («О подарках»), что посылают ненужные вещи, комиссия обиделась. И кто поддерживал эту комиссию? — Троцкий!..

Он меня терпеть не мог. Возненавидел он меня с того времени, как я сообщил в очередной корреспонденции с восточного фронта об отступлении одной дивизии, которая потом спасла положение. Как? Писать в газетах об отступлении дивизии?! Создавать панику?!. Командование и комиссары той дивизии, которая была разбита и отступила, подняли страшный шум и готовы были меня съесть живьем. Они утверждали, что только один полк отступил, а не вся дивизия. Полетели телеграммы. Троцкий обозлился, грозил отдать меня под суд. Но редакция «Правды» сумела отстоять своего корреспондента и добиться, чтоб об армии писали правду.

Троцкий вовсе не желал рассказывать пролетариату правду о фронте, конечно, и в допустимых стратегическими соображениями пределах. Он желал приукрасить действительность и высказывал открыто взгляд, что-де нам нужен свой Немирович-Данченко. Я, конечно, был мало пригоден для роли такого «революционного брехуна», да и редакция «Правды» не стала бы печатать всякую враль.

Марья Ильинична Ульянова мне говорила:

— Троцкий стал на дыбы, грозит судебной расправой... Но это так... хочет вас пугнуть...

И «Правда» продолжала печатать мои очерки и корреспонденции.

— Тогда провожали отряды красногвардейцев на Дон, на борьбу с Калединым. Провожали очень торжественно. Были и представители Московского комитета партии. Надо было дать красногвардейцам напутствие. Тов. Землячка, входившая тогда в Московский комитет, порекомендовала меня. Ко мне обратились, и я написал «Наказ». Помню, я очень трусил: так ли напишу прокламацию. Нужно все-таки, чтобы не пустословие, чтоб унесли с собой, запомнили. Мне все казалось — романтически немножко у меня вышло. Но Московский комитет отнесся ничего...

Потом я поехал на Дон по поручению Моссовета.

Я тогда редактировал кое-какие издания Моссовета, выполнял поручения по части писания различных воззваний, листовок, брошюрок; был редактором журнала «Творчество». Мне было поручено дать ряд очерков и статей из жизни фронта. Двинулся я на юг через Харьков. Оттуда хотел поехать в Киев. Но было уже невозможно: надвигались немцы. Поехал в Ростов, оттуда в Новочеркасск. Мы не долго владели в 1918 году этими пунктами — месяца два. И тогда, когда мы сидели в Ростове, помню, наши ежились, опасливо озирались по сторонам. В ревкоме мне говорили:

— Назревает восстание. Ждем, кинутся нас резать... Как только немцы подойдут...

Действительно, белогвардейцы лихорадочно готовились, кругом шла организация казачьих сил. Ждали только благоприятного момента.

Мы все понимали, что до поры до времени большевики здесь временные гости. Мне не долго пришлось тогда побывать на Дону. Уезжал я оттуда без иллюзий. Впрочем, след пребывания советской власти на Дону остался. Началось расслоение в казацких станицах. Я кое-что отметил в своих корреспонденциях и в очерке «Без билета».

Кругом шипело контрреволюционное жало. Например, в Воронежской губернии мне пришлось вылезти из «максима», который плелся, как водовозная бочка, и пересесть на более скорый поезд. Старые проводники ни за что меня не пускали, сколько я ни предъявлял документов. Я кинулся быстренько в ревком. Там, как узнали, что я корреспондент «Правды», бросились меня выручать. Один энергичный рабочий тут же вскочил на поезд, я за ним, влез в вагон. Смотрю — глазам своим не верю, великолепный пульмановский вагон, и сидят в купе великолепные господа, разодетые дамы, с бриллиантовыми серьгами, брошками и перстнями, устроились роскошно. Едут из Баку в Москву. Рабочий мой, как глянет — и зарычит на них:

— Выметайтесь! Немедленно! Корреспонденту «Правды» место!..

Тем временем поезд тронулся. Буржуазы смотрят на меня во все глаза. Думаю — чорт с вами. Лишь бы как-нибудь поехать...

Характерно тогдашнее отношение меньшевиков к буржуазии. Тут же ехал один видный грузинский

меньшевик. Отрекомендовался... Член ЦИКа. И этот, с позволения сказать, «социалист» с большою убежденностью говорил мне:

— Поймите, каждый из этих пассажиров заплатил за проезд тройную плату!.. Как же можно?!.

Во всем великолепии проявилась меньшевистская природа. Меньшевик был внутренне убежден, что раз богач и раз хорошо заплатил, значит — никто его не вправе тронуть...

Вот в какой атмосфере мы тогда находились, когда я возвращался с Дона. Невеселые были времена...

— Чем больше, будучи корреспондентом, я ездил в поездах, тем больше, я убеждался в одном: сидят на железной дороге вредители. Ведь делалось что-то невообразимое («В теплушке»). Настоящий саботаж. Кто-то тут орудовал. И бывало, как только на них хорошенько цыкнешь, безобразие немедленно прекращается.

В пути как-то не обращаешь ни на что внимания и не очень к сердцу принимаешь. Знаешь заранее: все может быть. В Москве все страшнее кажется. А как влезешь в вагон, словно — отрезано, ни о чем не думаешь, обстановка сразу тебя проглотит — нет возможности отвлечься. Дух забьет от тесноты и от холода. Обледенеет и голова, ни одна мысль в голову не придет. Это уж потом, когда доберешься до теплого угла, начинаешь раскидывать умом и обобщать. В вагоне только смотришь и слушаешь.

— На восточный фронт я поехал в сентябре 1918 года. Штаб тогда был расположен в Симбирске. Положение к моему приезду было не веселое: белогвардейцы сильно напирали. В штабе меня, как корреспондента «Правды» и коммуниста, подробно ознакомили с нашим напряженным положением. Я просил поскорее перекинуть меня на передовые позиции. Со мною поехал сотрудник политотдела штаба. Когда мы переехали через Волгу, всюду легла зима, а я был плохо одет и замерзал.

Нам пришлось по дороге убедиться, что положение на фронте не улучшается. Выяснилось из штабных

источников, что на фронте сильно развилось предательство и шпионство.

Передовые позиции были расположены верстах в 12 — 15 от Бугульмы.

Когда ехал на фронт, я думал — наберу там материал для будущих вещей, изучу обстановку, накоплю побольше фактов. Но попав на фронт, я понял, что мои маленькие личные планы надо припрятать подальше. Слишком большая ставка была. Надо было прежде всего помочь делу гражданской борьбы, помочь армии. Для этого нужно было осведомлять тыл, что там и как там, на фронтах, в чем нужда, что делать нужно. И подбадривать приходилось.

Помещение нам отвели с довольно «северным» климатом. Частенько зуб на зуб не попадал, хоть и напяливал на себя что только можно. В одеже и спали и в сапогах. Спал я на полу — кровати не было. Пол застлали разными подстилками. Я — бывало — всю эту подстилку вместо одеяла оберну вокруг себя, а под голову мешок. Надо было не ворочаться, а то все развалится и заберется леденящий холод.

В первый раз на линию фронта я выехал с комиссаром. Дело было к вечеру. Мороз дьявольский. Лошаденка крестьянская, из селения, по подводной повинности, еле бежит. Мужичонка нас везет то вправо, то влево. И все оглядывается. Комиссар тоже — нет-нет, да поглядывает по сторонам. Потом спрашивает этак невзначай:

— Оружие есть?

— Есть, говорю, наган... А в чем дело?..

— Да видите ли, какая штука... Мы тут не стоим сплошным фронтом. Между постами есть разрывы, и большие. А в разрывах то-и-дело рыскают казаки. Их не укараулишь. Нужно быть на-чеку. Тут как раз большой разрыв между нашими постами.

Позиции противника отстояли довольно близко. Казаки стояли недалеко и могли налететь между постами каждую минуту.

«Эх, чорт его дери!» Храбро нащупываю в кармане наган и думаю: «Лучше бы все-таки казаков не было совсем».

Все больше и больше надвигается темь. Дорога пошла леском.

Узнаю промежуток между постами — километров

семь. Главное — никуда не удерешь... В эту сторону? Тут подъем и завалено снегом. Побежишь, по грудь в снегу увязнешь. В эту сторону — речонка. А сюда — лес. Жутко. Вдруг выскочит человек десять казаков, в шашку, разговор короток. Чик-чик — и голов наших нет...

Облегченно вздохнул, как стали подъезжать к нашей заставе. Подошли к нам красноармейцы: «Вам куда? Кто такие?»

На передовых позициях, когда я туда приехал, наступило затишье, боев не было. Ждали, что скоро начнем наступление. Красноармейцы меня хорошо встретили. В полевом штабе мы часто собирались и много толковали, много интересного я там почерпал. Я читал красноармейцам кое-что из своих произведений.

Красноармейцы очень интересовались, что делается в тылу. Приходилось рассказывать. Зато они в свою очередь много и охотно рассказывали о боях и немало интересного, заслуживающего быть записанным в летописях гражданской войны. К сожалению, я в свое время не имел возможности все использовать. Приходилось больше кочевать и наблюдать. Писать можно было только изредка и чаще всего, когда возвращался в Москву.

— Коммунистический полк, о котором я рассказываю в очерке «Бой», был замечательный полк, отчаянные ребята подобрались, необычайной храбрости. Кидались напролом туда, где казалось — ничего уже не сделаешь. Бились, как фанатики. Врагу — никакой пощады, пленных не берут. Им говорят: «Товарищи — не дело... пленных ни в коем случае не убивать, а привозить в штаб». Фронт противника состоял преимущественно из чехо-словаков и поляков. Тоже были отборные ребята. Как увидели они такое дело, поняли, что сдаваться уж не придется, а надо биться насмерть. Нашим и объясняют, что им же невыгодно. А они и слушать не хотят. Бросились на чехо-словаков, как оголтелые. Тем пришлось отодвинуться.

Из штаба видят, что ребята маленько зарвались, дают им приказ отодвинуться и выровнять линию фронта, а они и в ус себе не дуют. Им второй при-

каз — они прут как ни в чем не бывало. «Нам, говорят, тут видней положение. Вы там себе сидите в штабе и рассуждаете».

Подходят к одной деревне, — она занята смешанным отрядом чехо-словаков и поляков. Те быстренько расставили пулеметы. Организация у них была прекрасная, вооружены были отлично и дрались тоже отлично. Наш Коммунистический полк видит — возврата нет — и в конном строю открыто кинулся на противника. Пулеметы косят, а они прут прямо на огонь. Ворвались в деревню и стали рубить. Всех изрубили. Те поднимали руки — ни одного не взяли в плен. Некоторые попрятались. Подзывают тихонечко наши мужички: «Вон тут в стогу один запрятался...» Его и прощупают штыком: «Выходи, голубчик». Извлекали и беспощадно истребляли.

Когда мне все это рассказывали, я им говорю: «Слушайте, ребята, да это же больно жестоко». А они как вскочат, глаза горят, готовы кинуться на меня, вот-вот цапнут:

— Жестоко?!.

А наших-то восемьдесят один человек легло!.. Вы это как понимаете? Лучшие товарищи!..

Их потом отозвали. Пришлось просто пригрозить...

Ярко бросились мне в глаза отношения между красноармейцами и командным составом. Не было в старой армии такого. И вряд ли есть в какой-либо армии.

Привели меня в помещение дивизионного штаба. Помещался он в сравнительно небольшом поповском доме. Мне приходилось бывать в Галиции в штабах старой армии. Там — в отношениях — чопорность, бюрократизм. Начальник штаба — его сразу узнаешь: олимпиец. У всех, когда обращаются к нему, тон подобострастный. А тут всё на совершенно иных, небывалых началах.

Дивизионного я долго разыскивал. Оказалось, он тут же в кучке, где топчутся, курят, такой же как все, молодой, ничем внешне не отличишь. А ведь по прежнему времени дивизионный — это был непременно грозный генерал, перед которым все трепетало. Дивизионный же, на которого мне указали, стоял в рубахе, не подпоясанный, сосал, как все, козью ножку и с красноармейцами перебрасывался разговором. Обстановка что ни на есть будничная, простая.

Не успел я перекинуться фразой-другой с дивизионным, — прискакал конный, безусый молодой паренек. Подает пакет — должно, из штаба. Паренек стоит, весь заиндевевший, — был страшный мороз. Дивизионный распечатал пакет, прочитал — и пареньку:

— Сейчас же езжай.

А холодина такой, что до костей пронизывало, и паренек, видно, страшно устал. Он и говорит:

— Товарищ командир, я утром поеду.

Дивизионный постоял, подумал-подумал:

— Нет, валяй сейчас. А то, знаешь... Что еще ночью будет...

Вся эта сцена, помню, меня сильно поразила. Ну, где бы это было возможно в старой армии со старым дивизионным генералом? Попробовал бы ему солдат заикнуться: «Нельзя ли утром, я устал...» Да что бы с ним сталось!

Я потом рассказал об этом старшему сыну Анатолию. А он:

— Я бы этого дивизионного расстрелял за расхлябанность. Он не должен был даже разговора такого допускать.

Надо заметить, тогда уже в армии стали дисциплину наводить. И верно — тут действительно некоторая распоясанность была, вредная для дела. Но с другой стороны, надо учесть и вот что: наших тогда разбили, и именно эта дивизия спасла положение. Эти самые красноармейцы вели себя геройски. По пояс в воде, обледенелые, они через речку на руках перенесли орудия и отбили казаков. С такими ли начальственно разговаривать?

Я недостаточно подчеркнул в своих корреспонденциях атмосферу товарищества и сердечности в армии. Долгие наблюдения показали мне, что у нас армия в этом отношении исключительная. Ни в одной армии нет такого полного человеческого равенства между командиром и красноармейцем. Нигде нет такой товарищеской близости, дружности. А это колоссально помогает успешности войны. Я даже назвал один очерк «Два брата», потому что, если в строю один — приказывающий командир, другой — подчиняющийся красноармеец, то вне строя — они равны. Очень еще сближает общая опасность, общие переживания.

— Материал для корреспонденций я брал двусторонний. С одной стороны, мне рассказывали в штабе. Но я материалами штаба, конечно, не ограничивался — и выслушивал, с другой стороны, много рассказов красноармейцев.

В полевом штабе одной из дивизий восточного фронта я находился в одной комнате еще с семью человеками. Было тесновато, но устроились. Кто — на лавке, кто — на полу, кто на печке, нам с комиссаром дали на двоих кровать.

Настроение было тревожное. Помню: ночью, часа в три, вдруг стук в окно. Повскакали. Слышим крик: «Неприятель!» Все засуетились. Выбежали на мороз. Оказывается — чистейшая провокация, с целью создать панику. Нервы были напряжены до крайности.

Враждебности со стороны населения не заметил. Хотя, конечно, вражда, если и была, то была глубоко схоронена. Зажиточное население, кулачки, конечно, тянули к белым. А слой середняков, особенно бедняков, — они к нам льнули, хоть и с опаской.

На фронтах приходилось и выступать перед красноармейцами. Помню, на врангелевском фронте — собрали как-то целую дивизию разбитую. Устроили мы собрание в поповском саду. Красноармейцы повзбирались на яблони, на груши, сидели там, как тетерева. Я им прочитал рассказ «Марьяна», который потом переделал в пьесу. Впечатление — огромное. Не могли притти в себя от восторга: из их жизни...

Восточный фронт оставил во мне, в общем, бодрое настроение. Я видел своими глазами, что защита Октябрьской революции в надежных руках, что красноармейская масса — не прежнее «пушечное мясо» буржуазии: она знает, за что дерется и что теряет в случае поражения.

Назад я возвращался поездом длинным, состоявшим сплошь из теплушек. Трещал уфимский мороз. В теплушку волокли всё, что можно было захватить по дороге: двери, заборы и прочее; накаляли печку докрасна. Наш поезд шел без расписаний и не без приключений. Например, вдруг резкий толчок, мы все попадали. Оказалось, были на волосок от катастрофы. На позицию шел бронированный поезд и чуть было с нами не столкнулся.

Несколько раз пришлось пересаживаться. С трудом

попал в вагон. Вижу, вагон битком набит, много красноармейцев в одних рубахах сидят и лежат, бледные-бледные. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается — везут выздоравливающих тифозных. А вот ехал с ними и не заразился. Сыпным тифом никогда не болел.

В другом поезде — уже на Москву — столпотворение. Не продерешься. И слышать не хотят. Никак мне не влезть в вагон. Не пускают. Кое-как добился начальства, представил бумаги, а они:

— Для партийных специальный вагон есть, для ответственных работников.

Наконец, попал туда, а там стекла повыбиты. Правда, попросторнее, но без стекол. А морозы стояли крепкие. Ну, я и простудился. Кашель... ломота, испарина. «Шабаш тебе, думаю, товарищ Серафимович...» Все-таки кое-как с трудом добрался до Москвы и стал приводить себя в порядок.

— На польский фронт я был командирован «Правдой» в трудный момент. Нашим тогда плохо приходилось. Поляки заняли Киев и здорово теснили нас со всех сторон.

Наши только начали тогда собирать силы.

Я поехал на передовые позиции. Фронт подходил близко к самому берегу Днепра. По одной стороне реки наши; на другой стороне — поляки. К реке надо было спускаться через небольшую открытую полянку. Внизу была казарма. Из-за угла ее мы наблюдали, что делается на той стороне.

Поляки залегли в кустах у самой реки и оттуда обстреливали наших.

Среди красноармейцев не было уныния. Ждали, что подойдут подкрепления. Помню, красноармейцы и командиры мне много рассказывали о поляках, как они дерутся, как смело и дисциплинированно идут в бой. Я это и написал в корреспонденциях. Особенно хорошо отзывались о боевых качествах познанцев: «прут, дьяволы». У пленных познанцев во время допроса допытывались:

— Почему так прете вперед, — вы же их терпеть не можете — поляков...

На это познанцы отвечали:

— Подчиняемся дисциплине... Главное у нас — дисциплина...

Здесь, на польском фронте, несмотря на многие недостатки механизма, я почувствовал ясно, до осязательности, в какую огромную, несокрушимую силу вырастает наша Красная армия и как на поражениях мы быстро учимся побеждать. Действительно, после того как я уехал с польского фронта, наши лавиной двинулись почти до самой Варшавы.

— На врангелевский фронт я поехал разыскивать своего старшего сына Анатолия. Он уже был мертв, а я его разыскивал.

В своих корреспонденциях с врангелевского фронта я писал, что это едва ли не самый опасный фронт. Надо учесть, что прибыл я туда ранней весной 1920 года, когда настроение было тревожное. Врангелевцы тогда взяли Александровск. Они были прекрасно снабжены союзниками, не чувствовали ни в чем недостатка и хорошо дрались. Слабее дрались мобилизованные крестьяне, за исключением, впрочем, богатых немцев-колонистов, которые, будучи кулаками, не за страх, а за совесть отстаивали Врангеля. Казаки и офицерские колонны лезли вперед отчаянно.

Мы тогда еще немало терпели на юге от налетов Махно. Помню, когда приехал в Павлоград, вдруг ночью тревога:

— Махно сделал налет на штаб 2-й конной армии. Ждем — вот ворвется, сворачиваемся... Скорей приходите в политотдел. В штабе собрались сотрудники. Сейчас надо выступать. Махно — близко...

Нападение на этот раз удалось отбить. Махно пришлось отступить с серьезным уроном.

Передовые позиции находились за Большим Токмаком. Полевой штаб расположился в деревушке. Я разъезжал по линии на казацкой лошадке. Позиция проходила по громадной лощине, тянувшейся верст около десяти. По ту сторону лощины были казаки.

Когда я находился на врангелевском фронте, противник начинал серьезное обходное движение. Очень скоро места, где я находился, были заняты врангелевцами.

Я видел, что необходимо бросить на врангелевский

фронт крепкий кулак. У нас тогда недооценивали значение Врангеля. Я об этом и писал в своих корреспонденциях.

— В своих очерках и корреспонденциях я давал то, что видел, без искажения. Старался практически быть полезным фронту конкретными описаниями его нужд и настроений. Однако, без чванства и без излишней скромности — я считаю свою работу военного корреспондента слабой. Прежде всего, у меня не было минимума военных знаний. И если все-таки мои военные корреспонденции не так уж плохи и бледны, то этим я обязан своему писательскому умению — по одной маленькой черточке ухватить сущность большого явления, по маленькому кусочку уловить целое. Меня только это и выручало. А в остальном у меня очень мало тех основных качеств, которые требуются для военного корреспондента.

Прежде всего мешало то, что не умел я войти в гущу массы. Во мне сказывался интеллигент. Надо быть своим братом среди красноармейцев, чтобы они питали полное доверие, как к своему. Я, конечно, примащивался, разговаривал, часто как будто даже без натяжки. Но — это не то. Я должен был шататься по избам, где были постои, ходить с красноармейцами на работу, ну, скажем, дрова возить вместе с ними, провиант, вместе с ними телефонную проволоку тянуть, делать все, что они делают. Сидят они, скажем, за ужином — и я должен был подсесть, похлебать. А у меня нехватало на это ни умения, ни смелости. И эта моя интеллигентская замкнутость и застегнутость портила все дело. Я не мог дать настоящей массы, показать ее во всей ее полноте и красочности. Я хватал только верхушки, цеплялся за то поверхностное, что мне давали. Не от кичливости это происходило, а от моей какой-то природной застенчивости. Так всегда... Попадаешь в незнакомую обстановку, — и нужно сделать усилие, чтобы войти к людям. А надо, чтоб запросто.

Будущие корреспонденты будущей войны, надо думать, преодолеют то, что мне мешало. Я бы порекомендовал будущему корреспонденту, если он не будет обладать определенными военными знаниями, по-

ехать на войну вместе с человеком, хорошо знающим военное дело, знающим, как построена армия, понимающим значение различных родов оружия, вопросы механизации армии. Такой товарищ поможет ему ориентироваться, поможет ему правильно поставить вопросы и толково и верно изложить ответы читателю.

Второе условие — военный корреспондент должен знать красноармейца, его быт, его запросы, его требования. И третье условие — корреспондентом должен быть человек с даром общения, умеющий легко сходиться с рядовыми бойцами, умеющий завязать тесные и простые отношения с командирами низшими и высшими.

Корреспондент, кроме того, должен быть хорошим очеркистом, чтоб не давать сухих протоколов. Опять упомяну о Кольцове. Это — корреспондент-художник. Он даёт факты и картину. У него ярко себе представляешь всё. Надо давать художественные очерки о войне — писать их не «вообще», а в деловом порядке, излагать в них важнейшее, что требуется для данного момента.

В будущей войне мы будем иметь — надо думать — хорошие кадры квалифицированных корреспондентов. Их нам готовят такие объединения, как оборонная секция Союза советских писателей и журнал «Знамя».

В царское время, когда боялись солдата и массы вообще, был очень ограничен круг наблюдений корреспондента. Сюда нельзя было совать нос, туда нельзя было. Поэтому вокруг пустякового факта приходилось наворачивать целый рассказ. Теперь наоборот — материал большой, и надо уметь его конденсировать в форме небольших деловых, художественных очерков.

Составил Г. Нерадов.

# ПРИМЕЧАНИЯ

[1] (к стр. 119) Империалистическая война.

Империалистическая война тянулась четыре года — с 1914 по 1918 год. По количеству участвовавших в ней государств и народов, по количеству выставленных бойцов и, наконец, по военной технике — эта война превзошла все прежние войны. В разгаре боев на фронтах находилось около 30 миллионов человек. Из европейских стран не приняли в ней участия только Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, Швейцария и Испания. Главными участниками войны были, с одной стороны, Англия, Франция, Россия и Италия, а в конце войны и Соединенные штаты Северной Америки, а с другой стороны — Германия, Австро-Венгрия, Турция и др. Первая группа европейских держав образовала так называемое «Тройственное согласие», в противовес «Тройственному союзу», образованному из государств второй группы. Остальные государства, в зависимости от своих экономических интересов, примыкали к той или иной группировке держав.

Борьба шла из-за конкуренции финансового капитала государств обеих групп, которые не могли поделить между собой мировой рынок. С одной стороны, объединенный германский финансовый капитал, стесненный своими капиталистическими конкурентами на мировых рынках, надеялся вооруженной рукой проложить себе свободную дорогу и урвать для своей промышленности захваченные англичанами и французами колонии. Англия же и Франция, с своей стороны, стремились задушить в зародыше начинавшую их вытеснять на мировых рынках германскую промышленность. Война подготовлялась обеими сторонами очень тщательно и долго и вспыхнула по второстепенному поводу убийства сербскими националистами австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Россия, как покровительница «славянских народов», заступилась за Сербию, Германия должна была выполнить свои союзные обязательства по отношению к Австро-Венгрии, Франция — свои союзные обязательства по отношению к России; Англия же оказалась связанной целым рядом договоров с Францией. Буржуазия остальных государств не могла остаться в стороне от борьбы, потому что победа той или иной коалиции кровным образом так или иначе задевала ее национально-экономические интересы.

В этой чудовищно-кровавой войне царская Россия несла колоссальные потери на фронте и переживала разгром хозяйства внутри страны. Даже у буржуазии была окончательно подорвана вера в умение царизма организовывать вооруженные силы...

В результате — Февральская революция. Трудящиеся массы требовали прекращения войны. Но буржуазное Временное правительство, с Милюковым и Керенским во главе, решило воевать «до победного конца». Сам Керенский взял на себя командование. Однако, насту-

пление русских армий кончилось тяжелым поражением. Немцы заняли Ригу. Только после Октябрьской революции большевики прекратили войну, заключив с немцами Брестский мир.

В 1918 году Антанта с помощью американцев сломила Германию. Версальским мирным договором Германия была раздавлена, и вся тяжесть неслыханного кровопролития и страшного поражения легла на трудящихся. И не только в Германии. В странах, участвовавших в грабительской войне, погибло (убитые, искалеченные, пропавшие без вести) — 22 миллиона с лишком человек.

Социал-реформистские партии всех стран, в том числе и русские меньшевики, вели себя в этой войне позорно и лицемерно.

До войны на международных конгрессах социал-реформисты выносили резолюции — всеми силами противодействовать войне.

Штутгартский конгресс вынес резолюцию: «Борьба с милитаризмом неотделима от социалистической классовой борьбы в ее целом... В случае, если война все же разразится, социалисты... должны стремиться всеми средствами к тому, чтобы использовать вызванный войной экономический и политический кризис для возбуждения народных масс и ускорить падение капиталистического классового господства».

В свою очередь и Базельский конгресс предлагал рабочим всех стран «противопоставить капиталистическому империализму мощь международной солидарности пролетариата... Пролетариат считает преступлением стрелять друг в друга ради увеличения прибылей капиталистов, честолюбия династий или во славу тайных договоров дипломатии».

Но все эти постановления конгрессов социал-демократами были выброшены, как мусор, как только разразилась война. Социал-демократы встали на фашистскую точку зрения защиты интересов «отечества», т. е. «своего» капиталистического правительства, т. е. своей буржуазии.

Социал-демократия при этом в оправдание своего поведения приводила набившие оскомину мотивы о ведении только «оборонительной войны». Она убеждала пролетариат своей страны, что ему следует защищать государство от нападения «чужих» империалистов.

Так было во всех воюющих странах. Всюду социал-реформисты фактически шли на поводу у своих империалистов, неся незаменимую службу отуманивания голов трудящихся. Одновременно социал-демократические реформисты внушали массам, что они стремятся к миру всех народов, и тем сеяли иллюзию возможности уничтожения войн в капиталистическом обществе. Поддерживая в своих странах лозунг «гражданского мира», реформисты поддерживали буржуазную идеологию, базирующуюся на возможности уничтожения классовой борьбы в классовом капиталистическом обществе.

Империалистическая война воочию показала, что в конечном счете социал-предатели помогают буржуазии в критический момент организации войны и таким образом содействуют ей в осуществлении захватнических интересов. Когда буржуазному строю грозит серьезная опасность, социал-соглашатели, жертвуя жизнью и интересами рабочего класса, приходят на помощь буржуазии и тем самым активно поддерживают капитализм. Самое циничное в дан-

ном случае — то, что при этом социал-шовинисты лицемерно прикрываются интересами трудящихся масс. Содействуя целям капиталистов, в корне враждебным трудящимся массам, они при этом напяливают на себя маску защитников трудящихся масс.

В противоположность этим усилиям подло обмануть рабочие массы, заставить их надеть мундиры и итти стрелять и колоть друг друга, в Циммервальде (в Швейцарии) в сентябре 1915 года состоялась социалистическая конференция. Там были представлены группы и течения, стоявшие на интернациональной точке зрения. В русскую делегацию от ЦК большевиков входил Ленин.

На конференции образовалась «циммервальдская левая» во главе с Лениным, которая требовала более точных и твердых формулировок. Группа считала необходимым начать решительную борьбу за социальную революцию и за превращение империалистической войны в гражданскую. Она избрала постоянный центр и опубликовала собственный манифест к пролетариату всех стран. В апреле 1916 года в Кинтале (в Швейцарии) состоялась 2-я международная конференция групп, примкнувших к Циммервальду. Объединение выделило постоянный центр, который существовал до 1-го конгресса Коммунистического Интернационала в 1919 г. и вел энергичную пропаганду против империалистической войны и за социальную революцию.

Позорное поведение русских социал-патриотов нашло себе достойную оценку в прокламации, выпущенной 1 декабря 1915 года Петербургским комитетом РСДРП. В прокламации говорилось: «Кучка изменников и ренегатов, за спиною рабочего класса, вступила в темную сделку с буржуазией и продала классовую непримиримость и международную солидарность пролетариата за честь заседать на мягких креслах в военнопромышленных комитетах, под председательством Гучкова — соратника Столыпина, защитника военно-полевых судов над революционерами в 1906 году». Прокламация отчетливо указывала петербургскому пролетариату, что нужно делать: «Отметая в сторону ренегатов, стремящихся использовать рабочее движение в интересах хищнического империализма (захватной войны), рабочий класс неуклонно стремится к превращению данной войны в войну гражданскую и к дальнейшему обострению классовых противоречий, помня, что враг каждого народа — в его собственной стране: его правительство, его буржуазия».

2 (к стр. 189) В Галиции.

В 1915 году А. С. Серафимович поехал в Галицию в качестве санитара в отряде, организованном Пироговским обществом врачей. Отряд был послан в Галицию кормить и обслуживать санитарно-медицинской помощью галицийскую бедноту, разоренную войной. Заведующим отрядом была женщина-врач, полька, только что окончившая университет; в качестве сестры вместе с Серафимовичем поехала Марья Ильинична Ульянова; с ними поехали еще одна молоденькая сестра и брат. В общем персонал отряда состоял из пяти человек. В распоряжение его был предоставлен вагон, и ему были даны некоторые средства.

«В Галиции, — рассказывает А. Серафимович, — меня прежде всего и больше всего поразило ужасающее разрушение. Кругом развалившиеся, дымящиеся халупы. Едешь 5—10—50 километров — всюду разворочены деревья, вырваны телеграфные столбы, виснет проволока. Бродят одинокие одичалые женщины. Это производило огромное впечатление.

Приехали мы в Тисменицы, около гор. Станиславова. Еврейский комитет помощи евреям в Галиции прикомандировал к нашему отряду девушку-еврейку, которая должна была помогать специально евреям. Нам были отпущены средства. Девушка держалась очень скромно и временами, казалось, даже боязливо.

Наш отряд занялся кормлением голодных. С раннего утра до поздней ночи мы варили огромные котлы и кормили. Кругом царила невероятная нищета. Но особенно ужасающе было положение еврейской бедноты.

Еврейская беднота состояла преимущественно из разных мелких ремесленников: лудильщиков, часовщиков, портных, сапожников и пр. Они и раньше, до войны, еле перебивались со своими полуголодными семьями. Когда же русские войска заняли Галицию, положение еврейской бедноты стало нестерпимым. Нескрываемое третирование, враждебность, отношение как к врагу. А потом, когда пошли неудачи и австрийцы стали нажимать, нашли «козла отпущения». По всем войскам в приказе было объявлено, что евреи занимаются шпионажем. Попросту сказать, солдат натравливали на евреев. Потом евреев начали высылать в глубину России пачками. Все евреи-мужчины, начиная с 8 до 80 лет, были высланы из края как шпионы. Остались только женщины и дети. Среди них царила ужасающая нищета. Я сам наблюдал такую сцену: солдаты с ружьями наперевес гонят человек сто евреев в старых еврейских костюмах — лапсердаках, с пейсами. Кругом слышатся насмешки, издевательства, матерная брань, подталкивают отстающих прикладами. Среди евреев идет с гордо поднятой головой один высокий старик, в лапсердаке, с ермолкой, на висках пейсы с проседью. Идет, смотрит куда-то вдаль, углубившись в свои мысли, как будто ничего не видит. Должно быть, духовный учитель. По крайней мере, все евреи, видимо, относятся к нему с обожанием, держат под руку. Учитель витает где-то высоко, в небесах. И чтобы подчеркнуть свое издевательство, солдат как ахнет его сзади по шее прикладом. Старик — я видел — не изменил выражения лица, не крякнул, не застонал от боли, только покачнулся. Пошел дальше вперед, попрежнему с гордо поднятой головой. Еврейская молодежь, шедшая с ним, заглядывала ему в лицо, стараясь облегчить. Но то «надземное», что было в его голове, затмевало то мелкое и будничное, что происходило вокруг него. По дороге встречавшиеся солдаты спрашивали: «Кого ведете?» Конвоиры отвечали: «Шпионов».

Некоторые прапорщики мне говорили, что солдаты нередко пристреливали конвоируемых «шпионов».

Я писал на такие темы в «Русские ведомости». Но буржуазная газета не только не напечатала, но еще и замотала оригинал: рукопись пропала.

Когда мы ходили по еврейским халупам, нам говорили: «Как бы начальство косо не посмотрело, что якшаетесь с «шпионами». Смотрите, попадет вам».

Действительно, однажды, смотрим, за нами следом идет казачий урядник. Зашли в халупу. Он спрятался за углом и смотрит. Думаем — в самом деле еще, чего доброго, арестуют. Тогда я и женщина-врач пустились на хитрость: прямо направились к коменданту. Там пошел «галантный» разговор: комендант хотел показать свою культурность перед дамой. Мы стали объяснять: «мол, представители Пироговского общества, кормим голодных. Ничего не будете иметь против?» — «Пожалуйста, пожалуйста»,— рассыпается в любезностях

комендант. «Мы тут не разбираем, где русские, где евреи, кормим подряд. Не возражаете?» Комендант опять рассыпался в любезностях».

Еврейские погромы в Галиции стали обычным явлением при отступлении русских войск. Еврейское население находилось в неизбывной тревоге. Серафимовичу и Ульяновой во время их пребывания в маленьком пограничном городишке отвели квартиру в бедном еврейском доме, где была харчевня. Семья была довольно большая. «Сначала,— рассказывает Серафимович,— они очень испугались, увидя перед собой человека в военной форме, а потом Ульянова заговорила с ними по-немецки, они очень обрадовались и ухватились за нас, отвели лучшую комнату, относились с большим вниманием, предупреждали малейшее желание». Когда отступающие русские войска приблизились к городишку, стали ползти черные слухи о готовящихся военных погромах; Серафимович и Марья Ильинична старались, по мере возможности, успокоить несчастную обреченную семью. Но отовсюду шли подтверждения. Один офицер не без удовольствия и бахвальства подробно рассказывал, какие сцены происходили в соседнем городке, верстах в двадцати. При отступлении солдаты нещадно громили еврейские квартиры, избивали и убивали не успевших спрятаться евреев. насиловали женщин и после кровавого разгула поджигали со всех сторон еврейские дома, заперев предварительно двери. «Жиды лопались, как тараканы». Нетрудно себе представить, какое настроение царило среди еврейского населения. Еврейская семья, у которой были на постое Серафимович и Марья Ильинична, была в отчаянии: «Вы уйдете, а что с нами будет?— говорил отец семьи.— У меня взрослые девочки... Куда деваться? Забраться на чердак, спрятаться там в куче хлама? Ведь сожгут...» Серафимович рассказывает, что отец с рыданиями бросился ему на шею. «Как тяжело было тогда сознавать себя русским человеком, да еще в форменной одежде! Сцена потрясающая: я не удержал слез»... «Впоследствии,— рассказывает Серафимович,— я узнал, что после нашего отступления еврейская часть населения действительно подверглась жестокому разгрому. Наверное, семья погибла. Но об этом ничего нельзя было писать»...

«Очень скоро, как только по местечку Тисменицы распространилась весть, что кормят голодных, не стало хватать на всех продуктов, пришлось выбирать наиболее бедных. Но еврейки с детьми не отходили от котлов и смотрели так жалостливо и завистливо на тех, которым достался кусок, что мы вскоре решили кормить всех по очереди. Помню, на меня произвела большое впечатление высокая и прямая слепая старуха-еврейка. Ее привели и поставили. Как поставили, так она и стояла. Прошло полчаса,— смотрю — стоит и молчит, ни звука. Оглянулся через два часа,— так же стоит, высокая и прямая, и не проронит ни звука. Все стоит и стоит. Я тогда крикнул своим, чтоб ее накормили. Оказалось, что старуха совершенно одинокая и беспомощная, она не может даже просить. Поставили ее — она стоит. Сунут в рот — она съест. Старуха произвела на меня потрясающее впечатление.

Наш отряд решил поехать поближе к фронту. Мы обратились к начальнику штаба. Он нас вызвал к себе в Станиславов. Оказалось, принял нас довольно любезно и предупредительно. Он был человек высокого роста, внешне очень культурный. После недолгих расспросов начальник штаба предложил нам поехать на позиции кормить солдат. Он объяснил нам, что раненые солдаты в настоящий момент брошены на произвол. Под напором австрийцев, санитарные отряды

Земского союза, Красного креста торопливо свернулись и ушли, бросив раненых. В боях австрийцев задержали. Раненые буквально валялись без помощи и без пищи. Оказывать им санитарную помощь и кормить их совершенно некому. «Вы,— сказал начальник штаба,— сделаете истинно доброе дело, если дадите раненому ложку горячего. Поезжайте». Мы подумали, подумали и решили: ладно.

Действительно, потом не пожалели, что поехали. Работы оказалось по горло. Нам дали вагон, и мы поехали. Никогда не забуду эту ночь. Едем в теплушке. Поезд с жалким австрийским паровозишком идет без расписания. Свечка потухла, и мы едем в темноте. Вдруг бочка в вагоне начинает кататься,— сорвалась. На ходу да в темноте с ней ничего не поделаешь (пудов 15), не закрепишь, а она от толчков катается, того гляди—передавит. Сидим, свесив в дверях ноги,— если налетит, так чтоб можно было выпрыгнуть.

К рассвету все слышней гул артиллерийского боя. В груди ноет жуткое и томительное. Залпы орудий грохочут все явственнее. Тяжелые орудия заглушают своим грохотом стрекотания пулеметов. Ночь уже не темная: поминутно мигают непрерывающиеся вспышки. Бледно-синие ракеты медленно садятся, и тогда все кругом мертвенно освещено. По небу ползают, озаряя облака, прожекторы. Все это похоже на страшную симфонию огней, звуков, поминутно меняющихся цветов,— симфонию, за которой нечеловеческие страдания тысяч людей, разорванные тела, муки и смерть. И вдруг, находя свое место,— пастушеский рожок. Пастушок где-то сидит и играет. А вагон все качается на расхлябанном пути, и тяжелая бочка гремит по вагону, и мы каждую минуту готовы спрыгнуть.

Канонада прекратилась к утру. Когда мы подъехали к пункту, где находились раненые, то нашли там студента, заменяющего врача, с двумя красивыми сестрицами. Они вели работу с прохладцей, занимаясь, главным образом, флиртом. Раненые лежали в огромном бараке на нарах и под нарами, завалив все проходы, весь пол. Валялось более 300 раненых, из них многие тяжело, с выпущенными кишками, оторванными конечностями. По всему бараку неслись стоны, хрипы. Многие под себя ходят. И лежат раненые буквально без всякой помощи, не кормленые, не перевязанные, даже соломы не подостлано,— на досках. Я не мог себе представить такого отношения к раненым.

Когда мы объяснили, с какой целью приехали, и когда на пункте узнали к тому же, что я корреспондент «Русских ведомостей», меня стали убеждать: «Бога ради, не кормите их!» Оказалось, что тут стоит большой санитарный поезд, в котором есть большие запасы сахара, муки и разных продуктов. Поезд — имени какой-то великой княгини, кажется, Ксении Александровны. В нем — прекрасно приспособленная кухня, с кипятильниками. Но заправляют всей работой поезда настоящие мошенники. Они покормят несколько десятков или сотен человек, а в ведомостях показывают несколько тысяч. Отношение к раненым чудовищное. Бездушный формализм. Рано с вечера поезд прекращает всякую выдачу, и после закрытия глотка кипятку не достанешь, хоть помирай. Всю ночь раненые лежат без всякой помощи.

На пункте мне говорили: «В ихнем поезде 30—40 вагонов, а у вас теплушка. Начнете работать, поезд уйдет». Я вначале — признаться — поверил, не понял всех этих преступных махинаций. А они просто побоялись корреспондента, побоялись разоблачения своей «лавочки» и подрыва патриотических чувств.

То-и-дело прибывали новые эшелоны раненых. Осунувшиеся, с синими сухими губами, они лежали не перевязанные, с открытыми ранами, без врачебной помощи, без надзора, без глотка воды, совершенно не кормленые. Не забуду одного солдатика. В глазах его горел какой-то предсмертный блеск. Пересохшими губами он молил: «Дайте кусочек хлебца... третьи сутки ничего не ел...» Я было хотел ему сунуть, да думаю: «А вдруг те в поезде действительно уедут?» А солдат продолжает молить: «Я ж голодный...» Так и ушел ни с чем.

Благодаря нашему приезду, поезд лихорадочно заработал. «Вас испугались»,— говорили мне на пункте.

Наш отряд стал по мере возможности помогать раненым, главным образом кормить их. Санитаров в бараках было очень мало, причем они работали только днем. Стоны, крики, просьбы раненых, хохот и визг сумасшедших не прекращались ни на миг. Особенно жутко было ночами. Приходилось бессменно дежурить. Больные непрерывно обращались за помощью. Сбились с ног. Лежит,— рассказывает А. С. Серафимович,— тяжело раненный с разорванным животом, с раскрытыми глазами и кричит во весь голос: «Санитар, санитар!..» Я к нему с кипятком, а рядом лежит солдат с перебитыми ногами и машет мне: «Дескать, не трожь, он сошел с ума». Так как сумасшедший все-таки всю ночь не переставая кричал «Санитар!», я то-и-дело пробовал сунуть ему кипяток, но он и не прикасался губами, а только продолжал кричать: «Санитар!»

Раненые лежали плотно, плечо к плечу,— мертвые вместе с живыми. Некому было их стаскивать с нар и с пола.

Наш отряд тогда буквально сбился с ног. Женщина-врач нашего отряда, Марья Ильинична и все остальные работали без передышки. Раненые приползали на четвереньках, чтобы их перевязали. Все мы работали до того, что стали зеленые: с раннего утра до глубокой ночи. А раньше, до нас, отправляли раненых дальше без перевязок. В бараке были возмутительные порядки. Как только вечер — санитары исчезают: отправляются спать, а раненые остаются буквально без всякого надзора. Я оставался один на весь барак. Бегал, как угорелый, от одного раненого к другому. Только и слышу: «Санитар... дай чашечку!» Бывало, так до утра бегаю. Когда явятся санитары, я в полном изнеможении, с помутневшей головой падаю где-нибудь за стеной барака и — сплю. Раненые стали даже меня жалеть: «Он уж очумел... всю ночь бегал».

Мы находились в трех километрах от линии окопов. Потом поехали на линию огня. Окопы... проволочные заграждения. Невдалеке ложбинка. Мне говорят: «Осторожнее, ухлопают...»

Вагон Пироговского общества курсировал по линии фронта около двух месяцев, побывав в разных городах и местечках. По словам Серафимовича, целью его поездки было не столько кормление голодных и санитарная помощь раненым, сколько искание «материала». В тот момент на корреспондентов газет, в особенности либеральных, смотрели довольно косо, их пускали на фронт с большим разбором, лишь с особого разрешения командующего. «Русские ведомости», несмотря на свою солидность, не могли послать собственного корреспондента на фронт. В редакции Серафимовичу говорили: «Мы не можем вас командировать, вас все равно не пустят». Вот почему Серафимовичу пришлось надеть санитарный мундир и использовать Пироговское общество врачей как прикрытие. Приходилось даже скрывать свое звание корреспондента. Серафимо-

вич мог «открываться» только либеральным офицерам и прапорщикам. Те, конечно, узнав «корреспондента», выражали полную готовность и предупредительность в снабжении нужным материалом. За всяким пустяком все же надо было обращаться в штаб. Корреспонденту во многих случаях не дали бы «специального разрешения», вывеска же отряда Пироговского общества врачей очень помогала в таких случаях,— благодаря ей, пускали в самые «запрещенные места».

Марья Ильинична Ульянова, с своей стороны, тоже поехала на фронт с особой целью. Семья ее разыскивала тогда мужа ее сестры — Анны Ильиничны — Елизарова, который, будучи мобилизован и в качестве прапорщика угнан на фронт, не подавал оттуда вестей. Семья не находила никаких его следов и не знала, жив ли он, убит или ранен. Марья Ильинична взялась поехать на фронт и там его разыскать, живым или мертвым.

Много очерков и корреспонденций Серафимович написал тут же на фронте и почтой отправлял их в редакцию «Русских ведомостей». Часть очерков была написана впоследствии, по приезде в Москву, и напечатана позднее в журналах. Серафимович немало пострадал от царской военной цензуры, которая внимательно разнюхивала его писания: часть корреспонденций была перехвачена в пути и не была доставлена адресатам.

Приходится очень жалеть о погибших очерках и корреспонденциях Серафимовича из Галиции, которые были зарезаны цензурой и копий которых у него не сохранилось. Серафимович вспоминает некоторые из таких очерков. В одном описывался момент затишья после боя. В большие бараки навезли чудовищное количество раненых. Врачей же не было ни одного. Раненые буквально истекали кровью; они лежали с разорванными животами, голодные, без глотка воды, на грязном полу или на нарах в этих громадных бараках и целыми днями оставались без медицинской помощи. Серафимович написал несколько картинок об этих забытых раненых. Редакция «Русских ведомостей» не пустила этих очерков по собственной инициативе. Писателю потом говорили: «Очень уж мрачно у вас получилось». Вот еще одна тема: «Страшный поезд», которая оказалась неприемлемой для либералов из «Русских ведомостей»,— ее дал Серафимовичу один врач. На путях стояло несколько вагонов, набитых холерными,— холерных везли в Россию, причем в вагонах совершенно не было врачей. Это был подлинно страшный поезд: холерные умирали в страшных муках, их не вытаскивали, не выбрасывали: все боялись подходить к больным, чтобы не заразиться. Что потом сталось со «страшным поездом»— неизвестно. «Русские ведомости» и эту тему нашли «слишком мрачной».

Свои наблюдения над крестьянской массой в мундирах Серафимович производил преимущественно на этапных пунктах. Тут войскам давали обед, ночлег и прочее. Общение с крестьянами-солдатами было облегчено для Серафимовича, благодаря его военному мундиру, и не вызывало подозрений. Можно было свободно разговаривать в долгие часы, пока солдаты находились на этапе. На ночлег часть солдат размещалась на вокзале, а часть — в ближайших халупах и сараях. Нередко ночевали под открытым небом в любую погоду, так как иногда приходилось делать привал в деревне, в которой осталось всего две-три халупы, остальные все были разрушены до основания орудийным огнем.

Солдаты сообщали Серафимовичу много интересных фактов, ко-

торые, к сожалению, не могли быть использованы. Они откровенно рассказывали про неодолимую тягу домой. Жаловались на черствость и бездушие высших военных чинов: отбирают, например, несколько сот солдат, отнимают у них винтовки, дают им только бомбы и ручные гранаты и велят итти вперед. Ясно, что посланные солдаты погибнут все до одного, их намеренно посылают на убой; солдаты хорошо знают, что не вернутся, что они посланы специально для того, чтобы прощупать силы неприятеля,— и все-таки идут. Их беспощадно скашивает неприятельский огонь; по стрельбе же противника учитывается, какова его сила, и только после этого двигают вперед атакующие силы с винтовками.

В Галиции, под влиянием побед русской армии, всплыли и окрепли руссофильские тенденции. Почва для этого была подготовлена общими социально-экономическими условиями. Украинская масса, преимущественно крестьянская, долгими десятилетиями угнеталась помещиками, которые в большинстве были поляки. К моменту вторжения русских войск в Галицию руссофилы всеми способами внедряли в широкие массы убеждение что русские явятся раскрепостителями от помещичьего ига. Агитация и ореол, всегда окружающий победителя, возымели свое действие, и во многих местах русские войска встречались как избавители. Большое значение тут имела и религиозная сторона. Русские тоже были православными и тоже ненавидели поляков.

Поляки, с своей стороны, с трудом скрывали свою ненависть к русским. Давний национальный антагонизм вспыхнул с особенной силой. Украинцы, которые долгие годы молча переносили польский гнет, теперь осмелели, решив, что русские войска действительно пришли их «освобождать». В некоторых местах казаков забрасывали цветами. Солдаты, в свою очередь, не оставались в долгу и кормили «православных братушек» из своих котлов. «Идиллия», однако очень скоро кончилась.

[3] (к стр. 229). Советские войска в первый раз заняли Харьков 3 января 1919 года. До этого времени город пережил тяжелый период оккупации немцами, занявшими всю Украину с весны 1918 года, после Брестского мира. Немцы насаждали здесь послушную им власть, которая менялась с калейдоскопической быстротой. Сначала хозяйничала Киевская Рада (Петлюра, Голубович и Винниченко). Потом немцы посадили «гетмана» Скоропадского. Лишь после эвакуации немцев из Украины, в результате ноябрьской революции в Германии, советской власти удалось очистить Украину от белогвардейских банд, и 6 марта 1919 года, по постановлению Всеукраинского съезда советов, была образована УССР. Затем советским войскам пришлось на короткое время эвакуироваться из Харькова. 11 декабря 1919 года город окончательно перешел в руки советской власти.

[4] (к стр. 295). Ростов был долгое время главной контрреволюционной базой белогвардейских генералов. Он был почти все время (с небольшим перерывом), вплоть до 8 января 1920 года, в руках контрреволюции; с января по февраль 1918 года Ростов был захвачен советскими войсками.

Юго-восток России долгое время был главной базой контрреволюции, имевшей сильную опору в казачьих областях Дона, Кубани и Терека. Лишь 14 марта 1918 года был занят советскими войсками Екатеринодар. Против большевиков двинулся выбитый из Ростова

ген. Корнилов с целью отбить у большевиков Екатеринодар, но 18 апреля 1918 года был убит в бою. Немцы, оккупировавшие Украину, вступили в соглашение с ген. Красновым, дали ему поддержку, благодаря чему ему удалось 24 июля овладеть Екатеринодаром.

Донские «вандейцы» оказывали упорное сопротивление советской власти. Контрреволюция долго черпала в донских станицах живую силу для борьбы с советами. С 1928 года бывшая Область войска Донского, как самостоятельная территориальная и административная единица, перестала существовать. Большая часть бывшей Области войска Донского вошла в Северокавказский край, а другие части — в УССР и Нижневолжский край.

5 (к стр. 296) Ген. Корнилов в 1915 году во время боев в Галиции, где он командовал одной из армий, попал в плен в Австрию и оттуда бежал. На нем остановился выбор Керенского. После подавления Временным правительством июльского восстания, Корнилов в контакте с Керенским принялся за восстановление расшатанной дисциплины на фронте, с целью сделать армию боеспособной, чтобы она могла, согласно требованию союзников, перейти в наступление. Корнилов принялся за искоренение большевистских настроений на фронте, не останавливаясь перед самыми суровыми мерами, вплоть до смертной казни. Солдатские выборные комитеты, получившие вначале широкую власть, были ликвидированы. Тюремные камеры были заполнены тысячами революционных солдат. Такая ретивость очень пришлась по вкусу реакционным кругам, выступавшим на московском «Государственном совещании»: ген. Корнилова, при поддержке буржуазии, стали прочить в диктаторы.

Он выявил себя как один из главных вождей контрреволюции в начале гражданской войны. Хотя он погиб еще 13 апреля 1918 года, т. е. в начале движения Добровольческой армии, все же успел сыграть большую роль. Пользуясь авторитетом главнокомандующего Петроградского военного округа, Корнилов после Февральской революции стал активно собирать силы против советов, в которых тогда еще большую роль играли представители других партий — меньшевики, эсеры и др. В августе 1917 года Корнилов двинул большую армию на Петроград, якобы без согласия Временного правительства. для ликвидации советов и разгрома большевиков. В случае успеха, Корнилов имел в виду установить в стране военную диктатуру, которая быстро повела бы к полной реставрации. Затея Корнилова однако не удалась. Она не встретила активной поддержки меньшевиков и эсеров. Последние прекрасно учли, что, расправившись с большевиками, Корнилов затем не пощадит и их. Однако меньшевики и эсеры ограничились, главным образом, пассивным противодействием. Большевики же быстро мобилизовали Красную гвардию; ее усилиями была достигнута решительная победа над Корниловым, несмотря на то что в его отряде участвовали английские офицеры-инструкторы с броневиками с русского фронта.

Корнилов и его штаб были арестованы и посажены в тюрьму. Но тюремный режим в отношении корниловцев, по милости двойственного Временного правительства, был слишком мягок, и генералам вместе с Корниловым легко удалось бежать из тюрьмы на Дон. Здесь Корнилов вместе с другим «маститым» вождем контрреволюции М. В. Алексеевым приступил к формированию Добровольческой армии. Последняя прежде всего принялась за усмирение рабочего восстания в Ростове и Таганроге. Весною 1918 года большевики взяли

Ростов, и Корнилов двинул добровольческие полки по направлению к Екатеринодару (Краснодар). Но здесь он был неожиданно убит артиллерийским снарядом. На посту главнокомандующего Добровольческой армии его заменил ген. Деникин.

[6] (к стр. 297). Каледин А. М. — сподвижник Корнилова на «Государственном совещании» в Москве. После Октябрьского переворота открыто провозгласил основной патриотической задачей борьбу с большевиками. Организовал партизанские отряды из офицеров, юнкеров, студентов и гимназистов (Иисусова дружина) и приступил к формированию добровольческих частей. Каледин повел армию против советского Ростова и вошел в город 2 декабря 1917 года. Вскоре советские войска начали приближаться к Ростову и Новочеркасску. Кроме того в тылу у Каледина вспыхнуло рабочее восстание в Таганроге. К концу января положение Каледина стало критическим. Красная армия подошла вплотную к Новочеркасску. Войсковое правительство сложило полномочия, а Каледин застрелился. Советские войска вошли в Ростов, а затем в Новочеркасск, на местах начала организовываться Советская власть. Политика Каледина не встретила сочувствия среди части казаков-фронтовиков, которые собрались в станице Каменской и здесь на съезде признали Советскую власть.

[7] (к стр. 302) Адмирал Колчак во время мировой войны был вначале командующим Балтийской минной флотилии, а потом был назначен командующим Черноморским флотом. После Октябрьского переворота он переехал в Сибирь, где был назначен уфимской «директорией» военным министром. Борьбу против большевиков вначале идейно возглавляла «уфимская директория», избранная 23 сентября 1918 года на «Государственном совещании» в Уфе. После решительного натиска Красной армии 3 октября 1919 года «Временное всероссийское правительство» эвакуировалось из Уфы в Омск и вскоре было разогнано казачьими офицерами, совершившими совместно с советом министров переворот, в результате которого вся власть перешла к «верховному правителю» Колчаку. Фактически вся власть на подчиненной Колчаку территории принадлежала многочисленным интервентам, французам, англичанам, американцам, чехам, японцам и др. Колчак был в их руках игрушкой. Интервенты энергично снабжали колчаковскую армию оружием, амуницией и пр., помогая ей всеми силами в борьбе против Советской власти.

«Верховный правитель» получил признание союзников, и не только признание, но и большую поддержку от них для ведения борьбы с большевиками. 6 марта 1919 года им был реорганизован при помощи Антанты восточный фронт, пришедший в расстройство после полученных от Красной армии ударов. Первые два месяца наступление колчаковцев развивалось успешно, но к началу мая Красная армия сумела сосредоточить против колчаковцев большие силы, и 9 мая была занята Бугульма. Колчаку пришлось начать отход на восток, причем его части много терпели от партизан. Вслед за Бугульмой были заняты Уфа, Бирск. 13 июня был занят Златоуст, 14 июня — Екатеринбург (Свердловск), 24 июня — Челябинск, 14 ноября — Омск, 13 декабря — Ново-Николаевск, 24 декабря — ст. Тайга, а затем 27 декабря начался штурм Иркутска, который через пять дней борьбы, при помощи восставших рабочих и партизан, был взят Красной армией. Сам Колчак, его министр Пепеляев и другие приближенные

бежали, прихватив с собой золотой запас, по направлению к Иркутску, но в Нижнеудинске Колчак вместе с золотом был захвачен чехо-словаками, которые и передали его в руки «Политического центра», сосредоточившего в то время в своих руках всю власть в Иркутске. По постановлению Иркутского ревкома, Колчак был 20 января 1920 года расстрелян.

Колчаковщина свирепствовала в Сибири и в Заволжьи в 1918—1919 гг. Сюда собрался цвет царской военщины, разные прощалыги — атаманы, генералы и офицерье. Их основная цель была — борьба с большевизмом, и, чтобы вырвать его с корнем, они гноили в тюрьмах, вешали и расстреливали виновных и невиновных. Достаточно было малейшего подозрения или оговора черносотенцев — и судьба большевика, действительного или мнимого, была решена. Немало бед колчаковщина причинила крестьянству, которое систематически подвергалось грабежам и насилиям за малейшее неподчинение. Но больше всех страдал от колчаковского режима рабочий класс. Репрессии сыпались на него, как из рога изобилия. Железнодорожная забастовка 6 октября 1918 года завершилась зверским публичным расстрелом «зачинщиков». Рабочее восстание в Омске 22 декабря 1918 года было залито кровью. В деревни, по царскому методу, посылались карательные экспедиции с девизом «патронов не жалеть». К концу своего владычества Колчак окончательно сбросил либеральную маску и стал проводить свирепую реакционную политику. 30 ноября им был издан приказ об аресте и предании военно-полевому суду членов Учредительного собрания, «не сложивших своих полномочий». Был образован совет министров под председательством Вологодского, в который вошли открытые черносотенцы и реакционеры, поставившие себе определенной целью восстановление монархии. Всюду на местах свирепствовали худшие элементы царского режима. Железной метлой выметались последние остатки профессиональных организаций, к забастовщикам применялись самые суровые карательные меры. Большевиков пытали и расстреливали. В рабочих центрах господствовал кровавый террор. Карательные экспедиции в деревнях вызывали сильный рост партизанского движения, особенно в районах Енисейском, Минусинском и Алтайском. В партизанском движении заметное участие приняли большевики, благодаря чему крестьянские повстанцы отвлекали значительные силы колчаковцев и тем давали Красной армии больше простора для маневрирования.

Колчак многократно в торжественных манифестах подчеркивал свой патриотизм и ставил своей первейшей задачей сохранение великой, единой и неделимой России. А между тем во время его владычества Колчаковия превратилась в колонию европейского капитала, в которой империалисты всех мастей распоряжались, как в своих владениях. Сам Колчак превратился в империалистского холопа, совершенно утратившего всякое чувство национального достоинства. Дело дошло до того, что 14 марта 1919 года была опубликована декларация о передаче всего железнодорожного транспорта в ведение межсоюзного комитета. Такая политика колчаковских патриотов открыла глаза самым слепым элементам населения. Недовольство выразилось в ряде восстаний как в городе, так и в деревне.

После освобождения Западной Сибири от белогвардейцев Советской власти пришлось еще весь 1920 год и позже очищать от различных банд Восточную Сибирь. Была образована Дальневосточная

республика, и началось постепенное вытеснение японских оккупационных войск. Борьба продолжалась до октября 1922 года, когда японским отрядам пришлось эвакуироваться из Владивостока, — после чего ДВР вошла в состав РСФСР.

Антибольшевистский гражданский фронт был создан при помощи союзников весною 1918 года. Союзники якобы желали спасти Россию от германской оккупации. Были высажены десанты на Мурмане и в Архангельске. Десантная армия имела очень пестрый состав: в нее входили англичане, французы, сербы и русские белогвардейцы. Была организована длинная линия фронта — от финляндской границы до Петрозаводска и северной части Вологодской губернии. Белогвардейцами был подготовлен ярославский мятеж.

Англичане стали полными хозяевами на Мурманском побережьи и берегах Белого моря. Архангельские эсеры приняли интервентов с распростертыми объятиями.

При содействии англичан было организовано так называемое «Северное правительство». Его возглавляли эсеры, которые опирались на белогвардейское офицерство, с одной стороны, и на английское командование, с другой. Бутафорское эсеровское правительство вскоре было разогнано офицерьем. Было организовано новое кадетское правительство во главе с «народным социалистом» Чайковским.

Английские интервенты долго свирепствовали в Архангельской губернии. Много от них натерпелось местное крестьянство. Англичане предприняли также движение на Вологду, но к тому времени красные войска укрепились на севере и энергичным наступлением заставили англичан отступить. Английские канонерки курсировали по Сев. Двине, но потерпели поражение от наших речных вооруженных судов. Чайковский с его кабинетом поспешно на ледоколе эвакуировался в Англию. Англичанам в конце 1919 года пришлось вернуть нам Архангельск и Мурман и эвакуироваться в Англию.

[8] (к стр 302). Деникин А. В. причинил Октябрьской революции больше вреда, чем прочие контрреволюционные генералы. Вместе с генералом Корниловым и Алексеевым он участвовал в создании Добровольческой армии. После того как Корнилов погиб в бою во время первого рейда этой армии, он принял на себя высшее командование ею. Весной 1919 года «главнокомандующий вооруженными силами юга России» ген. Деникин несколькими удачными военными операциями опять овладел всей территорией Дона и отсюда двинулся на север. После нескольких боев добровольцы выбили Красную армию из Царицына (Сталинград). На Кубани Деникин организовал добровольческую базу.

Успехи вскружили Деникину голову и, получив благословение от «верховного правителя» Колчака, которому он себя добровольно подчинил, получив от него звание заместителя, он в торжественном манифесте возвестил поход на Москву по маршруту Царицын — Воронеж — Харьков. Действительно, уже 24 июня 1919 года советским войскам пришлось оставить Харьков, а 27 августа фронт Красной армии был прорван, и конный корпус ген. Мамонтова произвел знаменитый рейд в тыл советским войскам. 21 сентября деникинцы заняли Курск. 13 октября они были уже в Орле. Возникала серьезная угроза тульскому оружейному заводу, главному источнику снабжения Красной армии. Дело осложнялось тем, что одновременно ген. Юденич наступал на Петроград. Однако Советская власть напрягла последние усилия. Угроза реставрации, которую нес с собой Дени-

кин, заставила пролетариат организовать решительный отпор деникинскому натиску. Большую поддержку оказало Советской власти партизанское движение в украинских деревнях. 19 октября Орел был освобожден от белогвардейцев. Красная армия, собрав сильный кулак, перешла в наступление и нанесла Деникину сильный удар в боях у Орла и Воронежа; деникинским войскам пришлось начать беспорядочное отступление к югу. 11 декабря 1919 года советскими войсками был занят Харьков. За ним был освобожден ряд крупнейших украинских центров — Киев, Екатеринослав (Днепропетровск), Царицын (Сталинград). 7 января 1920 года был взят Новочеркасск, 8 января — Ростов, 25 марта — Новороссийск. К маю 1920 года все фронты, кроме врангелевского, были ликвидированы. В тот период сильно укрепилась и успешно действовала против большевиков армия Врангеля. Деникин весной 1920 года при помощи союзников, на их судах переправил остатки своей армии из Новороссийска в Крым, передав верховное командование Врангелю. Сам же, поспешил перекочевать, прихватив значительный капитал, в Лондон.

Деникинщина, как и колчаковщина, олицетворяла собой худший полицейско-жандармский режим. Господствовал полный произвол, беззаконие и насилие. Больше всех, как и у Колчака, угнетались рабочий класс и крестьянство. Все завоевания революции были в корне ликвидированы. Во главе администрации стояли махровые реакционеры, в большинстве — псы самодержавия, имевшие большой стаж по части угнетения революционных слоев населения. Тюрьмы были переполнены, по отношению к большевикам применялись самые варварские методы истязаний и пыток. Контрразведка свирепствовала в рабочих центрах и почти открыто участвовала в грабежах и поборах. В деревню посылались карательные экспедиции. Секли виновных и невиновных. Забирали хлеб и уходя поджигали крестьянские избы. Всюду понасажали прежних помещиков, которые почувствовали себя при Деникине, как в лучшие периоды царской власти. Против евреев устраивались жестокие погромы, давшие неслыханное количество жертв. Добровольцы сами принимали в погромах активное участие. В общем было вырезано и подвергнуто средневековым пыткам не менее сорока тысяч евреев.

Надо впрочем отдать справедливость Деникину: и другие национальности России также подвергались гонениям. Деникинский парламент («Особое совещание») ставил свою печать под всеми реакционными мероприятиями военного командования и фактически установил на всем пространстве господствования Добровольческой армии прежний царский режим, опираясь на империалистов, с одной стороны, и на крупную буржуазию и землевладельцев, с другой.

9 (к стр 303). Краснов. Ген. Краснов был отпущен большевиками под «честное слово», что не будет принимать участия в военных действиях против Советской власти. «Честное слово» было дано генералом, когда он попал в плен к большевикам, разбитый петербургскими рабочими и солдатами под Гатчиной; он тогда возглавлял армию, двинутую Керенским против большевиков после Октябрьского переворота. Дав «честное слово», ген. Краснов благополучно добрался до Новочеркасска и тут же занял должность наказного атамана, вместо застрелившегося ген. Каледина. При помощи немцев ему удалось занять весь Дон и юг Воронежской губернии. Здесь он организовал базу Добровольческой армии. В 1918 году, во время захвата Красной армией Ростова и Новочеркасска, бежал за границу.

[10] (к стр. 309.) Добровольческая армия была организована генералами царской армии, игравшими видную роль в империалистическую войну,— Алексеевым, Корниловым, Деникиным, Лукомским (см. выше) и др. Главное ее предназначение было вести вооруженную борьбу с Советской властью. В нее вошли активные монархисты из среды крупной и мелкой буржуазии и помещиков. Впоследствии кроме основного ядра, состоявшего из офицерских частей и казацких полков, Добровольческая армия включила в свой состав и мобилизованные части.

Организовалась она на средства союзников, а также на «добровольные пожертвования», вернее, на обложения помещиков и капиталистов. Состав ее был довольно пестрый: офицеры, юнкера, кадеты, студенты, гимназисты, кавказская Дикая дивизия, деревенские кулаки, немецкие кулаки-«колонисты», кубанцы, донцы.

Добровольческая армия подчинила своему влиянию огромный район — Дон, Кубань, весь Северный Кавказ — и летом 1919 года, успешно наступая против большевиков, дошла почти до Тулы. К осени 1919 года ей был нанесен сокрушительный удар под Орлом и Воронежем, и разбитые остатки добровольцев были из Новороссийска перевезены в Крым и переданы в распоряжение барона Врангеля.

[11] (к стр 309) После того как Николай II принял верховное командование над армией в империалистическую войну, начальником штаба был назначен ген. Алексеев М. В., который фактически заменил бывшего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Когда Николай был свергнут, ген. Алексеев подчинился власти Временного правительства и по его директивам добивался войны «до победного конца». Организовывая «победу», он искоренял в армии элементы, «сеющие смуту и вносящие разложение в дух армии». Такая деятельность нашла полную оценку Керенского, и после ликвидации корниловского наступления ген. Алексеев был назначен верховным главнокомандующим. Бежав на Дон, ген. Алексеев вместе с другими контрреволюционными боевыми генералами приступил к организации Добровольческой армии. Во время пребывания главковерхом, он успел «заслужить доверие» Англии и Франции, осуществляя их виды, и последние взяли на себя «шефство» над алексеевской организацией. Алексеев взял на себя в Добровольческой армии общеполитическое руководство, командование было поручено Корнилову, начальником штаба был назначен Лукомский.

[12] (к стр 292) Красная гвардия существовала в зародыше еще в 1905 году. Это были боевые организации большевиков в дни первой революции, когда нужно было дать энергичный отпор «черной сотне», т. е. вооруженным отрядам «Союза русского народа». Пролетарские красные дружины сыграли также большую роль в декабрьском восстании на Красной Пресне в Москве.

Более организованно вооруженные рабочие дружины выступили во время Февральской революции в 1917 году под непосредственным руководством боевой организации большевиков. Вооруженные дружины, участвовавшие в революции 1917 года, играли руководящую роль. Особенно энергичной работой выделялись военные дружины Выборгского и Нарвского районов в Петрограде.

Отряды Красной гвардии сыграли большую роль в подавлении контрреволюционного наступления на Петроград ген. Корнилова. Красная гвардия показала свою боеспособность и энтузиазм, и под

руководством большевиков, после утверждения устава на общегородской конференции 22 октября 1917 года, начала быстро расти и развиваться. Формирования производились по районам и по предприятиям. Каждая рота включала сотню бойцов; рота разбивалась на взводы, взводы — на десятки. Роты соединялись в батальоны, которые имели свои районные штабы с выборными членами от предприятий.

В дни Октябрьской революции участвовало в боях в Петрограде более 10 тысяч красногвардейцев, в Москве — около 3 тысяч. До организации Красной армии главной опорой Советской власти была Красная гвардия. Отряды красногвардейцев организовывались в крупных промышленных центрах — на Донбассе, Урале, в Харькове, Одессе, Екатеринославе и др. Красная гвардия успешно выступала в боях не только в Петрограде против Корнилова, но и на Украине — против Петлюры, на Дону — против Каледина, в Белоруссии — против польских легионеров, на востоке — против Дутова.

Когда для более планомерной борьбы с врагами Октябрьской революции была организована Красная армия, красногвардейские части влились в нее как наиболее сознательные боевые единицы.

[13] (к стр. 331) Ч е х о-с л о в а к и попали к нам как австрийские военнопленные. Керенский, будучи военным министром, летом 1917 года организовал из них чехо-словацкий корпус. Корпус этот ушел с западного фронта с боями против немцев, которые после Брестского мира, на основании договора с украинской радой, оккупировали всю Украину. Чешское командование добилось соглашения с Совнаркомом об эвакуации во Францию через Сибирь, с сохранением своей организации и оружия. Чешские эшелоны растянулись по сибирской магистрали от Пензы до Иркутска.

На местах в ту пору царил хаос, власть еще не сумела как следует сорганизоваться. Этим шатким положением воспользовалось чехо-словацкое командование и подняло «восстание». Сначала завладели Пензой, но вскоре были оттуда выбиты и отодвинуты к Самаре. По пути следования чехо-словаки захватили ряд важнейших городов и стратегических пунктов. Ими были заняты Уфа, Златоуст, Самара, Челябинск, Иркутск.

Эсеры вступили в соглашение с чехо-словаками. В Самаре начал действовать комитет членов Учредительного собрания. «Демократическая власть» эсеров поддерживалась местной буржуазией, помещиками и верхними, кулаческими слоями деревни. Реакция начала свирепствовать в городе и деревне. Власть учредилки к лету 1918 года успела распространиться почти на все Поволжье, вплоть до Казани. Эсеры добирались до Москвы. Вождь учредиловской «народной армии» Борис Савинков в сотрудничестве с чехо-словаками беспощадно расправлялся с рабочим классом и коммунистами. Левые эсеры, воспользовавшись удобным моментом, устроили мятеж в Москве 6 июля 1918 года. Главнокомандующий фронтом, левый эсер Муравьев оказался в заговоре с чехо-словаками и открыл им фронт. По распоряжению эсеровского ЦК, он приказал своим войскам двинуться на Москву с тем, чтобы п одолжать войну с Германией. Такой изменнический образ действия оголил наш чехо-словацкий фронт. Однако, истинные намерения изменника Муравьева вызвали отпор среди фронтовиков, и Муравьеву пришлось застрелиться.

Красной армии стоило немалых трудов заставить чехо-словаков и «народную армию» отойти от линии Волги. Среди эсеров пошли раздо-

ры. Учредительное собрание вынуждено было уступить власть «директории», назначенной «Государственным совещанием» в Уфе. Директория, в свою очередь, была разогнана «верховным правителем» Колчаком.

[14] (к стр. 333) Война с Польшей началась в январе 1919 года и была закончена в марте 1921 года после подписания «Рижского мира». Поляки поставили себе задачей создание «Великой Польши», т. е. включение в польские пределы Украины, Белоруссии и Литвы. Пользуясь нашим тяжелым экономическим положением, они начали организовывать против нас белые банды и переходить советские границы. В апреле 1919 года белополяки напали на Вильно, оккупировали западные части Белоруссии и Украины до Западной Двины, Березины и Житомира и закрепились там летом 1919 года. Весной 1920 года после небольшой «передышки», поляки соединились с Петлюрой и двинулись на Киев. Пилсудский 26 апреля 1920 года обратился с воззванием к Украине, в котором призывал ее признать Петлюру, заключившего с Польшей военный союз. Комбинация эта была санкционирована французским генеральным штабом, как и соглашение с Польшей Бориса Савинкова и ген. Булак-Булаховича. Французский же генеральный штаб помог Польше и ее белогвардейским друзьям разработать план наступления.

К тому времени Красная армия, освободив с восточного фронта значительные силы после нанесения поражения Колчаку, перешла в наступление и вторглась в пределы Польши. Был занят Белосток, где под председательством тов. Мархлевского стал действовать большевистский польский ревком. Красная армия успешно наступала дальше и 13 августа продвинулась почти до самой Варшавы. Положение Польши стало критическим.

Еще 22 июля Польша, испуганная большими успехами Красной армии, прислала предложение заключить немедленно перемирие. Франция и Англия, поддерживавшие Польшу не только оружием, но и военными инструкторами, с своей стороны, потребовали от Советской власти приостановки наступления, в противном случае угрожали блокадой. Европейский пролетариат, однако, не позволил своим империалистам осуществить их угрозы. Европейский пролетариат активно встал на сторону Советской власти не только резолюциями, но и активным бойкотом польской военщины. Уже выполненные польские военные заказы не давали транспортировать. Возмущение европейского пролетариата было велико. В Англии организовались «Советы действия». В Лондоне 9 августа 1920 года состоялась конференция политических и профессиональных организаций Англии, на которую было делегировано больше тысячи делегатов от шести с половиною миллионов организованных рабочих. Конференция единогласно постановила объявить всеобщую стачку, в случае если английское правительство вздумает осуществить свою угрозу блокады Советской России. Ллойд-Джордж, тогдашний глава британского кабинета, повел с уполномоченным в Лондоне энергичные переговоры, сопровождая их угрозами немедленного выступления английского флота в случае непрекращения наступления. При помощи Франции поляки укрепили свою армию и двинулись на большевиков со стороны Люблина. Красной армии пришлось отступить. Поляки при содействии французских инструкторов продолжали развивать наступление и, перейдя Неман и Шару, оккупировали территорию Белоруссии и Украины приблизительно до нынешней польско-советской границы. Но так как длительные и упор-

ные бои с Красной армией убедили польских капиталистов и помещиков, что уничтожение большевиков является утопией и что дальнейшее ведение войны приведет лишь к полному истощению страны, а может быть и к новым поражениям, то поляки, невзирая на настояния империалистов, были вынуждены подписать мир.

12 октября был подписан прелиминарный мир. По рижскому договору, Польша расширила свою границу за счет чужих земель и кроме того получила вознаграждение в размере около 60 миллионов золотых рублей, якобы причитавшихся ей за железнодорожное имущество, отчужденное царским правительством во время империалистической войны, и за ее прежнее участие в хозяйственной жизни Российской империи.

Подписание мира с Польшей дало нам возможность сосредоточить все силы на фронтах гражданской войны и ликвидировать Врангеля. Таким образом международный капитал, втравив нас в войну с поляками, имевшую целью путем интервенции ликвидировать большевизм и восстановить в России буржуазно-капиталистический строй, потерпел полный крах. На своих поражениях Красная армия научилась побеждать.

15 (к стр. 345) В польско-советской войне активное участие принимали различные агенты. Прежде всего Петлюра, руководивший атаманско-бандитскими шайками, оперировавшими у советских границ. Петлюра, не сговорившись с Деникиным, великодержавные идеалы которого не мирились с существованием украинской народной республики и с политикой Центральной рады, был вынужден покинуть вместе со своими бандами пределы Украины и перейти в Польшу. Здесь Петлюра, продолжая играть опереточную роль главы украинской народной республики, заключил с поляками мир, по которому Польша получала всю Волынь, Холмщину и Восточную Галицию. Петлюровские шайки еще долго тревожили советскую границу. Петлюра много раз организовывал бандитские налеты на Советскую Россию при помощи различных «атаманов» и «батек» (атаманы Зеленый, Ангел, Соколовский и др.). Налеты были ликвидированы нашими пограничными частями.

16 (к стр. 346) Ген. Юденич прославился как покоритель Эрзерума, состоя во время империалистической войны главнокомандующим Кавказского фронта.

В 1919 году, в самую тяжелую пору, когда белогвардейцы напирали со всех сторон, Эстония при помощи англичан начала движение на Петроград. В пределах Эстонии было организовано «северо-западное правительство», которое снарядило под командованием ген. Юденича армию для взятия столицы. Войска ген. Юденича заняли 16 мая 1919 года на южном берегу Финского залива форт Красная горка. Однако движение отрядов Юденича вскоре было приостановлено советскими войсками, которые 5 августа заняли близ эстонской границы г. Ямбург.

Юденич не успокоился и, выбрав еще более тяжелый момент, когда Деникин приближался к Туле, предпринял новый натиск на Петроград. Его войскам удалось уже занять Пулково, в нескольких верстах от Петрограда. Советская столица тогда переживала тревожный момент. Петроградский пролетариат решил бороться до последней капли крови. Город покрылся густой сетью баррикад. Юденичу пришлось бы брать с бою каждую улицу. Но пролетар-

скими усилиями он был отогнан от Петрограда. Его войска потерпели жестокое поражение, после которого Эстонии, давшей приют «северо-западному правительству», не оставалось ничего другого, как подписать с нами 2 февраля 1920 года мирный договор.

[17] (к стр. 348) После поражения, нанесенного Красной армией добровольческим частям, и бегства Деникина за границу, организатором и вождем борьбы против большевиков стал барон П. Н. Врангель. Остатки частей Добровольческой армии, переброшенных в Крым из Новороссийска, казацкие части и офицерские полки были им реорганизованы при содействии Англии и Франции в крепкую и хорошо снабженную армию.

Чтобы дать возможность Врангелю подготовить наступление на Советскую Россию, английское правительство прибегло к дипломатической уловке: оно предложило свое посредничество между Советской Россией и Врангелем, который якобы согласен на капитуляцию в случае получения амнистии от Советской России. На свое принципиальное согласие Советское правительство долго не получало от Англии никакого ответа, кроме обстрела английскими крейсерами Черноморского побережья. Затем новая английская нота уже ничего не упоминала о капитуляции Врангеля, а выдвигала новое предложение — перемирия. Дипломатическая канитель преднамеренно затягивалась английским правительством ровно до тех пор, пока Врангель не реорганизовал своей армии и, получив передышку, не перешел в наступление.

Крым, соединенный со всей остальной страной узким перешейком, по своему географическому положению являлся прекрасной военной базой, так как был почти совершенно недоступен. Французские и английские военные специалисты помогли Врангелю укрепить перешеек по последнему слову военной техники. Врангелевская армия была хорошо снабжена амуницией и продовольственными запасами. Врангель был последней надеждой империалистов и сумел добиться не только их признания, но и финансирования и снабжения.

Сделав неприступным Крымский полуостров со стороны Перекопа, врангелевская армия выжидала удобного момента, чтобы развернуть широкое наступление. Красная армия, с своей стороны, не могла форсировать наступление на Врангеля, потому что должна была вести серьезную борьбу на восточном фронте. Вдобавок пришлось отбиваться от поляков, брошенных на нас империалистами.

Воспользовавшись тем, что советские войска были отвлечены польским фронтом, врангелевская армия вышла за перешеек, из пределов прежней Таврической губернии, задавшись целью захватить сердце Советской России — Донбасс — и Екатеринослав (Днепропетровск).

Врангель пытался высадить десанты на Кубани и Дону, но это предприятие не удалось ему.

Врангелевская армия, имея хороших военных руководителей в лице опытных царских генералов, выказала себя серьезным и опасным противником. На борьбу с ней пришлось бросить значительные силы, после того как с Польшей был подписан мир. Врангелевская армия упорно сопротивлялась и только в ноябре 1920 года была разбита в боях под Перекопом. Врангель с остатками своей разгромленной армии и несколько тысяч офицеров эвакуировались на иностранных судах на Балканы.

Взятие перекопских позиций было выполнено под командованием покойного народного комиссара по военным делам М. В. Фрунзе. Лобовая атака перекопского вала производилась 51-й дивизией под командой маршала Советского союза Блюхера. 52-я дивизия ночью перешла Сиваш по пересохшему дну, нанесла противнику быстрый и короткий удар, захватила Литовский полуостров. 10 ноября части 6-й армии после упорного боя захватили юшуньскую позицию и ст. Юшунь. 30-я стрелковая дивизия штурмовала чонгарские позиции и овладела ими в ночь на 11 ноября 1920 года. Врангелевская армия была наголову разбита.

Врангелевский режим был столь же цинично реакционен, как и режим, установленный Деникиным и Колчаком.

18 (к стр. 357) Советская Карелия находится на территории бывш. Олонецкой и Архангельской губерний, к востоку от Финляндии. Карелия примыкает к Ладожскому озеру, а на востоке в нее глубоко вдается Онежское озеро. Часть Карелии, примыкающая к Финляндии, в 1918—1920 гг. несколько раз подвергалась налету белогвардейских банд, которые организовывали там свои «правительства». Зимой 1921 года финляндские белогвардейцы устроили в Карелии «восстание», которое было быстро ликвидировано Советской властью. Авантюристам пришлось скрыться на территорию Финляндии.

19 (к стр. 357) В 1920 году фронты гражданской войны были почти ликвидированы; страна переживала острый хозяйственный кризис; приходилось на пепле гражданской войны восстанавливать в корне разрушенное народное хозяйство. Красная армия участвовала в этом восстановлении, сохраняя в неприкосновенности свою военную организацию. Советское правительство сочло возможным перебросить некоторые части Красной армии с военного фронта, где они сейчас не были нужны, на фронт хозяйственный. Демобилизовать красноармейские части, ввиду общего напряженного политического положения и расстройства транспорта, не представлялось возможным. Разруха в стране достигла крайней степени, и на хозяйственном фронте нужны были дисциплинированные рабочие руки.

Были организованы три трудовые армии. 1-я трудовая армия была сформирована из 3-й армии на Урале, 2-я трудармия была отправлена на угольный фронт в Донбасс, 3-я несла хозяйственную работу в Ленинградском районе. ЦК РКП были приняты постановления о «милитаризации труда». IX съезд РКП (29 марта — 4 апреля 1920 г.) признал необходимым создание трудчастей, введение трудовой повинности и трудовых мобилизаций.

В первую очередь трудовая армия принялась за заготовки топлива для транспорта и за приведение в порядок подорванного местного хозяйства. Кроме военных трудовых армий, были организованы также из местного гражданского населения трудовые артели, которым были приданы местные воинские части.

Трудовые армии, в общем, просуществовали не долго. Часть их пришлось расформировать и вернуть на фронту же в 1920 году, когда Польша начала тревожить нашу границу. Другая часть трудовых армий была расформирована несколько позже, в 1921 году, после того как выяснилось, что для восстановления народного хозяйства необходимы более соответствующие силы.

Г. Нерадов

СОДЕРЖАНИЕ

---

Ответственный редактор Э. Болотина.
Технический редактор А. Березницкий.

Уполномоченный главлита № 521513.

Сдано в набор 4 февраля 1936 года.
Подписано к печати 28 мая 1936 года.

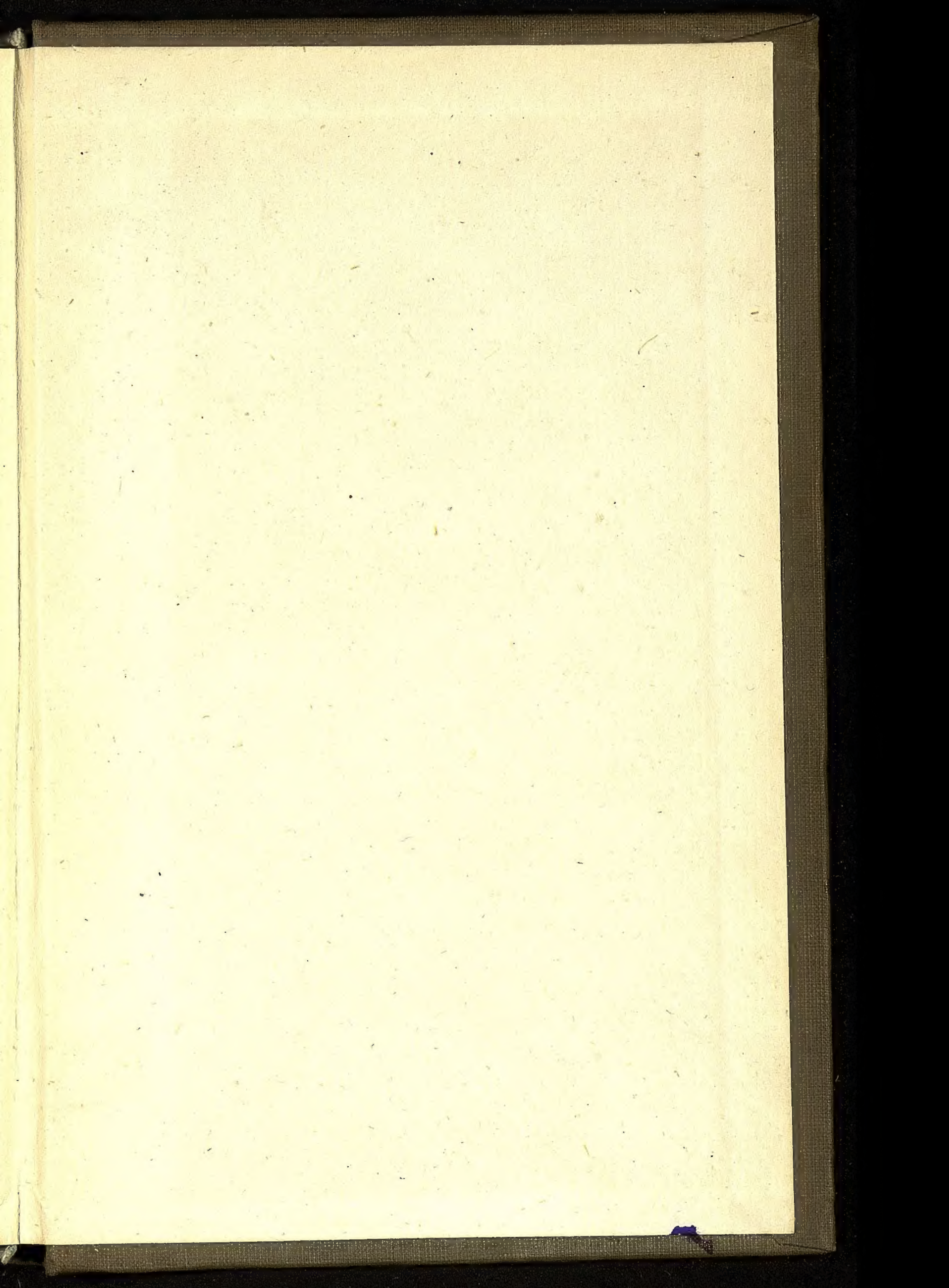
Бумага 55×84. Тираж 10200 экз.
Печ. листов—32¹/₄ Уч.-авт—29,32. Авторских—26,

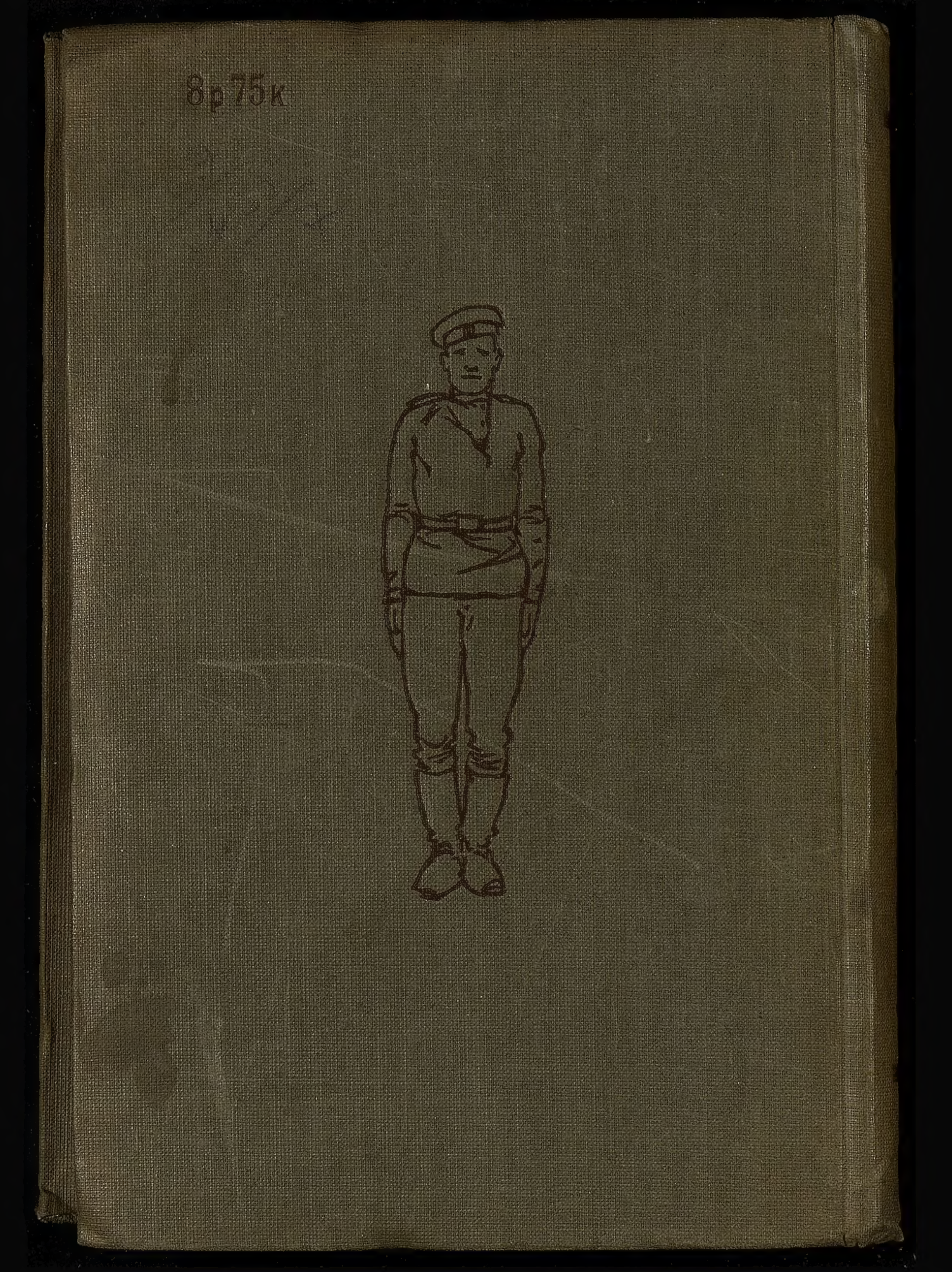
С. П. № 59.

Типография Полиграф, гор. Горький,
ул. Фигнер, 32. Заказ № 8556.

**Цена 7 р. 50 к.** Переплет 1 р. 25 к






8 р 75 к